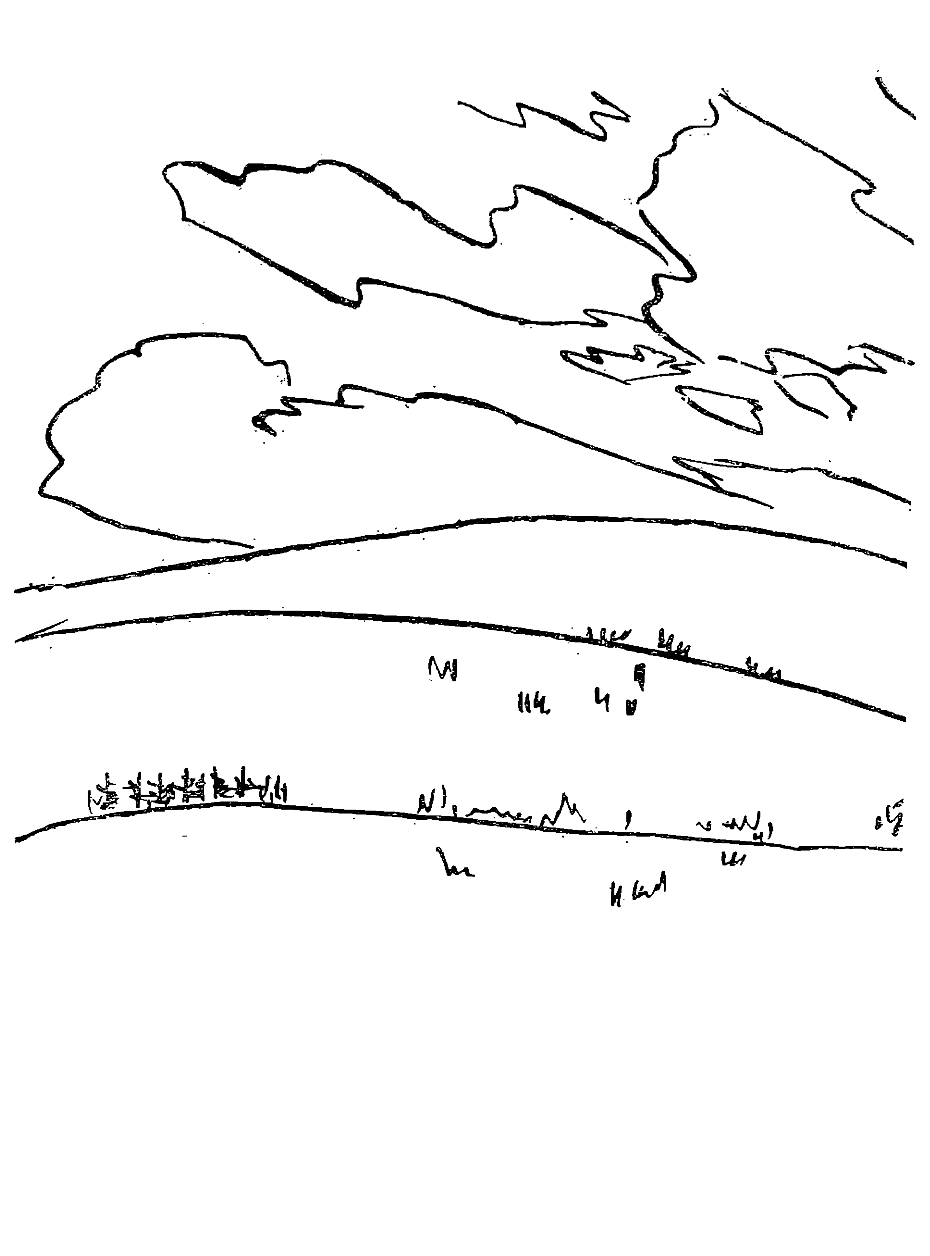
ТОЧКА ОПОРЫ



ЛЕНИЗДАТ
1980



ТОЧКА ОПОРЫ

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ



83.3(2)7
Т 64

Т $\frac{70302 \quad 4702010200-128}{М171(03)-80}$ 162—80



Елена Аврутина

ГОЛУБОЙ ДОМ

— Они жили долго и счастливо и умерли в один день.

Папа поправил блестящие очки, энергично встал с мягкого кресла:

— Все. Больше сказок я не знаю. Теперь — спокойной ночи.

Папа погасил сиреневый фонарик торшера и ушел, а из-за темной оконной шторы, как всегда, в шуршащем плаще выскользнул кто-то придуманный девочкой. Он воздушно присел на край кровати и до утра нашептывал ей свои нескончаемые сказки. Девочка слышала его и от этого во сне счастливо смеялась, громко разговаривала и вертелась в жаркой постели.

Наутро за завтраком в белой кухне красивая мама в который уже раз озабоченно говорила серьезному папе о повышенной возбудимости ребенка, а папа, осторожно пробуя черный кофе, длинно рассуждал о гипертрофированном воображении и эмоциональном стрессе. Девочка, склонив русую челку, разглядывала в своей чашке чая дрожащие отблески золотой каемки.

Мама внесла предложение: оставшиеся месяцы учебы ограничить строго школьными занятиями, на летние каникулы отправить девочку к бабушке с дедушкой за город для перемены обстановки. Сами родители хотели отдохнуть на Кавказе. Порешив на том, все трое после вежливого «до вечера» затерялись поодиночке на бесчисленных улицах каменного города...

...Деревянный голубой дом стоял около рынка. От него, словно зеленые ручьи, тянулись вереницы старых широколистых кленов, на других улицах к ним присоединялись перистые тонкие рябины, столетние липы с густым запахом цветов, и такие ручейки текли по всему городку, впадая в конце концов в огромное зеленое море старинного парка. Парк был давних времен, с желтым дворцом на холме, с мраморными статуями в тени сквозных аллей, с аккуратными озерками-блюдцами, с настоящим лесом на глухих, заброшенных окраинах, и по мере того, как старился парк, жители городка окружали его удивительными историями,— ведь к дому каждого из них тянулись из зеленого моря шелестящие ручейки так же, как добралась цепочка широколистых кленов до деревянного голубого дома у рынка.

На второй этаж, где жили бабушка и дедушка, вела крутая и звонкая, вся прогретая солнцем лестница. Девочка каждый день старательно выметала и ее, и высокое крыльцо с резными столбиками, а потом сидела на ступеньках, наблюдая, как к рынку стекался народ. Смуглолицые женщины в пестрых платках, плечистые мужчины в выгоревших кепках пылили сапогами и ботинками по дороге с полными мешками, с обвязанными белыми тряпицами ведрами или корзинками. Поравнявшись с голубым домом, прохожие непременно поднимали взгляды к угловому окну на втором этаже и, увидев среди кружевных занавесок и многоцветий «ваньки мокрого» мелькнувшую гладко зачесанную голову бабушки, степенно кивали, здороваясь. Кто-нибудь ее спрашивал:

— А эта, с веником, ваша внучка, что ль?

Она тогда на всю улицу кричала в распахнутое окно:

— Моя! Наша!..

У девочки вспыхивали серые глаза, сердце радостно подпрыгивало до самого горла. Ах, как хорошо быть внучкой у бабушки и дедушки, как хорошо, что их все любят в городке, и как замечательно, что она сидит здесь на виду у всех, на чисто выметенном крыльце с голубыми резными столбиками.

— Внука,— кричала бабушка,— нащипли лучку!

И босая голенастая «внука» кидалась во двор позади дома, где были разбиты у сараев зеленые грядки овощей.

На звук детских шагов вылезал, сгибаясь чуть ли не пополам, из низенького погреба долговязый дед, садился перекурить на припеке, далеко вытягивая по траве худые ноги в обтрепанном рабочем комбинезоне.

— Докладываю командиру: дед полку состругал и навесил. Какие будут еще указания? А то без женского глазу затерло у меня с работой,— балагурил он, пряча улыбку в седые коротко стриженные усы.

Девочка серьезнела, подражала старшим:

— Молодец, дедушка. Теперь собирай свои инструменты и иди поешь. А мне не помогай,— торопливо останавливала она поднимавшегося деда.— Иди, иди, я сама, ты и так устал.

Перья лука вымахали высокими, сочными, с белыми шарами на остриях. Набрав полный подол зелени, девочка скакала вприпрыжку по гулкой деревянной лестнице наверх...

Комната стариков была в три света, два оконца затенены разлапистыми дворовыми кленами, третье — солнечное, с глиняными горшками «ваньки мокрого» на узком подоконнике — выходило на улицу. В простенке между окнами подслеповатое зеркало с треснутым краешком отражало всякого, кто входил в дверь, а под ним стоял шаткий столик с кружевной пожелтевшей накидкой — тут в старинном багете под стеклом на фоне лихо нарисованных гор стояла молодая пара: чубатый парень в косоворотке с ловко закрученными усами уверенно держал под руку счастливую девушку в длинном ситцевом платье цветочками.

Девочка перелетала через порог, мелькнув ярким пятном в мутном зеркале, и выворачивала подол прямо на обеденный стол посредине комнаты:

— Вот!

На зеленоватой клеенке стола пускала парок рассыпчатая картошка в глиняной обливной плошке. Сбоку, из кухни, пахнущей керосином, выкатывалась круглая бабушка с крынкой, шлепала в картошку ложек шесть густой, как зубная паста, сметаны и принималась за лук. Девочка замолкала, устроившись с коленками на табурете. В комнате отчетливо, то торопясь, то замирая, неровно тикали ходики — вечная забота мастеровых рук деда.

— Ешь, милая, а то совсем потонела в городу-то,— двигала старуха внучке полную плошку, посыпая ее мелкими колечками ярко-зеленого лука.

— Жалко,— вздыхала девочка, качнув лохматой русой головой.

— И-и,— всплескивала маленькими коричневыми руками бабка,— да земля сызнова народит, не обидит.

— Ой, бабушка! — В темно-красной блестящей миске белое с зелеными крапинами, тающий пар над ней, прислоненный к краю черный шероховатый квадрат хлеба.— Как красиво! — Но аппетит разгорался и — как вкусно! Ничего вкуснее этого девочка, казалось, еще не едала.

— Баб, я по делам, грядки полить.

— Полну лейку не носи, Аника-воин, да накажи деду, пусть поспешает, картоха-то стынет.

— Ладна-а! — доносился тонкий девчоночий голосок и перестук голых пяток уже откуда-то с лестницы...

Когда приходил розовый вечер, когда все вокруг начинало стихать и светлые сумерки предвещали тихую теплую ночь, на улице раздавался далеко слышный перезвон бубенцов, потом призывное мычание, и от пыльного стада, фыркающего уже под окнами голубого домика, отделялась старая, землистого цвета корова. Она толкала рогами скрипучую калитку и задумчиво шла к своей сараюшке.

— Дед! Опять, старый, корову не сустретил, грядки потопчет. Марш с кровати! — ворчала копошившаяся по хозяйству бабушка.

Дед с внучкой дружно соскальзывали с примятого покрывала, оставляя свои долгие разговоры в теплой ямке высокой перины, и торопливо собирались во двор.

— Уж не ходила бы ты, изгваздаешься,— просил дедушка, отворяя сарай.

Да разве устоишь! Он, низко склоняя седую голову, входил в живую темноту, остро пахнувшую навозом, молоком и увядшей травой, зажигал лампу в металлической сетке-фонаре, а девочка заводила буренку в вычищенное стойло, протягивая к ее просящей морде ломоть хлеба с солью. Тут же на насесте ерошили перья задремавшие было рябые квочки с косоглазым петухом.

Старик враскорячку садился на чурбачок, ставил под корову звонкое эмалированное ведро и, чисто обтерев вымя, ласково приговаривая, начинал вечернюю дойку. Струи звякали о дно и пенились.

— Кабы не Милка, пропали б мы с тобой, внука, ни за понюх табаку... И тебе она кормилица сызмала, и мне без нее дело капут. Мать-то твоя без молока была, Милушка тебя и выкормила, бабка каждый день в город бидончик парного привозила. А мне Милка — первейший дохтор. Когда в желудке болезнь, парное молоко лучше всяких лекарств. Ты жалей ее, не обижай,— говорил дед сидевшей рядышком на корточках девочке и лукаво помигивал выцветшими глазами в мелких морщинках вокруг... — Ну, иди, спробуй парное-луговое.

Девочка двигалась под корову, присасывалась, как теленок, к мягкому вымени, неумело захлебываясь струйкой молока, хранящего странное тепло другого существа. Милка замирала, шумно сопела, фыркала и недоуменно косилась на деда, а он со смехом крутил седым чубом, оглаживая широкой ладонью волны бегущей по коровьему боку дрожи...

К ночи у противоположных стенок тесной комнаты распахивали свое белое нутро две одинаковые кровати с никелированными перекладинами, дужками, шариками на спинках и тюлевыми подзорами по низу. Сбивчиво тикал маятник ходиков, с тихим звоном ударялся о молочное стекло лампы порхнувший в раскрытое окно мохнатый мотылек, его тревожная большая тень металась под потолком.

— Деда, расскажи что-нибудь про парк,— просила девочка, ежась под стеганым одеялом в предчувствии необычного.

Бабушка надевала очки с толстыми стеклами и усаживалась за штопку, склонив ровную ниточку пробора у края стола. Дед стягивал рубаху — в вырезе

майки под ключицей глубокой бороздой темнел рубец от вражьего осколка,— вскарабкивался на перину, устраиваясь половчее, и неторопливо начинал:

— Ну что ж, посумерничаем...

Девочка лежала на другой высокой кровати, водила обкусанным ногтем по удивленной печальной русалке, запутавшейся в стеблях диковинных лилий на стенном коврике, и видела все как наяву. Вот бедный путник попал на заговоренное место, где кольцами стоят Белые березы, отсюда ему уже не выбраться,— сколько бы он ни ходил по глухому уголку парка, он непременно выйдет опять к молчаливым Белым березам,— и что же, что с ним потом будет?

— Не приведи господь встренуться с ним,— вздыхает дед, и бабушка, соглашаясь, привычно крестится на висящую в углу вместо иконы «Сикстинскую мадонну» из иллюстрированного журнала.

А в другом конце парка, где от медного красавца Аполлона разбегаются во все стороны Двенадцать дорожек с женскими полуодетыми фигурами, у начала каждой из них, здесь, в этих темных аллеях, обсаженных желтой, пряно пахнущей акацией, обитает неведомый человек: он является в полночь на дорожках и у случайных прохожих просит продать ему черного кота за неразменный рубль. Местные отчаянные пацаны с худым котярой в мешке пошли было выменивать этот рубль, но, увидев в одном из лучей-дорожек чей-то темный силуэт, бросились наутек без оглядки.

Девочка слушала эти истории, и длинноволосая русалка на коврике, казалось ей, тоже оживает по ночам и тщетно пытается распутать стебли лилий вокруг своего чешуйчатого хвоста. Но серые глаза девочки, как она их ни таращила, слипались, и, набегавшись за день, она засыпала без снов, не слыша, как укладывались дедушка и бабушка.

Лето перевалило через невидимую верхушку и покатилось к концу. В окна голубого домика стали залетать кленовые семена с двумя стрекозиными сухими крылышками. Парк отцветал и готовился к осени — с глухим, пока еще редким стуком теряли кряжистые дубы лакированные желуди, в дальних уголках наспела ягода, проклюнулись грибные слои.

Как-то бабушка тронула горячее детское плечо:

— По грибы пора...

Сладкий сон испуганно отлетел от девочки.

— А деда? — быстро спросила она, выкарабкиваясь из постельного тепла на цветные полосатые дорожки.

Бабушка была еще не одета, в круглом вырезе белой рубахи висел шнурок с тусклым крестиком между пустыми грудями, две косицы едва касались покатых плеч.

— За скотиной ходить кому? Он уж нас с тобой отпускает, подымайся, а то зорю проспим.

За грибами полагается одеваться попроще да понадежней. Бабушка вытащила из сундука, похожего на большой ящик, старые вещи для девочки: маленькие резиновые сапоги, крепкие, но уже потерявшие блеск, поношенный дедушкин пиджак вместо куртки, красные латаные брючки, пару мягких шерстяных носков и вязаный синий платок на голову.

— Да что ты, бабушка, жарко будет,— отмахнулась девочка.

— Пар костей не ломит. Там роса выше носа, одевайся-ко скоренько.

Сама бабушка застегнула ватник на тугом животе, привычно заправила ладонью серые пряди под клетчатый платок, повязанный низко на лоб, и дала внучке маленькую корзинку, сплетенную дедушкой, а сама взяла такую же, но большую, глубокую.

Спустившись с темной лестницы, они вышли на безлюдную улицу. Дед в обтрепанном комбинезоне курил у калитки, яркая точка папиросы неровно освещала его грустное лицо под козырьком туго надвинутой кепки.

— Собрались? Слышь, баб... Больно охота супу с опенками похлебать, нутро погреть,— совсем тихим голосом сказал дед.

— Как же, дедушка, обязательно принесем тебе опенков,— радостно подхватила девочка,— обязательно.

И они пошли.

Восточная сторона небосклона чуть заметно светлела, в сыром, еще пока ночном воздухе дрожали звезды и истончался хрупкий обломок месяца, похожий на коровий рог. Спящие дома в густой тени темных деревьев стояли вдоль улиц, любая из которых вела к парку. Девочка крепко уцепилась горячей

рукой за бабушкину руку, когда они миновали чугунную ограду парка, переступив заповедную черту.

Бабушка сразу свернула с песчаных аллей акаций на едва примятые тропки, и сапоги их заблестели от росы. Они дошли до широкой низины, куда стекал белыми полосами слепой туман. Два чугунных льва с мокрыми гривами спали возле каменной лестницы, ведущей вниз. На другом берегу тумана высоко желтел бывший царский дворец с круглой башней, там светилось одинокое окно. Где-то на дне долины шумела у невидимой запруды каменистая речушка.

— Пойдем, пойдем,— подтолкнула старуха девочку, и голос ее раздался неожиданно звонко.

Внучка повесила корзину на локоть, обеими руками уцепилась за бабушкин ватник, и они стали спускаться по выщербленным ступеням.

— Глупенька,— приговаривала бабушка,— неча горевать, тут кажный куст тебя оборонит. Дедовы придумки — придумки и есть. До войны да опосля ее много тут лихоимства было, дак и наплели старики да старухи байки разные. Ты сама смотри, пощупай все глазом, на веру ничего не бери.

Они миновали обжитую часть парка, забрели в одичавшие чащи...

Утро встало под пение птиц. Поднявшееся солнце высветило верхушки елей, и незаметно глазу солнечные пятна сползали все ниже и ниже по веткам.

Они шли по лесу, перекликаясь. Бабушка брала крепкие боровички — на сушку, липкие веселые маслята с хвоинками на шляпках — мариновать — и все оглядывала зеленомшистые трухлявые пеньки — нету ли опят? Девочка охотнее всего собирала доверчивые сыроежки, они сразу бросались в глаза — красные, зеленые, белые шляпки с хрупкими пластинками с изнанки. Не раз приседала она в синем черничнике, пачкая пальцы зрелой мякотью, или перед тонким высоким стеблем с раскрытыми ладошками-листьями, держащими алую ягоду костяники.

И вот посветлел лес, расступился широкой поляной, окруженной колдовским двойным кольцом старых Белых берез.

Девочка подняла голову и растерянно выдохнула:

— Ба-а-буш-ка-а...

А бабушка ступала уже по простору теплой поляны в сотне шагов от девочки, радостно щурясь от солнца и света белых стволов, в расстегнутом ватнике, порозовевшая от неровного дыхания, с тяжелой корзинкой на локте, где боровички и маслята были рыхло присыпаны грудой коричневых тонконогих, не по времени ранних опят. Травы давно обсохли в кольце Белых берез, и радужное облако пыльцы висело над отцветающим простором. Солнце начинало пробовать свою силу, пахло нагретой землей и легким березовым духом... Девочка с облегчением дернула платок с разлохмаченной русой головки, решительно расстегнула дедов пиджак и бросилась вперед, вслед за бабушкой, в солнечный круг, весело заорав на белые неподвижные стволы:

— А-а-ааа!!

— Ах, дедушка, как жалко, что тебя не было с нами,— печалилась внучка вечером. Они сидели за столом под желтым кругом лампы, они сидели и низали на нитки ломти белых, плотные, чистые, без единой червоточины. Листья старых кленов приникли к стеклам двух окон, там на узких крашеных подоконниках бегали синие тени, а третье окно было нежно-розовым от закатного ясного неба и торопливо цветущего «ваньки мокрого».

— Да нет, внука, плох я по грибы-то.

Он поглядел на свои худые, морщинистые руки, устало лежавшие на зеленой клеенке стола, и пальцы его, казалось, были неживого, зеленоватого оттенка.

— Деда, опенки-то взаправду хороши? — встрепенулась бабушка, быстро взглянув на девочку, и потянулась за новой ниткой.

— Да-а, хороши... — сказал дед.

— А хотите, расскажу сказку,— живо завертела девочка русой головкой, глядя то на встревоженную бабушку, то на опечаленного дедушку.

Они слушали детский торопливый голос и ладно работали: дед чистил грибы острым самодельным ножом и лезвием двигал ломти в бабушкину сторону, а та протыкала мякоть иглой, нанизывая их на суровую нить.

— Они жили долго и счастливо и умерли в один день,— скороговоркой отбарабанила девочка знакомую присказку и перевела дыхание.

Стало тихо, только старик постукивал ножом, да кленовые листья шуршали на ветру за стеклами. Пахло грибной прелью.

— Давай-ка в постель, устала, поди, за день,— поднялась бабушка из-за стола,— и ты, деда, давай укладываться.

...Девочка ткнулась лицом в длинноволосую русалку и пыталась рассмотреть ее еле видные в темноте печальные глаза.

— Одной не мед жить, сдашь корову, перебирайся на зиму в город к дочке,— строго и тихо наказывал дед.

Бабушка, скрипнув кроватью, сердито зашептала:

— Ты, старый, ума не нажил, до зимы и палкой не добросишь, неча загадывать. Еще и мне домовину сколотишь... Ой, лихо с тобой, лихо... Ой, лихо...

Бабушка всхлипнула, опять заскрипела кровать, и шепот стал совсем смутным. Девочка опустила ресницы, ее тут же окружили толпы разноцветных грибов, кустики лесных ягод, зелено-белые старые березы, и она мгновенно заснула, а проснулась оттого, что ее тормошила смеющаяся, дочерна загорелая мама с белыми крепкими зубами и ярко накрашенным ртом. Улыбающийся папа стоял рядом, тоже смуглый, с выгоревшими бровями, в новой полосатой рубашке.

Эта дождливая осень была на редкость длинной. В конце сентября небо помутнело, как запотевшее стекло, легкие частые капли стали стекать с него на хмурый город, не затихал их дробный стук и по ночам.

За завтраками в чистой кухне папа говорил теперь о старческой депрессии, о душевной травме ребенка, потом, когда недельные дожди насквозь промочили город,— про угнетение положительных эмоций, снижение иммунных функций организма. Наконец подморозило, посветлело от первых порош, и папа замолчал. Мама, подсев как-то к девочке на диван под сиреневый фонарик торшера, деликатно, щадя детскую психику, объяснила, что больше у них нет ни бабушки, ни дедушки.

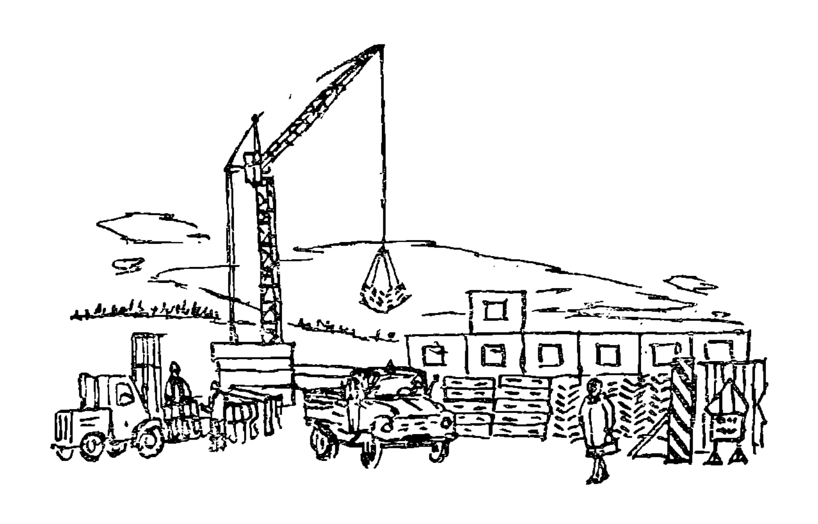
— Они... — нерешительно сказала девочка, широко раскрывая умные серые глаза.

— У дедушки был рак желудка, а бабушка умерла после него от гриппа,— сурово сказал папа, сторонник честной и прямой педагогики.

— В этом нет ничего страшного,— заволновалась мама, с укоризной взглянув на папу.— Все естественно, это закон природы. Мы, конечно, очень любили их, но ничего не поделаешь...

Она внимательно посмотрела на застывшую дочь, осторожно положила нежную ладонь на ее дрогнувшее плечо, чтобы привлечь ребенка к себе. Девочка недоуменно посмотрела на мать, на отца, все еще не понимая, что же изменилось вокруг и внутри нее.

Тут что-то слабо укололо девочку в грудь слева,— так иногда бывает у подростков, когда они растут и взрослеют.



Александр Гиневский

ПРИЕЗД ОТЦА

Стояла июльская жара. Листья на березах возле кочегарки, уже перетомившиеся, темно-зеленого цвета, вяло висели на побуревших черенках. Дышать было нечем. А здесь, в подвале, темном от копоти, еще того хуже.

Два кочегара Дорофеев и Мнацакян, голые по пояс, с лицами в грязных потеках, суетились у четырех печей.

Топили сланцем. Дверцы печей маленькие, и плиты камня приходится дробить ломом и колуном, прежде чем заталкивать в печь.

Распахивалась дверца, в печь кидалось несколько кусков, а мелкую крошку добрасывали уже совковыми лопатами. Тяги почти не было. Желтый густой дым душил своей ядовитостью языки огня. Но огонь все-таки брал свое. И тогда, сквозь щели от выпавших кирпичей, дым просачивался в помещение и столбами копоти тянулся к потолку.

Печи давно надо было ремонтировать, но, как обычно в таких случаях, не доходили чьи-то руки.

Кочегары работали молча. Изредка они выскакивали по ступенькам вверх, на улицу, где в тени стены стоял бачок с холодной водой, выплескивали друг другу на спину по кружке воды, блаженно растирались и спешили вниз к печам.

— Эй, негритосы, где вы тут?!

— Здесь, здесь!

— Дорофеев здесь? — Ефрейтор с КПП отмахивался от дыма, напряженно вглядываясь в мелькающие фигуры.— Ну, у вас тут!.. Как в преисподней!

— Чего тебе? — откликнулся Дорофеев.

— Дорофеев, отец к тебе приехал.

— Отец?.. — с трудом соображал Дорофеев.— Какой?

— Говорит, родной. Давай, давай. Покажись батьке. Только не в таком виде.

— А печи как же?..

— Ну, уж это не моя забота.— Ефрейтор закашлялся и выбежал из кочегарки.

К Дорофееву кузнечиком подскочил Ованес Мнацакян. Маленький, гибкий, с тугими шариками мышц на руках. В полумраке весело блестели его глаза.

— Коля! Ай, радость у тебя! А?! Отец приехал! Отец встречать надо! Иди, Коля!

Дорофеев что-то долго раздумывал. Мнацакян никак не мог понять, в чем дело.

— Зачем стоишь, Коля?! — потеряв всякое терпение, горячился Ованес.

— Ваня,— рассеянно произнес Дорофеев,— а печи?..

— Ай, дурак, ай, дурак! Какой печи?! Зачем печи?! К черту твоя печи! А Ваня зачем? А?! — И Мнацакян с силой толкнул Дорофеева в потную, скользкую спину.— Живо иди! Генерал Мнацакян приказывает!

Дорофеев вышел на улицу. Надо было умыться и переодеться.

Еще издали, у КПП, он увидел отца. Длинный, костлявый, отец, ссутулив узкие плечи, неподвижно сидел на маленьком чемоданчике прямо под солнцем. Он узнал сына только тогда, когда Дорофеев подошел совсем близко.

— Коля! Сынок! — Отец вскочил, схватив одной рукой чемоданчик, еще, кажется, не до конца уверен-

ный в том, что не обознался. От резкого движения дырчатая шляпа, очевидно большая, съехала ему на лицо, закрыла глаза, и он, неуверенно сделав шаг вперед, подхватил ее другой рукой.

Дорофеев обнял отца и почувствовал его старческое тело, которое дрожало мелкой дрожью. От этого чемоданчик, не выпущенный из рук, ударялся о лопатку Дорофеева.

— Дай, отец... Дай сюда чемодан.

— Сыно-ок, свиделись... И не узнать тебя... — Углы серых, почти бесцветных глаз отца повлажнели. Он улыбался беспомощной, жалкой улыбкой, от которой еще глубже западали морщины над верхней губой.— Сынок. Жи-ив...

— А что мне? Живой. Ведь не война, отец.— Дорофеев все еще не мог побороть в себе неловкость за эту, так не по-мужски выплеснувшуюся радость отца.

А отец...

— Колюня, Колюня, как мы?.. Где б нам с тобой?.. Как там у тебя со службой? Может, доложить надо?.. Посидеть бы нам, поговорить...

Дорофеев взял отца под руку. Они вышли за ворота КПП, перешли дорогу. Там внизу, под откосом, было маленькое озерцо, заросшее по берегам бузиной и густым ивняком.

— Во, во! — обрадовался отец, увидев озеро.— Там и посидим в тенечке, да, Колюня? У воды славно. И часть недалеко. Совсем рядом. А начальство как?.. А то ведь, знаешь... Самоволки чтобы не получилось...

— Все в порядке, отец, не волнуйся. Ну чего ты?..

— Ну и хорошо! Ну и хорошо, Колюня.

Отец остановился, заглянул в лицо сына, положил сухую, жилистую руку ему на плечо, прижался к нему седой щекой.

— Колька, черт! Сын мой... Сколько же мы с тобой не виделись? Почитай, целую жизнь...

Да, давно не виделись.

Жили они когда-то семьей на Вологодчине, под Никольским Погостом. Дорофеев-старший работал в большом леспромхозе бухгалтером. Был уважаемым человеком. Правда, уважали его больше за строгий вид, немногословие и белую рубашку с черным галстуком. Последнее особенно имело значение. Управляющий, с утра до вечера мотавшийся по участкам, не вылезав-

ший из промасленной телогрейки или куртки, выглядел как иной тракторист. Поэтому Дорофеева-старшего принимали иногда не за того, кем он был. Сам же он, разговаривая с новым человеком, не спешил внести необходимую ясность. Заходившие в конторку лесорубы как-то сразу терялись от одного его вида и начальственного выражения лица. В этом маленьком храме серьезных бумаг и канцелярского стола они не знали, куда деть свои огромные кулаки, и, смущенные этим, как-то угловато, не сразу, прятали их за спину.

Хозяин конторки уже давно не удивлялся трепету, с которым входили к нему. Наоборот, он был уверен, что быть должно именно так, что всякие иные отношения между подчиненными и начальником непременно отразятся на дисциплине. Все для того же надлежащего поддержания дисциплины он не сразу отвечал на приветствия вошедших, не сразу отрывался от бумаг. Выдержав паузу глубокой занятости, он неохотно поднимал голову, протягивал руку к арифмометру, рассеянно двигал его рычажками и наконец произносил:

— Ко мне?

После смерти матери Дорофеев-старший женился на другой. Поначалу в доме все шло, как при старой хозяйке. Дорофеев-отец возвращался с работы, как всегда, не спеша, держа в руке арифмометр. Арифмометр он почему-то в конторке не оставлял, хотя пользоваться им не любил, больше доверял простым счетам. Но, может быть, тут дело было в том, что люди, встречавшие его на пути, начинали думать, глядя на арифмометр (вряд ли счеты произвели бы такое впечатление): «И дома нет человеку покоя». Когда такое произносилось вслух, Дорофеев снисходительно улыбался — мол, ничего не поделаешь.

Но дома он не работал. Дома он расхаживал по комнатам все с тем же строгим лицом, о чем-то размышляя, недоступный для окружающих. Мать, пока была жива, делала по дому все сама, тихо и незаметно. Сосредоточенное лицо мужа внушало ей жалость, но она не решалась расспрашивать его о чем бы то ни было. Однако бывали дни, когда Дорофеев-старший, словно очнувшись от глубокого сна, вдруг замечал, что снег — да какой глубокий; что весна — грязь кругом

непролазная; что хорошее лето нынче — яблоки уродились. Это были дни, когда он получал квартальную премию. Тогда, переступив порог дома, он поднимал над головой веер лотерейных билетов.

— Мать,— весело говорил он, потрясая новенькими цветными бумажками.— Ну! Не родись красивой, а родись счастливой! Пятьдесят билетов! Давай помогу выбрать!.. Нет, постой! Сама, сама... Веселее, дети мои! Колька! А ты чего насупился? А ну, давай! Десяток и на твой курносый нос. Ну, ну, не робей!..

— Ты бы, папка, тесу заказал. Вон крыша прохудилась, давно надо,— замечал Дорофеев-младший.

— Ну, нашел о чем говорить! Будет тебе тес.

— Знаю, как будет... — бубнил мальчишка, и мысли его не скоро возвращались к школьным урокам.

Раздав билеты, Дорофеев-старший ходил по комнатам, потирая руки. От волнения глаза его блестели, щеки покрывались румянцем. Весь он был восторг и нетерпение, словно полководец накануне великой победы.

— Не-ет!.. — горячо повторял он.— У меня система. Сис-те-ма! Быть того не может!.. Мы свое возьмем. «Волгу»-матушку! На меньшее не согласны!..

Еще совсем недавно Дорофеев-младший принимал эту мечту отца близко к сердцу. В своем воображении он видел большую блестящую машину, отец — за рулем, он — рядом. И катят они куда-то по широкой бесконечной дороге далеко-далеко.

Но однажды ему пришла в голову простая мысль.

— Папка, а где мы тут ездить будем? — спросил он.— У нас на лесовозе-то едва проедешь...

С тех пор он потерял всякий интерес к возможному чуду. И теперь, со смешанным чувством жалости к отцу и разочарования, смотрел на Дорофеева-старшего с затаенной болью и как бы со стороны.

А отец...

— Не-ет!.. — горячо повторял он.— Мы свое возьмем...

В такие минуты казалось, что не сам выигрыш принесет ему упоение. Ведь у него была система, в которую он верил, как верят в счастливую звезду. В его рабочем портфеле, среди прочих бумаг, хранились листки, аккуратно разграфленные, усыпанные мелкой крупой цифр. Оставаясь в полном одиночестве дома

ли, на работе, он доставал эти листки, часами просиживая над ними.

Лицо его оживлялось, глубже прорезáлись на лбу морщины. Они шевелились как маленькие волны, под которыми боролись мощные струи невидимых морских течений. Неожиданно рука его, вооруженная острым карандашом, повисала над пустой клеткой. Мгновение — и цифры заполняли пустоту. Затем наступало долгое раздумье, рука тянулась к резинке, и только что родившиеся цифры исчезали... Эти заполненные листки хранили тайну его мук и сомнений.

Но вскоре приходил день очередного испытания системы, день разочарования для всех, кроме Дорофеева-старшего.

Жадными глазами всматривался он в газету с таблицей, в который раз пытаясь постигнуть неуловимую математическую закономерность. В том, что она была, он не сомневался. Таблица исследовалась им внимательнейшим образом. И вновь появлялись листки с новыми комбинациями цифр. Это была страсть. Случись ему выиграть, его бы удовлетворило лишь одно: «система сработала».

Однажды, в очередной раз после квартальной премии, Дорофеев-старший пришел домой с лотерейными билетами. Матери к тому времени уже не было.

— Татьяна! — так звали его вторую жену.— А ну! Выбирай! Колька! Где ты там?! Давай сюда!

Жена в это время мыла пол. Дорофеев-старший не заметил, как каблуком придавил край тряпки. Колька, сидевший за столом с поднятыми ногами, увидел это и так и замер в тяжелом предчувствии. Татьяна Егоровна, не поднимая лица, чуть потянула, потом вдруг со всей силой раздражения рванула тряпку и, выпрямившись, не выпуская ее из рук, хлестанула тряпкой по лицу Дорофеева-старшего. Раз, другой, третий...

— Ирод! Гвоздя заколотить не может, а туда же!... «Волгу» тебе?! Получай...

Она бросила тряпку, прижала к лицу пухлые, в серых потеках воды руки и бросилась в другую комнату, упала на кровать. Из-за занавески донесся ее сдавленный плач.

После того случая Дорофеев-старший надломился. В его характере появились скованность, нерешительность. Словно ехал человек ночью в санях по зимнику, ехал

и дремал. Но тряхнуло на ухабе, вывалился он из саней и остался наедине со своим страхом посреди белой дороги.

На работе он по-прежнему бывал молчалив и задумчив. Но уже по-другому — без начальнической суровости. Теперь только здесь, в конторке, возился он со своими листками, так и не расставшись с надеждой, корни которой сидели в нем слишком глубоко.

Дома же его задумчивость и молчаливость переходили в растерянную пришибленность. Примется ли забор чинить, крыльцо поправить — пробует, мучается, не зная, как подступиться к этому, в общем-то немудреному делу. Возится, спиной чувствуя взгляд Татьяны Егоровны, и только беспомощно покашливает в кулак.

Еще больнее было теперь Дорофееву-младшему смотреть на отца. Как ему хотелось, чтобы вернулось то время, когда жива была мать. И шут с ним, с этим забором или крыльцом: он бы и сам это как-нибудь сладил.

Вспомнил Дорофеев-младший слова Татьяны Егоровны, когда пришла она к ним в дом: «Николай, ты уже большой, понимание имеешь. Я тебе не мать, но сыт и обут будешь. Ну, а больше чего же от меня ждать?.. Отцу я твоему досталась ни молодой, ни здоровой...»

Вспомнил это и как-то, когда они с отцом поливали огурцы, сказал:

— Я, папка, к бабушке... Я в Тотьму подамся... Учиться буду, на работу устроюсь...

Дорофеев-старший стоял, не замечая, что вода из лейки льется ему в ботинки.

— В Тотьму?..

— К бабушке,— подтвердил Колька.

— А как же?..— хотел сказать что-то Дорофеев-старший, но, подумав, махнул рукой: — Что ж, ежели надумал...

Николай уехал.

Деревянный дом бабки, чуть ли не по самые окна ушедший в землю от старости, стоял на самой окраине Тотьмы.

Бабка видела своего внука третий раз в жизни, но приняла без особой радости.

— Живи, пока не надоел,— сказала она хмуро.

Слова эти смутили Дорофеева. Он было опешил, растерялся. Ему стало тоскливо от мысли, что придется

возвращаться. Но, к счастью, первое впечатление оказалось обманчивым, и вскоре они с бабкой зажили душа в душу. Какая-то невидимая пружина распрямилась внутри Кольки, и здесь, у бабки, он вдруг почувствовал себя проще, естественнее, веселей. Он быстро усвоил манеру бабкиного обращения, и вскоре ему, как и самой бабке, уже доставляло тайное удовольствие не разговаривать между собой, а ворчливо переругиваться. За этим бряканьем словами скрывали они свои истинные чувства, истинное отношение друг к другу.

До школы было далеко. Вернувшись с занятий, Колька заставал бабку в постели. У нее болели ноги, и, переделав все дела по хозяйству, она ложилась.

Стоило Кольке сесть за уроки, как бабка громко говорила:

— Колька!

— Ну? Чего тебе?

— Глянь в окно.

— Вот еще!

— Глянь! Кто-то идет.

Странно, но каким-то образом бабка чувствовала, что сейчас кто-то должен пройти по дороге перед их окнами. Нередко она даже угадывала кто именно.

— Лежи, бабка. Какая тебе разница кто,— весело отвечал Колька.— Идет и идет. Тебе-то чего?

— Глянь, паршивец, тебе говорят!

— Ну, дочка Семенихи идет.

— Так я и знала,— удовлетворенно произносит бабка.— А чего несет-то, разглядел?

— В мешке чего-то. Шевелится.

— Поросенка у Гусятниковых купили. Сказывала Семениха, по дешевке. Вот, господи, купили! А без молока как будут? Корову-то продали. Одно слово, дурная голова ногам спокоя не дает...

Когда наступали сумерки, бабка не забывала перекреститься перед сном. Как она говорила, «с белым светом попрощаться».

— Бабка, чего с ним прощаться,— заметил как-то Колька,— завтра опять светло будет.

— Может, будет, а может, и нет...— сердито ответила бабка.

— Да это же явление природы! — рассмеялся Колька.

— Явление...— бабка погрозила пальцем.— Я вот тебе сейчас ухи поотверчу, уразумеешь у меня, какое такое явление.

Колька знал, что бабка может схватить за ухо, и потому дальше помалкивал. Помалкивал и тогда, когда бабка вспоминала свою дочь — Колькину мать, вспоминала его отца...

— Непутевый он у тебя какой-то. Ох, непутевый,— повторяла она, вздыхая.— И хоть бы словечко-то написал... Это сыну-то родному...

Но не совсем так все было. Дорофеев-старший несколько раз наездами виделся с сыном. Правда, это бывало всегда в спешке, чувствовалось, что он побаивается бабки, ее возможных расспросов. Но та каждый раз только угрюмо молчала. И эта ее угрюмость приводила Дорофеева-старшего в еще большее замешательство. Выложив на стол мятые деньги, свертки, он поминутно смотрел на часы и наконец, спохватившись, торопливо прощался, бросив перед уходом:

— Ну, скоро нагряну.

И исчезал. Исчезал надолго.

Со временем Колька устроился на работу и перешел в вечернюю школу. Однажды, среди белого дня, он прибежал домой веселый, возбужденный. Войдя, грохнул на стол бутылку вина.

— С праздником вас, Евдокия Васильевна!

— С каким таким праздником? — нахмурилась бабка.— Первомай, что ли? Так он прошел давно. Не рано ли, внучек, к посудине потянулся?..

— Стой, бабка! Ты знаешь, кто перед тобой?

— А бес тебя разберет!

— Ты поосторожней. Ко мне чтоб теперь с почтением, слышишь? Перед тобой, бабка, стоит машинист башенного крана у-нэ-рэ номер шестнадцать города Тотьма Николай Борисович Дорофеев. Сегодня корочки получил.— Колька развернул перед бабкиным носом новенькое удостоверение.

— Разв啊жничался-то, разважничался. Ну прямо как отец бывалочи. В начальники, что ли, выучился?

— Нет еще, бабка. Я пока машинист. И то не плохо.

— Какой еще такой машинист? С паровоза, что ли?

— Сама ты, бабка, с паровоза! Накрывай на стол, объяснять буду.

Бабка выпила рюмку, раскраснелась. Всем своим широким и рыхлым телом она навалилась на край стола. Тяжело и горячо дыша, она смотрела в бумагу, по которой Колька водил карандашом.

— Ну и кто ж это цыпляет твои доны?

— Не доны, бабка, а поддоны! Цепляет стропаль. Специальность такая. Я и на стропаля, между прочим, тоже сдал.

— Ишь, прыткий какой...

— А ты как думала! Денег теперь получать буду — не сразу и сосчитаешь. Давай, бабка, корову купим, а?!

— У, бахвал бесстыжий! — Бабка потянулась к Колькиному уху.— Дай оттаскаю, пока не заматерел. Корову... Мне с курами да с утками не управиться, а он корову...

— Нет уж, хватит,— увернулся Колька.— Ты, бабка, лучше приходи на стройку глянуть, как я с делом управляюсь.

— С де-елом...— передразнила бабка.— Где тебе, шалопаю...

— Да какой же я шалопай? — чуть было не обиделся Колька.

— А то нет?!.— брякнула бабка. И, уже не найдя побрякушки поувесистей да поуколистей, тихо сказала: — Не поеду я со своими-то ногами...

Но бабка все же выбралась в центр. Нашла ту стройку. Спросила, чтоб ей показали «мово Кольку».

— Это ж какого Кольку? У нас их много,— услышала она.

— У вас их много, а у меня один. Мне давайте, который Дорофеев Николай Борисович.

— А-а!..— рассмеялись люди.— Вон он! Узнаешь, бабка?

На высоком стальном шесте виднелся стеклянный скворечник. Внутри кто-то двигался.

— Это он, што ли? — обернулась бабка.

— А то кто же?!.

— Дорофеев! Эй, Дорофеев, к тебе гостья!..

Колька высунулся из окна, что-то крикнул, зазвенел в звонок.

Бабка всплеснула руками.

— Это кто ж его, батюшки, туда затащил?!

— Сам, бабка! Сам залез.

— Са-ам?! И долго ему там кукарекать?..

Бабка говорила серьезно, испуганным голосом, и невдомек ей было, чего это вокруг смеются.

— Кукарекать ему там до конца смены!

— Ты, бабка, смотри, что твой внук вытворять будет!..

Вечером Колька спросил:

— Ну, как?! Видала?..

— Видала,— ответила бабка.— Уж больно, Коль, высоко, а?

— Да уж. У самого носа твоего бога. Выше только на самолете.

— Ну ты, самолетчик!..— рассердилась внезапно бабка.— Бога всуе не поминай. Не твоего ума это дело.

— Прости, бабка, виноват. Руби голову.

— На земле сколь хошь всякой работы,— не сразу оттаяла бабка,— а тебя вон куда занесло. А как свернешься оттуда, с облаков-то, и костей не соберешь.

— Не упаду, не бойся. У нас закон: ветер три балла — с крана долой.

— Зако-он... трепало... А я и не боюсь. Я так просто,— с вызовом сказала бабка.

Пришла пора Дорофееву-младшему идти в армию. Провожала его бабка. Уткнувшись лицом в его плечо, она тихо всхлипывала. Бабушкиных слез Колька не ожидал. Не раз она, с каким-то спокойным удовлетворением, повторяла:

— Ну вот, скоро выметут тебя в солдаты. Уйдешь, родименький. Одна останусь. Ти-ихо будет в доме...

— И не вспомнишь?

— А чего вспоминать-то?

— И скучать не будешь? По мне-то?..— недоверчиво спрашивал Колька.

— Не бу-уду..

И вот теперь Колька старался высвободиться из ее рук.

— Ну что ты, бабка? Ну будет тебе. Ну как над покойником прямо... А говорила? За ухо бы, что ли, оттаскала, а?

Бабка улыбалась сквозь слезы.

— Болтун, ой болтун... Ты, Коля, это... чего я настряпала, сам ешь. У других матки с батьками...

— Ладно, бабка. Ясное дело, сам.

— И просись на земле служить, слышишь? Земля — она родная. В вышину-то не лезь. Там если на са-

молеты или чего, так ты скажи, что головой слаб. Скажи, не выносит она у тебя...

— Верно, бабка, так и скажу. Пора мне.

Сбылись бабкины чаянья. Он служил на земле. Больше того, он сидит сейчас на берегу озерца в летний жаркий день. И рядом отец.

Но трудно говорить человеку с человеком, если один из них намного старше другого, если они давно не виделись, если один из них — отец, другой — сын. И слова при этом произносятся какие-то не те: пустячные, ненужные, от которых только тяжелеет на душе. Понимая это, оба смущаются, но замолчать было бы еще более тягостным.

— Служишь? — в который раз произносит Дорофеев-старший.

— Служу.

— Это надо... Тяжела?

— Служба-то?

— Да?

— Привык. Теперь легче.

— А поначалу-то?.. Небось туго приходилось?

— Бы-ыло.

— А стреляешь как? — неожиданно спросил Дорофеев-старший.

— Неплохо. У меня,— спохватился Дорофеев-младший, радуясь живому вопросу,— мишень одна. В казарме хранится. Моя...

— А ну-ка, сбегай принеси! — оживился Дорофеев-старший.— Нет, постой, Колюня! Потом. Дай наглядеться-то на тебя.

Помолчали, и снова, словно оборвалась живая ниточка:

— А начальство как? Командиры?..

— Ничего ребята.

— Командиры — какие же они ребята... Без замечаний, значит?..

— Без. А ты все там же работаешь? — неожиданно для себя спросил Дорофеев-младший.

— Там. Закусывай, Коля. Все ведь домашнее. Я смотрю, что-то у вас в городке солдат почти не видно.

— На учениях все.

— На учениях?.. А ты как же? Не годен оказался, что ли? — с беспокойством в голосе спросил Дорофеев-старший.

— Нет. Так уж получилось. Кому-то и здесь надо оставаться,— усмехнулся Дорофеев-младший.— А то ведь ты бы меня не застал.

— Верно! Хорошо-то как получилось.

— Да... Ну, мне пора, отец.

— Как?!.. Куда?

— На службу.

— Уже?! Может, мне обождать? Может, отпросишься? Или вот что, Коля, давай я с командиром поговорю. А? А что?

— Нет, отец, не надо.

— Ну ничего, ничего! — вдруг весело произнес Дорофеев-старший.— Я ведь, Колюня, в отпуске. Правда, два дня осталось, да на дорогу надо... Я ведь, знаешь, так и подумал... В поселке на станции устроюсь. Так что я к тебе завтра... Завтра можно будет?

— Думаю, можно будет. Попробую отпроситься.

Они поднялись и пошли.

Автобус развернулся неподалеку от КПП части.

Дорофеев-старший, уже в дверях, крикнул:

— Мишень, Коля, не забудь. Ладно?

Человек, поднимавшийся в автобус, нечаянно задел плечом Дорофеева-старшего. Тот с извиняющейся улыбкой посмотрел в лицо толкнувшего.

— Виноват, прошу прощения. Тут... к сыну я вот приехал. Навестить. Уж сколько лет не виделись...

Человек, занятый своими мыслями, невозмутимо кивнул головой, молча прошел вперед.

Дорофеев-старший повернулся к сыну.

— Коля... Ну, да что там... Ведь завтра увидимся. Хорошо? Я утром прямо, как договорились...

Руки Дорофеева-младшего были заняты свертками в растрепанной газетной бумаге. Он смотрел в улыбающееся лицо отца. Он видел мелкие вертикальные морщины над западающей верхней губой. Черный галстук болтался на тонкой жилистой шее. Белый воротничок посерел от пота. Прежде чем закрылась дверь, он увидел потертые обшлага рукавов отцовского пиджака с пучками ниток вместо пуговиц и горько усмехнулся, вспомнив каменные сырки, лежалые пирожки железнодорожного буфета — угощение, которое отец назвал «домашним». Глядя в лицо отца сквозь стекло, он мучительно думал о завтрашнем дне.

На другой день Дорофеев-старший не приехал.



Сергей Казимировский

ЧЕТЫРЕ ДНЯ ЛЕТА

...К вечеру бабку Прасковью осчастливили ведерышком с тридцатью куриными яичками: неназойливо объявились у старухи тайные благодетели, достали в магазине.

Шмырев томился, наблюдая бабкино восторженное вращение вокруг ведра. Старушка, по привычке постоянного одиночества, разговорилась сама с собою, ставя вопросы и тут же отвечая на них; свалившаяся нечаянная радость неизвестными путями перешла в возбужденное движение: был затеян мушиный бой. Бабка мух била ловко.

Шмырев, не переносивший натуралистических картин охоты, удалился на двор, решив, однако, при случае прикупить чего-нибудь персонально для бабки. Толкнув наружную дверь, Шмырев с размаху налетел на автомобильное колесо, случившееся в аккурат напротив.

Тут ему представился в полный рост могучий грузовик, тесно заполнивший собою прогон.

Было в его непоколебимости, кривоногости что-то бульдожье; была, однако, и скрытая, какая-то пуга-

ющая виртуозность: иначе как бы и въехать, не сокрушив бабушкиной избушки единым хотя бы выхлопом трубы.

Шмырев протиснулся неловко мимо машины, обнаружив на завалинке очередного захожего человека.

Шмырев сел поодаль без внимания к незнакомцу; посасывая сигаретку, он смотрел на вспухший в полнеба солнечный разлив, багряно восходящий кверху, где-то над головой стекающий в тонкую прохладную голубизну, достигая там прозрачной высокой ясности; слушал, как сгружаются с машины доски: их гулкий, еще глубокий от сырой древесной свежести голос покрывался веселым гиканьем двух работающих парней.

Третий сидел без участия на одной со Шмыревым старой, отговорившей доске, успевая бодро поглядывать на Шмырева, на работу и в небо, будто и там было что-то разумное и ему необходимое.

Одет он был обычно, в рабочее: рубаху, штаны, не стар и не молод и лицом как будто обычен.

— Здоро́во,— сказал человек Шмыреву с какой-то радостью.

— Здрасьте.

Шмырев был краток и задора не разделил.

— Прасковьин, что ли, будешь?

— Ну... Прасковьин,— неохотно отозвался Шмырев.

— Внук бабке, что ли?

— Внук,— твердо ответствовал тот, свыкаясь со своим родством и почти не замечая, что врет.

— А ты что ж, случаем, не Петька Фомичев?! — заподозрил человек.

— Нет, не Петька,— дальновидно заверил Шмырев, опасаясь рукоприкладства и ограничиваясь приблизительным родством.

— А,— с облегчением ответил тот, успокаиваясь и ровняя голос.— Мы тут с мужиками лесу подвезли. Новичихину, значит, избушку наладить... Тебя, слышь, как зовут?..

— Александром,— ответил Шмырев, помедлив.

— А меня Петром. Будем, что ли? Тракторист я.

— Будем. А я — электрик.

— Так ты, стало быть, по электрической части? Дело, конешно, серьезное,— рассудил Петр, как при-

частный к разной технике, при этом он краем глаза успевал поглядывать на работу парней.— Так ты, парень, и с приемником, верно, сладишь? — осведомился Петька-тракторист и посмотрел на Шмырева доверчиво-лирически.— У меня приемник к чертовой матери стоит без движения. Может, там проводок отпаялся или ерунда какая... Махнем ко мне, а? — Петька азартно притиснулся к Шмыреву, распространяя крепкий солярный дух и, сверх того, доверительность какого-то непроходящего обаяния.

Шмырев, помявшись немного и предупредив жену, двинулся за трактористом, предполагая некоторый интерес и развлечение.

Петька взлетел к рулю — машина тронулась малым чутким ходом, освобождая прогон; двое парней, прихватив ведро песку, остались для начала работ.

Шмырев устроился независимо и широко, ощущая в ногах ровную дрожь не уступающего дороге мотора.

Дорога же, при всей естественности грунта, дыбилась, крепко толкаясь, либо уваливалась, уходя от колеса, отчего Шмыреву счастливо представилось полное ощущение морского плавания при высоких баллах; попутно он улыбался чему-то, лениво застревая глазами в ныряющих пейзажах.

Петька безмолвно правил терпеливой намаявшейся рукой; в извечной вытряхивающей езде по среднерусским неровностям он был серьезен и неуступчив, свирепея от невозможности ехать быстрее, так и не привыкнув к плохой дороге.

В пути Шмырев добавил к его возрасту несколько предполагаемых лет против прежнего: Петька теперь выглядел немолодо и зло.

Минут через десять, удачно прибившись к обочине, оба вышли на пригорок, где, как на платформе досадно забытый чемодан, был установлен свежий крупноблочный дом.

Минуя прилегающие по-фронтовому какие-то рвы и окопы, Шмырев с Петькой все же достигли крайнего подъезда (вернее, подхода), почему-то уже освещаемого голой электрической лампочкой.

Пошаркав о кем-то брошенный половичок и смиренно кланяясь, Петька спел басом: «Вот она, моя деревня...» — и без смеху уже, широким пригласитель-

ным жестом махнув на дверь, прошел в подъезд, увлекая за собой томящегося Шмырева.

Гулко протопав узкой лестницей-гармошкой, взошли на верхний этаж непросохшего дома. У Петровой двери стоял, ростом в пояс, с железом по углам, сундук, удивительно похожий на бабки Пашин: той же вековой, несокрушимой прочности, сработанный, возможно, одной и той же рукою. Стоять ему здесь, вознесенному к пятому этажу, видно, было неуютно и неловко; он по-дедовски стеснялся своих мятых боков, нехотя выглядывая на яркий электрический свет... Тут же, в углу, были приставлены детские новенькие санки.

Петька застрял, ворчливо шаря в широких карманах; наконец из глубины одежд он выудил звякающий ключик и аккуратно надавил на податливую дверь.

Скинув сапоги, Петька в носках прошелся по квартире, заглядывая в разные углы, будто видел ее впервые, и вернулся, зачем-то потрогав стену, оклеенную обоями в мелкий цветочек.

— Сырая, стерва,— сказал он равнодушно и, оглядев шмыревскую обувку, добавил:

— Ну пойдем, что ли, так. На субботу все одно полы мыть.

Потоптавшись еще на резиновом коврике, Шмырев вошел вслед за Петькой в крупноблочную хоромину, тесно крытую сверху железобетонной плитой, как будто привычно-знакомую и не раз виденную, но от типовой емкости которой он, как оказалось, за отпуск отвык, отдыхая в просторах, замкнутых небом.

Невнимательно оглядев обстановку, Шмырев спросил отвертку и сразу углубился в починку.

Петька сидел под лампочкой посреди комнаты, смоля беломорину, и сочувствовал тонкой радиотехнической работе, задавая попутно придуманные вопросы, чтобы заполнить неудобную тишину. Его первоначальное многословие как будто убавилось либо безо всякой причины, либо его теперь перевесили значительные по какому-то поводу раздумья.

— Бабы моей что-то долго нет,— задумчиво высказался Петька, поглядев в окно, где емко загустела теперь подкрашенная розовым синева, и крепко вмял

папиросу в обрезок медной гильзы.— Видать, за мальцом пошла. Или в мáгазин...

Вздохнув, он сошел с табуретки и, побродив по комнате, уселся на диван.

— Бабы-то они редко чего в технике понимают... Сегодня будто яйца завезли и хека. У нас, слышь, в прошлом годе по осени даже ром склевали «Негру», а раньше того водку выпили приезжие да студенты. Шефы, значит... Здоровы они пить, а вроде бы и хлипкий народ, а тоже! — добавил он не то с укором, не то уважительно.

Шмырев отыскал несложный дефект в запыленных недрах фанерного ящика и попросил паяльник.

Петька на это сразу откликнулся, оживая поспешной радостью, и загремел в коридорчике железом.

Шмырев, ожидая, посмотрел фотографии под «Тремя богатырями», где из праздного любопытства узнавал Петьку среди разных прочих лиц.

Шмырев наконец получил паяльник каких-то редких, стародавних форм, напоминающий небольшой утюг, работавший к тому же не электричеством, а прямым нагревом.

Шмырев бегал на кухню, где они с Петькой, веселясь, совместно подогревали паяльник, получая тем самым пищу для разных шутейных разговоров, и коекак, с дымком и прибаутками, запаяли нужное место.

Приемничек ожил и засветился, запрудив комнату веселящим посвистом и бульканьем. Петька припал ухом к нему, как будто ему было слабо слышно, самозабвенно крутил ручку и удовлетворенно хмыкал, вслушиваясь в музыкальные обрывки и дальние незнакомые голоса.

— Во,— сказал Петька торжественно, отойдя на некоторое необходимое для обзора расстояние.— Это, брат, техника. Это тебе не хвост собачий: тут понимать надо,— вразумлял Петька вроде недопонимающего Шмырева.— Тут знать надо, по какой жиле какой крепости ток текет и каково он падает на сопротивлениях,— заключил он и тишком покосился на Шмырева — узнать, правильно ли он все излагает.

Шмырев опровергать не стал, а сел на стул и посмотрел в окно, где в темнеющую глубину дороги уходили редкие машины, подрагивая на задках красными ускользающими огнями.

— Ну ладно, пойду я.— Шмырев вздохнул, устало ощутив, что все это уже когда-то было с ним; будто на этом стуле отсидел он полжизни, отразившись в жизни чужой.

— ...Да ну ты чего это, парень?! Ты эт, Сашка, чего?.. — замахал Петька руками и в растерянности потянул съехавший напрочь носок. Всерьез, вероятно, убоявшись такого оборота событий, он даже переместился к двери.— Ты это... не надо так,— смягченно укорял Петька, перехватив на дыхании свой испуг.— Вот зашел только что и, видали его,— пошел... Ты там чего, бабки Прасковьи своей не видел? Или жены?.. К вечеру в аккурат и свидишься,— закончил Петька, торжествуя, и с лукавой игрою глаз выудил из буфета бутылку водки, довольно щурясь через нее на свет и усугубляя значимость момента.

Шмырев помялся, но как-то обмяк, не желая противиться неизбежному, и, повздыхав, остался: ко всему хотелось есть.

— Тут скоро баба моя придет, мальца мово посмотришь... Картошечки организуем,— доверительно сообщил Петька, как бы нарочно или случайно совпадая с робкими шмыревскими надеждами.— Тут, брат, такое дело: не каждый день бывает, а обмыть тоже, конечно, надо,— итожил Петька, напирая на законную святость обряда.

Погремев стаканами на кухне, он возвратился с надлежащей посудой и банкою грибов.

Прочнее укрепясь на табурете, Петька сделал почин за торжество текущей техники, смакуя по-деревенски и соблюдая нужную обстоятельность.

Шмырев покорно поддержал раз и другой, деликатно внюхиваясь в корочку от хлебного кирпича и по ходу дела даже поддакнув по какому-то поводу. В паузах между тостами раскручивался доверительный разговор.

— Вот, вроде как квартера.— Петька громко разломил огурец, озираясь по комнате и словно чему-то не доверяя.— Ванна там, сортир... — вяло перечислял он, убеждаясь в удобствах перед посторонним.— Это конешно: на двор бегать не надо и задницу, допустим, не застудишь...

Шмырев сидел с грибком на вилке, благосклонно вникая в Петькину речь и прислушиваясь заодно к

собственным возникавшим по этому поводу соображениям.

— ...Чего же, это правильно. Все так: прибавка благосостояния и стирание граней города и деревни,— продолжал Петька, между делом заботясь о порожних стаканах.— Мы тебя, говорят, Петр Федякин, за показатели двинули и предоставили квартеру с конфортом. Ты у нас, мол, как передовой, должон вовремя отдыхать на фоне городских удобств и, все это осознав, прибавить успехов в дальнейшем труде. Ну это, допустим, ладно: все правильные слова.— Петька поерзал на табурете, будто было ему неудобно сидеть или в чем-то он имел осторожное сомнение.— Будь, Александр,— сказал Федякин, торжественно и кратко расставляя слова, надеясь на серьезную отзывчивость нешуточному разговору.— Вот я размышляю: а на кой мне показатели эти самые повышать, ежели у меня, допустим, напарник — Генка Морозов — в нынешнюю запарку, в самую косовицу, малодушно ушел в запой?.. Или в прошлом годе: то же самое. «У меня, говорит, такая насущная болезнь. И тут, мол, медицина наотмашь бессильна. У меня трактор стоит, потому как на нем более некому работать. Пускай, говорит, там пока шефы поломаются и ручками покамест бурачок подергают. Чтоб служба, значит, медом не казалась. Им за это по городам деньги платят. Умаются — меньше выпьют. А то пущай бы с собой и привозили...»

На такой резон ему, конечно, мало кто мог чего возразить. И бригадир Вовка Малышев не возражал, чтоб не тратить даром нервов, и ушел в совхоз Дзержинского, ссылаясь на нашу тут беспросветную отсталость. Или зазноба у него там, говорят, была — я не знаю... — Тут Петька посерьезнел, влажнея глазами — то ли от лука, головкой которого он аппетитно хрустел, то ли от наступившей сентиментальности положения. Он круто опрокинул стакан, дернув кадыком.

Шмырев отпил, не чувствуя вкуса водки, и налег на грибную закуску, без стеснительности уже утоляя вскрывшийся голод и благодушнее заглядывая в отплывающее Петькино лицо.

— ...Нутоть, а Генка Морозов, между прочим, в соседнем доме живет.— Петька, покривившись, махнул рукой куда-то в стену, ненароком сшибив под стол

хлебные крошки. Шмырев, туго подвигаясь в памяти, едва припомнил еще один такой дом-близнец, установленный где-то неподалеку.— ...У него баба, видишь ли, доярка, в передовых, и, стало быть, Генке попутно слава и почет, и туда же: дом с городским конфортом... — Петька, округляясь глазами, немигающе уставился куда-то поверх шмыревского плеча, печалясь невысказанным каким-то ревнивым сожалением.— Ну, да пес с ним,— распорядился Федякин, оживая на оставленном в бутылке.— Это ладно там, что до меня горячая вода не достает — и холодная как будто слабо напирает... Подогреем, не князья. У меня зимой было — не засидишься: в щель задувает, с потолку песок, а под трубой дыра — собака, слышь, пролезает; ну, и баба мне, значит, вменяет ультиматум, что я через ту дыру с Веркой, представь, Амосовой переговариваюсь... Тьфу ты,— сплюнул Петька, заходясь сердцем и осуждая в едином и достаточном плевке бессловесно понятную между мужиками слабость бабьей головы.

Ну, я там заделал, где надо, зашпаклевал. Нешто мы безрукие?.. А у меня, Саш, прямо тебе скажу, переезжать душа не лежала: одно дурное любопытство. Ну во, уж скоро год, а все непроходящее у меня чегой-то изумление: это ж какие вахлаки наш дом ладили?! — Петька, выгнувшись вперед и даже оторвавшись от табурета, приблизился лицом к Шмыреву, едко дыхнув луком и, как видно, все еще не уставая удивляться.

Но, как я слыхал, это у них сплошной повсеместный дефект, и по городам то же самое,— утешался Петька.— Это у них, я где-то читал, вроде как стиль работы: чтоб народ цену знал и не затосковал в сидячем безделье. Чтоб у народа руки сами прикладывались, когда это место захолодает...— Петька размашисто указал это место, своеобразно понимая, как видно, читанный где-то газетный фельетон...— Ну я и прикладывал зиму: тут подмажешь да там подоткнешь. Стекловаты достал, ну и там по мелочи... Да и то спасибо строителям,— вдруг завернул Петька не своим каким-то голосом.— Без дела не оставили. Я тут на всю зиму растянул и на другую малость оставил...— Федякин в тяжелом хмельном упрямстве уперся в стол большими темными руками.

А то сидишь тут... как сыч,— Петька неожиданно ослаб голосом, трудно продавливая звуки в хриплое горло, потому что хотел, быть может, крикнуть, но что-то там не получилось, не сработало; Шмырев ждал удара в стол или чего-то громкого, с опаскою уменьшаясь на стуле.—...Сидишь и сидишь,— выравнивался Петька, что-то, помимо разговора, упрямо утверждая в себе или отбрасывая напрочь.— Вскарабкаешься в пятый этаж и торчишь как петух на шестке...— В соловых Петькиных глазах появился раздраженный подвох, рот неспешно сложился бубликом, кургузые пальцы растопырились; здесь Шмырев не на шутку убоялся, что Петька сейчас кукарекнет дурным голосом, а может, малость поднатужась, и взлетит: выпитое уже свободно гуляло по шмыревскому организму, давая простор доверительности.

Однако Петька, в этом состоянии быстро переходивший из хмельной, до юродства душевной распахнутости в раздраженную, прорвавшуюся из-под спуда кручину, кукарекать не стал и уже присел, не глядя на Шмырева, скорбно прислушиваясь к томительному неудовлетворению.

— Я вот этих строителей даже понимаю,— продолжал он глухо.— Заезжие хлопцы, у каждого, допустим, семья... Ну, и в первом приближении им, конечно, хоп что: сегодня тут, а завтра подалее. Но вдругорядь набежит, и подумаешь на глубине души: ну им-то что, и Генке Морозову тоже, вроде, нипочем, а как обернешься вдруг к себе: а мне?! Да представляешь: по спине как наждаком, как перцем под хвостом дерет от крутой постановки вопроса... А ведь это ж как надо?.. Что от нас требуется?..— горячился Петька, тяжело ворочаясь на табуретке.— Тут требуется, чтоб всяк работал — не отбывал, не дуриком, а на порыве незатихающей совести, понял?..— Петька возбуждался, грозя от грудного напряжения сорвать мелкие пуговички на сорочке, и говорил уж будто не от себя, а от неведомого лица, широкими руками, как экскаватором, загребая массивные пространства мутного от табаку воздуха, как бы захватывая что-то большое и невозможное, как потребный объем той самой незатихающей совести, которого должно было хватить на большую и долгую работу.

А человек... што?.. Сам знаешь — не машина.— Федякин в удивлении потрогал взмокший чуб, затрудняясь выразить степень человеческой несостоятельности перед разумной силой живого механизма.— Механизм — он ить, едрена вошь, завсегда с характером: ну, и человек — каждый со своей подковыркою. И машина износ имеет и перебои, как и человеческое существо. Ей ведь солярки подай для работы и масла. Но у машины совести нету,— резонно рассудил Петька.— А человеку, окромя того, что выпить хочется, иногда тяжелеет с личной совестью ходить. Ее бы с больного-то места отвинтить да сунуть куда подальше — чтоб не мешала... А есть такие, што ее отродясь не имели. Или по разным поводам в дороге растеряли,— мрачно насупился Петька, начиная высказываться какими-то кручеными афоризмами, от которых сам дивился и хмелел.— А совесть-то — она у людей всяко по-своему... Да разве ж можно это на одну человеческую совесть государственные крупные дела рассчитывать?! Я вот овощ беру у Ваньки Пронякина. А где ее взять — овощ-то?.. Огородишко нам срезали, как мать померла. А он, мерзавец, знай дует прям по рыношной цене... Совхоз у нас молочный: бурак на корм да картошка. Ты на меня погляди: я цельный день на тракторе.— Петька, призвав поглядеть, также с пристрастием осмотрел себя, словно удивляясь своему текущему состоянию вне машины.— Возьмешь хлеба да картохи холодной — и будь здоров. Где б сорганизовать горячие обеды... А мне сухомять эта знаешь где?! — Петька выругался, больно резанув себя ладонью по красной шее.— А у меня... гастрит вот у меня — доктора сказали. И неправильность печени...— Петька, начав с вызовом, поблек на фразе, проникаясь к себе участливым сожалением по поводу безвременных растрат здоровья; оттого его голос пришел к детскому, почти жалостливому, обижающемуся полушепоту...— Мне вот диета нужна особая,— исповедовался Федякин, чаще заморгав вспухшими, невыразительными глазами.— Мне, может, на курорт надо,— упрямился он, низко сбычившись, будто мерил глазами ширину стола; алюминиевая вилка, оказавшаяся в Петькиной руке, вдруг согнулась и поникла, как вареная макаронина, под неразборчивым прессом сцепившихся багровых пальцев.

Шмырев сидел, скучая без серьезной закуски, и кивал бессловесно, прислушиваясь к Петькиному неровному голосу.

Петька со всеми своими заботами теперь будто уменьшился в масштабе, непринужденно отъехал, завешенный сизым дымным покрывалом, в единую плоскость совмещаясь со стеной в мелких цветочках, откуда он держал приглушенную, как бы из-за экрана, речь, по ходу дела кружа ватными ненатуральными кулаками.

Заодно Петькины насущные заботы, как будто вскипавшие рядом и прущие из наболевшей души усталым, прокуренным горлом, сразу скатывались вдоль стола, позвякивая стеклянной посудой, редко задевая Шмырева своим дальним, посторонним смыслом. Однако кое-где, в сильных местах, он прикреплялся к достаточной крепости Петькиных объяснений своим дармовым механическим сочувствием, поддерживая тем самым канву пущенного по течению разговора: кивком, усердием глаз или просто подъемом стакана.

— ...Хотя чего там, на курорте, делать-то?..— бубнил Петька.— Я ить был позапрошлым годом: пока до пляжу допрешь сквозь сеть питейного обслуживания — не в море хочется, а в тенек куда поглубже закатиться... И вернулся я до срока: давление сто шейсят и переворот печени. Нечего там делать усталому человеку, вот что...

Шмырев, размягчась на стуле, без спросу уже влез в Петькину захватанную пачку и, смяв беломорину свисточком, закурил, забросив свои легкие городские сигареты, от которых под водку на языке расходилась едкая тягучая горечь. От долгой прочувствованной затяжки он ощутил, как пузырится душа послушной легкою пеной, облегчая простое понимание предметов: необходимость своего присутствия и приподнятое тепло обстановки; повернувшись, он тихо ухмыльнулся выплывающей с коврика грудастой белой лебеди.

Петька хотел еще добавить про курорт, но тут тенькнуло из коридорчика: Шмырев, не успев ничего сложить в голове, ни приложить насилия к вялому движению мыслей, со звонком, однако, сразу понял, что явилась Петькина запропавшая жена, и равнодушно подумал, что не пора ли домой, на деревню,

Петька, однако, то ли не слыша, то ли от невозможности сразу выбраться из заповедников души, замешкавшись, недоверчиво и печально вглядывался в искалеченную вилку, прилипшую к ладони, пока не встрепенулся на внятное, уже нетерпеливое шарканье сапог в коридорчике и громкий дверной хлоп.

Спешно поддернув носки и отозвавшись из-под стола каким-то неопределенным замысловатым звуком, Петька сошел с табуретки и валко засеменил к выходу, мельтеша по свежему паркету синими штопаными пятками.

Шмырев бесцельно приблизился к окну, слабо ощущая зыбкие от долгого сидения ноги, и заглянул сквозь стекло в неразборчивую темноту, чмокая облетающую горьким пеплом притухшую папиросу. В наступившей тишине слышался ему пронзительный наступающий голос, вероятно, федякинской жены и гулкий в басах миротворящий Петькин рокот; в приотворенную дверь ему послышалось чье-то незнакомое дыхание, на затылке своем он ощутил посторонний предубежденный взгляд, и будто даже в оконном стекле пупырышками взмелькнул, чуть задержавшись, цветной платок шалашиком и строгие глаза — картинка, навстречу которой непроизвольно чуть улыбнулся Шмырев, поблекла, засвеченная еще дымящимся от курева красным абажуром.

Первоначальная горячность разговора спала, и за дверью попритихло; Петька уже не цыкал и не убеждал, бубнил ровнее и мягче; вскоре за тем Шмырев услышал, как сочно шмякнулась в кастрюлю очищенная хозяйкой картофелина.

Коснувшись лбом ровной стеклянной прохлады и вольно раскинув руки, Шмырев различил во тьме два безвестных огонька и легко подумал о деревне и жене: что жизнь его вообще не случайно влетела в деревню, и он даже ощутил полузабытую совестливость гуляки, которому грозит еще неловкость домашнего объяснения и путаный похмельный сон.

Распаренную до цыплячьей желтизны картошку брали руками, обжигаясь и спеша обмакнуть в блюдечко с постным маслом, уснастив блюдо укропом и по поводу сопутствующими прибаутками.

Петькина супруга Нюра, так и не вступив в разговор, обнесла мужиков и, удовлетворив любопытство

задержавшимся на Шмыреве взглядом подозрения, удалилась, промелькнув завершенным богатством по-деревенски полновесных форм.

С тем же неловким Шмыреву молчанием она забрала со стола порожнюю посуду, напоследок показавшись в дверном проеме, на этот раз с дитем неопределенного возраста и пола, удобно пристроенным на руках.

Терпимость ее к Шмыреву имела под собою одно для всех жен универсальное соображение: пущай лучше пьет на глазах дома, чем где-то, с кем-то...

— ...Ну-ко, видал мальца мово? — ревниво интересовался Петька, заметно оживая с приходом жены.— Ты не гляди, што мал, руками-ногами кружит, что твой искаватор: батьке вчерась чуть нос не сорвал. Шустрый,— рассудил Петька в горделивом восхищении и задумчиво выудил из-под стола нечаянную четвертинку.

— За мальца надо.— Петька был краток и разлил, не произнося лишних слов.

Шмырев, поймав себя на том, что вроде плошает от затянутости неразбавленного молчания, встрепенувшись, подтвердил, что малец, конечно, мировой и, дескать, по батькиной стезе выйдет прямо в трактористы.

— Трактористом ли, нет — хрен его знает,— Петька насупился, упрямо глядя куда-то поверх стакана.— Но от себя, слышь, не отпущу...— здесь смолк Петька Федякин, утопая в своем; молчал Шмырев, слушая, как ширится и плывет в голове волна беспечного голубого раздолья, подтвержденного последним тостом; где-то за стенкой, дребезжа и срываясь стершимся механическим голосом, прокуковало неразборчивый вечерний час.

У Шмырева, однако, образовался свой, вольный отсчет времени, где было просторнее каким-то его разбежавшимся думам — насчет того, почему бы не отпустить мальца, как вырастет, на все четыре.

— ...Он ведь не первый у меня.— Петька громко закашлялся, растворяясь на время в табачных туманах.— У меня ить старшой сын есть, Володька...— Федякин обеими руками неловко сгреб стакан и вдавился локтями в стол, быть может желая опереться, заглядывая Шмыреву в глаза и будто виноватясь этим

своим признанием, не имея внутри какой-то нужной опоры и уверенности.— Он ведь, Володька, есть... где-то. А вроде как и нету его... С армии вернулся — ни денька дома не побыл. В Питер его понесло, там и девку взял, женился. На стройке теперь работает... Я ведь его домой звал христом-богом: квартера у нас двукомнатная. Он отписал: «Чего, говорит, я, старшина Черноморского флота, буду в этом вашем совхозе делать? На што глядеть? На кого?.. Ответьте, батя, в письменном виде». Я ему ответил... Все-о ответил,— провел Петька тихо, с подрагивающей хрипотцою, незаметно для себя раскатывая по столу гремучий стакан.

Он примолк, в медлительной сосредоточенности перевернул беспокойный стакан и, послюнявив папиросу, прилепил к донышку, разглядывая вблизи этот не то факел, не то фабричную трубу.

За стеной басисто заревел ребенок, убедительно заполняя тишину фактом своего неповторимого на земле существования.

— ...А этого уж... не отпущу.— Петька яро вдавил в дно стакана торчащий окурок плотным медвежьим нажимом, отчего пискнул паркет под столовыми ножками, и Шмырев, отдельно блуждающий мыслями где-то от деревни к городу, понимал, что, похоже, не отпустит в самом деле.— ...Да ведь и то, куда там,— вздохнул Петька.— Убегет. Силком, как видно, не удержишь. А кто его знает, какая там жисть-то впереди... Может, сызнова, задрав портки, на деревню побегут, а? — Петька по-бабьи припал щекой на руку, затаив про себя хитринку либо слабую, какую-то недоверчивую надежду.— Может, это, как его... обратно на природу?.. Природа — она пока еще кой-где сохранилася... Может, как грани-то сотрут, и ее под горло? Шестидесятиквартирными засеют квадратно-гнездовыми... Комплексное решение всех проблем. Куды ж, скажи, усталому человеку вернуться?! К чему припасть, скорбя поздней слезой?..— Петька затосковал, выпучив глаза и важнее осанившись на табуретке от появившейся возможности высказаться грамотно и сокровенно.

Было видно, как долго носил Петька Федякин свое сомнение и беспокойство, как резче вглядывался в жизнь, успевая исправно крутить баранку и нажимать нужные рычаги, хотя половина его теперешней жизни

проходила сравнительно спокойно на пятом этаже дома с почти городским «конфортом», в присутствии любящей жены, Почетных грамот и большого телевизора на голенастых ногах...

— ...Ну чего, Сашка, а? Чего жмуришься, вроде как сомневаешься... Вернутся, увидишь вот. Прибегут... Их колбасой да кином захватило, удобствами — ну, это там понятно: дело молодое и резонное. Они теперь сопливые — грамотные, их теперь агитками во заманишь! — Петька громыхнул в стол убедительным кукишем.— Они там, в городе, бока набалуют — их обратно-т на деревню хрен пропрешь... Но погляди от: чтоб молодь оставалась, надо, чтобы это всякое вещественное тут, при земле, было. А кто его сработает, коли бегут?! Бабка твоя, Паша? Или, может, шефы ваши сработают?..

Кто там должен сработать, Шмырев по совести не знал, не успевая даже следить за разгулом федякинской мысли; Петька тоже примолк, оглушительно чувствуя, что въехал куда-то не туда и теперь катается вкруговую.

— ...И вообще — что говорить... Непорядки в международной обстановке,— продолжал он менее убедительно, теряясь от неожиданной емкости темы.— Мы все тут в глубине, ну и вроде как в стороне... Но газетки, между прочим, тоже почитываем,— Петька ехидно повертел у шмыревского носа желтыми от табаку пальцами.— И кое-что про себя кумекаем... Дак что? Нешто мы посторонние?! — Петька свирепел, незаметно для себя привставая и двигая коленками скрипучий стол от одного подозрения, что его могут отодвинуть от главных вопросов.— ...Мы все тут понимаем; тяжесть зарубежной политики и трудности внутри и снаружи... Отчего по совхозу пятый год падение надоев? Ето, думаешь, племенное стадо?! Думаешь, не вижу, как у ей, у животины, по весне глаз мутнеет от соломы?.. Баба моя говорит: «Мне коровы стыдно, хоть она тварь бессловесная: взгляд у ей дюже чувствительный...» Ты бы, отвечай, потянул на соломе?! Арапы тоже мне...— отвернулся Петька, устав грозить пальцем.— У нас, Сашка, на земле делов еще куды как много...

Петька снова подпер рукою заметно потяжелевшую голову, что означало теперь хорошую тайную

мечту, и строго посмотрел сквозь Шмырева далекими нездешними глазами.

Шмырев, по каким-то направлениям имевший разногласия, спорить не захотел, беспокойно поймав себя на том, что потерял счет захваченным беседой часам; отыскав глазами будильник, он удивился краткости времени в трезвом натуральном масштабе и решил, что ему пора.

Распрощались за дверью, от которой тянуло еще теплом, разопревшими сапогами, пеленками и забытым в сковороде жареным луком.

Жена Нюрка совсем по-городскому брякала в кухне блестящей посудой, нянькая между делом звонкого федякинского младенца.

Петька шумно вывалился на гулкую площадку, не прекращая разговора, будто спешил договорить самое нужное; на лестнице вдруг растерялся, в замедленном хмельном недоумении шлепая Шмырева по плечу, и бессловесно, в который раз с нерасчетливой силой тискал занемевшую шмыревскую руку.

— ...Вдругорядь заходи. Я еще... мы не договорили. Я в Урядках буду. Меня там, Саш, всякая собака знает... Ты з-заходи. Тока не обманывай, слышь? Мне с тобой поговорить надо...

Петькин голос терялся вверху, гулко рассыпаясь в лестничных гармошках. Набрав скорость, Шмырев резво скатился в распахнутый подъезд, окунаясь в вечернюю прохладную неподвижность.

В легкой его руке еще хранилась осязаемая беспокойная сила и Петькина, переданная из рук в руки, вещественная с обещанием встречи недоговоренность.

Шмырев, выбирая себе короткий путь, счастливо угадал на плохо различимые мостки и, пугая задремавших на скользкой глубине лягушек, без лишних дум миновал трудное для всякого трезвого человека место.

Споткнувшись не более двух раз, он выбрался на прочную дорогу и, обернувшись на оставленные огни, зашагал, рассчитывая на всю ее доступную ширину.

До деревни было верных километра три. Шмырев разгулялся, шел свободно и ходко, не ведая, впрочем,

настоящей скорости своей ходьбы. Так и не сумевшее целиком стемнеть, над ним опрокинулось не окрашенное по краям, остывшее небо. На его перевернутом затвердевшем дне, как раз над шмыревской головой, на все стороны, путаясь и цепляясь друг за друга, светились звездные гроздья нестерпимой прохладной голубизны. Где-то в стороне, в не затронутом темнотою месте, еще малиновел, будто стыдясь длины своего на земле ярого присутствия, завернувший за окоем вчерашний день.

Свежая от минувших ливней, усталая от дневных переездов дорога бережливо несла тело Шмырева.

На попутную машину Шмырев не надеялся и вообще ехать не желал.

Он шел, как хотелось ему,— свободно, но от свободы рук и ног не прибавлялось в голове легкости, как не прибавилось ее от последнего тоста, и с каждым последующим шагом возрастала с удалением от федякинского дома раздражающая, оглушительная неясность...

Он забыл, как хотел, забежать в траву, не смутясь ароматами вечерней земли, не чаял попутчика — поделиться хмельной на слезе избыточностью, но, не тратя на другое внимания, каким-то чутким, непьянеющим отделом головы понимал, что ОТ СЕБЯ не отвернуться.

Подчиняясь уверенности шага, он сделался стройнее в думах, не давая пропасть приходящим мыслям, точнее следил за их строптивым движением, собирая в близкий кружок для какой-то важности обобщения, какое ему нынче надрывно хотелось сделать под редкое, неиспытанное настроение.

Шмырев, боясь пропустить главное, возвращался к федякинским монологам; так непосредственно, по воспоминанию, передалась ему как будто Петькина лихорадь, но никакого волнения не произошло: оставалась внутри ватная алкогольная гладкость — не было привычки к ответственности и большой заботе.

Было ему и нехорошо и непросто, как должно быть после всего: смаковать деревенскую тишь и шалеть от обступившей благодати...

...Шмырев остановился, не веря себе, и, обмякнув плечами, тихо сел в придорожную темноту, близко сливаясь с дорогой.

Чудился ему дальний, из деревни, будто знакомый собачий лай, такой невнятный, что утопал в перезвоне трав от случайного скользкого дуновения.

Рассыпчато скрежетнула ночная какая-то птица, не испортив тишины, и, не закончив, смолкла, слабея от одиночества; с неба осыпались некрепкие звезды.

Тут, безо всякого уже реального соответствия, явился ему Петька Федякин; вырастая от кромки леса до размеров своего крупноблочного дома, он полубожественно слегка не доставал до земли, мягко притопывая по воздуху синими штопаными носками, и беззвучно шевелил губами, дополняя отсутствие звука вращением глаз и неукротимым размахом рук, так что временами задевал висящий рядом для освещения местности лунный круг.

Здесь, совсем уже бессознательно, возник в придачу полузабытый озерный старичок Степан Фомич, всплывая из задетых попутно глубин заболевшей шмыревской души.

Фомич, с деликатной полупрозрачностью проступив поверх рассыпчатого звездного крошева, тоже что-то бубнил, настойчиво тыча оттуда перстом, как шпагой, в приуставшую за день шмыревскую грудь...

Шмырев, лошадино тряхнув головой, взвился на ноги и резвее припустил по дороге.

Он попритих; ему полегчало, и даже появилось счастливое ощущение опустошения души, расчищенной на большое неизвестное дело.

Шмырев сошел с дороги и, наклонясь, от избытка волнующей всеготовности, рванул придорожный цветок, внюхиваясь в серединку жадными ноздрями. Цветок, однако, не отозвался какой-нибудь жгучей природной тайной, а, напротив того, сонно пахнул пылью и окружающей травой.

Рассеянно закурив, Шмырев присел у дороги, теряясь от ее вечерней волнующей близости, и, вспомнив землю дневной, в первый раз улыбнулся, не увидев смешного.

Он привстал, будто кому-то навстречу, но не почувствовал ног: одну великолепную минуту он владел землею, не жалея отдавать себя, бескорыстно и робко пытаясь запечатлеть следы уходящего чувства растерявшейся, непослушной памятью.

...Шмырев по-детски волновался, глядя на убывающую луну, к которой успел привыкнуть в дороге. Под луной в это время проступила, чуть поднявшись от земли, редкая цепочка урядкинских огней.

В деревню Шмырев вступил уже родным человеком: собаки стихли, молчаливо наблюдая от заборов его размашистое шествие.

Молодежь, имевшаяся в Урядках в ограниченном количестве, всем наличным составом сидела в это время в клубе соседней деревеньки Кобылково, где вот уже второй час демонстрировался некий непозволительный малолетним двухсерийный итальянский кинофильм.

Шмырев, уверенно отсчитав слева две избушки и сделав по-солдатски прямой угол, шагнул в прогон, где тесно были навалены привезенные Федякиным доски и золотилась боками сработанная за вечер при соседском широком пятистенке ладная добросовестная опалубка, томительно распираемая сырым цементом.

Шмырев тихо подивился скорости частных работ и пнул знакомую дверь напротив, хватив напоследок вольного воздуха, где густо пахло свежим деревом, сонными травами и еще чем-то деревенским и трудноуловимым, связанным с постоянным присутствием человека.

...По возвращении Шмырев, однако, не получил никакого отдыха: по настоянию нервно заскучавшей жены требовалось идти ко второй серии злополучного итальянского кинофильма.

Шмырев, впрочем, не противился, имея за собой подготовленное в дороге заранее чувство неглубокой простительной вины; успел глотнуть из ковшика холодной воды и старался дышать в безопасных нейтральных направлениях.

Несмотря на мелкие хитрости, непосредственно за порогом Шмырев получил неожиданную, а потому обидную оплеуху — без последующего текста: на такое, как известно, способны женщины любого положения и воспитания, унизительно недопонимающие специфики мужского естества.

Шмырев смолчал, сразу простив женщине, будучи расположен прощать вообще: он еще общался с собою в сферах приподнятых, откуда бытовые банальные разночтения являлись крайне мелкими и незна-

чительными. Однако чувство вины сразу куда-то исчезло, замещаясь снисходительной досадой; Шмырев вздохнул, от непонимания близкого человека, и впредь без ненужной опаски дышал уже произвольно. Ему подумалось, что бывают моменты печального человеческого несовпадения — неуступчивой обоюдной правоты.

Половину ночи Шмырев провел в разгульных, беспамятных снах и часа в четыре утра послушно раскрыл неотдохнувшие глаза, встретив мутную, расслабленную темноту. Неосторожно оторвавшись от теплой подушки, он ощутил изумительную полновесность головы с тягостным разлетом далеких, несобранных мыслей.

Завидуя спящей жене, Шмырев не сразу нащупал березовую ступеньку непослушной, бесчувственной пяткой и неуверенно опустился в скрипучую сенную прохладу. Неудачно натыкаясь на расставленную гремучую посуду, он щедро черпнул из ведра и, припадая к железному ковшику, часто запрыгал кадыком.

Отдышавшись, Шмырев вышел по нужде под свежее, розовеющее небо, неспешно теряющее звезды, и задержался на нем коротким жалеющим взглядом, забывая ушедший день и неладно затянувшийся вечер.

Облегчившись, он влез под крышу досыпать отпущенное до света время.

Пробуждаясь окончательно шумливым, работящим утром, Шмырев долго не разлеплял глаз, слушая надоедливую заботу дальних тракторов и легкие сытым довольством птичьи голоса.

Прислушавшись к слабым утренним мыслям, он бережливо приподнялся на локтях, различив за чердачным окошком полноправную неразбавленную синеву.

Жены рядом не оказалось, и Шмырев, стараясь двигаться плавно, запоздало спустился в кухню, заботливо обернув шею длинным полотенцем.

В кухне его долго занимало бритье неловкой, похмельной рукой. Вздохнув, он щедро облился одеколоном и прислушался к заглушенным дверью женским голосам. Не чувствуя прибавки свежести, Шмырев толк-

нул дверь, шагнув в чисто выметенную светелку, где с порога пахнуло хлебом и вареньем, откуда поманил его беспощадного блеска медный самовар.

Самовар возвышался как раз посередке между двумя знакомыми ему женщинами в некоей торжественной симметричности, его тепло и щедрое сияние целиком заполняли комнату, достигая дальних, позабытых углов, и казалось, что рухлядь и наваленное там какое-то тряпичное барахлишко тоже пылятся значительно и недаром в разлившемся праздничном свете...

Шмырев тихо поздоровался, нарушая женский разговор, и невольно улыбнулся, заметив, что еда не тронута и в его, Шмырева, ожидании происходит томление в самоваре жарких березовых углей; в целом картинка задела его, обратя к далекому, чего он в подробностях вспомнить не мог, что было и не было или могло быть в отошедших мимолетностях детства.

Шмырев приналег на имевшиеся доступные продукты, утихшей похмельной душой безропотно приемля вегетарианство как раз подходящим случаю орудием духовного и вообще — очищения. Последний стакан чаю возвращал ему полноценное ощущение жизни, располагая к особым отношениям последнего дня, куда просочилась непредвиденная печаль какой-то неизвестной потери.

Бабка Прасковья Егоровна, собрав горкою лишнюю посуду, попритихла, примостясь на краешке сундука, не торопя не замечавшего ее Шмырева, а даже как будто любуясь его затянувшимся чаепитием; сундук был непомерно велик в сравнении с ее сухоньким, мелкогабаритным телом, и сидение ее было непрочным, будто притулилась она временно на жесткой вокзальной скамейке, откуда видны, однако, отправления и прибытия, суетное мелькание лиц и движение вещей... Так много было на долгой жизни рождений и потерь, знакомых и безвестных лиц, были обман, война и голод, смерть детей, беспросветность, отчаяние и робкая вера,— и теперь эта вот беспричинная радость созерцания как будто случайного лица...

Шмырев еще сидел на табурете, перекатывая по столу неостывший стакан, в неотложных думах о своем; уронив случайный рассеянный взгляд на старуху, пришлось ему замереть, осторожно подтянув ноги: уплывая по течению мыслей, он не успел спра-

виться с загадкой лица неожиданной, пугающей доброты.

— Вы чего, бабушка?..— растерялся Шмырев, запоздало дивясь непомерной глупости своего вопроса.

— ...Деточки вы мои...—Бабка Паша погасла на слове, как видно, стыдясь себя, и, судорожно как-то сглотнув и пошлепав старушечьими губами, покосилась под кровать.

Был ли похож залетный Шмырев единым хотя бы жестом, словом на ее сына, от хмельной случайной руки павшего на чужой невеселой свадьбе?.. Или был причисляем к детям вообще всякий, больно нарушавший время от времени ее незаслуженное, чутко переживаемое одиночество?..

Шмырев ухватистей вглядывался в картины деревни, отмечая избранное и пытаясь впрок кое-что сохранить для себя из доступных глазам мимолетностей.

Следя за работой мужиков вокруг соседней избы, он надеялся встретить Федякина. На починке дома происходила дельная суета и нужное какое-то движение, но Петьки Федякина не было среди этой работы. Этого человека сейчас недоставало Шмыреву определенно и весомо. Заботясь скорым отъездом, Шмырев отослал жену для сбора вещей.

Бабку Шмырев застал в работе: вывалив из дерматинового кошелечка мелкие деньги, Прасковья раскладывала по столу монетки, то и дело поднося к глазам замусоленный бумажный рубль, и вела вслух какой-то безутешный счет, добавляя на вздохе, кроме цифр, унылый рядок неразборчивых слов.

— ...Вот ить булку-т целую покупать — все расход один,— обернулась бабка на шаги, скоро переключаясь со счета денег, едва скользнув по лицу вошедшего Шмырева, целиком, как видно, занятая своим раздумьем...— Мне-т половину булочки на два дни как раз хватаит. Мурка-то не ест — кошкин организм не позволяет. А друга половинка усыхает... Куды ж мне с одним-то зубочком? А до пеньсии, милай, еще с неделю... А Шура, слышь, полбулки не дает — не положено им... И-их, родный: деньги есть — дак милый мой, а денег нет — и пес с тобой...— закон-

чила Прасковья, снимая юморком потаенную жалобу, могущую нескромно озадачить постороннего человека, и улыбнулась — виновато.

— Да что ж, бабушка?! Что там булки, да я...— У Шмырева расстроилось дыхание, однако в грудь он себя ударить не успел: в приоткрытую дверь довольно смело прошмыгнула рыжая какая-то девчушка и, мелко топоча парусиновыми сапожками, забежала за опешившую бабку, выглядывая из-за прикрытия и держась для верности за просторный старушечий подол. В круглых девчачьих глазах без ресниц держалась опаска и любопытство; однако в чуть намеченных редких бровях, у самого веснушчатого носа, появился эдакий укоризненный излом, что придало нешуточную деловитость ее круглому капризному личику.

— Ты чего это, Настена?..— засуетилась бабка Паша, растерянно путаясь в юбках.

Настена, громко вздохнув, вышла на середину, становясь в принужденную позу, в какой дети обычно читают гостям впрок заученное стихотворение; обозрев шмыревские ботинки и, как видно, вспомнив нужные неподатливые слова, спросила наконец, не тут ли дядя-мастер, который чинит; после чего получилась довольно долгая пауза.

— Да кого ж тебе, Настена?.. Чего чинить-то?! — заботилась бабка, включая в разговор непрочные старушечьи нервы.

— Ну этот... Ну как его, бабушка... телевизор,— наконец призналась Настена, бестрепетно взглянув на Шмырева, затихшего под образами на жесткой табуретке.

Шмырев поспевал вслед за девчушкой, пристальнее вглядываясь в расступавшуюся навстречу деревню, ощущая близкий предел времени, отпущенного ему до отъезда для нужных, безотлагательных дел.

Он шагал будто своей городской непохожей улицей, без тревоги и неудобства, потому что шел недаром, переживая незнакомую радость своей потребности человечеству.

Дом Ивана Пронякина, куда привела его Настена, оказался тем самым крайним по деревне, куда три дня назад набивался на постой бездомный Шмырев;

воскресив обстоятельства дела, он несколько увял и кашлянул в ладошку, снимая тем самым неуместную избыточность своего ликования.

У калитки встречал подошедших сам Ванька Пронякин — рослый, круглый лицом гладковыбритый мужик лет сорока, не без натуги усмирявший рвение двух очумелых псов, заранее изошедших лаем до булькающей, сдавленной хрипоты.

Ванька спешно и зло окорачивал их поводки, не забывая ладить в лице подобающее случаю благодушие, отчего физиономия его, не сдержав разнородного сочетания, неровно как бы перегнулась пополам, отмечая в целом некую гостеприимную растерянность.

Настена тем временем запропала куда-то, и Шмырев, беспокоясь этой потерей, вслед хозяйской спине шествовал уже один по твердой бетонной дорожке, где слева и справа, тесно выпирая из унавоженной земли, просились в продажу жирные хризантемы.

Сообщив коротко суть поломки, Иван ввел Шмырева в дом, указал в угол на козлоногий полированный аппарат и, винясь и крутя пальцами с намеком на магарыч, удалился во двор греметь какими-то железными предметами, оставив мастера на попечение дебелой своей супруги.

Шмырев взялся за дело, к которому празднично шел, однако ему не удавалось извлечь из ящика никакого заметного изображения; он долго раздумывал над незнакомой электрической капризой, запутанной в разбегавшихся проводах, и огорченно наблюдал расположившуюся посреди темного экрана, уменьшенную колбой пронякинскую жену Алевтину, довольно напряженно, но вроде как небрежно и по-городскому, нога за ногу, сидящую в пухлом диване, в нарушение естественных пропорций крупно выступая невозможных площадей круглыми коленками.

Шмырев, нервно чувствуя убывающий запас времени и не зная, что думать, отошел, испросив позволения закурить.

— Дак курите, чего ж, коли надо,— высокой скороговоркою отозвалась с дивана пронякинская жена Алевтина, готовно подвигая Шмыреву пепельницу тяжелого стекла, ловко опрокинув в ладошку какую-то бывшую в ней металлическую галантерею.— Мой-то не шибко балуется, дак я там булавки держу...

Алевтина приосанилась, незаметной рукой подбив спадающие на ухо завитушки и размещая туго затянутые кримпленом пухлые локотки на ухоженной полировке стола. Глянув мельком на затворенную дверь, она вздохнула тем вздохом, с тенью безысходности и нежной тоски, каким обычно вздыхают неглупые тридцатилетние женщины, вынужденные по недоразумению проживать в провинции и, так сказать, успевшие загубить молодость при подъеме сельского хозяйства.

Шмырев безнадежно пропускал мимо и вздох, и тонкую пастельную синеву над глазами, наведенную дефицитной зарубежной парфюмерией и выгодно усугубляющую махровость ресниц Алевтины, как-то снисходительно позабывшей о юном возрасте телемастера.

Мастер тем временем озабоченно курил, обижаясь на свое бессилие перед безмолвием ящика, и злобно размышлял, вынужденно и как бы нехотя осматривая модную обстановку, с широко внедренным сервизом, богато умноженным в зеркалах, позлащенными конями и другим необходимым для прочной жизни антуражем; здесь он поймал себя на том, что техника както самовольно отодвигается на задние планы, уступая странной параллельности мыслям о доме.

Шмырев рассеянно притушил окурок, что-то существенно не додумав про себя, и снова исчез за ящиком для второй попытки; раздражаясь неудачей, он стал делать ненужное, пробуя на обрыв все без разбору торчащие проводки, и получил в конце концов заслуженный удар током, болезненно принятый чувствительной потной рукой.

Как это иногда бывает в жизни, Шмырев случайно зацепил при этом некий единственный и нужный проводок, отчего сразу же и полноценно восстановилось изображение, сопровождаемое звуком ровно пашущего на экране передового комбайна.

Шмырев, не успев удивиться и еще бледный от тока, тихо отошел от просветлевшего аппарата, вызывая в очнувшейся Алевтине волны восторга, заглушавшие телевизионный звук, а также сожаление по поводу такой легкости, а главное, быстроты устранения поломки.

Алевтина, тяжело зацокав по избе высокими каблуками, хотела звать мужа, но, игриво как-то передумав на ходу, застенчиво достала из-за зеркала початую поллитру, заботливо прихваченную сверху бумажной самодельной пробкой.

Шмырев застеснялся, отвернувшись на комбайн, отходящий к новой трудовой победе, и, вспомнив о часах, неловко распрощался и вышел на воздух... Здесь он нетрудно сумел запутаться в рукотворных зарослях пронякинского огорода, где не пропадал ни единый квадратный сантиметр и в самых оптимальных землях произрастал всевозможный конъюнктурный овощ.

Выйдя от плотной стены неведомых нашей полосе экспериментальных растений, он к выходу не попал, а неудачно напоролся на хозяина, в эту пору как раз прилегшего под автомобиль хорошей последней марки для какого-то неотложного ремонта. Машина была почему-то красного пожарного цвета; выступавшие от блесткого, не заезженного еще колеса босые пронякинские пятки мелко взбрыкивали в борьбе с неосвоенной техникой, некстати веселя торопившегося Шмырева. Широкий просвет над землею от задранного кверху до возможных пределов автомобильного кузова не позволил ему тихо скрыться: прекратив работу и выбравшись из-под металла, Пронякин, стоя на четвереньках и деликатно извиняясь, завершал хлопоты у распахнутой дверцы.

Вздохнув и озадаченно помявшись, Пронякин приулыбнулся, поздравив Шмырева с успехом пожатием крепкой, мосластой руки, не переставая раздумывать по какому-то поводу и смазывая свои переживания наскоро затеянным разговором.

— Ты погоди, может, это... парники поглядишь, а? — справился он, вяло лохматя в руках потемневшую ветошь.— Семечки вот достал: огуречки у меня болгарские. Я тут, в округе, можно сказать, снабженец и известный человек... Да што свои-то — народ неблагодарный да ленивый: у них на задках морковь да картошка. Я все больше в город, ну и транспорт — сам понимаешь...— Пронякин похлопал свой транспорт по крыше, как хлопают выхоженного личным старанием телка.— Во как, парень, и в деревне жить можно,— назидал Пронякин.— А огуречки — это так,

для души... Может, поглядишь, а? На корнишоны-то...

— Да нет, спасибо. Пора мне...— Шмырев поглядел в небо над пронякинским огородом, которое было таким же безоблачным, чисто выметенным утренним ветерком — тем же, что над остальными окрестными угодьями.

— Да постой, слышь... У меня тут прошлым годом селекционер был из Питера. Занятный такой мужик... Мы с ним до того по почте списались на почве семечек. Дак он у меня три дня жил и все дивился. Все книгу хотел написать... Может, написал уже.— Пронякин распрямился в полный свой немалый рост, монументально возвысившись над прочим мелким окружением, не глядя уже на Шмырева и, вроде, не имея нужды в собеседниках.

— ...Ты што, думаешь, может, у меня земля другая?! Не другая у меня земля — та же самая... А вот ручки к ней надо прикладывать и уважение иметь. У меня откудова, думаешь, удобрения? Я, может, обокрал кого?! Никого Пронякин не обокрал. С дороги поднял два мешка — все одно к весне бы смыло без хозяина... Так-то, парень. Ты думаешь, денежки вгрохал на механизацию-химизацию, дак и урожаи тебе попрут?! Накося...— Пронякин сложил крепкий кукиш, пахнущий машинным маслом.— А деньги што? Так, бумага на размен... Тут отношение — понял? — отношение надо иметь к землице-то... А какое там, богу в рай, отношение, коли она, матушка, всенародная, а вроде как и ничья, смекаешь?..

— Мне идти надо. У меня автобус в четыре часа...— перебил Шмырев.

— Да погоди ты, успеешь. Я тебе так скажу, что овощ, коли шире поглядеть... Эй, парень, ты куда?! Куда побег-то?..

Шмырев, не сдержав приличий, удалялся в неизвестном ему, но противоположном от Пронякина направлении, рискованно перепрыгивая тьму грядок, расположенных в густом, могильном изобилии.

— ...Да постой, слышь, постой ты... Погоди, говорю, ботву порвешь...— настигал Шмырева грузный Пронякин, совершая, однако, вслед за беглецом над грядками большого изящества воздушные пируэты.— Ну, погодь... Эй, погодь, говорю...— Шмырев поневоле

остановился, чувствуя плечом торопливый жар пронякинского дыхания.

— ...Ну ты чего, бежать-то...— Пронякин испуганно отдыхал, выравнивая дыхание возле разбежавшегося телемастера.— Сичас и пойдем... Ты это... того. Возьми вот, за работу-то...— Ванька засопел, неловко ныряя глазами в пышные грядки, и протянул Шмыреву мятую трехрублевку.

Шмырев повернулся, не заглянув в пронякинскую ладонь, и, уже ничем не сдерживаемый, легко зашагал к калитке.

Он удачно прошмыгнул ограду, обманув бдение собак, в растерянной обиде забывших его облаять.

— Эй, парень, постой... Ты чего, обиделся, что ли?.. Ну, погоди, я шо — я пятерку дать могу... Вижу, парень гордый, грамотный...— еще слышалось от калитки уже неразборчивое, мешаясь с запоздалым неуверенным лаем.

— Иди ты, батя, знаешь куда...— огрызнулся Шмырев, догоняя счастливо подвернувшуюся попутную машину.

Он взлетел на подножку поговорить с шофером, а договорившись, рванул дверцу, взвенев пружинами сиденья: машина, непонятным образом получив второе легкое дыхание, резво покатилась в направлении села Красные Холмы, где Шмырев, рискуя своим тщедушным телом, без очереди все же купил килограмм мятных пряников для бабки Прасковьи.

...Поставив чемодан на землю, Шмырев оглянулся назад и отыскал свою деревню между двумя соседними; гуськом сбегая к озерцу, черными банями завершалась она у воды.

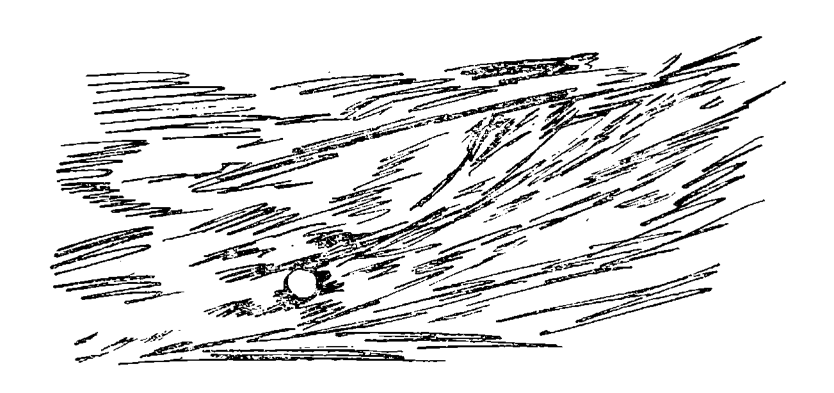
Над деревней стояло без движения воздуха бледное небо — без памяти о вчерашнем дожде и без заметных деталей, не давая зацепиться отъезжавшему Шмыреву за что-нибудь прощальным, памятным взглядом.

Шмырев видел теперь у края воды бодрое кувыркание детей, добывающих со дна ракушку в шелковой рубашке мягкой прибрежной тины, и представил, как, должно быть, сейчас шарахается в стороны вспугнутая рыбья мелочь на солнечных изломах мелководья.

Он присел у дороги, чтобы ближе слышать рассыпанных в траве кузнечиков, творящих негромкую вечернюю музыку, поднятую в воздух с приуставших, обритых полей.

Одернутый женой, Шмырев продолжал путь, не изменив, однако, мыслями и тяготясь чемоданом и неудобным свертком, барабанно колотящим в коленки.

...Виделся ему платочек горошками, немая растерянность старушечьего лица, в удалении терявшего знакомые очертания, с дрожащей паутинкою морщин, с темными глазницами, как в блюдечках держащими непослушную влагу, и вся старуха, тяжелее обычного припавшая к высохшей палке тающими, синими руками... Прасковья Егоровна отправлялась на свадьбу к малознакомым, позабытого родства людям с тайною надеждой на кусок хозяйского пирога, с ночевкой — до завтра...



Петр Кириченко

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРЕЛЕТ

Давно когда-то прозвали Никитича «Крепким мужиком». Он знал эту кличку и ничуть не обижался. Не раз заводил Никитич разговор о своем происхождении. «Чудского озера деревень,— говорил.— Вот откуда мы!» И в своей семье, которую он по непонятной причине называл «владения», сохранял нерушимый, однажды заведенный порядок: Никитич — глава и всему хозяин. Очень этим гордился, мог при случае ткнуть кого-нибудь носом: так, мол, надо жить... Ни советов, ни возражений не терпел, краснел широким лицом, дулся весь. «Сами знаем!» — обрывал, резко взмахивая рукой, как топором, и такого черта напускал в лицо, что говоривший отступался. Никитич же только ухмылялся. «Крестьянская хватка!» — пояснял он свою силу в разговоре. И удивительно это было, и непонятно, потому что Никитич, рано покинув деревню и выучившись летному делу, никогда больше не возвращался к родным местам. Жил он в большом городе, не интересовался ничем, кроме полетов, и очень гордился этим.

Жизнь его принадлежала неуклюжим, тихоходным аэропланам. Они, казавшиеся Никитичу живыми существами, наподобие стрекоз или мотыльков, отмеряли своими крыльями дни жизни, и не раз, подходя к такой стрекозе ранним утром, он осторожно касался остывшего тела и удивлялся простому понятию — он полетит! Но Никитич удивлялся потому, что хитросплетения стрингеров и нервюр таили в себе, по его мнению, далеко не простой смысл. Их высокое назначение вызывало в нем уважение к холодному, бесправному металлу, и он, не скрывая свое чувство, украдкой оглаживал самолет, как оглаживают коня, и басовито приговаривал:

— Работать надо, чертяка...

Никитич тяжело переносил даже чужие поломки, и если случалось так, что какой-нибудь молодой пилот — по неопытности, а быть может, от избытка сил — прикладывался к земле, оставляя в глубокой борозде детали машины, Никитич угрюмо пялился на непотребные никому, изуродованные «кишочки», на торчавшие, подобно костям сквозь мясо, огрызки металла и мрачнел... Своих поломок у него не водилось, и он сердито, с болью на лице спрашивал неизвестно кого:

— Ты подумай! Как же так можно?!

И через минуту, не находя ответа, спрашивал опять:

— Как же так?!

И не мог найти себе места несколько дней, а забывал тяжело и постепенно, подчиняясь только удивительной песне утренних взлетов, когда все летное поле сотрясалось от множества запущенных моторов. Никитич на земле не понимал их языка, взлетал в небо, и только там ему казалось, что все понимает, знает, зачем живет... Понятным становился лес, над которым он пролетал, и поле, и крыши домов. Никитичу хотелось запеть своим могучим голосом, потому что мотор все выводил песню, что-то говорил, и это «что-то» томило Никитича, подкручивало его, и он без надобности крутил штурвал, желая еще и еще убедиться в том, что он все же летит... Изредка Никитич нарушал строгую инструкцию, садился у особо понравившегося леска и бродил там. После опять взлетал.

На летчика реактивного самолета Никитич переучился одним из первых. Он был слишком старым для такого самолета (все же пятьдесят), но разрешили ему, понимая, что долго Никитич не пролетает. А он, переучившись, заработал на славу... О новом самолете Никитич отзывался хорошо. Его уже не сбивала с толку большая скорость, к умным приборам он притерпелся, но летал все больше по старинке, доверяясь особому чутью старого пилота. Леса и поля, столь любимые, теперь не так виделись с большой высоты, крыши домов еле различались, все больше облака внизу или же далекая, подсиненная карта земли. Но Никитич и к этому привык: не тосковал ничуть по «стрекозам», дарившим когда-то удивление и восторг. Ему даже постыдным показалось то, что раньше будоражило, томило какой-то недосказанностью. «Пустое все!» — решил Никитич, потому что надо было как-то решать.

Теперь он не летал, как прежде, а просто работал, как работают все.

Одно время Никитич пробыл в должности инструктора. К тому времени относятся его сердитые крики: «Не пилоты вы! Уголь грузить вам!» И молодые летчики покорно молчали, потому что перечить Никитичу никто и раньше не решался. А он учил их летать, учил, как распрямляться. Не прощал даже шероховатостей. «Выравнивать, как я сказал,— приказывал он.— Своевольничать не позволю! Понял?!» На то же время приходились вечеринки, устраиваемые по случаю последнего, проверочного полета. Как-то так повелось, что молодой командир корабля должен был отблагодарить всех, кто учил его летать и проверял. Порядок, так любимый Никитичем, полагался и здесь... Для начала Никитич выпивал стакан водки и начинал говорить о том, что ему-то пришлось летать три десятка лет до реактивного самолета, давая остальным понять, как им пофартило быть рядом с ним. Пилоты слушали, согласно кивали, радовались тому обстоятельству, что «Крепкий мужик» не будет больше летать с ними. Заранее намеченный человек, с трудом разрывая поучительную, скучную речь, предлагал Никитичу закусить. Никитич замолкал на секунду, презрительно глядел в лицо пилота и изрекал:

— Первый не закусываю!

В этот момент все присутствующие должны были хором восторгаться инструктором. Тут же наполнялся второй стакан. Удивительно, что Никитич не добрел от дармовой водки.

— Гляди меня! — басил он, оглаживая ладонью выпуклую, как бочка, грудь.— Мужик я крепкий! Во!..— стучал он кулаком так, что ухало внутри.— А почему, спрашивается?.. Потому, что знаю, во хмелю другим человеком становишься, а другой человек... он тоже выпить хочет. Вот каждый и должен знать, сколько в нем человеков сидит!

Так горланил Никитич, а то и пророчествовал:

— Погрязнете в пьянстве! Не будет вас, как пить дать, не будет! — И призывал опомниться. Да кто его слушал?!

Трезвым же Никитич был скуп на слова. Мог, правда, сообщить при случае, что он, Никитич, и есть «форменный» пилот, каких более не явится, потому как грамотные пошли да хилые.

— Грамота,— изрекал Никитич, поднимая вверх толстенный палец,— это хорошо, но для пилота...

И опять звучало:

— Смотри меня!.. Какая, к черту, грамота?.. Пять классов. А отлетал почти четыре десятка лет — и жив-здоров!

Тут Никитич вспоминал, что круто ему приходилось из-за отсутствия этой самой грамоты, и добавлял:

— Но грамота... тоже неплохо...

В полете Никитич жил бесстрастно, но уверенно. Глядел вперед, раздумывая о чем-то. А то вдруг начинал протяжные мотивы. Голос у него был густой, приятный, песни рождались болючими. Казалось, и слов-то других не было — одно лишь: «Судь-би-нушка». Грустные песни, непонятные, как мычание немого человека, и беспокойные. Но и они кончились, когда установили магнитофоны. Все разговоры на борту записывались. Никитич старел без песен.

Они летели второй час... Чистые и по осени беспокойные звезды холодно перемигивались и, зеленея, точили жидкий свет на приземную облачность. Ровная пелена ее, натекавшая с Белого моря, с десяти километров высоты напоминала степь, бесконечную и

густо притрушенную снегом. Сходство усиливалось еще и тем, что пучившиеся кое-где облачные холмы, серебристые и медленно плывущие под самолетом, были похожи на степные курганы. Заснеженные и опавшие с годами. Синее до черноты пространство над самолетом, откуда и проглядывал рисунок звезд, казалось бездонным и чужим.

Пилотская кабина, скупо подсвеченная красным светом, уменьшалась в размерах от рубиновых бликов, и все, что могло отсвечивать, приобрело кровавый оттенок: красные стрелки, красные штурвальные колонки. Лобовые стекла отсвечивали красным и, казалось, подгорали на невидимом огне, лысина бортмеханика, тихо сидевшего между Никитичем и вторым пилотом, отливала кумачом и была похожа на шар, подсвеченный изнутри. Лица пилотов краснели от непонятной натуги, а манжеты и воротники рубашек, казалось, должны были вот-вот обуглиться и почернеть... Надсадно гудела вентиляция, двигатели тянули на одной и той же ноте, пахло перегретой изоляцией и жареным мясом. Бортмеханик мысленно ругнулся на проводниц, не следивших за духовками, привычно осмотрел приборы, зевнул на ломоть звездного неба и закрыл глаза.

Штурман, отгородившись от пилотов потрепанной занавеской, придирчиво оглядывал звезды. Он подался вперед и запрокинул голову. Лампы подсвета тлели угольками, отбрасывая незначительный свет на его голову, на мятую полетную карту, брошенную у ног. Штурман, отвлекая себя от мыслей о Никитиче, вглядывался в черные просторы неба с набрякшими звездами, ему думалось, что за десять лет он видит такую прозрачность и черноту впервые, и он ощутил непонятное беспокойство и даже горечь. Слово, разом определившее бы мрак бездонного пространства и его величие, ускользало, и штурман, прошептав тихо «прорва», повернулся к приборной доске. Ему хотелось спать, потому что близился рассвет и потому что ночь выдалась бессонная. Они уже слетали в Москву, или, как говорил Никитич, «сгоняли в столицу», побывали в Мурманске и теперь возвращались домой. Не глядя, штурман включил приемник и подумал о том, что вылетать они не имели права. Он знал это и раньше, но теперь от чего-то встревожился...

— Две тысячи,— сказал он через минуту, глядя на стрелки радиокомпасов, бродившие словно безумные или потерявшиеся от горя люди.

Ему никто не ответил.

Стрелки вздрогнули, как живые, и слабо вспыхнули фосфором.

Слова, усилившись в динамиках, лязгнули в пилотской кабине и пропали. Динамики прошуршали им что-то вслед и затихли. Бортмеханик дернул головой и проснулся, сонно повел глазами по приборам, обреченно подумал о том, что к их прилету непременно затуманит, и пощелкал топливомером. Керосина было в достатке, и он успокоился. Запах жареного, доносившийся из кухни, щекотал ему ноздри, и механик с нежностью стал думать о сухариках. Он помнил, что еще с ужина принес три кусочка хлеба. Обычно, войдя на кухню и тихо что-то мурлыкая, механик готовил хлеб, освобождал его от прозрачной упаковки, посыпал солью из пакетика и помещал в жаркую духовку. После с наслаждением грыз соленый сухарь, весело угощал проводниц и приговаривал: «Сухарики-духарики»... Он так размечтался, что запах подгоревшего хлеба, сбивая с толку, нахлынул на него. Бортмеханик зыркнул исподлобья на Никитича, сглотнул слюну и остался сидеть на своем низеньком креслице.

Никитич второй час равнодушно вглядывался в звезды, теснившиеся по курсу. Он взлетел в Мурманске, набрал несколько сотен метров над сопками и привычно покачал элеронами. Второй пилот отчетливо произнес: «Взял управление», и Никитич положил освободившиеся руки на колени. Его разбирала непонятная злость. Штурмана он тихо проклинал за то, что тот подсунулся как раз тогда, когда Никитич просматривал прогнозы аэропортов. Все они, как сговорившись, полагали туман к рассвету. Молодая, измученная ночной сменой женщина терпеливо ждала, пока Никитич читал прогнозы. Штурман глядел из-за плеча.

— Ночевать придется,— сказал он.

Никитич зло повернулся к нему.

— Сами знаем! — прохрипел он.— Иди скажи: полная заправка!..

Штурман пошел к самолету, а Никитич сказал несколько слов женщине, и та, равнодушно кивнув, поставила штамп на задании. «Метеоконсультацию прослушал».

Никитич слышал, как штурман доложил видимость, как щелкнул два раза кнопкой внутренней связи, требуя подтверждения. Второй пилот ответил ему двумя короткими щелчками, но Никитич не пошевелился. Глыба его тела, не без труда втиснутая в кресло, оставалась неподвижной. Он взглянул на часы — оставалось сорок минут работы. «Обойдется»,— успокоил он сам себя и вдруг с отчетливой ясностью понял, что в этот раз ошибся непоправимо: прилетят они как раз к туману. Он запоздало согласился, что надо было пережидать в Мурманске. «Да, надо было ночевать!» — подумал он, и ему показалось, что он сказал эту фразу вслух. Никитич покосился на второго пилота — слышал тот или нет. Но тот спокойно глядел вперед, на колене у него лежала кислородная маска, а над головою помигивали, как бы предупреждая о чем-то, зеленые лампочки торопливых насосов. «Не слышал»,— решил Никитич и отвернулся к форточке. На земле, как и раньше, хранилась темень, но облачность кончилась. Кое-где тускло высвечивались огоньки, обозначая собою жилища людей. «Если бы метров пятьсот,— тоскливо думал Никитич,— этого, конечно, не простят, времена не те, но все же я сяду... А если меньше?..» И Никитич беспокойно задвигался в кресле, поглядел на бортмеханика. Тот спал, склонив голову и приоткрыв рот... У штурмана было темно.

— Курс нормально? — пробасил Никитич и, не слушая, что ответил штурман, тронул механика за плечо: — Добро, говоришь, миром правит?..

— Добрых людей на свете больше,— отозвался механик тут же. Это был старый спор.

Механик, не без сходства прозванный за обширную лысину Вихрастым, весь из себя нескладный — короткие руки, бугристая, как бы помятая чем-то голова,— улыбнулся Никитичу. Зубы вспыхнули рубиново и затеснились во рту.

— «Больше»! — передразнил Никитич и отчего-то зло уставился на механика.

— Что ни говорите, а больше,— все так же рассудительно сказал Вихрастый и осклабился еще раз.

Никитич ничего не ответил. А механику показалось, что в кабине стало холодно. Он, потянувшись рукой, нажал регулятор вентиляции. В коробах зашумело веселее.

— Куда жаришь! — прикрикнул Никитич, и механик быстро уменьшил подачу тепла.

Механик не так давно разменял пятый десяток. У него были жена и сын. Он любил сына и никогда не говорил о жене, потому что не любил ее, считал женщиной легкомысленной и языкастой, а такую — решил механик — любить не имело смысла. К тому же она была не первой женой. Та, первая, казавшаяся Вихрастому удивительной и прекрасной, сбежала от него. Он не мог понять ее бегства, потому что любил. Но вскоре, верно от слепого отчаяния, женился вновь; женился, как в омут кинулся... «Что ж, что ты ушла,— думал иногда механик,— некрасивый я, да?.. Встретила красивого, я не такой, но у меня есть сын. Я беру его на руки, и мне легче... Он смеется и пускает пузыри, а умный он, страшно умный, жуть берет — до чего умный...» И сбежавшая отступилась, реже появлялась во сне.

Тридцать лет назад Вихрастый, тогда еще малец, попал в лагерь, выстроенный немцами под Ригой. Там он постигал «новый порядок» и уроки немецкого языка. Учителя его, в основном дефективные унтеры, непригодные для фронта, изъяснялись коротко и со вкусом. Били чем могли и сколько хотели, зверели и говорили вечное свое «гут!». Так продолжалось четыре года, а поэтому даже теперь механик мог позволить себе в тишине пилотской неожиданно ввернуть немецкое словечко. После этого он оглушительно и непонятно гоготал, смотрел то на Никитича, то на второго пилота и ждал, когда они улыбнутся. И те улыбались, не совсем понимая, что улыбаются чему-то не смешному вовсе, может быть, даже грустному... И на время в пилотской повисала странная тишина.

Никитич мрачно смотрел вперед, руки его, как и раньше, покоились на коленях. После слов механика он долго всматривался в черное пятно на горизонте, но пятно это оказалось всего лишь синим, утренним леском. «Что ведь вышло,— недовольно мыслил Никитич,— расшевелить хотел... Черт бы тебя взял!» Никитич даже себе не признавался, что слова механика

задели его за живое. «Тоже мне: добро...— злился он.— Видели вы это добро?.. Знаете, с чем его едят?! А что до меня, то жил я правильно: не убил никого, не ограбил. Не оклеветал...»

— Выходной завтра, надо понимать, того... упразднили,— нарушил тишину механик.

Сказал он это только потому, что не нравилось ему тягостное для него молчание командира. Он надеялся, что Никитич откликнется, помолчал секунду и добавил:

— Когда же жить будем?..

Никитич, выпросивший рейс на выходной день, подскочил в кресле как ужаленный...

— Вот тут вся твоя жизнь! — выкрикнул он механику в лицо и ткнул рукою в полик под ногами.— Вся жизнь! — повторил он и совсем уж ни к чему добавил: — Черт те что!..

И, уцепившись руками, потряс штурвалом. Зло потряс и дико, как трясут разве что врага, прижатого к земле, трясут, чтобы вынулась из него поганая душонка. Самолет мелко задрожал, противясь, автопилот вскрикнул сиреной и отключился. Второй пилот ловко подхватил штурвал...

— Сами виноваты,— глухо сказал штурман,— кто вас заставлял?

Он сказал это по внутренней связи, и Никитич, перевесившись через подлокотник и откинув занавеску, прокричал:

— Ты!.. Магнитофон все пишет!..

— Плевать я хотел на ваш магнитофон,— спокойно ответил штурман.— Что же теперь?.. Слова нельзя сказать, да?! И не кричите: двигатели встанут...

— Замолчать! — взревел Никитич и потише добавил: — Поговори мне!..

...Взошло солнце, красное и большое, оно помедлило какое-то время на линии горизонта и, оставляя тонкий слой облаков, тронулось вверх. На земле все еще таилась последняя темень, видно было, как туманы расползались по руслам рек, затекали в низины...

— Оно, конечно, советовать легче,— неожиданно задумчиво произнес Никитич,— но ты попробуй слушаться. Научись этому... А то что ж? Без году неделя — и с подковырками...

Механик кивал головой при этих словах, как бы говоря «Истинно так!», и жевал губами. А Никитич, помолчав, продолжил:

— Я-то ладно... но найдется такой, что рога скрутит!

— Не скрутит,— упрямо сказал штурман.— Не понимаю я: какая разница — я десять, вы тридцать лет отработали...

— Ой ты!.. Прыткий! — взвизгнул механик.

— Вам бы еще тридцать лет, и все бы осталось как есть,— закончил штурман.

— Какой однако... прыткий,— не унимался механик. Он вскинул глаза на Никитича, выискивая поддержку, и выругался по-немецки.

— Черти! — проворчал Никитич.— Слетаем, хоть толк какой-то, а дома еще насидимся. Налет, что карточные взятки, набирать надо...

— То-то вы и бегали вчера,— не удержался штурман.— Мне такие рейсы не нужны.

— Не нужны?! — переспросил механик.— Значит, тебе не нужны, а за всех не расписывайся. И горло не дери. Мне они ох как нужны!..

— Да будет вам,— добродушно, как на детей, проворчал Никитич,— разговор завели... У каждого свое, сколько людей, столько интересов. Что добро, что зло... Поди разберись в этом...

— Не прикидывайтесь, Никитич,— сказал штурман.— Вы-то знаете, где что лежит...

— Знаю!.. Как не знать! Один, к примеру, всю жизнь отлетал, а другой поотирался в штабе — «заслуженного» дали... А он и летать-то не умеет... Где же добро твое хваленое?!

— Мы летим — вот добро, а отирание... Минуту! — Штурман прислушался и тут же произнес: —Видимость пятьсот!

— Ага! Туман,— живо откликнулся Никитич. Казалось, он только и ждал, чтобы штурман напомнил об этом.— Тебя не поймешь: то лететь не желаешь, то добро у тебя... Ну да бог с ним! Сядем и откажемся от рейса...

— Как же,— штурман тихо рассмеялся.— Откажемся... Такого случая у вас еще не водилось.

— Не водилось! — подтвердил механик и опять тяжело выругался.

— Что делать,— весело пророкотал Никитич и кивнул второму пилоту: — Снижайся!

И второй пилот, обрадовавшись хоть какому-то действию, отключил рулевые машинки и ткнул самолет вниз. Порыжевшая масса лесов качнулась... Штурман доложил диспетчеру о снижении.

— Вас понял, снижайтесь,— ответил диспетчер, растягивая слова.— Запасной туманит... У нас пока... Триста!

Последнее слово он произнес быстро.

— Влипли,— тихо сказал второй пилот, а Никитич рассмеялся.

А бортмеханик, кинувшись к штурману, сбивчиво проговорил:

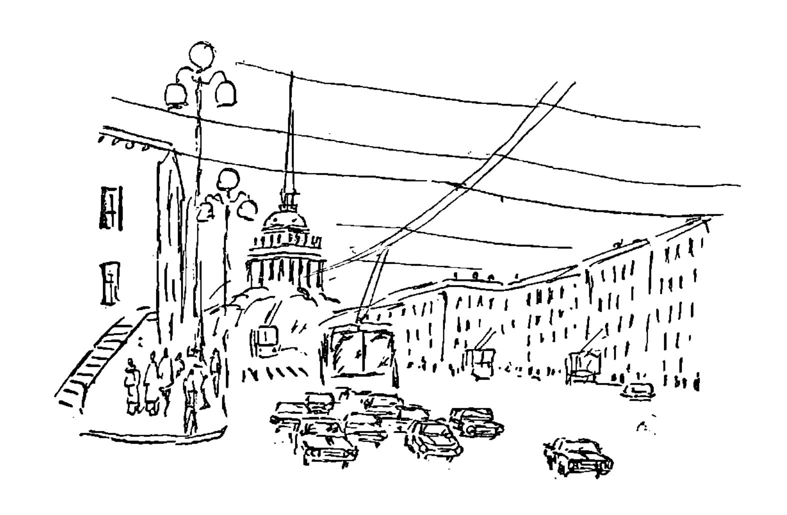
— Пойми!.. Одно слово — и меня нет... А куда я?.. Ты же знаешь!..

Штурман непонимающе глядел на него. Он высунулся чуть ли не по пояс из своей кабины и удивлялся смеху командира.

— Что будем делать?— тревожно спросил он.

— Садиться!— твердо сказал Никитич.— Все как всегда.— Он хотел сказать еще что-то, но передумал.— Все как всегда,— повторил он еще раз и ухватил штурвал.

Самолет вздрогнул и покачнулся, когда огромные лапищи ухватили за штурвал, как за уши, и покорился. И стремительно и ровно западал к земле. Вскоре он нырнул в пленку тумана, безликую, как экран перед началом кино... Пропал лес, солнце; все, что было с ними минуту назад, пропало бесследно. Остался один лишь туман. Тонкая пленка его напрочь отрезала от земли. «Надо было все же подождать,— торопливо подумал Никитич,— да уж что теперь...» Ему вспомнилось не то летное поле, не то ветхий какой-то аэропланишко, он хотел было подумать, но времени не было. «Туман!» — сказал Никитич сам себе, решительно хмыкнул и устремился к земле, как к спасению.



Михаил Кононов

ТЕПЛАЯ, ТЕПЛАЯ ВЕСНА...

Голос в трубке был тягучий, переходящий в задыхающийся шепот, как у героини старого заграничного фильма, когда она млеет в телефон:

— Милый, не вешай трубку, подожди! Хорошо, что ты дома, я так боялась... Я должна тебя предупредить; я не могла не позвонить, пойми!

Она еще немного подышала в трубку с нежным волнением и продолжала уже по-деловому, сбившись на свой обычный суховатый тон, а может быть рассчитав, что телефонным млением не пронять:

— У тебя сегодня тройной нулевой день; он раз в год бывает у всех. Помнишь, я тебе о биоритмах рассказывала, еще в Риге? Так вот. Я вчера твои ритмы просчитала, а сегодня Лариска на своем «бегемоте» проверила. Все сходится. Ты сегодня полный нуль — физическая, эмоциональная, умственная продуктивность — все на нуле. Только не обижайся, ты ни при чем, это природа. Как ты себя чувствуешь? Голова не болит?..

Я засмеялся, потому что понял: она просто встретиться хочет, чтобы все снова.

— Ты мне не веришь, да? Что ты молчишь? Обещай мне, что не выйдешь сегодня вечером из дому. Ни в коем случае, слышишь? И никаких серьезных дел, никаких решений. Японцы даже не пускают водителей за руль, когда у них нулевые дни, уже десять лет. Понимаешь, ты сегодня не в состоянии нормально реагировать, никакого решения принять не можешь. Психологически не в состоянии. Ты сегодня как будто не ты, тебя нет. Понимаешь? Ты веришь мне? Что ты молчишь? Может быть, мне приехать?..

Хмыкнув в трубку, я покачал головой, удивляясь ее наивности и одновременно восхищаясь настойчивостью.

— Чему ты смеешься? Я же боюсь за тебя...

Она там, конечно, уже достала свой розовый носовой платок. Я даже как будто почувствовал — «Агат», ее любимые духи. Хотел трубку бросить, но вдруг както все во мне потянулось к ней, и я с трудом проглотил воздух, успокаивая себя тем, что это автоматически срабатывает двухлетняя привычка плюс недавно появившаяся жалость. Жалость эта пришла в тот день, когда мы дружно подали заявление на развод. Единственное, что мы сделали дружно. А теперь я почему-то обязан выслушивать этот лепет о магических трех нулях, в которые верят хитромудрые японцы, глотать комок воспоминаний и сомневаться, идти ли завтра в загс за разводом. Черта с два, давно уже все решено. Но трубку я почему-то не вешал.

И тут трубка квакнула мне в ухо и заскулила обиженным щенком: ой! ой! ой! — отбой...

Этого я не ожидал. Повесив трубку, покачал головой и усмехнулся. И вдруг такая злоба взяла меня, такой стыд, что застучало в висках. Да она же верит в эти нули японские! Хватается за них, потому что больше не за что, а я вырываю у нее соломинку и по пальцам бью: падающего — толкни...

Я вытер пот с лица и подошел к окну. Отдернул занавеску. Солнце, слабеющее уже, но еще не закатное, словно обрадовавшись, прянуло мне в лицо безрасчетной лаской, будто я не отгораживался от него занавеской и не включал вентилятор, изнывая от редкостного зноя нынешней разгульной весны. Снова задернув занавеску, я ушел в противоположный угол

комнаты, сел в кресло и задал себе вроде бы детский вопрос:

Почему солнце нам светит?

В самом деле, как это светилу не надоест ласкать нас и растить, когда мы уже такого искусства достигли в уничтожении всего, что оно дает нам? Говорят, вспышки страстей и болезней в год активного солнца — явление закономерное. Но почему же тогда в природе-то нынче тишь-благодать? Ни тебе извержения, ни землетрясения, ни наводнения. Все чирикают, размножаются. Один только венец творения ухватил жадными лапами кривую инфарктов да кривую разводов — и тянет их в гору, надрывается. Потом на солнце все свалит: активное, мол, было — не совладать...

Когда я до этого места в своих печалях добрался, то вспомнил вдруг, что она предупреждала: три нуля. Значит, я теперь неправильно думаю, и готовое почти решение — пойти в загс, заявление порвать и ей позвонить — тоже этими нулями японскими предусмотрено, может, даже запрограммированно, а потому должно быть отвергнуто остатками моего почти нулевого сознания.

Но что же тогда верно? Как ни кинь — три нуля. Ну японцы, ну придумали!..

Вдруг мне захотелось чего-то определенного и хорошего. Может быть, солнца? Я улыбнулся даже — до того ясно захотелось мне солнца — чтобы оно всего меня обняло и промыло, изнутри тоже. Жаль, что уже седьмой час, не позагораешь...

И тут вваливается Борька. Как всегда, с дурацкой своей улыбкой, как будто его только здесь и не хватает, как будто главная моя мечта была о том, чтобы он поскорее вернулся с работы и завел свою песню. И вот начинается:

— Уфф, ну и устал я! — Он плюхнулся в кресло и расстегнул рубашку на животе.

Как будто я не устал.

— Ты представляешь, у нас в лаборатории тридцать пять градусов! Мы все рубашки сняли, а все равно...

А что у меня тут, между прочим, тоже не больно климатит, это не в счет. Сижу в плавках у раскрытого окна, еле дождался вечера. И соседи в плавках ходят, а соседки — в купальниках.

Не поднимаясь с кресла, Борька движениями приговоренного стянул рубашку и брюки, бросил одежду на свою раскладушку. Тело у него бледное, в рыжих веснушках,— беззащитное какое-то, очень человеческое. Я вдруг почувствовал, сколько сил вытянула из этого тела работа в душной лаборатории, без солнца, только за один хотя бы сегодняшний день. И мне стало стыдно за свой без толку потраченный выходной.

— Бросал бы ты эту работу адскую, Боря, а? — сказал я, улыбаясь.

Вероятно, улыбка у меня получилась чересчур виноватая, потому что Борька хмыкнул как-то цинично и молвил, вытянув ноги и шевеля пальцами в черных от влаги носках:

— Ты свои проблемы решай. А я живу естественно.

Знаю я твою естественную жизнь. За год три раза от жены уходишь. Но всегда это было на неделю, а тут уже целый месяц мне житья от тебя нет. И когда это кончится?

— Иди ты, Боря, знаешь...

— Чего ты злишься? Я же о тебе забочусь.

Заботится! Я его второй месяц кормлю, пою и воспитываю, а он...

— Дай-ка сигаретку.— Борька протянул руку.— Опять без фильтра? Ну что такое, Оса? Когда ты человеком станешь?

— Свои надо иметь.

Еще немного, и мы поссоримся. Ну сколько же можно, на самом-то деле? Ну, пошутил раз, пошутил два... И терпеть не могу эту армейскую кличку — Оса. Когда мы служили — ладно, другое дело. Но теперь-то я давно уже не Оса, а Николай Борисыч. И никогда у него сигарет нет, просто удивительно. Совершенно не может о себе позаботиться. Ладно, черт с ним. Еще несколько дней, и приедет Надюха, заберет его. Он и сам уже по Антоше соскучился...

— Оса, ты чего как в воду опущенный? Опять она звонила, что ли?

— Ну звонила.

— Жить без тебя не может?

— Ну не может.

Борька засмеялся издевательски.

— Садистки, а? — Он вперил в пространство вдохновенный взгляд, очередной раз открывая для себя сокровенную суть брака.— Им главное — по тебе вволю ногами походить, пока ты влюбленный, душу всю съесть. А потом голодные всю жизнь. Клопы! Клопихи то есть...

— А ребятишки тогда — клопята,— подсказал я, продолжая его мысль.— Опять к Антоше в детский сад бегал?

— Заскочил после работы.— Борька вздохнул.— Он спрашивает: «Когда ты, папа, работать перестанешь и к нам домой придешь?» А что я ему отвечу?

— Надо было сказать: «Завтра».

— Да не ной, не ной, знаю, что надоел уже тебе.

— Не потому, что надоел, а пора тебе возвращаться.

— Поучи еще. Со своей красавицей разберись сначала.

Борька взял с пепельницы мою недокуренную сигарету, затянулся и стал смотреть вглубь себя.

Когда у него такое лицо, сразу видно, как он устал. Резкие морщины у рта, спутанные волосы над бледным покатым лбом, набрякшие веки. Я вижу, какой он слабый и неустроенный в самом себе, понимаю, что виноват он сам во всем — и в дурацкой своей женитьбе, которой тогда, шесть лет назад, вполне можно было избежать, и в усталости от работы, потому что он вкалывает в три смены только из-за кооператива, а это опять же для нее, для семьи. И в том, что мы стали ссориться все чаще и вот-вот разойдемся навсегда, я понимаю, что виноват он, и мне жалко его, потому что все это против его воли. Или нет ее у него, этой воли? Давно уже он живет кое-как, как бог на душу положит, и, кажется, совсем махнул рукой на себя. Он и в армии был таким, и мы тогда ссорились, потому что мне было обидно: земляку моему, единственному, кроме меня, в полку ленинградцу, постоянно делают замечания за расхлябанность. Я держал себя в форме, и он крепко уважал меня за это, даже завидовал мне. А теперь все посмеивается, и иногда мне кажется, что, может, и вправду не я, а он прав в этой своей усталости. И все-таки мне неприятно, что он бесцеремонно взял мою недокуренную сигарету и затягивается ею глубоко, по-рабочему. В армии, когда

у нас частенько случалась одна сигарета на двоих, это было естественно, потому что вся жизнь была общая — и дом, и работа, и даже мысли. И даже по-особому сладкой бывала эта разделенная с другом сигарета. В такие-то минуты мы, наверное, и любили друг друга по-настоящему. А теперь он взял мою сигарету, как будто мы по-прежнему вместе в самых наших главных заботах, а мне неловко. И чтобы сбить его с этого задушевного тона, который уже рождается в нем от моей сигареты, а мне был бы неприятен, я говорю:

— Ну, Гамлет, решил, быть или не быть?

Он махнул рукой, загасил в пепельнице окурок.

— Если штукатурка обваливается, ее отбивать нужно и новую класть,— сказал Борька, назидательно подняв желтый от курева указательный палец.— Ты же сразу человеком себя почувствуешь, Коля! — Он посмотрел на меня, как на больного ребенка, который снова лекарство выплюнул.— Брось ты ее, чего тебе с ней возиться всю жизнь!

— Хорошо, Боря,— сказал я.— Если тебе так хочется, я так и сделаю. Лишь бы ты не волновался. А то у тебя и так неприятности и драма семейная.

— У меня другое дело,— Борька махнул рукой.— У меня Антошка. Куда я от него денусь! Они же без меня...

Он покачал головой и взял новую сигарету.

А я подумал, что и она без меня тоже, пожалуй, не запросто обойдется. Чувствует это, потому и звонит регулярно. Но я-то чем виноват?

— К чертовой матери! — сказал Борька шепотом.— Ко всем чертям пусть катится, пока рогов тебе не наставила. Я не могу, так хоть ты-то вырвись, Коля! Эх, мне бы... Мы бы с тобой им всем...

— Иди помой шею,— сказал я.— А то вдруг Надюха сегодня приедет тебя забирать, а ты у меня такой неухоженный, неудобно. На второй полке в шкафу носки чистые.

Я понимал, что спорить с ним бесполезно. Он лезет в бутылку из-за собственной неуверенности и неурядиц.

Борька, хлопнув дверью, ушел мыться, а я включил проигрыватель и поставил долгоиграющую пластинку старинных вальсов. Первым шел «На сопках Маньчжурии», но из-за мажорной современной аран-

жировки это вовсе не было грустно, я сел в кресло и стал подсвистывать, представляя, что сейчас скажет Борька.

Войдя с мокрым лицом и волосами, с мылом возле ушей, он вперил в меня жуткий взгляд и ухмыльнулся, как наемный убийца:

— Музычкой наслаждаешься? Тонкий ты человек, Оса! Ты что — нарочно, назло мне? — Он швырнул полотенце в сторону, оно накрыло аквариум на книжном шкафу, и один его конец сразу стал медленно погружаться, а всполошенные рыбки заметались по кругу, переливаясь в позеленевшей от жары воде золотом и багрянцем.

Неизвестно, чем бы разрядилась эта обычная для нас напряженка, если бы не зазвонили в дверь. Я пошел открывать, оставив Борьку посреди комнаты со сжатыми кулаками, горящим взглядом и мылом возле ушей. По пути я постучал ногтем по стенке аквариума, и рыбки послушно всплыли в ожидании корма. Борька машинально перевел взгляд на рыбок. На фоне белого полотенца, расправившегося между водорослями, рыбки были отчетливы, как на экране, и очень красивы. Я подмигнул Борьке, а он сжал зубы и покачал головой молча: то ли «не прощу», то ли «не вынуждай»...

Входную дверь открыли соседи, и по коридору уже шел мне навстречу счастливо и напряженно улыбающийся Малина, неся перед собой тяжелую и неудобную пишущую машинку. Да! Да, тот самый «Идеал», найденный Борькой два года назад в Ольгине, на чердаке дачи. Малина поспорил тогда на литр, что приведет машинку в порядок. Просто так, из спортивного интереса. И вот — смотрите-ка!

Я перехватил у него машинку, кивнул, чтобы он проходил вперед.

Мы втроем — Малина, Борька и я — одновременно кончили техникум, но технарем путным стал только Малина. Может быть, талант, а может — судьба. После техникума мы с Борькой сразу пошли в армию, а Малину не взяли. И вот он — заместитель главного инженера, Борька — наладчик шестого разряда, а я — вообще белая ворона.

Увидев Малину, Борька расцвел. Он гордится им. И тем, что Малина почти главный инженер, и тем, что

у него добрая и послушная жена (на минуту забежишь — она все закрома на стол вывернет), и что Малина копит на «Запорожец», и что вообще он просто хороший парень, и это видно сразу по улыбке.

— Привет, Боря! — сказал Малина.— Беги в гастроном. Только мыло вытри возле ушей.

Я поставил машинку на стол, Борька склонился над ней и стал тыкать в клавиши, покачивая головой и прищелкивая восхищенно языком. А Малина с олимпийским равнодушием уверенного в себе профессионала отвернулся и смотрел на рыбок. Мои бедные, доверчивые, вечно не кормленные вуалехвостки плавали, переваливаясь, вокруг полотенца и пощипывали задумчиво колыхавшиеся волокна бахромы.

— А полотенце зачем? — спросил Малина.

— Да это Боря решил бельишко простирнуть,— сказал я.

— А почему в аквариуме?

— Воду отключили,— пожаловался Борька.— Это Оса управдома попросил. Чтобы меня отсюда скорее выжить. Кстати, водку уже не продают, восьмой час. Давайте вина выпьем. У меня только трешка. Я все Надюхе отослал.

— Можно в ресторане купить,— сказал я.— Мы добавим. А, Малина?

— Добавим,— быстро согласился Малина.— Только я пить не буду.

— Почему? — удивились мы.

— Так. Не буду. Увидите почему. Пошли, ребята. Только одевайтесь в темпе.

Малина стал осторожно вынимать полотенце из аквариума. Он одновременно отжимал его, слегка выкручивая, и на шкафу не осталось ни одной капли. Малина передал полотенце мне, достал носовой платок и стал вытирать руки. Я встряхнул полотенце и повесил его на вешалку. Борька одевался, вздыхая и почесываясь.

— Она что — с ума сошла — на алименты подавать? — спросил Малина.

— Кто? — испугался Борька.

— Ты же говоришь, что деньги отсылаешь.

— Он сам,— пояснил я.— Он — благородный.

— А-а,— понял Малина.— Ну пошли, ребята.

На улице было еще солнечно, но уже не душно и очень приятно.

— В какой ресторан двинем? — спросил Малина, роясь в карманах и доставая зачем-то ключи.

— Мне все равно,— сказал Борька.— Оса, дай-ка сигаретку.

Малина подошел вдруг к серенькому неновому «Запорожцу», притулившемуся виновато у обочины поодаль, и открыл дверцу:

— Садитесь! — и улыбнулся прекрасной своей улыбкой.

Мы с Борькой переглянулись и запрыгали вокруг «Запорожца», потом вокруг Малины, хлопая его по плечам и по спине. Прохожие оглядывались на нас и улыбались, а мы хохотали и поздравляли Малину, «Запорожца», самих себя, нашу дружбу и молодость. Мы не завидовали Малине ни секунды. «Запорожец» просто автоматически стал нашим, как принадлежит нам сам Малина со всей его жизнью, налаженный им «Идеал» и вся нынешняя на редкость теплая весна.

Малина уселся за руль.

— Эрих Мария Ремарк,— хмыкнул Борька,— «Три товарища». Прошу вас, герр Оса! — и, придерживая дверцу, величественно пригласил меня в машину.

— Только после вас.— Я склонился в поклоне и откинул переднее сиденье.— Прошу вас на почетное место.— На заднем сиденье мне уже не раз приходилось ездить в «Запорожце», и я знал, что сидеть по-человечески можно только рядом с водителем.

Как только Борька сжался на заднем сиденье и стал выписывать ногами немыслимые кренделя, испытывая вполне естественную потребность отвинтить их и спрятать в багажник, а я расселся спереди, как король на именинах, до него дошло, и он начал поливать меня такой узорчатой цельнолитой бранью, что я схватился за записную книжку — зафиксировать на всякий случай.

— Ну, заяц, погоди! — закончил Борька.

Мы тронулись, развернулись, проскочили переулками к Невскому, и Борька перенес огонь на Малину, вертящего беспрестанно головой и хватающегося без нужды за рычаг передачи.

— Спокойнее, Малина, спокойнее! Это не чужая машина, слава богу... Да прибавь ты газу, прибавь,

обгони этого пижона. На повороте — осторожнее, это все-таки Невский. Ну, покажи, покажи, как нужно по родному городу на белом коне кататься...

— Не мешай, Боря,— просил Малина.— Не надо.

— Я не мешаю, я учу тебя,— обиделся Борька.— А ты слушайся, дурачок.

— Здесь есть поворот? — спросил Малина у меня.

Я пожал плечами.

— Есть, есть, я точно знаю,— заволновался Борька.— Он тут всегда был. Давай разворачивайся, вон как раз ресторан.

Малина развернулся у ресторана, аккуратно остановил машину у обочины, и к нам подскочили трое обрадованных парней с красными повязками на рукавах, а за ними усталый милиционер с потным лбом, в сдвинутой на затылок фуражке. Парни стали ругать Малину, но милиционер отодвинул их, наклонился, вежливо козырнул и попросил права.

Малина вышел из машины и стал что-то виновато доказывать.

Борька барахтался на заднем сиденье, и смех его будил восторженно-детские воспоминания о зоопарке.

— Осел,— сказал я.— Ему сейчас прокол сделают.

Борька перестал икать, но мычал еще долго, не желая согласиться со мной, тем более теперь, оказавшись по моей милости на заднем сиденье.

Малина вернулся, открыл дверцу и сказал:

— Пошли, ребята!

Он улыбался как обычно, и Борька замолчал окончательно.

— Ну? — спросил я.

— Пронесло,— кивнул Малина.— Отличный парень. Ладно, давайте финансы наши посчитаем.

— Малина не пьет,— сказал Борька,— значит, хватит одной бутылки.— Он достал трешку и отдал мне.

— С меня приходится,— сказал Малина и выложил пятерку.

— Данилов, с каких пор ты перестал считать себя честным человеком? — спросил я сурово.

— Ну нету у меня больше, нету! — закричал Борька, и глаза его снова зажглись.— А ты-то сам что, на дурачка собрался? Нет, друг, не пойдет. Давай раскошеливайся!

Я тоже достал пятерку. Последнюю, завтра занимать придется.

Борьке стало стыдно, и он выгреб из кармана мелочь и стал трясти ее, пересчитывая.

Я отдал деньги ему, он зажал их в кулаке, Малина запер дверцу, проверил, дернув, и мы пошли в ресторан.

В вестибюле было прохладно. Борька пошел наверх договариваться с официантом, а мы сели в удобные кожаные кресла и стали делать вид. Но швейцар добродушно дремал у двери, и наш вид интересовал одного гардеробщика. Гардеробщик, тощий, в черном халате, уставился на нас и смотрел не отрываясь. Потом поманил пальцем.

— Сходи,— сказал Малина.— Я с милиционером и так устал.

Я подошел к никелированному барьеру.

— По шесть с полтиной бутылка,— сказал гардеробщик твердо,— дешевле сейчас нигде не найдешь.

— Пять с полтиной,— сказал я.— На шесть мы и тут можем красиво посидеть.

— Не дадут,— возразил гардеробщик.— Только по сто грамм на нос, ты же знаешь.

— Ладно, погоди.— Я подошел к Малине, объяснил, и мы вместе пошли за Борькой.

Но он уже спускался вниз под ручку со смазливой блондинкой в фартуке с кружевами. Судя по рыцарской гордости, с какой Борька поддерживал блондинку под локоток, спускаясь на ступеньку ниже, как по лестнице Дворца бракосочетаний, он успел уже договориться обо всем.

Он осторожно подвел ее к нам, кивнул небрежно, будто через неделю после женитьбы встретил на улице холостых приятелей, которых на свадьбу не пригласил, а во Дворце впопыхах не заметил, и объявил:

— Вот, познакомьтесь. Это Светочка.

Светочка кивнула сухо и сказала:

— Ладно, мальчики, давайте деньги. Только — быстро.

Борька стал шарить по карманам (он никогда не помнит, что у него где), а она подошла к нашему гардеробщику и сразу вернулась с двумя прозрачными

бутылками. Этикетки с бутылок были содраны, и оттого казалось, что в них просто вода.

Малина принял от нее бутылки и, понимающе нахмурившись, спрятал их во внутренние карманы пиджака, а Борька стал неловко отсчитывать деньги. Одну пятерку он даже уронил, и, пока он поднимал ее, не сразу поймав на скользком паркете, я отметил автоматически, что это уже третья пятерка, хотя у нас было, кажется, всего две.

Светочка сложила аккуратно бумажки, сунула их в карман фартука и снова кивнула, тихонько вздохнув. Ушла.

— А сдача? — спросил нас Борька.— Ведь мы договаривались!

Я обнял Борьку за плечи. Малина вздохнул, и мы вышли на улицу.

— Нет, ты видел, Оса? — возмутился Борька, когда дверь за нами захлопнулась. Глаза у него снова стали страшные.— Ты понял, нет? Ведь об этом писать надо! Клещи проклятые!

— Я бы написал,— согласился я.—Но ведь я же не знал, что у тебя еще пятерка припрятана.

— При чем тут пятерка? — Он махнул рукой.— Ну, была у меня пятерка, в заначке была. Но я же договорился с ней по-честному.

Я свистнул. Малина сказал:

— Да ладно, ребята, рупь туда, рупь сюда...

— Нет, не рупь, Володечка,— ехидно возразил Борька.— Это сколько же она за один вечер в карман кладет?

— Ну не каждый вечер,— успокоил я Борьку.— Сегодня у нее просто удачный день.

— Опять я виноват, да? Я? Нет, ты скажи, я? Что ты на меня смотришь? Торговался бы сам. Я эти штучки терпеть не могу! — Борька испепелил меня взглядом и сунул руки в карманы. Я понял, что ему сейчас горько и одиноко, и снова обнял его за плечи. Он попросил у меня сигарету, вздохнул и спросил:

— А закусь? У тебя рубль хоть есть?

Я покачал головой. Борька сглянулся на Малину, достающего ключи, и Малина сказал:

— Ладно, ребята, поехали. По дороге купим.

Он раскрыл дверцу радостно вздрогнувшего «Запорожца», сел за руль, я откинул переднее сиденье и

полез на заднее, но Борька схватил меня сзади за пиджак и вытащил обратно.

Я пожал плечами, он погрузился неловко на свое позорное место и сразу стал смотреть в окно. Я уселся и хлопнул дверцей. Малина вздрогнул.

— Не надо так, Коля,— попросил он.— Он ведь уже пятнадцать тысяч прошел. И в кузове трещины...

Мы тронулись вдоль по Невскому, я опустил стекло, и теплый воздух с запахом нагретого асфальта и отработанного бензина заиграл нашими волосами.

— За город, а? — ласково попросил Борька.

— В аэропорт,— предложил Малина.— Ты видел новый аэропорт, Коля? Нет? Вот и поедем. Я туда уже ездил. Заодно сигарет купим.

— Точно,— сказал Борька.— Там вкусные пирожки с мясом.

— Искупаться бы,— сказал я.

— А потом купаться,— подхватил Борька.— Грех не выкупаться сегодня. Искупаемся и выпьем, точно? Вот и отлично!

Он успокоился, положил руки на спинку переднего сиденья и снова стал учить зорко озирающегося Малину.

А мне вдруг стало как-то по-особенному легко. Мы выехали на Лиговку; активное солнце светило навстречу, и молодая листва тополей была совсем желтой и будто растущей на глазах. Малина опустил защитный козырек над ветровым стеклом, улыбнулся и взглянул на стрелки приборов. Он улыбнулся тому, что вот можно наконец опустить защитный козырек своей собственной машины, а стрелки приборов показывают все как надо, и можно ехать долго не зачем-то, а просто так, чтобы ехать и получать от этого удовольствие. Он понимал, что имеет на это право. Уже потому хотя бы, что знает машину как свои пять пальцев. И потому, что досталась она ему сравнительно недорого, и уже давно не новая, но зато испытанная и привычная. И хотя он вертел головой и излишне замедлял ход на поворотах, в нем не было той недостойной суетливости неловкого автолюбителя, цепенеющего над рулем. Эта мелочная озабоченность так неприятна обычно в молодых и вроде бы счастливых обладателях обгоняющих нас новеньких «Жигулей» с пижонскими наклейками на ветровом стекле. И я подумал,

что Малина и вправду, пожалуй, человек счастливый, тем более — при таком «Запорожце» и отличной жене, и мне стало почему-то грустно.

Мы выехали на Московский проспект, прямой и бесконечный в весеннем мареве.

И снова вспомнился мне ее пропадающий в страхе голос и три японских нуля, которые сейчас хозяйничают будто бы в моем наивном, не ждущем подвоха организме и роют яму впереди на асфальте. Слушая, как Борька с Малиной строят планы на лето,— на юга махнуть, весь Крым объехать, а может быть и Кавказ,— я улыбался, понимая, что даже двухметровой ширины канава поперек проспекта, которую, быть может, специально для нас зарыть забыли вон там, под мостом у «Электросилы», или дальше — на углу Благодатной, или у Парка Победы,— даже такая встряска не выбьет нас сегодня из честно заработанного счастливого ритма. Мы вместе,— значит, все в порядке. И вот — летим. Распахнутые на проспект окна с откинутыми желтыми, голубыми и розоватыми шторами, гордые вывески гастронома и рекламы «Покупайте мороженое», страшноватые плакаты у входа в кино «Мир», сплошная зеленая двухъярусная стена кустарника и деревьев — Парк Победы, ровесник наш, заложенный в сорок пятом с надеждой и вот уже возмужалый, а дальше — высоченные светлые здания у Средней Рогатки, гранитный штык обелиска с двумя иголочками громоотводов и автострада по Пулковскому меридиану. Нет-нет, все будет нормально, неоткуда ждать подвоха. Потому хотя бы, что у меня есть Борька и Малина. И не это ли главное — то, что мы втроем и сейчас, и всегда, даже когда каждый из нас наедине с собой ведет в усталости или в тоске мучительный и несправедливый расчет со своим днем, годом или всей жизнью. И эти наши расчеты, о которых мы молчим друг с другом и даже сами порой стараемся забыть по слабости, становятся все глубже и беспощадней. Потому что мы стали незаметно взрослыми, и все вокруг теперь зависит только от нас, даже эта молодая листва и ласковое, сильное солнце. Да, и солнце, которому в глаза взглянуть отважишься не всегда.

И вот уже девалась куда-то бездумная легкость, с которой глазел я, как весенний десятиклассник, на

знакомые дома и деревья, на девушек на тротуарах, на улыбающегося Малину. Мы выехали на Киевское шоссе и мчались по прямой, обгоняя перегруженные отпускниками такси, а перед глазами у меня снова плясали чертенятами пройдохи-нули: вот услыхал ты сегодня ее голос — и маленькая твоя самолюбивая злобка, обида, колючая и раздутая,— где они? Чтобы восстановить после разговора с ней обиженную мину, уже трудиться пришлось, над наивными ее расчетами усмехаться и вновь убеждать себя, что в главном она лжет, что ты для нее — просто крайний случай, чтобы на бобах не остаться, когда тот, кого ты не видел ни разу, но чувствуешь постоянно, попросту бросит ее, о чем она, кажется, давно уже догадалась, с самого начала предвидела. Но если ты сам придумал всю эту банальную трагикомедию? Тогда действительно ты не мужчина, а полный нуль биоритмов, оттого-то и на солнце тебе сегодня взглянуть непросто...

Наконец мы свернули к аэропорту, и меня немного отпустило, потому что места пошли интересные, я ни разу здесь не был. Приветливым было шоссе, бегущее по чистому полю, огромный, легко и неторопливо поворачивающийся локатор на холме и сами Пулковские высоты, которые отсюда, в непривычном ракурсе, казались чужими и заманчивыми. Солнце было теперь слева, справа по траве бежала наша широкая тень, и здание аэропорта, вырастая, становилось проще и наряднее.

Въехав на эстакаду («Европа»,— сказал Борька), Малина улыбнулся мне, я улыбнулся в ответ, мы остановились возле самых дверей и вылезли, разминаясь с удовольствием.

— Здóрово, а? — восхитился Малина.

И поле перед нами, покрытое нежной зеленью, и Пулковские, и голубоватая даль — все вызывало бездумную улыбку. Но Борька нахмурился.

— Я сюда, вообще-то, приезжаю иногда,— признался он.— Когда совсем уж...— махнул рукой, и мы вошли в здание аэропорта.

В огромном зале было прохладно, как в холле того ресторана, где нас надули. Деловитый шумок, отражаемый чистотой стеклянных стен, кафеля, никеля, сливался со звенящим гулом взлетающих лайнеров и дрожал над нами волнующей, теплой нотой разлуки,

новых городов и встреч. Это была свобода. Предельная, поднебесная, хорошо оборудованная и в общем доступная свобода, но сегодня она была не наша. За прозрачной стеной, как серебристые подводные лодки, выплывали, разворачиваясь на взлет, тяжелые на земле ИЛы, ТУ, АНы. Люди поднимались снизу по эскалатору с цветами, по другому эскалатору спускался нарядный, обвешанный этикетками багаж, а мы стояли молча, как в кино. Неторопливые предпоследние кадры лирического кинорассказа проплывали под музыку, оставляя щемящую грусть и надежду.

— Пошли-ка отсюда, ребята,— сказал Борька и первый повернулся к выходу.

Малина положил мне руку на плечо и подтолкнул легонько вперед. Молча.

Ну до чего все-таки странный народ! То, что Борька затосковал, понятно. Но Малина-то, Малина! И чего не хватает человеку? Жена — чудо, малыш — богатырь, «Запорожец», мечта давняя,— вот он дожидается, верный и любящий, и на работе все как надо, а вот поди ж ты! Увидел человек голубую с серебряным рекламную картинку — и раскис, как будто понял, что всю жизнь заблуждался. А я-то сам, обалдуй! Мне вообще вздыхать нечего. Возьму вот завтра отпуск на две недели, стрельну денег, и пожалуйста вам — и гул взлета, и прохладные леденцы на подносе у тайно влюбленной в тебя стюардессы, и свежая газета в руках, а за иллюминатором только слои подсахаренного солнцем тумана. А дальше — море, сумасшедшие запахи цветущего юга, девушки с очами...

Но ясно было, что загрустили мы так дружно не по красивой картинке, а просто оттого, что картинка эта в чужой книге. А книга эта могла бы быть твоей. Но нет другого тебя. И тем-то, наверное, и живы мы, что хочется, ах, как хочется перелистать чужую книгу, на картинки счастливые наглядеться. Ведь оттого-то, наверное, и дружба наша, и любовь — прикоснуться, глотнуть, омыть сердце...

Мы съехали вниз по эстакаде, и снова побежала рядом хранительница-тень, только теперь уже слева. А солнце, уже не такое активное, потихоньку розовело, но тоже не отставало.

— Сигареты забыли купить,— сказал Малина.

— И пирожки,— вспомнил я.

— Черт с ними,— сказал Борька.— Черт с ним со всем! Малина, давай в Гатчину, а? Хватит бензину-то?

— Хватит,— пожал плечами Малина.

— Ну и поехали.— Борька уселся поудобней.— Вот и славно.

— А купаться? — напомнил я.

— А там пруды есть,— ответил Борька беспечно.— Искупаешься, не бойся.

Меня насторожило немного то, что он сказал о купании без энтузиазма, но я промолчал.

Пулковскую гору «Запорожец» взял не без труда, но потом снова пошла дорога ровная и прямая. Малина, взбудораженный аэропортом, вжал акселератор в пол. «Запорожец» застонал, но скоро стон его перерос в песню, и спидометр показал сто десять. И это было именно то, что нужно сейчас, после тех лайнеров.

— Нормально идет,— сказал Борька, и я подумал, что и вправду все идет нормально...

Как только мы въехали в Гатчину, Борька стал вертеть головой, высматривая, прищурившись, что-то нужное, за чем, казалось, он и ехал сюда.

— К магазину нужно направо,— сказал я.— Давай, Малина, пошустрей, а то тут, наверное, закрывают раньше.

— Где же тот поворот? — спросил Борька у Малины, тронув его за плечо.

— Не помню, Боря,— ответил он и стал тоже вытягивать шею, заглядывая в переулки, расходившиеся от улицы, по которой мы ехали.— Не помню. Уже четыре года прошло. Слушай, а может не надо, а? И поздно уже, девятый час.

— Что ты! Знаешь, как она обрадуется! — Борька засмеялся отчетливо и стал расчесывать пятерней свои волосы, убирая их со лба, отчего лицо его стало светлым и мечтательным. Я молчал, полуобернувшись назад, и не узнавал Борьку.

— Кто обрадуется? — спросил я.

— Зоя,— сказал Борька.— Дай-ка сигаретку.

Я машинально протянул ему пачку, потом отвернулся и стал смотреть на свои ботинки, повторяя про себя: «Так... Понятно... Вон, значит, как... Ну-ну...» —

и все внутри у меня свело, как от сильной оскомины, даже захотелось сплюнуть.

Да как же я мог забыть, что в Гатчине живет Зоя?

Мог, конечно. Ни разу я не ездил к ней в Гатчину, ни разу за шесть лет.

Когда мы вместе учились в техникуме и она жила в Ленинграде у тетки, мы частенько собирались в ее комнатке вчетвером. Все в группе знали, что у Борьки с Зоей любовь, быстро привыкли к этому и не дразнились, когда он звал ее Зайкой, а она его — Букой. Тем более, что в этом они скорее дурачились назло всем и самим себе: вот хотим так называться — и будем, и будем сидеть рядом на каждой лекции, что бы там ни думали все вы и эта дура Нина Егоровна, наша классная дама. Классная дама действительно думала. Когда мы были на втором курсе, она попыталась подключить к своей борьбе за нравственность весь педагогический коллектив и комсомольскую организацию, но Борька тогда уже обладал молниеносно испепеляющим взглядом, и вскоре их оставили в покое, согласившись молчаливо, что уж на четвертом-то курсе не избежать комсомольской свадьбы.

Но свадьбы не было. Борька не любил Зою. Знал об этом только я.

Мы с Зоей тайком от Борьки ходили в театр почти каждую неделю, и она мне рассказывала, как любит его и как он ее не любит, хотя и думает, что любит. Если бы она не рассказывала, я догадался бы понемногу сам: уж слишком откровенно он говорил о ней нам с Малиной, жалуясь на ее самолюбивый характер.

Она рассказывала мне все, не стесняясь и не боясь, что я передам кому-то или пойму неправильно. И когда она стала женщиной и поняла окончательно, что с Борькой ей не быть, то и об этом я узнал сначала от нее, а потом уж от него.

Мы пошли тогда на «Сирано де Бержерака», и то, что происходило на сцене, сплеталось мучительно и чудесно с ее шепотом и моим страхом. Я понимал, что люблю ее, но сказать этого не могу и не скажу никогда, и Сирано умирал на сцене, а я в партере, но Зоя, вытирая слезы о мое плечо, не заметила ни Сирано, ни меня. Потому что главное в ней принадлежало

Борьке. И нежность, которую не мог принять Борька, переполняла ее, и она отламывала коричневые кубики от купленной мной в антракте большой плитки шоколада и клала их мне в рот не глядя, а я целовал ее пальцы незаметно и сжимал зубы.

Потом мы с Борькой ушли в армию, и уже на второй месяц службы он стал жаловаться мне, что не сумел оценить Зою, но вот скоро пройдут эти два года, и он сразу на ней женится. Она не отвечала на его письма, и он нервничал, и когда я, отличник боевой и политической подготовки, получил на второй год службы десятидневный отпуск, он разработал тезисы, по которым я должен был произнести перед Зоей речь в его оправдание.

Произносить речь мне не пришлось, но, вернувшись, я не сказал ему, что она вышла замуж и уехала к мужу в Тбилиси. Родители Зои жили в Острове, и я догадывался, что если она и вернется, то не в Ленинград. И он продолжал писать письма, а я кивал ему и поддакивал по вечерам в курилке.

Когда мы вернулись и он узнал все, я в первые дни старался быть с ним всюду вместе. Но через неделю ему все-таки удалось улизнуть. Всплыл он через месяц, худой и небритый, но очень спокойный, и объявил, что скоро женится. А когда я вспомнил о Зое, он ответил, что рассказал той девушке, Наде, все, и теперь ни о чем не жалеет. Тогда я ударил его. Он упал на диван и долго держался за скулу. Потом пожал мне руку и ушел.

Через два года, летом, Зоя вернулась, устроилась на завод, поселилась в общежитии в Гатчине и поступила в институт. Она позвонила Борьке, Борька позвонил мне, но я ехать отказался, и он был у нее с Малиной.

И вот мы качаемся на ухабах по какому-то неуютному переулку. Дома здесь стоят вразброс, кирпичные и бревенчатые, черные, со старинными Т-образными телеантеннами, а Борька улыбается возбужденно и командует:

— Теперь — налево. Спокойно, не дрейфь, Малина, прорвемся. Стоп! Здесь, кажется, должен быть мост через канаву.

И точно, мы проехали мост.

— Ты хоть дом-то помнишь?

— Не-а! — Борька засмеялся, довольный тем, что вот он какой авантюрист — берется найти человека, не зная адреса.

— А ты-то, Оса, чего скис?

— Гад ты, Боря,— сказал я.— Собирались выпить по-человечески, а ты все испортить хочешь. Малина, останови, я выйду.

— Ладно тебе, Колька,— сказал Малина.— Вместе так, значит, вместе. Кончай.

— Ты, может, и вместе, а я-то при чем? Ты пойми, я в этом доме ни разу не был. И вообще поздно, а это — общежитие.

— Иди ты, Оса,— отмахнулся Борька.— Ты просто злишься. Малина, давай направо. Вон те три дома.

Возле домов, длинных, пятиэтажных, стояли гаражи. Малина развернулся и поставил машину с краю, рядом с новенькой, стройной «Явой». Мы вышли. Дома были одинаковые, возле каждого — длинный газон с зелеными уже кустами. На детской площадке, за высоким некрашеным столом, мужики режутся в домино. Ребятишки гоняют на велосипедах. Тепло и тихо. Солнце совсем уже низко, и стены силикатного кирпича розовеют нежно, а в каждом почти окне отражается закатное небо. Сколько их, этих окон? Двести? Четыреста?

— Ну, пошли! — Борька улыбался все так же по-пиратски.— Малина, ты бутылки не забыл?

— Я останусь,— сказал я.— Тебе надо — ты иди. А втроем по лестницам бегать смысла нет.

— Как хочешь,— сказал Борька.— Малина, пошли.

— Я тоже останусь,— сказал Малина.— Покурю тут с Колей. И вообще, мне нужно мотор посмотреть.

— Друзья называются! — Борька махнул рукой и побежал к дому, крайнему справа, который ближе.

Малина сразу открыл багажник — то есть, конечно, мотор, который у «Запорожца» сзади,— а я закурил. Заглянув сбоку, я заметил, что Малина ничего не крутит, а просто стоит, опершись обеими руками о край кузова, и думает. И мне стало жаль его. Я знал, о чем он думает. А Борька не знал, почему Малине понадобилось срочно смотреть мотор.

Тогда, четыре года назад, Малина привез Борьку из Гатчины и сдал Надюхе только на следующий день,

совершенно пьяного. Малина по всегдашней своей правдивости не смог не сказать Борькиной жене, где они были. Он, быть может, и не сказал главного, но она, зная давно о Зое, догадалась сама. И когда Борька в первый раз ушел из дому, а я поехал к ней улаживать это дело, она высказала мне все спокойно и как будто даже злорадно.

— Так чего же ты хочешь? — спросил я.

— Наставить ему рога.— И она посмотрела на меня так, что я поежился.

— Око за око? Оба калеками станете,— я пожал плечами.

— То-то и оно, что я не могу. Он может, а я не могу, понимаешь?

Она любит его. А он уходит, живет у меня, возвращается, успокоившись, и она его прощает.

И потому Малина смотрит сейчас в мотор, хотя и понимает, что если он и виноват, то только самую малость. Потому что Борька все равно говорит Надюхе все, иначе он не умеет.

— Ну что, Малина? Ты сам-то хоть доволен? — Я трогаю с умным видом какой-то провод в моторе.

— Да черт его знает, Коля. Я и сам не пойму. Понимаешь, я слишком долго мечтал. Вот если бы по лотерее...

— Это ты брось,— говорю я.— Если бы по лотерее, то и цена бы ему была тридцать копеек. А так ты его заработал, а это ведь кое-что...

— Конечно,— кивает Малина,— кое-что,— и смотрит с тоской на отражающие закат окна. В каждом доме пять лестниц, на лестнице пять этажей, на этаже четыре квартиры.

Но вдруг парадная распахивается, и появляется Борька под руку со стройной девушкой в домашнем халате. Он объясняет ей что-то, показывает на нас, и Зоя машет издали рукой и кричит: «Привет, ребята!» — и они вдвоем бегут к нам, держась за руки.

Она подает нам руку, Малине и мне. Она ничуть не изменилась, разве что похорошела. Лицо ее стало взрослей и спокойней, и она так красива, что я отвожу глаза. Но она смеется и трясет мою руку, заглядывает мне в лицо, говорит, что страшно рада, что мы — молодцы, что это очень здорово, и мне кажется на минуту, что радость ее адресована не только

Борьке, но и мне, и даже Малине, который тоже прячет глаза.

Мы поднимаемся по лестнице, и Борька рассказывает, как здорово все получилось: поднимается он на второй этаж, звонит в первую попавшуюся дверь, а дверь открывает Зайка! Он толкает меня в плечо, требуя, чтобы я восхищался его удачливостью, и не замечает, что Зоя опустила голову, услышав про «первую попавшуюся». Да, видно, и в тот раз, четыре года назад, не стоило ему приезжать сюда, а тем более оставаться. И тогда, может быть, не жила бы сейчас Зоя в этом общежитии, а он бы не жил у меня...

Дверь была не заперта, и мы сразу столпились в узком коридоре, потому что проход в комнату закрывала собой Зоина подруга, очень широкая, с толстенными косами, лежащими на груди, с алой шелковой лентой надо лбом. Она улыбалась, и зубы у нее были сахарные, как у той счастливой молодой хозяйки на обложке книги «Домоводство». Она пожимала нам руки, сильно встряхивая кистью, и грудь ее подпрыгивала.

— Тоня. Очень приятно. Очень приятно. Тоня. Очень рада.

Она и вправду была рада, и мы тоже обрадовались и стояли, счастливые, в узком коридоре, с бутылками в руках, поглядывая рассеянно в переполненное нашим счастьем зеркало и на стены, украшенные обложками журнала «Экран» и других журналов, заморских вероятно, поскольку красотки на этих обложках отличались одеждой, более легкой или вовсе даже отсутствующей. Тоня тоже посмотрела на голых своих красавиц и засмеялась, покраснев, потом прикусила алую полную губу и, опустив двумя веерами неправдоподобные ресницы, провела нас в комнату, где на придвинутом к дивану столе уже стояли тарелки.

— Весна-то какая нынче теплая! — восхищалась Тоня, ловко раскладывая вилки.

— Да, на редкость,— подтвердил Малина.— Год активного солнца. У всех неприятности.— Он улыбнулся улыбкой счастливого человека.

Тоня взяла буханку черного хлеба и, прижав ее к груди, стала отрезать и класть в хлебницу толстые,

аппетитные ломти, а я постоял, улыбаясь, закурил и вышел на балкон.

Под балконом был огород, там работали пожилые, степенные супруги, причем жена была в купальнике. Они посмотрели на меня немного, поговорили между собой, снова посмотрели и, посмеявшись чему-то, снова принялись за работу.

С балкона я слышал, как на кухне смеются Борька и Зоя. В доме напротив уже зажигались окна, и было видно, что там тоже общежитие, тоже квартирного типа, но не женское, а семейное. Женщины в окнах тоже в купальниках или в белых лифчиках и темных трусах, и некуда было девать взгляд. Я посмотрел на часы. Девять. Интересно, когда Малина обещал жене вернуться?

На балкон вышел Борька. Он взял у меня сигарету, но не прикурил, а долго разминал ее без нужды. Табак сыпался, а он качал головой, усмехался и говорил:

— Это надо же так, Оса? Никогда бы не подумал, что сразу найду. Вот здорово, а?

— Радуйся теперь,— сказал я.— Ты добился своего.

— Да, я рад,— сказал он, поднимая на меня блеснувшие глаза.— Я рад. А ты — нет. Такой уж ты человек, Оса, тут ничего не поделаешь. Жалко мне тебя. Знаешь, почему ты не рад? Потому что получилось так, как хотел я. А ты хотел по-другому. Вот и все. Ты эгоист, Оса. Дай-ка прикурить.

Я дал ему прикурить. Он положил руки на перила балкона и стал снова усмехаться и покачивать головой. Значит, он не понял, почему я дал ему в морду, когда он сказал, что его будущая жена уже знает все о Зое. Ладно, тем лучше.

Как всегда, я не мог до конца разозлиться на Борьку. Потому что, кроме того нелепого взаимного недовольства, которое разъединяло нас, было еще главное. Нет, не Зоя, наша совместная солдатская служба.

В те дни мы уже собирались демобилизоваться. Отполированные бляхи и мундиры со сногсшибательными подворотничками чутко дремали в домашних чемоданах, в недрах каптерки.

Я серьезно опасался за Борьку, как бы он чего-либо не учудил под занавес. У меня для этого были причины.

Все два долгих солдатских года Борька служил спустя рукава, за что имел множество замечаний по пустякам: за неопрятность в ношении формы, за небрежно заправленную койку, за неухоженную обувь. В конце концов по этим мелочам я взял над Борькой добровольную опеку, напоминал: «Застегни ворот, водвори бляху на место, заправь портянки». А Борька, воспользовавшись случаем, как-то совсем незаметно превратил меня в своего личного денщика. И не просил, а требовал без зазрения совести: «Подшей-ка заодно и мне подворотничок!» Я не возражал и «заодно» отпаривал Борькину выходную форму, пришивал его вечно летящие пуговицы и драил осидолой бляху ремня и те же пуговицы. Впрочем, это все ерунда: чего не сделаешь для земляка да еще и одноклассника.

Борьке очень мешал его длинный язык: он не мог молчать не только в казарме, но и в строю. Борька разыгрывал этакого эрудита — задавал молодым сержантам дурацкие вопросы на потеху товарищам и даже вступал с младшим начальством в пререкания. А это уже попахивало не замечаниями.

Не лучше Борька относился и к таким же, как и он сам, рядовым: постоянно упражнялся на ком-нибудь в остроумии, и его постоянные подковырки и подначки, увы, не были дружественными. Однажды по этой причине мы с ним не разговаривали целую неделю. Борька жестоко обидел славного деревенского паренька Васю Семенова. В курилке развернулась ожесточенная дискуссия по творчеству самых модных поэтов современности: каждый отстаивал свою точку зрения. Последним неуверенно высказался Вася — откровенно признался, что не понимает Вознесенского и предпочитает в свободную минуту перечитывать Маяковского.

Вот тут-то мой Боря и выкинул фортель. Подскочил к Васе, надвинул ему пилотку на глаза и выпалил: «Суди, дружок, не выше сапога!» Я обомлел от такой наглости. В курилке на минуту повисла нехорошая тишина. Я опомнился первым, закричал Борьке прямо в лицо: «Ты что, галошу съел? Сейчас же извинись!» Того же требовали и другие. Но Борька так и не извинился. Ему, не сговариваясь, объявили бойкот. Мне стало Борьку жалко, и мы помирились.

И по-прежнему мы делали вид, что дружим. Но настоящей дружбы уже не было, хотя Борька покаялся и осудил свой «дурацкий» характер. Но я-то видел, что он вовсе не дурак и даже не притворщик, а самый настоящий хитрец-ловчила.

Никто, как он, не умел при случае «сачкануть». В наряде по кухне мы чистили картошку, мыли посуду, драили плиту и котлы, скребли полы. А Борька, вертясь на глазах у дежурного офицера, наводил интерьер для солдатского аппетита: расставлял тарелки, кружки и хлебницы, поливал цветочки и даже собирал на задворках ромашки и ставил букеты в консервные банки.

В кино или на концерте Борька всегда успевал занять лучшее место, в библиотеке умудрялся вне очереди получить самые дефицитные книги. Впрочем, это тоже были мелочи, но они накапливались, и уже на втором году службы я был уверен, что рано или поздно наши дорожки с Борькой разойдутся навсегда.

Впрочем, был один человек в роте, который сразу же проницательно раскусил Борькин сволочной характер. Это наш строгий старшина товарищ Роленок. Он глаз с Борьки не спускал. И на прощание при последнем построении «отомстил» Борьке за все свои муки. Мой подопечный в строю по команде «смирно» позволил себе очередную «остроумную» реплику по поводу дембеля и схлопотал наряд вне очереди.

Справившись об отходе автобуса на вокзал, я нашел Борьку на хозяйственном дворе. Борька в одной майке, с колуном в руке едва не плакал: ему предстояло расколоть огромную кучу кряжистых суковатых сосновых чурбанов. И если бы я ему не помог, Борька бы не уехал вместе со всеми демобилизованными. Я твердо решил, что выручаю Борьку в последний раз. Но, увы, он и на гражданке по привычке повис на моей шее, как чужая медаль.

И вот мы стоим и курим на балконе общежития, где живет Зоя. Я, когда в общежитие попадаю, сразу вспоминаю армию. А Борька — о чем сейчас думает? Не знаю. Не понимаю, чему он может сейчас радоваться, если все равно домой возвращаться придется. Впрочем, каждый имеет право на свой кусочек свободы, доброты и покоя. Вот он, твой кусочек, хватай, радуйся. Ведь человек же ты, по-человечески ты и прав...

И вдруг я понял то, над чем голову ломал почти год — с «медовой недели» до развода, о чем и сейчас думал исподволь, вернее, ощущал подсознанием как привычную тяжесть,— вину и обиду одновременно.

Борька докурил и ушел, а я стоял, опершись на перила балкона, слушал звяканье стаканов и смех в комнате, Борькины шутки на мой счет и примиряющее бормотанье Малины, а солнце аккуратно и неторопливо садилось за лес в просвете между серыми стенами соседних домов, и мне показалось на миг, что если бы не эти закрывающие горизонт дома, я бы увидел чуть в стороне от уходящего солнца шпиль Домского собора на другом берегу Даугавы. Я не успею докурить, услышу нетерпеливый голос, немного тягучий от капризной нежности, войду в комнату, где душновато от сладкого и терпкого запаха индийских курений, которыми она так дорожит, увижу ее лицо в свете вплывающего в широкое окно заката и снова забуду, как вчера и позавчера, свою обиженную растерянность.

Я заказал эту «медовую неделю» через бюро путешествий, а она была недовольна, что мы едем не в Вильнюс, куда она давно хотела, а в «эту провинциальную Ригу», где она бывала не раз. Я тогда не обратил внимания на ее недовольство, потому что сам был счастлив в те летние дни. Подобно герою гоголевской «Женитьбы» в минуты счастливого бреда, я жалел до слез всех холостых и одиноких, восхищаясь разумностью моногамной гармонии двуногих и благословляя Закон о браке и семье. В стуке колес поезда, увозившего нас в экзотическую и респектабельную Прибалтику, я различал еще сладостные вздохи ликующего марша бессмертного Мендельсона, которому, видать, с женой повезло, и чувствовал себя на ковре Дворца бракосочетаний, под похоронными взглядами глупых и чужих в эту минуту друзей.

Светлая мелодия продолжала греть мне грудь, когда мы, оставив вещи в уютном номере рижской гостиницы, несмотря на мои надежды, сразу рванули с рюкзаком по универмагам и магазинам сувениров. Ожидая ее у входа, я закуривал приятную рижскую сигарету, улыбался бездумно и, расстегнув молодецки пиджак свадебной «тройки», рассматривал у себя на

животе ровный ряд пуговиц и два замечательных карманчика элегантного жилета; из правого кармана свешивалась цепочка для часов (сами часы она обещала мне осенью, к праздникам, когда их модному отделу и всему биологическому НИИ премию подкинут за подвиги их подопытных мышей на околоземной орбите). Она выскакивала из магазина румяная, с блестящими очами, прижимая к груди коробку или сверток и качая сама себе головой: не представляешь, мол, какую очередюгу выстояла и сколько пар перемерить пришлось. Я развязывал рюкзак, она тщательно перекладывала все покупки с учетом характера нового груза и в зависимости от изменения дальнейших планов, я завязывал потяжелевший мешок секретным узлом, взваливал его на спину, и она гнала меня к следующему «шопу»,— быстрее, потому что скоро закроют, уже шесть часов. Быстро привыкнув к новой форме существования, я нашел себе приятное побочное занятие: архитектуру попутно осматривал. Слушая ее озабоченные размышления и прикидки во время коротких перебежек между храмами торговли, я с удовольствием отмечал про себя ее нахрапистость и бережливость (пересчитывая оставшиеся бумажки, она останавливалась посередине тротуара и шевелила губами, будто молилась), но сам все чаще запрокидывал голову: шпили готических башен врастали в небо; зеленоватый налет на древней черепице и множество дымоходов над крышами объясняли, сколь прочен покой каменных стен и надежных дверей. Цоканье булыжников под нашими каблуками в старом центре города, плавное течение чужого говора — теплого прибалтийского речения, где долгие гласные обкатаны, будто галька на берегу,— все это, резонируя с неумолкающим у меня внутри Мендельсоном, давало неожиданное чувство спокойного и полного одиночества. Такое чувство возникает, когда большую работу закончишь, а никто еще не знает об этом, и пока твоя радость — только твоя, а потому ее как бы и нет вовсе.

Естественно, что, вернувшись в отель, где нам дали почему-то два одноместных номера, что, кстати, сразу очень понравилось ей, я захотел, чтобы все было вместе. Но она, лукаво улыбнувшись и приложив к моим губам свою душистую ладошку, взяла чемоданчик со своими вещами и ушла в соседний свой номер,

пообещав позвонить, когда отдохнет. Я сел у окна и стал кусать кулаки. Минут через пять телефон зазвонил, я сорвал трубку и выпустил в микрофон сдавленное рыдание. А она сказала, что проверяет, есть ли связь. Я попытался намекнуть ей, но она сказала, что очень устала и чтобы я позвонил часа через два.

И тут я вдруг понял, что меня попросту не существует, я полный нуль. По крайней мере, для нее. А поскольку точкой отсчета для меня была она, такой нуль в моем представлении был равен абсолютному и жизнь теряла смысл.

Теперь-то я понимаю, что по женскому тщеславию ей просто не хотелось разрушать то состояние одинокого и полного владения своим счастьем, когда можно протянуть руку и взять, а можно и не брать: пусть оно подождет меня, как я ждала. Но тогда я взбесился. Как?! Она же сама назначила день свадьбы, тщательно просчитав наши биоритмы и определив оптимальный для счастья срок. Мы с ней родились в один год, в один месяц, с разницей в двадцать три дня, так что высчитать синхронный подъем наших эмоциональных и физических ритмов было несложно, тем более что цикл ритма физического по всем канонам как раз составляет ровно двадцать три дня. Оставалось сбалансировать биоритмы наших эмоций, а интеллектуальной продуктивности, как ей сказал один доктор наук, в «медовую неделю» не требуется. Тогда мне это заявление сразу не понравилось, и вот вам результат: глупость какая — я в одной комнате, она в другой, разговариваем по телефону, как будто не было нескольких месяцев жарких свиданий и непреодолимых, как тогда казалось, преград и наконец Мендельсона в награду. Стоило в Ригу забираться, чтобы по разным комнатам запереться на второй день семейной жизни...

Посмотрев немного в окно на закат, на строгие шпили, я оделся и пошел бродить по улицам. Стемнело быстро, и, звонко стуча новыми, неразношенными ботинками по булыжникам узких и пустых улиц старого города, где самые древние стены подсвечены прожекторами и неоном — просто так, для красоты, я особенно полно чувствовал свое одиночество, ненужность этой поездки и глупость своего сегодняшнего положения. Зашел в кафе, выпил водки, послушал чу-

жую речь. Захотелось домой. Решил пойти в гостиницу, забрать свои вещи и попрощаться с ней — навсегда.

Когда я вошел в ее незапертый номер, уже с чемоданом в руке, она лежала на широкой кровати в пеньюаре. На тумбочке стояла горящая сувенирная свеча, и на пепельнице лежала, курясь синим дымком, индийская палочка, которую она мне показывала еще два года назад. Это куренье, предназначенное специально для счастливых ночей, ей подарил какой-то индус-практикант, и она часто рассказывала мне о волшебных свойствах сладкого дымка.

Действительно, я до сих пор помню этот возбуждающий, какой-то слишком властный, будто разумный запах, который охватывает сознание светлой мглой и ослабляет волю. Ненавижу этот запах, и духи «Агат», и кривые биоритмов на клетчатой бумаге — с той «медовой недели» ненавижу...

Потом она гладила меня по голове и говорила, что у меня, наверное, десинхроноз — нарушение биоритмов — оттого и депрессия. Я молча кивал и соображал суетливо, что же делать теперь, когда все главное, на что я надеялся, еще не найдено, а уже потеряно, потому что это теперь навсегда: связь как по телефону, а между нами стенка извилистых биоритмов, дающих при наложении нуль.

Случались потом и хорошие дни, когда будто бы верилось, что придет прочная радость, но мелькали они редко. Оттого, наверное, что и ей верилось только будто бы, а подсознательно она все ждала иных каких-то эффектов, иных ритмов — как в ту неделю ждала и злилась на меня, что в гостинице отключили вдруг горячую воду и в магазинах не найти финского плаща, из-за которого только она якобы и «приперлась в эту несчастную Ригу». Теперь-то я догадываюсь, как яростно, зло, мстительно требовала бабьего тщеславного праздника ее растравленная двухлетними ожиданиями и не утоленная ликующим Мендельсоном гордость — чтобы неделю хоть королевой побыть в отместку за то, что матери лгать приходилось и перед врачами краснеть. Если бы я понял это в Риге, то не стоял бы сейчас, кусая губы, на балконе комнаты, где живет любимая моего друга. И снова я против воли думаю о той, на которую у меня не хватило сил, не хватило веры в нее и умения попросту отодвинуть раз-

делающую стену, как это умеет Зоя, делая Борьку все-таки счастливым в эти минуты. Вот я слышу ее смех — ему, ее слова — ему, не зачем-то и не почему-то, а просто — ему, как не смог тогда, в Риге, я — обидевшись по-дурацки и сразу приняв поражение. Можно, конечно, успокоить себя тем, что Зоя любит Борьку так, как, может быть, я не умею, но не гордиться же этим... Впрочем, теперь уже поздно, ничего не поправить.

Наконец Зоя позвала меня, посмотрев секунду в глаза по-особому, давая понять, что и она помнит все и ценит меня по-прежнему. Мне стало совсем скверно, но я послушно сел за стол.

— Вы извините, я сейчас,— сказала Зоя и исчезла за дверью своей комнаты.

Я сидел рядом с Тоней, чувствуя ее сильное тепло, смотрел на стол, на наши бутылки с содранными этикетками и согревался понемногу, непонятно по какой причине. Просто есть, наверное, какая-то теплая сила в этих не слишком вроде бы уютных комнатах общежитий. И небогато здесь, и порядок какой-то непонятный, и красавицы на стенах, и мебель казенная, на которой и сидеть, и лежать неудобно, но почему-то всегда в этих поносимых солидными людьми «общагах» есть что-то неуловимое и очень нужное, чего ни порядком, ни полировкой не купишь. Наверное, здесь живет будущее. И эти сказочные ресницы и косы Тони, спокойная домовитость ее ловких, полных рук станут когда-нибудь — и очень скоро, наверное,— чьим-то счастьем, простым и верным. И оттого рядом с ней тепло и спокойно. Я обнял Тоню за талию и стал уверять ее, что никогда в жизни не видел такого стола: и сельдь исландская в винном соусе, и паштет в крохотных желтых баночках, и свежая зелень (это ранней-то весной!), и домашняя колбаса, и чудный розовый шпик... Тоня осторожно отковыривала мои пальцы от своей талии, косясь и краснея, но я не унимался, пока из своей комнаты не вышла Зоя.

Мы посмотрели на нее вчетвером одновременно, и у меня захватило дух, а Борька привстал с дивана, но тут же плюхнулся назад, потому что стол был придвинут вплотную.

Зоя была в белой блузке, и светлее ее не было никого на свете. Она села рядом с Борькой, прижалась

к его плечу, не стесняясь, не опуская глаз, и я стал распечатывать бутылку, а Малина пошел со своим стаканом на кухню за водой: запивать.

Я налил первой Зое, потом Тоне, потом Малине, потом уже Борьке и себе.

Малина вернулся, я поднял свою рюмку и встал. Зоя и Борька тоже подняли рюмки, чокнулись и смотрели на меня, как молодожены перед первым тостом на свадьбе — второй свадьбе, специально для близких друзей.

— Я хочу выпить,— начал я.

— Ты давно хочешь выпить,— уточнил Борька.

— Итак, я хочу выпить за эту теплую весну,— меня понесло,— за то, что мы приехали к вам, а вы нам рады, что само по себе замечательно...

— Мальчики, как не стыдно,— сказала Зоя.

— За то, что Тоня красива, а Зоя просто прелесть...

— Болтушка,— сказала Зоя.

— За то, что у Малины «Запорожец»...

— Малина всегда был молодцом,— сказала Зоя, кивнув Малине, а он опустил голову.

— За то, что мы вместе, нам хорошо и на улице такая весна. И спасибо за все всем вам, вместе взятым!

Все встали и чокнулись, выпили стоя, уселись, и Тоня заговорила о весне, какая там у них на Кубани бывает.

Зоя с Борькой заговорили о своем, не шепотом, но тихонько, а Малина попросил у меня сигарету.

— Как выпью — сразу тянет,— извинился он.

А я снова подумал, какой он все-таки молодец: впервые за рулем собственной машины, а не боится, что права отнимут. Но курево у меня, оказывается, кончилось, и Тоня сказала, что сейчас принесет хорошие сигареты.

— Как ты его терпишь? — спросила Зоя у меня, кивая на Борьку и улыбаясь понимающе. Он же рассказал ей, конечно, что живет у меня.

— Я привык,— ответил я, улыбаясь ей так, чтобы она поняла наконец хоть что-нибудь. Но она обернулась к Борьке, погладила его давно не стриженные волосы и, положив на плечо ему кулачок, опустила на него подбородок, и я налил себе еще и выпил один.

— Не пей один, нехорошо,— сказал Малина.—Зоя, а у вас теперь что — двухкомнатная на двоих?

— Ну что ты! — улыбнулась Зоя.— Просто девочки сейчас в отпуске в Крыму, ты же видишь койки.

На одной кровати лежали горой три огромные подушки, покрытые кружевной накидкой, а на другой — огромный плюшевый тигр, и я подумал, что все-таки хорошо мы приехали, вовремя.

Тоня принесла сигареты, и, когда она садилась снова рядом со мной, я почувствовал волну знакомого запаха, возбуждающе сладкого. Господи, это же «Агат», запах которого я слышал сегодня по телефону. Но Тоне — такой сильной — зачем это? Может, она и уходила-то не за сигаретами, а чтобы подушиться...

— «Марлборо», «Кент», «Кэмел»,— сказала Тоня.— У меня брат в загранку ходит. Курите, мальчики.

— Селедку тоже брат поймал? — спросил я. За этот «Агат» я разозлился на Тоню. Сразу стало казаться, что ей страшно хочется замуж, тем более что явно пора.

— Нет, селедка Ларискина,— ответила Тоня, подцепив из банки розоватый ломтик и быстро его проглотив.— Которая в отпуске. У нас такой порядок: если гости у кого-то, значит, эти гости общие. Колбасу мне прислали, шпик тоже, а паштет Зойкин.

— Что? — спросила Зоя, с трудом оторвав взгляд от Борькиного лица.— Угощайтесь, ребята, наливайте.

— Я говорю, что мы гостей принимаем всегда общими силами,— повторила Тоня и взяла кружочек колбасы. Она не съела его, а положила мне на тарелку.

— Да, конечно, так удобнее, правда? — И Зоя снова повернулась к Борьке.

А мне стало горько при мысли о тех гостях. Так, значит, не нам одним рады были бы и Тоня, и сама Зоя.

— Малина, давай еще по одной.

— Я уже выпил только что.

Выпив, я съел Тонину колбасу. Потом стал есть Зоин паштет и Ларискину селедку — просто так, смеха ради. И Борька с Зоей действительно засмеялись, но когда я вздрогнул и поднял голову, они целовались осторожно, и лучше бы уж они просто смеялись надо мной.

Я ел и пил, не замечая времени. Малина курил одну сигарету за другой. Мы уже знали о Тоне все, включая ее любимых киноактеров, певцов и конфеты, и разговор иссяк. На улице стемнело, и Тоня зажгла свечи. Борька с Зоей целовались много раз, но мне уже стало все равно. Не потому, что я был пьян, а просто я уже не реагировал. Я ведь знал заранее, что будет именно так. Надеялся, правда, что Зоя успела встретить кого-то, но, зная Зою, надеялся слабо.

Вдруг Малина встал и громко сказал:

— Ребята, а я одну игру знаю. Идите сюда все.

Он выстроил нас в шеренгу, и справа от меня дышала «Агатом» горячая Тоня, а левым локтем я чувствовал прохладную ткань Зоиной блузки. Голова шла кругом, и свечи в высоких подсвечниках на столе, на подоконнике и на тумбочке возле Тониной кровати светили длинными, жалобно коптящими языками.

Малина объяснил:

— Сейчас я уйду на кухню, а вы, все вместе, загадаете любое трехзначное число. Потом я приду, посмотрю всем в глаза и назову это число.

— Не может быть,— сказала Тоня восхищенно.

— Только без смеха,— предупредил Малина строго.— И, когда я буду смотреть в глаза, думайте сосредоточенно об этой цифре. Понятно? Если кто думать не будет, ничего не получится. Ну, я пошел.

Когда он вышел, Борька предложил:

— Триста двенадцать.

Я сказал, что триста двенадцать — это слишком просто, и выдвинул шестьсот девяносто восемь.

— Черт с тобой,— сказал Борька.— Эй, Малина, где ты там?

Малина вошел и начал обход.

Он подошел к Тоне, положил ей руки на плечи, и она захихикала.

— Я же просил — без смеха,— напомнил Малина.

Тоня поджала губы, но продолжала мелко вздрагивать, и я положил ей руку на талию, вдыхая ее запах и якобы успокаивая девушку. Стоило мне закрыть глаза — и становилось безразлично, откуда этот запах, только бы хватило его на весь вечер, на всю ночь, на всю жизнь...

Малина остановился передо мной и застыл, впившись взглядом мне в глаза. «Семьсот восемьдесят

девять,— подумал я.— То есть, извините, шестьсот девяносто восемь. Ну да, конечно, шестьсот девяносто восемь, ведь сам предложил. Шестьсот девяносто восемь, шестьсот девяносто восемь... Неужели он угадает?»

Он взял мое лицо в ладони и чуть приподнял мой подбородок, вглядываясь в глаза мои пристальней.

— Ты плохо думаешь,— сказал он раздраженно.— Или просто слишком пьян. Подумай как следует и пойми сам все окончательно. Надо на чем-то остановиться. У тебя мысли скачут.

Я обиделся и снова затвердил про себя эту чертову цифру, думая, что я и впрямь, наверное, плохо думаю, потому что у меня сегодня три нуля биоритмов. Но он уже шагнул вправо и приподнял обеими руками лицо Зои, так что я ему позавидовал.

— Спокойнее, Зоя, спокойнее,— уговаривал Малина.— Нужно сосредоточиться. Так, так, еще немного. Ты, главное, успокойся. Ну что с тобой сегодня? Такое простое задание не можешь выполнить. Бывают ведь и сложнее ситуации, правда?..

В глазах его отражались длинные языки коптивших на буфете свечей, и Малина был великолепен. «Неужели? — подумал я.— Нет, быть этого не может. Впрочем, он всегда был немного странный...» И по спине у меня бежали мурашки.

Борьку он держал за щеки совсем немного. Сказал твердо:

— Думать не умеешь, Боря. Совершенно не умеешь. И что с тобой дальше будет?

— Он умеет,— заступилась Зоя.— Бука, ну докажи, что ты умеешь думать.

Малина отошел, Борька опустил голову и задумался, а Зоя снова зашептала ему что-то теплое, нужное, хорошее о нем, что понимала только она крепкой своей любовью.

Малина вышел на середину, повернулся к нам спиной и закрыл лицо руками. Потом обернулся и с улыбкой торжества и облегчения выдохнул раздельно:

— Шестьсот — девяносто — восемь!

Зоя захлопала в ладоши, я сел на стул и постарался сосредоточиться на чем-то, чего никак не мог поймать, а Тоня закричала:

— Еще! Ой, еще! Как это так, а? Давай еще!

— Больше не могу,— сказал Малина.— Устал, извините.

— Надо же, какой ты все-таки молодец! — Зоя кивнула ему и снова повела Борьку на диван. А Малина почесал затылок.

Тоня достала из-под кровати пластинки, включила проигрыватель, и поплыла мелодия из «Шербурских зонтиков». Время снова остановилось, а потом стало возвращаться ко мне отчетливостью сознания, что не нужно было все-таки ехать сюда. Вот теперь оказывается, ко всему прочему, что Малина, старый, добрый Малина, зарывает свой главный и такой редкий талант в землю. Я грустно пожал ему руку, а он улыбнулся виновато и пожал плечами. Потом сказал мне тихо:

— Слушай, он же ничего не понял. Пора увозить его.

А я махнул рукой и пошел танцевать с Тоней.

Зоя на диване целовала Борькину руку. Он отнял руки, обнял Зою, прижал ее голову к своей груди, потом стал целовать ее лицо.

Обняв Тоню, я ходил по комнате, как слепой конь. Тоня была большая, теплая и уютная. Борька с Зоей совсем там сошли с ума, и я поцеловал Тоню в шею, задыхаясь родимым «Агатом» и думая: «Если он останется, я тоже останусь. Ну и пусть...»

В душе росла благодарность к сердечным японцам, отвалившим мне сегодня без очереди целых три нуля, три прищуренных, блудливо хихикающих нулика, с которыми у человека развязаны руки, потому что он как бы не он, в этот день его просто нет, а вернее, он от самого себя свободен. От такого комфорта на денек редко кто откажется: у каждого нынче стресс, регресс и депрессия. И я стал рассказывать Тоне, какие у меня замечательные рыбки в аквариуме, и жаловаться на Борькино полотенце. Тоня по-матерински перебирала мои волосы на затылке и хотела замуж. Малина положил мне руку на плечо:

— Оса, пойдем! Пойдем выпьем.

Подойдя к столу, я взял протянутый им стакан, а когда выпил до дна, понял, что это была вода.

— Ты что? — я схватил его за руку.

— Сядь и успокойся,— сказал Малина.— Сейчас домой поедем.

— Тебе нельзя, ты пил,— сказал я.— Оставайся с нами.

— Сядь и не питюкай.— И он усадил меня на стул напротив Борьки с Зоей и снова дал воды.

От воды я потихоньку трезвел, и все прояснилось.

Вот она приникла подбородком к его плечу и шепчет ему в ухо, то и дело прижимаясь к его рубашке щекой, чтобы стереть слезы. И он расстегнул вторую пуговицу, и выпил еще, и шарит пятерней по голой груди, унимая сердце. Он посмотрел на дверь за спиной у меня, на ту дверь, из-за которой вышла час назад к столу переодетая Зоя, и я понял, что мы с Малиной сейчас уедем, а он останется. Тут он встретил мой взгляд.

Когда он стал смотреть на дверь Зоиной комнаты, я сделал другое лицо, и теперь смотрел ему в глаза без одобрения, но и без недовольства, будто понимая все и прощая заранее. На самом-то деле я, конечно, жутко завидовал ему. Я завидовал, потому что ведь это и есть наша жизнь — эти минуты, а может быть и секунды, когда все поднимается внутри, и свое, и чужое, и необходимое, и враждебное тебе вперемешку, и голова кругом идет, и вот сейчас только слово сказать, только в глаза посмотреть — и все вокруг уже иное, а сам ты — тот человек, каким хочешь себя чувствовать, то есть хотел, а теперь вдруг стал — на час или навсегда — кто знает...

Но я смотрел на него спокойно, не улыбаясь и не хмурясь. И то ли маловато было понимания в моем взгляде, то ли случилось что-то с моим другом, чего и сам он еще не разобрал, но случилось и приказало. И он встал резко, едва не оттолкнув Зою, попросил у меня сигарету и вышел на балкон. Я выпил еще воды, незаметно улыбаясь. И тут же подумал, что он близорукий, не мог понять моего взгляда на таком расстоянии, да еще в полумраке, и мне стало тоскливо, как в первые минуты в этом доме.

— Нам пора,— сказал Малина.— Спасибо, девочки.

Он пошел за Борькой на балкон, пробыл там минуты две и привел его. Мы стали прощаться.

Я поцеловал Тонину руку и шептал ей на ухо, что у нас все еще впереди, но она улыбалась все так же по-матерински и грустно качала головой, так что у меня

вдруг горло перехватило и пришлось глупо прохохотать.

Девушки проводили нас вниз, и Борька снова залез на заднее сиденье, а Зоя заглядывала в окошко и стучала по стеклу. Я захлопнул дверцу и помахал Тоне. И когда Малина тронул, я даже не оглянулся на Зою, хотя знал, что она машет рукой не только Борьке.

Мы, все трое, молча смотрели на освещенное фарами пространство впереди и думали каждый по-своему об одном — о Борьке и Зое. И о том, что обязательно нужно было съездить в Гатчину, думал я и, разумеется, Борька. Малина-то и до этой поездки всегда знал, что к чему и что почем. А вот мне нужно было, позарез нужно Зое в глаза поглядеть. И пусть она смотрела на меня совсем иначе — все равно, хотя и не для меня, есть в ней то самое, за что женщинам стихи пишут, что всех нас людьми делает, чего недостает нам в нашей жизни, уже помеченной нулями грустных японцев, которые той же тоской по человеку живому маются, а к нулю привести хотят все, что есть в нас пустого... Нет, милая, ничего у нас с тобой не получится. Прости ты меня. Мне за двоих не вытянуть...

Долго молчать было неловко, и, вспомнив Малинин фокус, я осторожно заговорил об этом, как бы сам с собой, поглядывая искоса на таинственный после всего сегодняшнего профиль Малины.

— Все очень просто, Коля,— сказал Малина, не поворачивая лица.— Я научил Борьку еще в прошлом году, когда мы вместе в отпуске были. Ты заметил, что я всех держал за челюсти?

— Ну?

— Ну, все думали про цифру, а Борька мне эту цифру желваками отсчитал. Понял?

Я приложил пальцы к желвакам и поиграл ими: шесть раз, потом восемь. Но обидеться я не успел, покраснел только, а Малина выехал, резко развернувшись, на центральную улицу, и в свете фар появился милиционер на мотоцикле с коляской, тарахтящем на месте. Милиционер поднял руку, и Малина затормозил. Милиционер неторопливо слез с седла, вынул ключ зажигания и пошел к нам. «Крышка, — подумал я. — Отнимут машину».

Малина открыл дверцу слева, протянул милиционеру права. Тот посветил фонариком нам в лица и сказал Малине:

— А ну-ка дыхни.

Малина дыхнул.

Милиционер молча вернул ему права.

Мы тронулись. Каким гипнозом Малина спас права?

— Ты же пил! — сказал я восхищенно.

— Нет, — возразил Малина. — Я пил только воду.

А Борька все молчал, и я подумал, что здорово сегодня Малина обработал нас обоих. Как это он сказал Борьке: «Думать не умеешь. И что с тобой дальше будет?..» — вовремя ведь сказал...

Мы ехали медленно по безлюдной и тихой Гатчине, и молодая листва, подсвеченная неоном, казалась гуще, чем днем. Я опустил стекло, и в кабине стало прохладно и просторно. Я сел боком, чтобы видеть одновременно и Малину, и Борьку, и улицу, и мне вдруг снова стало легко, как днем, когда солнце светило нам в лицо. «Все хорошо,— думал я.— Все будет прекрасно».

Возле почты Малина затормозил и вышел позвонить жене. Я открыл дверцу, закурил и, слушая, как тихо на улице, как шевелятся влажные от вечерней росы листки тополя у обочины и зудит по-стрекозиному неоновая колба светильника высоко в ветвях, почувствовал вдруг, что и Борька чувствует сейчас то же — эту теплую, добрую, раннюю весну.

— Ты знаешь, я завтра домой поеду,— он вздохнул.— Дай-ка докурить.

Я отдал ему сигарету, радуясь, что только начал ее, что ему осталось еще много. И тоже вздохнул.

— Ты извини меня,— сказал он.— Наверное, ты прав. Не стоило ездить в Гатчину.

— Брось, старик,— сказал я.— Чего бы мы стоили, если бы не собрались и не съездили...

Он опустил голову.

Вернулся Малина. Захлопнул дверцу, обошел машину спереди, открыл дверцу слева и сел за руль.

— Все в порядке,— сказал Малина.— Поехали.

До железнодорожного переезда оставалось рукой подать, когда ярко освещенный черно-белый шлагбаум вздрогнул и пошел вниз торжественно и зловеще. Да-

же когда торопиться некуда, в такие минуты начинаешь вдруг психовать. От обиды, наверное, какой-то детской. Вот ехал себе, никому не мешал — и вдруг какая-то непознанная закономерность резко меняет твою судьбу и нужно снова искать живые ритмы.

Мы смотрели на блестящие под прожектором рельсы, на неподвижную фигуру женщины в оранжевом железнодорожном жилете, с желтым флажком в руке, и каждый думал, конечно: скорее бы проходил поезд...

— Да, придется мне все-таки разводиться,— сказал вдруг Малина как бы самому себе, не меняя лица и не отрывая взгляда от дороги.

Меня озноб пробрал. По его тусклому голосу я сразу почувствовал, что сказано это всерьез и окончательно.

Но почему? У него же все хорошо с женой, у Малины всегда все в порядке...

Я обернулся к Борьке. Мне показалось, что от глаз его к затылку Малины тянутся прерывающиеся серебристые нити — как провода к силовому рубильнику, где предохранитель перегорел.

— Опять она с этим, с прошлогодним,— сказал Малина, поворачивая ключ зажигания, чтобы мотор отдохнул.— Да вы не в курсе, ребята, я молчал... Она все время прощенья просит и плачет по ночам — прямо ножом по сердцу. А может, у них все нормально получится, а? Но Андрюшку я ей не отдам. Нет...

Он хотел сказать еще что-то, но тут слева из-за домов выполз, надрывно мыкнув, зеленый с прямой полосой тепловоз, вибрация от тяжелого состава дошла по земле к нам и наполнила кабину «Запорожца» дрожащим гулом. Тепловоз сразу скрылся за придорожными тополями, а тяжелые коричневые вагоны и низкие платформы с тракторами, экскаваторами, комбайнами и другими плодами прогресса все появлялись из-за домов. Будто там глубокий тоннель и конвейеру этому нет конца. Я представлял, как расползутся эти стальные зверюшки по стране, чтобы людям помочь, и радовался. Но главное — я лицо машиниста запомнил. Вовсе не замечательное, усталое лицо; оно хорошо освещено было с переезда — круги усталости под молодыми глазами, потом — улыбка и короткий взмах руки — живем, мол, ребята...

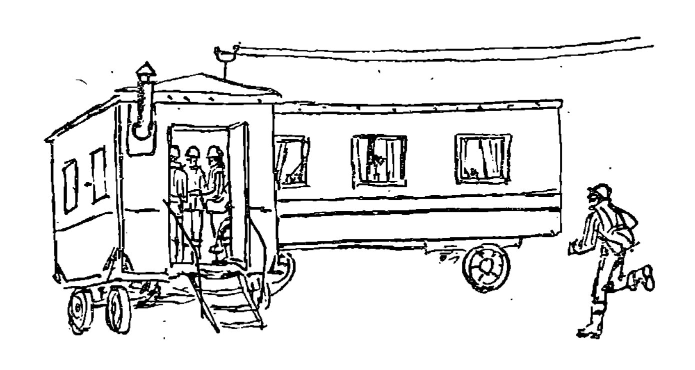
Мы молча ждали, когда состав пройдет. Я чувствовал себя почему-то не на месте. Обернувшись к Борьке, я увидел, что и он ерзает стеснительно. И тут весь мой сегодняшний вечерок, и мудрые мысли зануленного трусостью сознания, и хамское хмыканье в трубку, откуда тянулось ко мне маленькое, но истинное тепло, пусть даже примаскированное нарочито расширенными зрачками японских нулей,— все прокрутилось во мне мгновенно, но уже увиденное отсюда, причем не моими глазами, а вроде бы взглядом Малины или, может быть, того парня, что поволок тяжелый состав, чтобы к кому-то помощь пришла,— и стыдно стало до боли.

Состав прошел, простучав колесами последнего вагона с особенной четкостью, и шлагбаум милостиво поднялся.

Снова мы ехали по дороге. Но уже не было того умиротворенного чувства нерушимой общности, что заставило нас с Борькой пойти друг другу навстречу, пока Малина звонил в город жене.

Да, разумеется, мы уже не вместе, давно не вместе. С того ли дня, когда я впервые пошел в театр с Зоей или, может быть, с той ночи, когда Малина не спал, впервые узнав от жены все, о чем и самым близким друзьям не говорят,— мы не вместе, хотя и я, и Борька хотим сейчас одного — пусть у обоих нас будет отнято столько, чтобы можно было нашему другу потерянное вернуть. Но никто не может облегчить груз на твоих плечах, потому что никто за тебя не взглянет тебе в глаза и не скажет всей правды...

На прямом шоссе маленький «Запорожец» хорошо набирал скорость. Впереди над горизонтом светилось теплое вечернее зарево над нашим городом.



Николай Коняев

ДВА ДНЯ, НОЧЬ И УТРО

День первый

Солнце стало большим и весенним. Оно сверкало в стеклах домов и в натаявших лужицах, радужной пеленой заволакивало сосны, осыпающие со своих ветвей сырость. Был самый разгар весенней работы, и снег — прямо на глазах — серел, сжимался, пытался убежать в спасительную тень, но иногда, чаще всего к вечеру, ветер снова нагонял с залива облака, и снова сыпались на землю водянистые белые хлопья...

За соснами белели стены новостроек. Некоторые здания едва только выглядывали из-за верхушек дюн — город был разбросан кусками своих микрорайонов среди живого, нерубленного сосняка. Город еще только строился, и посреди уже заселенных кварталов — то тут, то там — оголодавшими цаплями возвышались подъемные краны, а шум и грязь стройки болотисто растекались вокруг.

В одном из строящихся домов, на подоконнике седьмого этажа, свесив наружу ноги, сидел двадцатилетний сварщик Саша Карнаухов.

Прошло уже больше часа после обеда, а обещанных баллонов с газом так и не везли. Саша вздохнул.

После того как поставили на ремонт местную станцию и начали возить газ из Ленинграда, эти перебои стали обычным делом.

Карнаухову захотелось закурить, и он похлопал себя по карманам, но так и не услышал нигде спичек: наверное, остались возле горелки. Лезть в квартиру назад не хотелось.

Как раз в это время мимо, только чуть выше, проплыла будка со смеющимися крановщицами.

— Эй, девчата! — закричал им Саша.— Спичек нема?

За шумом крановщицы не расслышали его, да и невозможно было расслышать, кран проплыл по рельсам мимо, пронося в голубом воздухе стену.

Карнаухов вздохнул и, перебросив ноги в комнату, соскочил с подоконника.

В этом городе Саша появился впервые четыре года назад, когда и города еще не было. Попал случайно: приехал погостить к дядьке, да так и остался здесь, устроился на курсы сварщиков и уже через полгода имел все, что нужно иметь самостоятельному человеку: и специальность, и койку в общаге. Самостоятельным человеком и ушел он в армию, а вернулся только минувшим летом.

За два года город сильно расстроился, и в первые дни к этому трудно было привыкнуть...

Дома, которые строил Саша, как-то притерлись к поросшим сосенками дюнам, и возникло ощущение, что они всегда и стояли здесь, а напутал что-то сам Саша.

Все изменилось, и только поселок Ручьи, где жил дядя, остался прежним. Но и он рядом с новым городом стал приземистее и меньше. И если раньше он казался естественным центром местности, то теперь было смешно видеть, как неуклюже лепится он к городу, словно возле города построенный — второпях, из разных подсобных материалов.

Ощущение отстраненности прошло, только когда Саша снова начал работать в этом городе.

Как только Саша вышел из подъезда дома, солнце ослепило его.

Затоптанный снег грязными лохмотьями лежал на бетонных ступеньках крыльца. Высоко в небе плыла на сверкающих тросах стена с окном, и монтажник, застывший на кромке соседнего здания, помахивал рукою, подманивая ее к себе. Где-то на верхних этажах смеялись девушки-штукатуры, и смех их гулко рассыпался по пустому зданию.

На дороге, напротив крыльца, буксовал грузовик. Возле него в расстегнутом ватнике бегал вчерашний солдат Ибрагимбеков и, не обращая внимания на грязь, летящую из-под колес, подсовывал туда обломки досок. Кроме Ибрагимбекова здесь было еще несколько только что демобилизованных после срочной службы в недалеком гарнизоне. Бывшие солдаты решили поработать на стройке — получить трудовую профессию. Поселились они все вместе в старом общежитии барачного типа, без всяких удобств, и на новом месте чувствовали себя пока неуютно и неуверенно. Не унывал, кажется, только один Ибрагимбеков.

Саша скрутил с баллонов манометры и вместе со шлангами спрятал их в унитаз с засохшим цементом на дне, прикрыл сверху досками и только тогда направился к буксующему грузовику.

Просто удивительно, как легко собирается на стройке народ. Что бы ни случилось, всегда найдутся желающие помочь, посоветовать и просто так — поглазеть.

Возле грузовика сейчас толпилось уже человек десять.

— Скорость давай! — размахивая руками, кричал Ибрагимбеков,— скорость давай, дарагой!

— Не торопись,— посоветовал шоферу Алябьев — добродушный сварщик лет сорока.— Ты назад немножко сдай...

— Не надо! Зачем назад? — встревоженно закричал Ибрагимбеков.— Только вперед! Полный вперед!

Чуть в стороне, так, чтобы на него не попадала летящая из-под колес грязь, стоял длинный сварщик Очкарев. Засунув руки в карманы, он чуть покачивался на каблуках, и губы его презрительно кривились: он смотрел на машину так, словно вытащить ее было дело плевое.

Очкарев казался еще выше от того, что жесткая брезентовая куртка сидела на нем, словно пошитая на заказ.

Между тем Ибрагимбеков и Алябьев продолжали суетиться, и колеса машины все глубже и глубже зарывались в грязь. Шофер наконец не выдержал: обматерил и Алябьева, и Ибрагимбекова, а потом выскочил из кабины. Посмотрел на заднее колесо, засвистел что-то и хмуро взглянул на собравшихся. Да так, насвистывая, и направился по тропинке к сосновой рощице, за деревьями которой рокотал трактор.

Ибрагимбеков сокрушенно посмотрел ему вслед.

— Э-э... — махнул он рукой.— Глупый совсем.

— Ты не слышал? — подвигаясь к Алябьеву, спросил Саша.— Газ привезут?

Алябьев посмотрел на него и засмеялся.

— Какой газ? Зачем? Наши «козу» пошли пропивать... Какой газ может быть? Пошли с нами.

«Козой» называли на стройке талоны на бесплатное молоко, которые иногда удавалось обменять на деньги в буфете кафе.

— Не... — вздохнув, покачал головой Саша.— У меня еще дел много.

Не одобрял он этого обычая, но и не протестовал: «козу» пропивали не все и не каждый раз, а только в случае простоя, когда рабочий день невольно укорачивался. С досады, так сказать.

— Пошли, Миша,— позвал Алябьева Очкарев, и Алябьев извиняюще подмигнул Саше и побежал догонять товарищей, которые уже двинулись в сторону кафе.

Карнаухов проследил за ними долгим взглядом, потом усмехнулся, пожал плечами и зашагал в обратную сторону, по тропинке, бегущей к сосновой рощице. Ему сегодня нужно было увидеть дядю.

Дядя жил в Ручьях, поселке, который стоял здесь еще когда ни о каком городе и не мечтали. Жили здесь рыбаки — рядом, сквозь прозрачный сосновый перелесок, виднелась полоса залива.

Чуть в стороне от Ручьев стояли бараки временного поселка. В этих времянках таилась какая-то упорная сила: они отняли у Ручьев даже собственное имя. Сами коренные ручьевцы и те на вопрос, где живут,

отвечали: «Во Временном...» — и, ошибившись невзначай, говорили, в сущности, истинную правду — поселок Ручьи доживал свои последние дни.

Временность здесь чувствовалась во всем. Уже никто не заботился о ремонте домов, и даже упавшие заборы не чинили: поднимут прясло, подопрут чем-нибудь, что попадет под руку, и — пускай стоит сколько выстоит.

Среди этого небрежения дом Сашиного дяди заметно выделялся. Во дворе было аккуратно прибрано, а к крыльцу вела широкая, хорошо расчищенная дорожка.

Саша отряхнул на крыльце ботинки от налипшего к ним мокрого снега и вошел в дом.

Дядька сидел на кухне возле обеденного стола и вырезал что-то из деревянного чурбака. Присмотревшись, Саша догадался, что вырезает он ковшик. Последнее время дядя пристрастился к поделкам и все свободное время только резьбой и занимался.

— А! — дружелюбно проговорил он, лукаво взглянув на Сашу.— Строитель... Чего же не заходил давно?

— Так... — Саша пожал плечами.— Времени не было.

Он побарабанил пальцами по столу и, заметив на приступке буфета тарелку с крепкими зелеными огурцами, удивился:

— Огурцы?!.

Дядька что-то хмыкнул и, переставив тарелку на стол, предложил:

— Угощайся!

Саша рассеянно взял огурец и уже было поднес его ко рту, но вовремя почувствовал неладное — огурец был слишком легким.

— Шутишь все... — Он положил деревянный овощ на тарелку.

— Да чего же не пошутить.— Дядька утер навернувшуюся от смеха слезу.— Веселее-то и жить легче, племянничек.

— Ну да... — Саша согласно кивнул.— А я с тобой поговорить пришел... По делу.

— Поговорить? — Дядька отодвинул огурцы в сторону.— Поговорить — это хорошо... А то мои квартиранты все на работе да на работе, так дома и слова не с кем сказать.

— Я про это и хотел как раз... — Саша снова побарабанил по столу пальцами.— Ты квартирантов-то не держи больше.

— А с чего это? — Брови у дядьки удивленно поползли вверх, и следом за ними, словно привязанный, начал подниматься кончик носа, отчего все лицо приобрело такое выражение, будто дядька хотел чихнуть.— Случилось что-нибудь?

— Да нет, ничего не случилось.— Саша пожал плечами.— Я так просто. Женюсь я, вообще-то... вот и говорю...

— Да ну? — изумился дядька.— И скоро?

— Сегодня заявление идем подавать.— Саша, не поднимая глаз, провел пальцем по клеенке.— Ты ее знаешь. Она у вас в училище учится. Катя Очкарева.

Дядька раздумал чихать, и брови и кончик носа вернулись у него в нормальное положение.

— Ну дак и хорошо придумал,— одобрил он.— Очеловечиваешься, значит?

Саше все-таки удалось процарапать ногтем дырку в клеенке.

— А потом нам дадут комнатенку,— сказал он.— В дэгэтэ вначале, а там, может, и квартиру...

— Да живите.— Дядька чуть усмехнулся.— Жалко, что ли? Я и пропишу! Скорее жилье получите. Живите...

Саша встал.

— Ну я пойду тогда,— надевая шапку, сказал он.— Еще на работу зайти надо.

— Чаю, может, попьешь? — Дядька тоже встал.— Спрыснем чайком помолвку?

— Не,— Саша покачал головой.— Некогда. Я вот огурец возьму. Покажу на работе.

— Бери... — Дядька ухмыльнулся.— Может, покушает кто.

На этом и распрощались.

Пропивали «козу» в вагончике, где переодевались рабочие. Когда Саша вошел, священнодействие уже близилось к концу: Алябьев, добродушно улыбаясь, разливал по стаканам остатки бормотухи.

— За компанию? — предложил он и Саше, но тот отрицательно покачал головой.

— Не хочу.

Он прошел в угол к своему шкафчику и начал переодеваться.

— Ты на стол-то добро не проливай,— ворчливо выговаривал Алябьеву бригадир.— Ишь, лужа уже.

Когда Саша убирал в шкафчик рабочую одежду, что-то деревянное выкатилось из кармана его куртки. Это был дядькин огурец.

— Смотрите,— выходя к сварщикам, похвастал Саша.— Видите какой...

— О! — Очкарев залпом проглотил свое вино и потянулся к огурцу. Подвох он обнаружил, только когда засунул деревяшку в рот и попытался откусить.

Он сморщился и кинул огурец в угол.

— Чего это ты овощами швыряешься? — пробурчал бригадир. Он нагнулся и поднял игрушку и только тут, сообразив что к чему, оглушительно захохотал. В зеленой краске «огурца» остались белые следы зубов Очкарева.

— Нда... — отсмеявшись, проговорил бригадир.— Дошли! Деревом закусывать стали... — Он встал.— Ну пошли, хлопцы,— натянул на голову замызганную лыжную шапочку.

— Ты чего это своего тестя деревянными огурцами кормишь? — поддел Сашу Алябьев.— Не рано ли?

— Брянский волк ему тестем будет,— зло отрезал Юрий.— До моей дочери у него нос не дорос! — В его покрасневшем лице появилось что-то нехорошее, злое.

Саша промолчал. Отношения с Юрием у него действительно с самого начала не складывались, а еще этот розыгрыш с огурцом!

«А! — Саша поморщился и отвернулся.— Не хочет, и не надо. Так мы с Катей его и спросим. Сами взрослые».

— Ну, ты зря, зря так... — добродушно проговорил Алябьев и хлопнул Очкарева по плечу.— Чего тебе еще? Парень как парень. Чем не зять? А ты сразу: брянский волк. Зря.

Очкарев пробормотал что-то неразборчивое и, выйдя вслед за бригадиром, бухнул дверью.

Вагончик опустел.

И хотя Саша уходил сейчас с работы отпросившись, все равно он почувствовал себя неуютно. Словно бы какая-то дистанция образовалась между

ним и бригадой. Сочувствовали все Юрию, сочувствовали...

Саша засопел сердито и, торопливо запихав в шкафчик рабочую одежду, заспешил на улицу.

Рустаму Ибрагимбекову сегодня пришла посылка. Пришла она на адрес Очкарева по той причине, что новенький паспорт Рустама все еще лежал в милиции, с согласием на прописку, но пока без штампа о таковой: в старый барак уже не прописывали, а в новом общежитии не хватало санитарной нормы.

И сейчас, когда сварщики подошли к дому — своему объекту, Ибрагимбеков уже ждал своего наставника (он работал у Очкарева в подручных), сидя возле компрессора, заходящегося в рыданиях.

— Э! — окликнул он Юрия.— Я уже получил. Спасибо, дарагой.

— Тюбетейку прислали? — Очкарев насмешливо взглянул на молодого солдата.

— Зачем тюбетейку? — обиделся Ибрагимбеков.— Урюк прислали. Чачу. Ты пил когда-нибудь чачу?

Ибрагимбекова распирала радость: это в первый раз отец ему, как настоящему мужчине, прислал спиртное — не только фляжку чачи, но и знаменитое местное вино из сортового винограда. А когда сын служил — не присылал, писал: «Солдат не должен пить». Не хотелось нести Рустаму посылку в свой барак — он был в ссоре с однополчанами, те корили: «Зачем соблазнил? Работа тут плохая, жилье никудышное, денег мало». Рустам возмущался: «Не мужчины вы — дэти. Потерпэть надо! Все будет». Но ему, кажется, не верили. Один пить он не привык, потому и соблазнял Юрия.

— Ну дак чего ты мудришь, Рустам!— решил все сомнения подошедший Алябьев.— Пошли в подвал, там и дернем.

— Не! — решительно возразил Ибрагимбеков.— Надо культурно. Что мы, нэлюди?

— Я бы к себе пригласил,— добродушно улыбаясь, проговорил Алябьев,— да у нас квартиранты. Народу много.

— А! — Очкарев поморщился.— Чепуха. Да у меня сто адресов, куда можно пойти. Вон хоть к Зинке-

табельщице... Тыщу раз приглашала. И живет в доме одна.

— Во! — обрадовался Ибрагимбеков.— Во! Давайте к ней.

Ему очень не нравилось стоять с посылочным ящиком на виду у всех.

Очкарев усмехнулся:

— А кто трубу за нас переваривать будет? — Он вернулся к траншее и сел, свесив ноги вниз.

— Газу-то нет... — неуверенно проговорил Ибрагимбеков.— Что я, стал бы подводить, да? Ведь все равно не работаем.

— Все равно только на том свете будет,— глубокомысленно произнес Юрий. Уголком брезентовой рукавицы он смахивал в траншею снежок.— А если привезут, тогда что? Мы же эту трубу еще вчера запороли.

И снова Ибрагимбекова выручил Алябьев. Очень, видно, завелся он на чачу.

— Ему просто перед Павлом Сергеевичем неудобно... — ехидно поддел он Очкарева.— Он ему слово давал, что сторожить трубу станет, пока ее не зароют. А то ведь и спереть могут...

Очень точно рассчитал свои слова Алябьев. Всякое упоминание о Павле Сергеевиче — прорабе участка — неприятно раздражало Юрия.

Вот и сейчас уголки его губ презрительно дернулись.

— Плевал я на вашего Павла Сергеевича! — сказал он и решительно встал... — С высокой колокольни плевал. Пошли.

Уже два года работал Юрий Иванович Очкарев на стройке, и все эти два года все шло совсем не так, как бы этого ему хотелось. Далеко, в Свердловске, остался прочно налаженный быт, осталась семья.

В Свердловске он работал сварщиком в НИИ. Тихо сидел в своей будочке и, когда приносили работу, разговаривал с заказчиком о чем-нибудь культурном. Публика здесь была интеллигентная, и тем для разговоров не приходилось искать. И обращение соответственное — по имени, отчеству, а не как здесь: «Юрка!» Мальчишка он, что ли?

Может быть, и доработал бы Очкарев в институте до самой пенсии, но случилось непредвиденное...

Он и сам толком не мог осознать, что случилось. Вроде бы все шло по-прежнему, но оборвалась, канула в прошлое спокойная жизнь, и после работы уже не спешил Юрий Иванович домой, допоздна засиживался в своей будочке...

Уже после, когда Юра приискивал причины, чтобы уехать, он начал думать о квартире — ему приходилось жить всей семьей в коммунальной комнате и невозможно было встать на очередь — не позволяла норма площади. Но это — потом, а тогда он просто затосковал, и однажды, когда увидел на обложке журнала цветную фотографию — высокий парень с монтажной цепью у пояса стоял возле вагончиков-балков, за которыми — бескрайняя! — расстилалась степь,— вот тогда-то, внимательно присмотревшись к фотоэтюду «Здесь будет город», и придумал Юра, что ему надо ехать на стройку и там заново начинать жизнь.

Он вырезал картинку и повесил ее на стенку в своей будочке. И когда беседовал с заказчиками, он постоянно оборачивался, чтобы взглянуть на картинку, и все разговоры сводил к тому, что как это все-таки хорошо приехать на пустое место и построить самому для себя город, а потом жить в нем. Инженеры вздыхали, их лица становились грустными и задумчивыми; позабыв про свою неотложную работу, они поддакивали: «Да, хорошо... Хорошо приехать на пустое место и построить там самому себе город...»

В этих разговорах о городе и прошла зима.

А прошлой весною о своем непреодолимом желании уехать Очкарев объявил жене.

Но жена не видела в журнале картинки «Здесь будет город», не рассуждала всю зиму о том, как хорошо уехать и построить новый город, она оказалась совсем не подготовленной к такому разговору и обидела мужа, не поняла.

Юра хлопнул дверью и ушел из дома.

Он долго бродил в тот вечер по сырым городским улицам, а потом взял билет на последний сеанс в кино.

Здесь, в фойе кинотеатра, перелистывая подшивку газет, он и натолкнулся на статью, которая называлась «О вреде ранних браков».

Юра не пошел смотреть фильм. Улучив момент, когда билетерша отвернулась, он вырвал из подшивки газету и засунул ее во внутренний карман пиджака.

Домой он возвращался спокойным. Теперь все стало на свои места. И пока поднимался по лестнице, думал, вздыхая, что — конечно же! — женился он слишком рано — в девятнадцать лет... И что ж, что прожили они мирно почти двадцать лет, все равно, вот чем, оказывается, обернулась ошибка юности...

Все это он и высказал жене.

Были ее слезы, пересуды родных и осуждающие взгляды знакомых, но Юрий знал, что никогда больше не вернется в Свердловск, и, дотрагиваясь рукой до пиджака, в котором, во внутреннем кармане, лежал бумажник со статьей о вреде ранних браков,— улыбался: новую жизнь уже различал он сквозь тысячекилометровую путаницу лиц и городов.

Так он и оказался на стройке...

Правильно говорят: хорошо там, где нас нет. Очкарев приехал на стройку и очень скоро снова затосковал и здесь. Вроде бы и город он строил, и квартиру обещали, но все шло не так, как об этом мечтал Юрий в Свердловске.

И снова объяснял свою неудовлетворенность Юра, как он уже привык это делать, квартирной проблемой. Ему, правда, предлагали сразу комнату в доме гостиничного типа, но он проницательно сообразил, что тогда придется ждать отдельную квартиру не год, как обещали, и отказался.

Целый год он проскитался по общагам, и к нынешней весне уже только упрямство удерживало его на этой стройке. Каждую неделю он ходил в управление, грозился уехать, стучал кулаком по столу начальника отдела кадров, хлопал дверьми в кабинете у начальника управления — ничего не помогало.

Как раз весной получил квартиру прораб Павел Сергеевич, который начал работать в управлении позже Очкарева, и тот снова направился бушевать в контору.

— Я! — кричал он там.— Я по шестому разряду работаю. Я! А другие чего? Я в общаге мучаюсь, а

другие сразу пришли — и на блюдечке им все! Я семью не могу забрать к себе! Дочка тоже в общаге живет! Жена — в Свердловске! А другие (он намекал на Павла Сергеевича), другие сразу, да?! Шарашкина это контора! И дела тоже — шарашкинские!

Но и этот громоподобный монолог, заглушавший стрекот пишущих машинок и телефонные звонки в приемной, ничего не принес, кроме вконец испортившихся отношений с Павлом Сергеевичем.

А неделю назад дочка Катя, которую он вызвал к себе — она училась в профтехучилище,— объявила, что выходит замуж. Юрий возмутился. Не хватало только, чтобы в новую квартиру, которую когда-нибудь-то дадут, въехал чужой человек! А уйдет Катя— что получишь? Дадут однокомнатную на него, жену, сына — вот и строй тогда новую жизнь.

Разумеется, дочке об этом он не сказал ничего, а достал из бумажника статью о вреде ранних браков и прочитал ее Кате вслух.

Только ничего не поняла дочка. Заплакала и убежала к себе в общежитие.

Прорабский вагончик, где работала табельщица Зина, был разделен переборкой на две части. В одной его половине размещался кабинет Павла Сергеевича, в другой — сидели табельщица и бухгалтер.

Увидев Очкарева, Зина заулыбалась.

— Садись,— разглядывая его, предложила она.— Не заходишь... Как живешь-то хоть?

— А...— Юра сел на стул верхом и, облокотившись на его спинку, досадливо поморщился.— Какая жизнь... Канитель одна.

— Да? — Зина сочувственно вздохнула. Подперев щеку рукой, она сидела сейчас совсем близко от Юры. Платье на ней казалось тесным — тело словно бы в него не вмещалось.

— Да... — Юрий побарабанил пальцами по столу.— Да... Такие дела.

— Дочка как? — спросила Зина.

И тогда он вдруг начал рассказывать, словно его прорвало, что и с дочкой все плохо, что совсем она отбилась от рук, что забросила учебу на подготовительных курсах в институте, а теперь еще чище — на-

думала выйти замуж! И ладно уж, если бы приличного кого нашла, так ведь нет! За Сашку Карнаухова выскочить хочет!

Юра стукнул ладонью по столу и нахмурился.

Он сам не понимал, зачем рассказывает все это Зине, но та слушала так внимательно и так сочувственно вздыхала, что остановиться не было никакой возможности. Перебил Юрия осторожный стук в стекло.

Он оглянулся и увидел за окном Ибрагимбекова. Он смотрел с улицы на Юру и что-то неслышное говорил, жестикулируя руками.

— Да! — сразу успокаиваясь и вспоминая о цели своего прихода, проговорил он.— Я ведь вот чего хотел...

Он положил свою тяжелую ладонь поверх маленькой Зининой и, глядя прямо в ее глаза, начал рассказывать о посылке, которую получил сегодня Ибрагимбеков.

— Дак чего же? — Зина смущенно высвободила руку.— Раз такое дело, дак я согласна. Можно и у меня.

Она уже надевала пальто, когда в вагончик вошел Павел Сергеевич. Он взглянул на Очкарева и быстро прошел к двери своего кабинета. Там остановился, роясь в карманах.

— Я ухожу, Павел Сергеевич,— сказала Зина, завязывая платок.— Можно?

— Можно, Зинаида Васильевна,— думая о чем-то своем, машинально отозвался прораб. Он наконец отыскал ключ и открыл дверь.

— Да! — оборачиваясь из двери, проговорил он.— Да. Вам, Очкарев, газ отвезли. Переварили трубу?

Юра взглянул на часы. До конца смены оставалось всего полчаса.

— Переварили! — буркнул он и, когда Павел Сергеевич скрылся в своем кабинете, недовольно посмотрел на Зину.— Не копайся.

— Сейчас! — Зина заглянула в висевшее на стене зеркало, что-то исправляя в лице.

Задребезжал телефон. Это на параллельном аппарате набирал номер Павел Сергеевич.

— Алло! — услышал через перегородку Юрий его голос.— Алло, девушка! Лаборатория? Милые, что вы, спите там? Да. Что?! Да проснитесь вы наконец, девушки! Утром, утром все было готово. Что?! Нет, уж

это вы скажите мне почему! Да-да! А почему нет машины? Из-за вас, черт возьми, вся работа стоит. Нет, девушки, никаких завтра. Сегодня же! Сейчас же! Да!

Телефон снова испуганно звякнул,— Павел Сергеевич бросил трубку.

— Это он о вашей трубе,— подсказала Зина. Оттопыренным пальчиком она поправляла тушь в уголке глаз.— Теперь сам знаешь, какие сложности с графиком работ...

Она еще раз пытливо взглянула в зеркальце и, поправив платок, позвала:

— Пошли!

Юрий встал. Настроение у него из-за этой трубы испортилось окончательно. Черт бы побрал ее! Но не идти же сейчас туда?

В общежитии, где жил Карнаухов, по одну сторону коридора располагались двухместные комнаты, по другую — восьмиместные. Там жили, в основном, командировочные — веселые, загульные ребята из других городов.

Вечерами, после работы, в больших комнатах шла веселая жизнь, шум голосов, звон посуды не смолкали там. А поскольку распивать спиртные напитки в общежитии категорически воспрещалось, пустые бутылки сразу из комнат выставляли в коридор, и когда кто-нибудь шел по коридору, они разноголосо звенели, стукаясь друг о друга.

Злые языки рассказывали, что комендант — в прошлом инструктор по пожарной безопасности — собирает и сдает эти бутылки.

Когда Саша пришел в общежитие, он застал дома и своего соседа — монтажника Мишку. Тот сидел в комнате с девушкой, которая уже несколько раз приходила к нему.

— А вот и Саша! — обрадовался Мишка, словно бог знает сколько времени не видел приятеля.

Саша чуть усмехнулся, догадываясь, что у соседа был, по-видимому, не слишком приятный разговор с девушкой.

— Ты чего? — спросил он, кивая на разбросанную по койке одежду.— Ревизию устроил?

— Он уезжать собирается,— всхлипнула девушка.— Вещи собирает.

— Да? — Саша вытащил из шкафа свой костюм и сейчас внимательно его разглядывал.— Ты подожди еще малость. На свадьбе у меня погуляешь.

— Что-о?! — У Мишки от изумления округлились глаза.— Ты женишься?!

— Ну,— Саша прикрылся дверкой шкафа и начал переодеваться.— А что? Нельзя?

Мишка хмыкнул.

— Ничего себе,— подивился он.— Что ж ты молчал?! Это такое дело... Да мы его... — он вскочил с койки.— Мы его сейчас же и замочим.

— Да ну тебя... — улыбаясь, Саша вышел из-за двери.— Тоже придумал. А знаете... — он повернулся к девушке,— знаете, как дядька у меня женитьбу называет? Очеловечиться, говорит.— Саша покрутил головой.— И где только он слово такое выкопал?

— Это еще как посмотреть на это... — Мишка засмеялся.— Может, конечно, и очеловечиться, а может, и расчеловечиться.

Саша возился возле зеркала с галстуком — тот никак не завязывался.

— Давайте я,— предложила девушка.— Я умею.

Мишка снова потер ладонью лоб.

— Не! — Он встряхнул головой.— Не, не укладывается никак. Саша, ты пошутил?

— Ага... — Саша засмеялся.— Чудак ты... Разве этим шутят? Ты не переживай. Задержись с отъездом. Ну куда тебе спешить? Или уже уволился?

— А! — Мишка махнул рукой.— Разве в этом дело? Да я ради такого с Дальнего Востока приехал бы. Оженим, или, как там еще, очеловечим. Первый сорт. Невеста-то как, ничего?

— Порядок...

— Ну дак тогда и думать нечего.— Мишка, возбужденно потирая руки, прошелся по комнате.

Идея сыграть свадьбу друга так захватила его, что, даже когда Саша ушел, он продолжал придумывать план торжества.

Девушка его сидела на кровати. Взявшись руками за спинку ее и чуть наклонив голову, она внимательно смотрела на Мишку, и глаза ее были задумчивыми.

Трудно, ой как трудно налаживать жизнь заново, если половина ее уже осталась позади.

В Ручьях, в Зинином доме, неприятный для Юрия разговор о семейных делах снова возобновился.

— Чего не бывает,— с философским спокойствием проговорил Алябьев.— Бывает, и у девушки муж помирает, а у вдовушки живет. По-всякому бывает.

— Э! Э! — прищелкнул языком уже порядочно захмелевший Ибрагимбеков и укорил Юрия: — Э! Э!... Нэ хорошо, дарагой. Зачем мешаешь?

— Ну что ты мелешь? — возмутился Юрий и поморщился.— Ну подумай сам-то: отец я! Да как не мешать, когда девчонке восемнадцать только стукнуло! Да и ему рано: под носом взошло, а в голове не посеяно. Ладно, ты мне не веришь, так на вот, газету почитай.

Юрий хлопнул себя по карману и вытащил завернутую в полиэтиленовый пакет газетку.

— Вот на! — сунул он ее Ибрагимбекову.— На, читай. Только вслух читай.

— О вре-де ран-них бра-ков... — с трудом — полиэтилен отсвечивал — разобрал Ибрагимбеков.— Ну и что?

— Ничего,— отбирая у него газету, озлился Юрий.— Сам я на этом деле нагорел, так не хочу, чтобы и дочка ошиблась. Куда она потом, разведуха?

— Ой, верно! — тяжело вздохнув, поддержала Зина. Подперев рукой свою румяную щеку, она ласково смотрела на Юрия.

— А! — Ибрагимбеков начал сердиться, и голос его стал гортаннее и резче.

— Парэнь как парэнь! Это вы нэлюди какие-то.

Алябьев положил руку ему на плечо.

— Дорогой! — сказал он.— Ну вот зачем ты такие слова говоришь? У тебя ж дочки нет, и потому пока ты и знать не можешь, какое это дело. Вот когда будет, тогда и поступай по-своему.

Юрий вздохнул. В голосе Алябьева ему чудилось равнодушие, и, пытаясь подавить раздражение, он встал, достал из кармана папиросу и, разминая ее пальцами, подошел к окну.

Там, за тускловатым стеклом, извивалась речушка. На другом берегу ее, на круче, синело своими оградками старое ручьевское кладбище, и прямо над крестами и тумбочками, из редкого сосняка, поднималась стрела башенного крана.

— Чепуха все это... — устало проговорил Юрий.

Катя уже ждала. Она стояла невдалеке от входа в загс и растерянно озиралась вокруг. Пальтишко ее было расстегнуто, и Саше это не понравилось.

— Застегнись,— попросил он.

— Да ну... — ответила Катя, однако послушно застегнула верхнюю пуговицу.— А ты опоздал.

— Почему? — удивился Саша и кивнул на часы, что висели над входом в исполком.— Еще пяти нет.

— Все равно после меня пришел. Нехорошо.— Катя шмыгнула носом.

— Я больше не буду,— пообещал Саша, и они по скользким ступенькам крыльца взошли в здание.

Здесь, в помещении горисполкома, они долго ходили по длинным коридорам, разглядывая на дверях вывески.

— Сюда,— сказала Катя, останавливаясь перед дверью, на которой было написано: «Отдел записи актов гражданского состояния».

Саша толкнул дверь, и они очутились в светлом помещении, где сидели за столиком две женщины и о чем-то разговаривали.

— Здравствуйте,— сказал Саша.— А мы заявление пришли подать.

— Да ну! — удивилась смешливая женщина, что была помоложе.— А невеста где?

— Я — невеста,— выходя из-за Сашиной спины и краснея, проговорила Катя.— Я...

Она не договорила. Смешливая женщина всплеснула руками и перебила ее:

— Да ты ж, девочка, наверное, у сестры паспорт утащила!

— Почему это у сестры? — возмутился Саша.— У нее и сестры-то нет.

— А, дай ты им, Маша, бланк,— засмеялась женщина.— Видишь, какие сердитые.

— Берите,— хмуро сказала другая женщина и, когда Катя достала шариковую ручку, предупредила:

— Чернилами писать надо.

Саша придвинул к себе чернильницу и придирчиво осмотрел ее. Заглянул внутрь:

— А муха тут зачем?

— Ты чернила пришел сюда проверять, да? — упрекнула Катя.

Саша вздохнул и обмакнул ручку в чернильницу.

— Это же надо придумать,— недовольно проговорила хмурая женщина.— Где это, интересно, в марте мухи летают?

— А у вас...— пробурчал Саша.— У вас они небось круглый год живут...

Только когда уже начало смеркаться, Зине удалось выпроводить гостей. С Алябьевым было легко. Зина лишь намекнула, и он сразу ушел, покручивая головой. А вот с Ибрагимбековым пришлось повозиться. Во-первых, он весь вечер пытался ухаживать за ней, а во-вторых, решительно не понимал никаких намеков. Зине пришлось выталкивать его чуть ли не силком, но и тут, в темном коридоре, Ибрагимбеков пытался обнять ее.

— Иди! — отскочив в сторону, сердито сказала она.— Иди, иди.

— Я приду еще,— упрямо пообещал Ибрагимбеков, и Зина, засмеявшись, закрыла за ним дверь на щеколду.

Она поправила растрепавшиеся волосы и вернулась в комнату. В комнате было сумрачно. Последний, тусклененький свет слабо струился в окна.

— Чего ты сумерничаешь? — спросила Зина и, нащупав рукой выключатель, включила свет. Сразу потемнели окошки.

— А! — поднимая голову, ответил Юрий.— Ушли?

— Ушли,— кивнула Зина. Она задернула занавески и присела к столу.

— Устал?

— Устал,— вздохнув, проговорил Юрий.— Жить устал. Так жить...

Он взболтнул в стакане остаток вина и, выпив его, посмотрел на Зину. Мягкая, большая, она сидела совсем рядом, и Юра чувствовал тепло ее тела.

— Бедне-енький! — сказала она и погладила его по щеке.

Рука у нее тоже была мягкая, теплая...

— Куда теперь? — спросила Катя.

Саша пожал плечами.

Они стояли недалеко от входа в училище. Уже горели над улицей фонари, стеклянные стены магазина напротив были залиты пустым голубоватым светом, освещение мешалось, и собака, что пробегала мимо, отбрасывала на асфальт разноцветную тень.

Катя поежилась. Сейчас, к вечеру, снова начало подмораживать.

— Может, к нам пойдем? — сказала она.

— Можно.— Саша снова пожал плечами.— А почему не ко мне? Я Мишку спроважу...

— Не-е,— Катя покачала головой.— К тебе нельзя. Я же ведь еще и отцу не сказала, что мы заявление подали. Он обидится.

— Ага... — Саша облизнул губы.— Так вот и получается. А когда ты ему скажешь? Пойдем вместе скажем. Сейчас!

Катя тяжело вздохнула.

— Ты не понимаешь ничего.— Она опустила голову.— Не надо сейчас, Сашенька. После...

Она схватила его за руку и потащила в общежитие. Там, в коридоре, они и столкнулись с Сашиным дядей.

— Ага! — сказал тот, завидев их.— А я вас уже давненько тут поджидаю.

Дядя работал преподавателем в училище, и сегодня была его очередь дежурить по общежитию, так что он действительно ждал уже давно.

— А чего поджидать-то? — буркнул Саша.— Мы бы сами пришли к тебе.

— Как чего? — изумился дядя, и брови, а следом за ними и кончик носа поползли вверх.

— Вот ты сказал, что женишься,— раздумав чихать, улыбнулся дядя.— А я, с тех пор как ты ушел, все хожу-думаю: как я жену твою звать стану? Вот ты сам сообрази: кем жена племянника мне приходиться будет? Двоюродной невесткой, да? А ты чего тоже улыбаешься? — он деланно сердито

посмотрел на Катю.— Как я теперь тебя звать буду?

— Катей... — сказала, улыбаясь, Катя. И сразу же смутилась, порозовев, спряталась за Сашину спину.

— А ведь верно! — Дядя потер лоб рукой и не выдержал сам, засмеялся.

— Ну, ладно,— обнимая племянника и Катю, сказал он.— Давайте-ка собирайтесь и пойдемте ко мне. чай пить.

Саша посмотрел на Катю и, поскольку она молчала, вздохнул.

— Не,— сказал он.— Не... Ей вставать завтра надо рано. Ей нельзя сегодня идти.

— Мы завтра придем... — проговорила Катя.— Можно?

— Завтра так завтра... — сговорчиво согласился дядя и повернулся к племяннику.— А тебе тоже рано вставать или как?

— Мне нет.— Саша засмеялся.— Я хоть сейчас готов.

— Ну так и пошли тогда.— Дядя посмотрел на часы, а потом повернулся к Кате: — Отпустишь?

— Отпущу,— Катя улыбнулась.— Иди, Саша.

Она снова вышла на улицу — проводить мужчин, но потом, когда они скрылись за углом, возвращаться в общежитие не стала, а побежала в сторону общежития, где жил отец.

В комнате было темно и душно. Стараясь не зашуметь, Юрий встал и начал торопливо одеваться. Уже когда он шарил в темноте возле вешалки, пытаясь найти свою куртку, его — «Уходишь?» — окликнул Зинин голос.

Юра ничего не ответил. Схватил — наконец-то попала в руки! — куртку и вышел в сени.

Пошел он напрямик к городским огням, через редкий соснячок. Лес становился с каждым шагом все грязнее, наконец показалась и сама стройка. Только тут, в прожекторном свете, Юра замедлил шаги. Подумал равнодушно: «Не то я делаю. Не то... Тьфу ты!»

Стало холодно. Юрий поежился, поднял воротник брезентовой куртки и торопливо зашагал к общежитию.

Там его окликнули. Расталкивая коленками полы темно-синего пальто, к нему бежала Катя.

— Пап! — запыхавшись от бега, она остановилась возле отца.— Я тебя уже целый час ищу.

Хмель, по-видимому, не успел еще вымерзнуть в Юриной голове, и Кате трижды пришлось повторить, что сегодня они подали с Сашей заявление, прежде чем отец сообразил, что к чему.

Уразумев это, он как-то сразу позабыл про дочку, побагровел и бегом взлетел по лестнице на четвертый этаж, где жил Саша.

На лестничной площадке он схватил урну и долго бегал по коридору, выкрикивая какие-то угрозы, рассыпая по полу мусор. Кто-то бежал за ним. Кто-то распахнул какую-то дверь, и Юрий швырнул урну туда, в темноту. Оттуда послышались ругательства, рядом возникли знакомые лица — оказалось, Юрий швырнул урну в свою же комнату.

Крики Очкарева подняли с постели и Мишку.

— Что было! — рассказывал он потом и крутил головой.— Понимаете, я только из кино вернулся. Ну, смотрю, Сашки еще нет. Только лег, а тут крики в коридоре: «Убью! Убью!» Ну я как был в одних плавках, так и в коридор выскочил. А там этот малохольный с урной бегает. Ну и тестюшка у Сашки будет. Дурной, как банный угол. Нет, ей-богу, не женюсь! Умру холостяком.

День второй

Утром Очкарев проснулся рано. Ребята, что работали на монтаже главного корпуса атомной электростанции и которым надо было добираться на работу не меньше часа, еще только собирались уходить.

То и дело хлопали двери. Безостановочно работала комнатная «атомная электростанция» — кипятильник, сделанный из двух полосок нержавейки, прикрепленных к текстолитовому брусочку. Эти полосы опускались прямо в банку с водой, и мгновенно начинался электролиз воды. Кипятильник получил свое название не зря — общежитские остряки говорили, что он жрет электроэнергии не меньше, чем можно выработать на

целой электростанции. Они, конечно, преувеличивали, но предохранители не выдерживали мощности кипятильника.

Предохранитель перегорел, как раз когда Юрий встал, чтобы взять с подоконника папиросу.

Вчерашнее он припоминал смутно. Крутились какие-то обрывки в памяти: душная, темная комната, грязный лесок, потом Катя где-то посреди города, мелькал коридор, по которому он бегал с урной, но все обрывками, а в целое не связывалось...

Юрий вздохнул и прижался лбом к холодному стеклу. Там, внизу, на улице, горели, запутавшись в ветвях молоденьких сосенок, фонари. Воздух был влажным, и вокруг фонарей мерцали радужные пятна. Неловко зажег спичку и раскурил папиросу. Только тут его и заметили.

— О! — закричал кто-то. — Проснулся?! Ну как голова?

— Хорош был,— подтрунивал другой. — Только зачем же урны в свою комнату бросать? Вон Петьку насмерть едва не зашиб.

Юрий быстро оглянулся на Петькину койку, но там уже никого не было. Ребята захохотали.

— Жив я,— подал голос и сам Петька. — Я так хлопцам сразу и сказал, что ты дверь просто перепутал. Но-о силен, бродяга! Лихо, лихо!

Так, посмеиваясь над вчерашним приключением, они собирались на работу и скоро ушли, а Юрий остался один.

Уже давно он завел себе за правило, что, когда плохо, так плохо, что и нельзя уже хуже, главное не поддаваться унынию, заняться самым простым делом, и отчаяние тогда понемножку рассосется, можно будет обдумать, как жить дальше.

Вот и сейчас он принес из кухни метелку и совок и начал собирать рассыпанные по полу окурки. Потом оделся и пошел на работу. Уже когда он спускался по лестнице, его — «Вам посылка!» — окликнула вахтерша. Даже не взглянув на извещение, Юрий засунул его в карман — опять Ибрагимбекову.

Скоро он был уже у прорабского вагончика, где по утрам на развод-летучку собиралась бригада сварщиков. Сел на пустой баллон возле Алябьева.

— Как вчерашнее? — заботливо спросил тот.

— А! — Очкарев только махнул рукой.

Уже пора было идти по местам, но бригадир все еще не вышел от Павла Сергеевича, и все сидели молча, дожидаясь его и предчувствуя что-то недоброе: редко задерживал Павел Сергеевич бригадира.

Павел Сергеевич сразу, как только пришел на работу, принялся звонить в лабораторию, чтобы узнать результаты просвечивания швов на входном газопроводе. В управлении недавно завели порядок, по которому прораб обязан был отчитываться в малейших нарушениях графика работ. Порядок этот завели совсем недавно, и поэтому пока приходилось ему подчиняться.

А в общем-то настроение у Павла Сергеевича было совсем неплохое, и, набирая номер, он весело напевал: «Новая метелка... Новая метелка...» Он стоял возле стола в зимнем пальто, набирать номер было неудобно, и Павел Сергеевич никак не мог допеть свою песенку про метелку, которая метет по-новому.

— Бракоделы вы! — раздался в трубке голос девушки, которую Павел Сергеевич обругал вчера за нерасторопность. — Бракоделы! Только машину зря к вам гоняем.

И все — только короткие гудки. Девушка бросила трубку.

— Новая метелка... — машинально проговорил Павел Сергеевич и обернулся к двери — в кабинет вошел бригадир сварщиков.

— Ну что? — спросил Павел Сергеевич. — Что, сварщики?

Бригадир пожал плечами, не зная, что ответить.

— Шланги еще не пропили? — тяжелея лицом, прораб поднялся из-за стола.

— Да что вы? — Бригадир на всякий случай чуть отступил к двери. — Что случилось-то?

Павел Сергеевич изо всей силы грохнул кулаком по столу.

— К чертовой матери! — сказал он. — Снимать будем Очкарева с разряда.

— Как?! — изумился бригадир. — Да что вы в самом-то деле, Павел Сергеевич?

— Я уже сорок лет Павел Сергеевич! — отрезал прораб. — И куда только ты смотришь?! Всю бригаду, черт подери, распустил! Трубу целую неделю заварить не могут. Смеются уже над нами! Всё! Давай Юрия ставь на цинк, пусть повкалывает, а там видно будет. Может, дури поубавится.

— Он же по шестому разряду варит... — нерешительно проговорил бригадир, разглядывая оргстекло, которым был накрыт стол Павла Сергеевича. По стеклу густо, словно паук выткал, бежали трещинки.

— Всё! — Павел Сергеевич раскрыл какую-то папку. — Алябьева — на трубу, Очкарева — на цинк. Всё.

Бригадир тяжело вздохнул и вышел. Проходя мимо Зины, он сердито буркнул, что никогда ее не застать на месте, и, еще раз тяжело вздохнув, вышел к сварщикам.

Объяснять бригаде ничего не потребовалось — весь разговор был прекрасно слышен здесь, на улице.

Очкарев сидел на холодном баллоне угрюмый, пальцы его чуть дрожали — он, высокий, был похож сейчас на птицу, которая позабыла, где ее гнездо, устала и, нахохлившись, сидит теперь под дождем.

— Догулялись! — Бригадир сердито нахлобучил на голову свою шапочку и, махнув рукой, направился в сторону стройки. Следом за ним потянулись и сварщики.

Подтаявший вчера снежок за ночь смерзся и сейчас опасно скользил под ногами. От близкой воды залива тянуло пронзительной сыростью. Равнодушно покачивались мерзлые ветки сосен.

Алябьев шел рядом с бригадиром и шумно вздыхал.

— Эх, Паша, Паша... — бормотал он. — Ну, ты сам скажи, Степаныч, разве можно так с человеком, а?

Бригадир искоса взглянул на него. Миролюбивое, добродушное лицо Алябьева было сейчас растерянным.

Бригадир отвернулся и со злостью пнул пустую консервную банку. Кувыркаясь, она понеслась по заледенелой дороге, и из нее посыпались разноцветные пробки — белые, вишневые, желтые кружочки с хвостиками.

— Не-е! — Алябьев покрутил головой. — Не, Степаныч... Ты что хошь думай, а я тоже брак сделаю. Чего ж получается-то: вчера, значит, за дружбу пили, а

сегодня вроде как я ему свинью подложу. Не-е... Да я за дружбу...

Бригадир остановился.

— Не дури! — сипловато выкрикнул он и, плюнув, пошел по пустырю к дому. Там он и заметил спешащего на работу Карнаухова.

Саша сегодня опаздывал на работу.

Уже когда он подходил к дому, возле траншеи он столкнулся с бригадиром.

— Опаздываешь? — спросил тот и неприязненно оглянул Сашу. — Смотри, парень, доиграешься.

Саша и сам знал, что опаздывать на работу даже на пять минут, как опоздал он, не положено, но зачем же так сразу?

— Распустились! — зло бросил бригадир. — Ну погодите! Я вас, миленьких, приберу...

Он взмахнул рукой и, не удержавшись, полетел в траншею, соскользнув с ее обледенелой кромки.

— Ты чего, Степанович? — протягивая ему руку, чтобы помочь вылезти, спросил Саша. — Не с той ноги встал?

— А! — Бригадир вылез из траншеи, отряхнув снежную пыль, пошел прочь. Уже возле парадного он остановился и обернулся к Саше.

— Ты вместо Алябьева сегодня! В подвале будешь работать! — крикнул он.

Саша только пожал плечами.

Между тем рабочий день уже начался. Гремели пневматические молотки. В окнах второго этажа строящегося здания полыхали синеватые отсветы электросварки. Когда Саша поднимался по лестнице, разыскивая горелку, на голову ему сыпалась известка,— маляры белили наверху лестничную клетку.

Саша совершенно точно помнил, что горелку вчера он спрятал в унитаз, стоявший возле подъезда, и прикрыл ее сверху мусором, но сегодня унитаза на месте не было. Растерянно озираясь, Саша заметил, как в раскрытую дверь одной из квартир бывшие солдаты тащат по полу что-то тяжелое.

Саша бросился туда, и верно — это был тот самый унитаз, который он искал.

Растолкав «солдат», Саша бросился к нему, но горелки там не оказалось.

— Э! Э! — позабыв от возмущения слова, проговорил Саша. — Кто горелку спер?

— Очень надо,— ответили ему.— Вон у Пашки твоя горелка.

Саша повернулся и крикнул в глубину квартиры:

— Паш, отдай горелку!

— Счас,— ответствовал голос.— Только еще один гвоздь забью...

Послышались частые удары в стенку: тук-тук. Саша бросился туда и вырвал из рук «солдата» свою горелку. Сердито укорил:

— Молоток возьми! Видно, мало тебя гонял ротный старшина!

В снегу, возле парадного, уже стоял Очкарев и резал оцинкованные трубки. Ядовитый желто-зеленый дым полосами струился из пламени его резака. Капельки раскаленного металла падали в снег и долго еще малиново светились из его прозрачной глубины.

Только теперь Саша сообразил, почему так зол был бригадир. Ну конечно же,— Юрия сняли с разряда. Саше захотелось сказать ему что-нибудь утешительное, но тот демонстративно отвернулся, и Саша, вздохнув, побрел в подвал, где ему сегодня предстояло работать.

Ровное тугое пламя билось в руках, и в его шуме пропадали все голоса стройки: и звонкий смех девушек-штукатуров, и стук плотницких топоров, и глухое рыдание компрессора. Шумело жаркое пламя, и снопами летели на цементный пол золотые искры.

Саша знал, что стоит снять защитные очки, и эти брызги сразу потускнеют, превратятся в грязь, он знал, что погаснет малиновое свечение шва и что чем он незаметнее будет тогда, тем лучше... Билось в руках тугое, ровное пламя, и приплясывала вокруг ванночки расплавленного металла присадочная проволока.

В этой работе незаметно пропадало время. Казалось, только взял он в руки горелку, а вот уже — он обернулся — подручный показывал на время — пора обедать.

Вздохнув, Саша выключил горелку. Пламя хлопнуло и погасло.

Трудный был этот день для Юрия, но труднее всего пришлось ему в обед. Когда он сидел в прорабском вагончике, разговаривая с Зиной, туда вошла Катя.

— Пап! — сказала она и, быстро оглянув Зину, чуть покраснела.— Мне поговорить с тобой надо.

— Поговорить? — Юрий хмыкнул. — Ну спасибо и за это.

— Папа! — Катя покраснела еще гуще. — Я серьезно говорю, папа.

Юрий снова хотел сказать что-то насмешливое, но тут Зина вдруг спохватилась, что позабыла отнести в управление приказ.

— Ой-ей-ей! — воскликнула она, схватившись за голову. — Да чего же я сижу-то, дура, с вами.

Она торопливо оделась и, схватив со стола папку, вышла.

Катя проводила ее внимательным взглядом и, только когда захлопнулась за табельщицей дверь, повернулась к отцу.

— Пап! — дотрагиваясь пальцем до рукава его куртки, спросила: — А она — кто?

— Табельщица наша... — Юра пожал плечами.

Катя вздохнула.

— Я от мамы письмо получила... — сказала она.

— Сегодня?

— Почти сегодня. — Катя снова чуть покраснела.

— Это которое ты мне неделю назад показывала?

— Ну не все ли равно? — Катя обиженно передернула плечами. — Ведь все равно от мамы и недавно.

Юра чуть усмехнулся.

— Ты бы матери-то о женихе написала,— медленно проговорил он. — А то неудобно как-то. Я что? На меня наплевать. А матери — напиши.

— Я написала,— сказала Катя и снова покраснела.

— Глупая ты... — Юрий вздохнул. — А жить где будете?

Катя несмело улыбнулась.

— У дяди его,— ответила она. — Вначале у дяди, а потом комнату дадут в доме гостиничном, а там, глядишь, и очередь на квартиру подойдет. Он сороковым записан.

— Сороковым?! — Юрий усмехнулся. — Я уже два года первый, а где живу? А он — сороковым...

— Ну папа! — Катя ласково провела рукой по его щеке. — Разве в этом дело, папа? Многие так живут. Пока это.

— Живут. — Юрий высоко поднял левую бровь. — Рано тебе замуж. Пойми ты — рано. Вот смотри... — И он снова полез в карман, где лежала завернутая в полиэтиленовый пакет газета. — Ты сама почитай.

Катя, опустив голову, заплакала.

— Ну что ты, доченька, что ты? — отец начал ее успокаивать. — Закончи институт и выходи. За кого хочешь. А пока, пока погуляйте без глупостей...

И он погладил Катю по голове, стараясь не смотреть в ее плачущее лицо.

Как раз в это время в вагончик вошел Павел Сергеевич. Его утренний гнев уже стих, настроение поднялось: он только что вернулся с совещания, на котором отмечали его участок как первый, перешедший на новую систему организации строительных работ. И Павлу Сергеевичу хотелось замять утреннюю резкость даже по отношению к Очкареву.

— Что это за слезы? — стягивая перчатки и дуя на пальцы, спросил он. — Нельзя плакать.

— А ты что? — повернулся он к Очкареву. — Ты чего голову повесил? Пустяки это, братец! В строительстве и не такое бывает. Заваришь через недельку образцы, и восстановим разряд.

Он улыбнулся Кате, уже переставшей плакать, и прошел в свой кабинет.

— Пошли! — уголок Юриного рта дернулся. — Пошли отсюда.

— Пап! — уже на улице, глядя на отца расширившимися глазами, сказала Катя. — Папа, тебя с разряда сняли, да?

Юра опустил голову.

— Сняли... — тихо проговорил он и сбоку взглянул на дочь. Вот сейчас, сейчас он по-настоящему ощутил, что произошло.

— Сняли — так и поставят! — злым голосом выкрикнул он. — Никто, кроме меня, эту трубу варить не будет!

Он взглянул на дочку и словно бы споткнулся о ее глаза.

— Па-ап! — побелевшими губами прошептала

она. — Что с тобой стало, папа?! Ты же ведь был совсем другой, совсем другой...

И погасла тогда вся злость и обида в Юриной душе. Хотел он еще что-то сказать, но запала уже не хватило, сморщился он всем лицом и, махнув рукой, быстро зашагал к дому.

Саша снова покрутил кислородную ручку — пламя горело по-прежнему копотно и грязно. Крупные хлопья сажи, медленно покачиваясь, плыли в воздухе. Кислорода не было.

Внимательно осматривая шланги — не порвались ли где? — Саша вылез из подвала. Так он и добрался до кислородного баллона. Там, возле вентиля, синела в снегу выдутая газом дорожка. Спустили газ. Газа в баллоне было совсем немного, но на час работы еще бы хватило. А теперь сиди — жди. Проклиная на все лады неизвестных шутников, Саша поплелся к прорабскому вагончику — может быть, там удастся выклянчить что-нибудь.

Там, за тоненькими сосенками, голубел еще один вагончик, в котором находился склад материалов.

Саша толкнул дверь и остановился на пороге — в лицо ему ударил густой запах портянок.

— Проходи! — закричал на него «солдат» — хозяин вагончика.— Закрывай дверь, малина зеленая! Не лето!

Разувшись, он сидел возле печурки и сушил портянки.

— Ты чего хочешь, чтобы я простудился, да?

Саша посмотрел на него и захохотал.

— Ты простудишься! Сидишь, как крот в норе,— сказал он, закрывая дверь. — Кислород-то будет?

— А ты чем дышишь?

— Портянками я твоими дышу! — отрезал Саша и, хлопнув дверью, вышел на улицу.

Выйдя из каптерки, Саша уселся на пустом ящике. Снова разошлись тучи, и снова — весеннее — припекало солнце. С крыш вагончиков капало. Снег таял и на ветках сосенок — они стояли с маслянистыми от сырости стволами. Пахло хвоей и талым снегом.

Сразу за каптеркой сосенки круто сбегали вниз, в небольшую лощинку. В лощинке было что-то очень знакомое. Саша подумал и решил, что, пожалуй, она похожа на ту самую лощинку, в которой он после окончания курсов сварщиков сидел и варил кронштейны для кухонных раковин.

Работа была нехитрая: разрезать полосу, прожечь дыры, приварить на концах две трубки...

Тогда стояла осень.

Хвоя на соснах желтела и падала на песок, укрывая его темно-рыжим, тяжелым от сырости одеялом. Моросили дожди. Одежда промокала насквозь, и Саше казалось, что сырость проникает внутрь. Мышцы становились вялыми; казалось, все позабыли про него, было обидно и скучно.

Варил тогда Саша совсем плохо и ни с какой другой работой, наверное бы, и не справился. На душе было нехорошо.

Возле вагончика, в снегу, что-то темнело. Насвистывая, Саша встал и направился туда. Черт возьми! Это же те самые кронштейны. Сваленные в кучу, они проглядывали сейчас из-под оттаявшего снега. Гм... Не пригодились...

Усмехнувшись, Саша выковырял один из них носком сапога. Ну да... Точно! Они! Только железные пластинки уже успели покрыться бурой ржавчиной, а оцинкованные трубки позеленели. Впрочем, откуда же те? Тогда управление участка находилось совсем в другом месте, да, небось на его месте уже стоит какая-нибудь многоквартирная домина. И живут там люди. И конечно, сваренные Сашей кронштейны давно пошли в дело.

Саша вздохнул.

Сейчас, когда он встал возле угла вагончика, ему насквозь была видна лощинка. Там, внизу, сидел парень и курил. Парня этого Саша немножко знал. Он недавно окончил курсы сварщиков и пришел на участок.

«Вот где баллон можно взять!» — мелькнула в голове мысль.

С этим он и спустился в лощинку.

— Варишь? — подходя к парню, спросил он.

— Варю... — ответил тот равнодушно и стряхнул с сигареты пепел.

— Кронштейны варишь? — Саша остановился, разглядывая трубки.

Парень пожал плечами.

— Почем я знаю?

Саша усмехнулся. Такой разговор был ему на руку.

— Отдай мне баллон,— присаживаясь на корточки, попросил он. — У меня кислород кончился.

— А бери... — Парень плюнул на окурок, чтобы его погасить.

— Серьезно?

— Ну! — Парень попал наконец в окурок, и малиновый огонек зашипел и погас.

— А ты сам-то как же будешь? — отвертывая манометр, спросил Саша.

— А! — Парень махнул рукой. — Очень надо. Домой пойду.

— Ну и правильно,— согласился с ним Саша. — Кронштейнов вон там у вагончика целая гора валяется. Ты их перетащи к себе, и все. Они ничьи.

Он аккуратно положил на трубки манометр и присел рядом с парнем. Теперь, когда он разжился баллоном, надо было придумать, как дотащить его до стройки.

— Как сварка-то? — вспоминая, где он видел вчера тележку для баллонов, спросил он.— Научился уже?

— Нет,— равнодушно отозвался парень.

— Дак это же просто...

«Тележка точно была. Вчера... Вчера... Где же он видел ее вчера?»

— ...это как на велосипеде ездить. Чуть на одну кромку пламя, чуть на другую. Вот ванночка и готова, и так и держи ее. Ты ездил когда-нибудь на велосипеде?

— Ездил...

— Ну и здесь так же. Там тоже руль вертишь, чтобы равновесие держать. Здесь то же самое.

— А! — Парень встал и зевнул. — Пускай. Мне все равно это ни к чему. Я для справки в институт работаю.

— А! — Саша тоже встал. Интерес к разговору погас.

Теперь он точно вспомнил, что на тележке вчера катались под горку помирившиеся ибрагимбековцы — развлекались. Ищи теперь...

«С концами теперь...»

— Ну, бывай... А я ду́мал, ты сварным хочешь стать.

— Зачем? — Парень пожал плечами. — Я лучше в конторе где-нибудь пристроюсь.

Тогда, осенью, Саша — он жил еще у дядьки — еле приплелся домой. Ему казалось, что внутри все размокло, и ничего уже не осталось, и больше не будет никогда, кроме этого ватного и безвольного.

Не снимая куртки, он присел к столу.

— Чего это ты? — Дядька поднял от работы голову. — Случилось что?

— Не случилось... — ватно ответил Саша. — Жить я просто не знаю как.

И тогда словно бы прорвало, и, захлебываясь злыми словами, он начал рассказывать про свою работу, про кронштейны, про сырость.

Дядька слушал молча и только покачивал в такт словам головой.

— Глупости,— наконец сказал он и вздохнул. — Ты сразу хочешь, а это не получается. Трудно, конечно. Только уж раз начал чему-то учиться, надо научиться, а не бросать на полдороге. И потом... — дядька щелкнул пальцами,— потом пойми, что каждый человек имеет право быть нужным, только не каждый это умеет. Стань нужным, научись, и тогда легко будет.

Саша слушал его внимательно, и оттого, что дядя не ругался, а только советовал, ему стало совестно.

— Да я так... — Чуть покраснев, он встал из-за стола. — Я пошутил.

Дядя улыбнулся ему.

— Да ну... — Он похлопал его по плечу. — Что я, шуток, что ли, не понимаю. Не унывай, Сашуха!

— Да... — проговорил Саша, вспоминая сейчас об этом осеннем разговоре.— Каждый человек имеет право быть нужным.

— Че-его? — не понял парень.

— Ну как чего?— удивился Саша.— Право такое: быть нужным.

— А! — Парень махнул рукой.— Я думал, ты дело говоришь, а ты так, про права все толкуешь. Да не хочу я ничего.

Саша пожал плечами.

— Ну как знаешь,— сказал он и полез вверх, заметив, что из прорабского вагончика показался Павел Сергеевич, сопровождаемый бригадиром.

— Павел Сергеевич! — закричал Саша. — Павел Сергеевич! Баллон надо с кислородом отвезти.

— Нету баллонов. Со станции еще не привозили.

— Да как нету?! Вон лежит!

Павел Сергеевич взглянул в лощинку и усмехнулся.

— Саунькин! — закричал он. — Саунькин!

Из вагончика-каптерки высунулась взлохмаченная голова того, который недавно сушил портянки.

— Ну, чего еще?

— Помоги сварному баллоны отвезти.

— Ага! А где я трактор возьму?

— Ну так оттащите вдвоем...

— Нет уж,— огрызнулся бывший солдат.— Командиры для меня кончились. Я — при своем деле.— И мстительно добавил: — Как вы — к нам, так и мы — к вам!

С этими словами голова исчезла в вагончике, а дверь захлопнулась.

Павел Сергеевич пожал плечами. Ему нечего было возразить: в душе он считал себя виноватым перед этими демобилизованными ребятами,— надо было бы ими заняться, получше устроить, подучить. Но... пока руки не доходили: зима наступала на пятки, а план...

— Саша, пойдем, что-нибудь на стройке придумаем.— Павел Сергеевич повернулся к бригадиру: — А брак-то почему?

Бригадир опустил глаза.

— Я почем знаю? — пробурчал он. — Брак, и все тут. Может, просто она плохо лежит.

— Это вы про трубу, что ли? — догадался Саша.— А чего плохо? Я смотрел — нормально лежит.

— Он смотрел... — сердито буркнул бригадир.— Подумайте, какой специалист! Ты лучше за своей работой смотри! Не лезь, куда не просят.

— Да брось ты, Степанович! — заступился за Сашу прораб. — Что, действительно лежит плохо? А как она должна лежать?

— Не знаю,— ответил бригадир. — Вы спросили — я ответил.

Так они и дошли до траншеи со злополучной трубой. Там толпились сварщики, строители. Чуть в стороне стояла машина из лаборатории, и возле нее в унтах ходил шофер.

— Ребятушки! — останавливаясь перед сварщиками, воскликнул Павел Сергеевич. — Дом же надо сдавать! А нас труба заела. Давайте вместе подумаем: в чем тут загвоздка?

Павел Сергеевич не обманывал. Только что ему звонил начальник управления и приказал до вечера закончить монтаж газопровода, потому что на утро ожидалась комиссия, чтобы принять его. Обидно было, что действительно вчерне все уже было готово и держала только эта труба. Заварить бы ее, а там все и на ходу доделать можно.

— Да что мы, не понимаем, Павел Сергеевич? — сказал кто-то из сварщиков. — Только вот труба уж такая. Некачественная.

— Да! — подтвердил еще кто-то.— Точно — труба дурная. Надо, Павел Сергеевич, на анализы сталь послать. Может, из другой партии она.

— Во! — поддержал Алябьев. — Надо обязательно марку стали проверить.

— Какой анализ?! — вскричал прораб. — До вечера надо успеть пробные испытания провести! Какой тут анализ может быть?

— Павел Сергеевич! — подал свой голос Саша. — А если другими электродами попробовать варить, а? Как нержавейку варят? Давайте я попробую.

— Давай, как нержавейку! — обрадовался Павел Сергеевич. — Давай вари!

— Э! — обеспокоенно сказал Алябьев. — Да где это видано, чтобы по третьему разряду такую работу делать? Тут же по шестому надо! Пускай из опытных кто-нибудь попробует.

Но Павел Сергеевич уже принял решение.

— Валяй, Карнаухов! — сказал он. — Вари!

Было в его голосе что-то такое, что Саша, который уже возился в траншее, разжигая горелку, невольно

оглянулся на него и понял: испортить — никак нельзя. Стало страшновато.

Но уже шумело пламя в руках.

На черной поверхности трубы вспыхнули красноватые точки — это загорелась смола. Саша убавил кислород, и пламя уменьшилось, сосредоточив весь свой жар в голубом посвистывающем клинышке.

«Как хорошо зачистили!» — еще подумал он и тронул острием пламени ровный, почти зеркальный откос.

Привычно он прихватил в четырех местах трубу, выравнивая зазор, и лег на дно траншеи, начиная работу. Это было самое трудное — потолочный шов.

Работать было трудно. Между трубой и грунтом едва пролезала рука с горелкой.

Но приплясывала в пламени проволока, и шов — медленно и трудно,— но поднимался все-таки вверх. И с каждым миллиметром становилось все легче.

Локоть был уже почти свободен, когда неожиданно из-под него выскочил камешек и пламя резко качнулось в сторону.

«Пережег!» — мелькнуло в голове, и Саша мгновенно и бессознательно отклонил пламя от шва, извернув руку так, что в кисти что-то хрустнуло.

Руки его дрожали, когда он закончил шов.

Он прислонился к стенке траншеи и закрыл глаза — пот заливал их.

«Ну что они там? — пытаясь стереть рукавом куртки пот, а на самом деле только сильнее размазывая по лицу грязь, подумал он. — Что они возятся так долго?»

Перед ним мелькали спины лаборантов, возившихся возле шва. Казалось, что этому мельтешению не будет конца. Саша вздохнул и, подтянувшись на руках, вылез из траншеи.

— Ну, и делов-то... — услышал он какой-то непонятно будничный голос. — Заварили, и дело с концом. А мы тут из-за вас целый день торчим.

Уразумев смысл этих слов, Саша хотел броситься к лаборантам, чтобы обнять их, но они — странное дело! — не обращали на него никакого внимания, возились со своими сундуками, укладывая их в машину.

Саша взглянул на прораба. Тот смотрел на часы.

— А! — перехватывая Сашин взгляд, сказал он.— Молодец. Завтра же пятый разряд оформим...

Он хотел еще что-то сказать, но тут лабораторский «газик» фыркнул, и Павел Сергеевич вдруг сорвался с места и ловко вскочил в машину уже на ходу.

Напротив сварщиков, сидевших на крыльце, машина притормозила.

— Эх вы! — высунулся из нее Павел Сергеевич. — Мастера!

Дверка захлопнулась. Из выхлопной трубы вылетел клубок синеватого газа. Машина скрылась за углом.

Саша все еще стоял на краю траншеи, когда к нему подошел Ибрагимбеков.

— Сволэчь ты,— сказал он. — Сволэчь.

Как-то отстраненно Саша подумал, что вот даже такое бранное слово и то выговаривает чудак по-своему, но эта отстраненная мысль мелькнула стороной, а кулаки уже сами сжались, и Саша шагнул навстречу Ибрагимбекову.

— Чего-о?! — спросил он. — Что-о ты сказал?

— Сволэчь! — по-прежнему гортанно повторил Ибрагимбеков, и не миновать бы драки, но в это время между ним и Сашей встал Алябьев.

— Заткнись ты! — прикрикнул он на Ибрагимбекова. — А ты... — он повернулся к Саше,— тоже погоди. — И снова к Ибрагимбекову: — Сашка ведь не знал, что у нас уговор такой был — не варить эту трубу.

— Какой уговор? — Саша нахмурился, уставившись на суетящегося Алябьева.

— Ну вот! — добродушная улыбка осветила лицо миролюбца. — Вот видишь: не знал... Я же говорил, что он не знает!

Саша опустил голову. Теперь все встало на свои места. Вот, оказывается, почему не заваривалась труба!

— Не знал! Не знал! — ликовал где-то рядом голос Алябьева.

Медленно и долго поднимал Саша глаза. Он ненавидел сейчас этот ласковый голос, это добродушное лицо.

— Это ты придумал? — спросил он в упор. И сморщился, как от зубной боли, когда получил утвердительный ответ.

— Фу! — сказал он и брезгливо вытер руки. — Фу, гадость какая! — Потом повернулся к сварщикам.— Да вы что, ребята? Да разве можно так, а? Ведь это же работа! Это мы! Да как же после этого жить? Ре-ебята-а!

Несколько мгновений он пристально смотрел на сварщиков, потом махнул рукой и зашагал прочь.

— Я гаварыл! Я гаварыл! — вскочив на ноги, закричал Ибрагимбеков. — Я гаварыл, что он против всэх!

Он повернулся к Юрию.

— А я вчера за него заступался! Ашибка, дарагой? Извыни!

— А! — Очкарев спрятал руки в карманы, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Там он нащупал какую-то бумажку и вытащил ее. Это было извещение на посылку.

— Тебе,— уголок рта его дернулся. Он протянул бумажку Ибрагимбекову.

Вымученно, неловко улыбнулся и хотел уйти, но Ибрагимбеков схватил его за рукав.

— Э! Э! — сказал он.— А как же, дарагой, я получу? Не дадут ведь без твоего паспорта.

— На! — Юра не вытащил, а вырвал из кармана бумажник, где лежал паспорт.— На!

Весна в этом году была похожа на плохой рабочий день, когда вроде бы и работа есть, и работать хочется, но мешает все время что-то постороннее, мелкое и ненужное, но прилипчивое, словно репей.

И бегаешь по этим пустякам, и шумишь, и ругаешься, и уже сам понимаешь, что бесполезно все, но не можешь отстать.

Так и эта весна. Несколько раз начинал таять снег, но не стаивал до конца — мутными лужицами застывал на дорогах, снова ветер нагонял с залива хмурые облака, снова сыпались на землю водянистые хлопья, и долго потом небо было пустым и бессолнечным, как лицо у человека, который устал от бессмысленности своих хлопот.

Вот и сейчас, казалось бы совсем недавно, яркое светило солнце, а не прошло и часа, как все изменилось — снова прошел снегопад, и сейчас, когда он

стих, уныло вздрагивали на ветру ветки сосен, осыпая с иголок тускловатую сырость.

Когда Саша зашел в Катину комнату, все ее соседки — Катя жила в четырехместной комнате — были дома и все, сразу, как по команде, начали собираться, припоминая, что у них есть неотложные дела.

— Ну что вы в самом деле, девочки! — пыталась остановить их Катя, но подружки не слушали ее, и скоро Катя осталась с Сашей в комнате вдвоем.

— Фу какие! — Насмешливо улыбаясь, Катя стояла посреди комнаты и смотрела на Сашу.— Это ты их распугал.

— Что? — Саша поднял голову, пытаясь понять, что она сказала.

— Я говорю, ты их разогнал... — повторила Катя. Улыбка погасла на ее губах, и она подошла к Саше. Положила руки ему на плечи и заглянула в глаза.

— Случилось что? — беспокойно спросила она.— У тебя неприятности?

— Неприятности? — переспросил Саша и пожал плечами.— Неприятности? Нет... — Он отрицательно помотал головой.— Нет. Так просто. Пустое.

— Милый! — Голос у Кати был мягкий.— Что пустое? Я же вижу, что тебе плохо.

Саша медленно отвел ее руки и опустился на кровать. Только сейчас он почувствовал усталость.

— Ничего не случилось,— пытаясь улыбнуться, проговорил он.— Просто, Катенька, как будто шел по улице веселый, нарядный и вдруг в грязь свалился...

Катя, не отрывая глаз, смотрела на него и вдруг заплакала.

— Ты что? — забывая про свою усталость, воскликнул Саша.— Хорошая, что с тобой? Тебе стыдно из-за меня, да?

— Из-за него... — Катя всхлипнула и прижалась лицом к Сашиному плечу.— Ты знаешь, он раньше совсем другой, совсем не такой был... — сквозь слезы бормотала она.— Даже когда от мамы уехал, совсем другой был... А мне жалко его, жалко!

— Не плачь! Не плачь! — уговаривал ее Саша, хватая губами ее соленые от слез щеки.— Катенька, не

надо. Все пройдет. Он... просто... просто он заблудился сейчас!..

Они долго сидели так, не замечая, как сгущаются на улице сыроватые сумерки.

Ночь

Ночь наступила морозная, звездная. Светила полная луна, и на промерзшем снегу лежали густые, чуть подплывшие с краев тени сосен. Но это в лощинках, где сосны стояли редко, а на верхушках дюн, в густой поросли, тени были сплошными.

Было тихо. Лишь изредка проносились по шоссе машины, и тогда светом их фар прохватывало сосняк и какие-то тени, словно живые, сплетаясь в клубки, бежали в деревьях.

Очкарев брел по лесу не разбирая дороги. Порою он глубоко проваливался в снег, но не замечал этого, выкарабкивался из сугроба, брел дальше.

Вначале он собирался зайти в Ручьи к Зине, но потом подумал: «Зачем мне это надо?» — и с полдороги свернул в сторону и побрел по лесу без всякой цели.

Юра устало присел на поваленное дерево, спиной к городскому зареву и задумался.

Высоко над головой жило огромное небо.

Тянулись к заливу облака, и яркие холодные звезды словно бы выплывали из их грязноватой мути.

Запрокинув голову, Очкарев долго смотрел на них. Там все было ясным и чистым.

Чуть зажмурил глаза — и зимний лес сразу стал другим.

Юрий представлял его большой заснеженной пожней, окутанной душным запахом июльского сена из разворошенного стога. Это осталось в памяти еще из детства, когда он ездил с отцом возить сено.

Подул ветер, и с сосновой ветки посыпался на лицо холодный снег. Стало зябко. Юрий поежился и встал.

Да... Что-то случилось в жизни, что-то сломалось, и не угадать: что?

Так было, было...

Ну да... Это тоже из далеких послевоенных лет. Он работал тогда на лесной эстакаде. Бревна, одно за другим, катились по слегам, и ему нужно было вырав-

нивать их, чтобы они ровно ложились в штабель. Чуть дотронешься багром до бревна, и все... Но стоило только зазеваться, пропустить какой-то момент — и вот уже встают бревна на дыбы, громоздятся друг на друга, а в воздухе тесно от матюгов и крика.

Сейчас тоже так. В жизни так. Что-то пропустил, зазевался, и все — уже не ты властен над своей жизнью, не ты распоряжаешься ею, а кто-то другой — недобрый.

Юра вздохнул и остановился,— дальше земля уходила обрывом вниз. Там, в глубокой лощинке, среди кустов извивалась черная лента реки.

Юра и сам не заметил, что обошел город почти кругом.

За стволами деревьев что-то мерцало вдалеке, и Очкарев направился туда.

Это был костер. Его жгли демобилизованные. В прокопченном до черноты котелке они варили чай.

Верховодил тут Ибрагимбеков.

— Садись, друг! — предложил он и подвинулся у костра, освобождая место.

Юра бездумно присел рядом, в светлый и теплый от костра круг.

Ибрагимбеков, оглянув Юру, снова занялся своим делом: ломал руками сухие ветки и подкидывал их в костер.

— А мы о родине разговариваем! — сказал Ибрагимбеков, задумчиво разглядывая пламя.— Ведь это хорошо: смотреть на огонь, гаварыть о родине, а?

Очкарев ничего не ответил.

Он смотрел на пламя костра, и ему было спокойно и тепло. Не хотелось даже шевелиться.

— Да! — снова раздался гортанный голос Ибрагимбекова.— Я позабыл! Это же тебе, друг, пасылка!

Он хлопнул себя по карману и вытащил оттуда письмо.

— Это письмо! — сказал он.— А еще свитэр! Он в казарме остался. Завтра на работу прынесу!

Юра торопливо разорвал конверт.

Письмо было от жены.

Ибрагимбеков чуть отодвинулся, чтобы не смотреть, как читает Юра письмо. Он полулежал сейчас у костра, и неровные отблески света играли на его лице.

— Что? — спросил он, когда Юра, дочитав, засунул письмо в карман.— Хорошие новости, да?

— Нормальные,— коротко ответил Юра.

И утро

Саша все точно высчитал. Перед сном он поставил будильник на половину седьмого, чтобы перед работой успеть поговорить с Павлом Сергеевичем о переводе в другую бригаду. Здесь — это он решил твердо — он больше не останется.

Это решение как-то само собою пришло, когда он возвращался из Ручьев от дяди. Собирался он пойти туда вместе с Катей, но вместе не получилось, ладно, в другой раз... Извиниться все-таки зашел. Может, и не только чтобы извиниться. Хотелось все-таки поговорить и о том, что случилось.

Дядя, как всегда, сидел на кухне и вырезал что-то из чурбака, Саша так и не разобрал — что.

— Подарок вам! — пояснил дядя и засмеялся. Только после его слов угадал Саша в чурбаке очертания люльки, похожей на лодку.

— Сейчас все на деревянных кроватях спят.— Дядя чуть улыбнулся.— Пускай внук тоже, как все добрые люди, устраивается.

Хотелось посоветоваться Саше, хотелось... И может, и посоветовался бы, рассказал бы все, снова бы, как тогда, осенью, спросил бы, что делать, как дальше жить.

Но это «как тогда» и остановило его. «Как тогда, как тогда...» — пробормотал он и, поерзав на стуле, встал. Но это тогда. Сейчас надо было самому решать.

Хороший человек дядя. И понимает все, посоветовать хорошо может, и главное — это Саша, только прощаясь, понял — не любопытствует, не лезет в душу. Даже и не спросил, почему не пришли.

— Дела просто такие,— пожав ему руку, промямлил Саша.— Дела... Дела не пустили. Извини.

— Ну да! — легко согласился дядя.— Дела, как сажа бела. Что я, не понимаю, что ли? Думать, конечно, надо.

И, засмеявшись, ушел в дом.

Только возвращаясь назад через лесочек, Саша догадался, почему не стал он откровенничать с дядей.

«Вот если бы не было этих трех лет... Тогда да... А сейчас надо самому думать!»

Будильник он поставил на половину седьмого. Но он зазвенел около пяти.

Саша вскочил. Спросонок, ориентируясь только по свету в окнах, он догадался, что еще слишком рано.

И точно: будильник держал в руках Мишка. Он подкручивал его завод.

— Ты этого? — Саша покрутил пальцем у виска.

— Ш-ш-ш! — Мишка прижал палец к губам.— Смотри, что у меня есть.— Он отставил будильник и распахнул полу пиджака — там, из внутреннего кармана, торчало горлышко бутылки.

Саша снова забрался в кровать.

— Слушай! — спросил он.— У тебя есть совесть, а?

— Да не злись ты! — Мишка сел на кровать, рядом.— Не злись. Я ж тебя не просто так разбудил. Я поговорить хочу, а ты рычишь, как нелюдь!

Нет, на Мишку просто невозможно было сердиться. Саша встал и начал одеваться.

— Ну вот! — обрадовался Мишка.— Вот это уже по-товарищески.

Он включил свет и, пока Саша одевался, достал из тумбочки стаканы, открыл бутылку.

— Не! — Саша прикрыл ладонью свой стакан.— Мне не лей. Я не буду. Ошалел ты, что ли?

— Ну вот, здрасте! — возмутился Мишка.— Что я, алкоголик, что ли, чтобы одному пить. Давай за компанию.

— Не хочу,— твердо сказал Саша, и Мишка вздохнул. По опыту он знал, что уговаривать Карнаухова бесполезно.

— Нехороший ты человек, Карнаухов,— горестно проговорил он, пряча бутылку в шкаф.— Не компанейский. Я вон за компанию с тобой, может, жениться решил, а ты выпить не хочешь.

И он печально покачал головой.

— Что?! — От изумления брови у Саши полезли вверх, спрятались под густыми волосами на лбу.

— Ничего,— пробурчал Мишка.— Жениться надумал.

— Ну так что ж? — Саша сел за стол, внимательно оглядывая Мишку.— Поздравляю...

— А чего поздравлять? — обиженно проговорил тот.— Ты выпей лучше за компанию. Посиди, посоветуй.

— Отстань. Опять ты за свое.— Саша засмеялся.— На этой женишься, которая вчера у тебя сидела, да?

— На ней... Ты-то как думаешь: жениться или нет?

— Не знаю...— искренне ответил Саша.— Ты смешной какой. Кто же это, кроме тебя, знать может?

— Никто, конечно,— вздохнув, согласился Мишка.— Я сам знаю, что никто. Она вообще-то ничего... Хорошая такая девушка. Только вот, понимаешь, както странно все равно. Я — и женюсь. Сейчас ведь я свободен, куда хочу, туда и еду. Ведь хорошо: захотел и поезжай. А тут уж все.

Саша усмехнулся.

— Да брось ты,— сказал он.— Хотеть-то ведь тоже уметь надо. И хватит уже! Ложись!

Когда Саша проснулся снова, было уже половина восьмого. Идти было уже поздно и опять-таки — еще рано. Нужно было дождаться, пока сварщики разойдутся от прорабского вагончика. Встречаться с ними не хотелось.

Он успел напиться чаю, приготовив его с помощью комнатной «атомной электростанции» в пол-литровой банке, а стрелки часов словно бы и не сдвинулись с места.

Подперев кулаком щеку, Саша сидел за столом и прислушивался к звукам, доносившимся из коридора. Вот загремела ведрами уборщица, вот она остановилась, разговаривая с вахтершей.

И снова Саше показалось, что так когда-то уже было... Он наморщил лоб и наконец-то вспомнил. Ну да... Это было летом, солнечным утром. Он сидел и пил вот так же чай, когда к нему неожиданно зашел Очкарев. Он тогда тоже сидел и говорил о том, что хочется уехать, хотя ехать и некуда. Но тогда все было совсем по-другому. Они пошли потом на работу, и, в общем-то, весь день Саша чувствовал себя как-то праздничнее, чем обычно. Они хорошо тогда говори-

ли о хотении уезжать... Ощущение праздника длилось весь день. Тогда казалось, что так будет всегда. Саша вздохнул: тогда у него не было еще ни одного врага.

В это время в дверь постучали.

«Юра? — удивленно подумал Саша, и что-то неприятно засвербило в груди.— Ну зачем?»

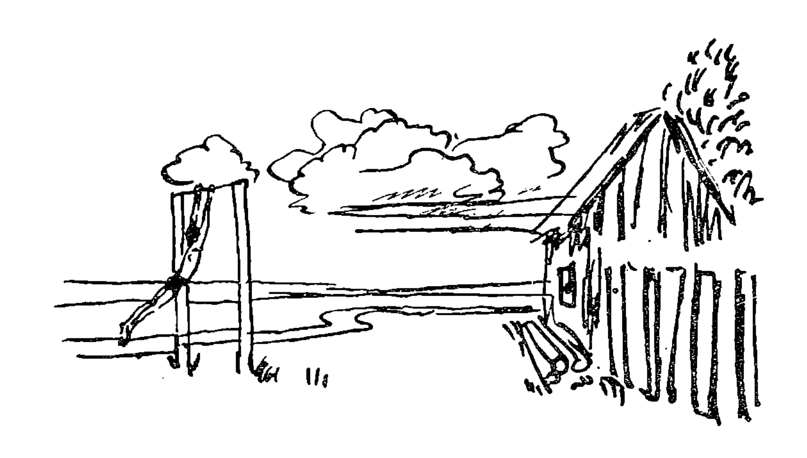
— Войдите,— сказал он.

Дверь открылась. На пороге стоял комендант — отставной инструктор по пожарной безопасности.

— Не застанешь вас никогда,— недовольно сказал он и направился к столу.— Я списки женатиков составляю... Ты как?

— Заявление уже подал.— Саша вздохнул. Все шло так, как он и хотел, но почему же тогда словно оборвалось что-то внутри, как в вагончике, в котором после ухода сварщиков он остался один.

«Ну да, да...— сообразил он.— Ну конечно же, уйти легче, чем остаться... Конечно же, легче... Но ведь это значит — убежать... А почему? Нет уж!» И как только были додуманы эти, такие простые и такие трудные мысли, Саша сразу же догадался, что это они и мучили его вечер, ночь, утро... Он быстро взглянул на часы. До начала работы оставалось шесть минут.



Эмилия Кундышева

ЭКСКУРСОВОД

Может случиться такое: однажды в городской суете, в разгаре дневных хлопот, вдруг привидится чье-то, казалось бы, навсегда забытое лицо, мелькнет в воображении серый дощатый дом, за ним пустырь, дорога... и сил нет, как захочется все это встретить опять наяву. В конце концов подумаешь: «А почему бы нет?...», и нестерпимое желание станет казаться почти осуществимым...

В тот день (недели две назад) экскурсия моя, третья за день, началась обычно. По телефонному звонку от администратора к нам, в экскурсоводческое бюро, я взял из ящика за дверью одну из указок, взглянул на свои часы и вышел «на группу». Протискиваясь в зале сквозь толпы посетителей, я уже издали увидел у входной двери возле колонны небольшую группу поджидающих меня экскурсантов и, подойдя ближе, как всегда, мгновенно определил на глаз состав ее: «Школьники. Класс 5—6-й. Из провинции».

— Ваш экскурсовод,— указав рукой в мою сторону, представила меня старейший организатор музейных экскурсий Зинаида Васильевна.

— Добрый день, прошу за мной,— привычно кивнул я и, подняв вверх указку, повел группу к первому стенду.

Стараясь потянуть время, я буквально плелся по залу, озираясь по сторонам и вяло размышляя при этом: «Душно... Как много народу в музее! Естественно, июль — месяц туристов... Кирсанова уже прощается со своей группой, можно позавидовать... Смотрительница в сером халате на мышь похожа... Школьники мои топают, будто стадо молодняка... Опять Гумилева собрала вокруг себя сто человек, машет указкой — тоже мне фея с волшебной палочкой...»

Даже теперь, в состоянии усталой апатии, мельком увидев в толпе Нину Гумилеву, я почувствовал острое раздражение, неприятный осадок от недавнего с ней разговора.

Несколько дней назад мы с Ниной, закончив одновременно незадолго до закрытия музея последние экскурсии, пережидали вдвоем в бюро неожиданно разразившийся в городе яростный ливень. Тусклая пелена воды трепетала на высоких арочных окнах.

Нина стояла у повешенного на стене зеркала и медленно проводила расческой по темным гладким волосам, стянутым на затылке в какой-то сложный тройной узелок, а я, как обычно, сидел, закинув ногу за ногу, в углу дивана, и от нечего делать наблюдал за ней. Нарушив молчание, я спросил просто так:

— Устали?

— Устала,— тихо ответила Нина.

— Еще бы,— улыбнулся я многозначительно, имея в виду ее стопроцентную отдачу «на группе», когда она — сплошной порыв, сплошное вдохновение. При этом я представил Нинин поистине артистический трепет в бюро перед выходом к экскурсантам — как она нервным изящным жестом выдвигает свою складную указку (боже, что за указка! Не толстая, деревянная, а металлическая, пронзительно-тонкая с голубым наконечником!), как на секунду замирает перед зеркалом — вся в себе, взволнованная актриса в гримерной, узкий торс чуть подался вперед, и отставленная как-то вниз и вбок от тонких ног указка серебряной спицей мелькает у черных замшевых туфель с перекладиной на высоком подъеме! Через несколько минут указка,

сверкая на фоне розовых мраморных стен, превращается *в дирижерскую палочку.*

Идеальной формы плотное кольцо экскурсантов (завороженных «зрителей») окружает Нину, когда она говорит. Постепенно кольцо утолщается — посетители, подобно магнитным крупинкам, располагаются вокруг нее — источника этого магнитного поля, покидая своих экскурсоводов. Саму Нину не видно, только издали мелькнет ее профиль или вдруг белой птицей взлетит над головами кисть руки.

Первое время, наблюдая за Ниной, я решил: она не замужем, а одиноким женщинам необходимо в любом виде излить свои нерастраченные чувства. Однако потом узнал: была замужем, разведена, десятилетняя дочь...

— Я удивляюсь вам, Нина,— начал я, оглянувшись на окно и убедившись, что мы застряли в музее надолго,— откуда у вас столько эмоций?!

Нина чуть повернула ко мне узкое личико с тоненькими, сросшимися на переносице бровками, улыбнулась, и, если бы не присущая ей в разговоре женственность, ответ ее был бы почти груб:

— А я удивляюсь вам: как можно без эмоций?!

— Вы, Нина, святая,— развел я руками,— когда повторяешь одно и то же сотни раз, какие тут могут быть эмоции?! Знаете, я недавно проспал всю экскурсию. Честное слово! Я шел, что-то говорил, а сам спал, и разбудил меня мой же собственный голос: «На этом экскурсия заканчивается. Благодарю за внимание».

Я выжидающе улыбнулся, но Нина только покраснела всем лицом, будто услышала непристойный анекдот. Потом задумчиво сказала:

— Знаете, у меня сегодня был интересный экскурсант. Подошел ко мне и спрашивает...

— Оставьте,— перебил я, махнув рукой.— Все экскурсанты — из Житомира, Тамбова, Орехова-Зуева, не знаю еще откуда — все одинаковы: одни и те же вопросы, одно и то же выражение лиц, одни и те же вздохи и ахи в соответствующих моментах. Иногда, особенно в конце дня, я начинаю их просто ненавидеть — эти задранные носы, разинутые рты, эти (простите) запахи пота в жару, эта вечная манера наступать экскурсоводу на задники башмаков...

— А дети? — Нина достала из сумочки пудреницу, открыла ее и в упор, поверх крышки, быстро взглянула на меня.

— Дети?! Не надо идеализировать детей, пусть этим занимаются детские писатели,— все более раздражаясь, заговорил я,— в общей массе это орава оболтусов. Такова их природа. Недавно у меня на экскурсии они умудрились подраться. А что касается старшеклассников, этих созревающих подростков, то, по-моему, их больше волнуют вопросы пола, чем наши с вами рассказы — парни вечно прижимаются к девицам, девицы хихикают... Впрочем, дети вообще меня раздражают, иначе я давно бы работал в школе.

Нина захлопнула пудреницу, серьезно спросила:

— Скажите, Вадим, почему вы работаете экскурсоводом? Вам ведь, кажется, недавно предлагали перейти в наш научный отдел?

— Предлагали, но я отказался. Во-первых,— начал я объяснять,— мне не нравится там обстановка. Вы же сами знаете: окошечко, узенький лучик солнца, мышиная возня в ворохе пыльных архивов. Радость, если найдешь крохотный кусочек засохшего сыра... Во-вторых, материальная заинтересованность, что, сами понимаете, немаловажно: здесь — чем больше проведешь экскурсий, тем больше получишь, а там, сколько ни трудись,— ставка. Ну и кроме того, в научотделе не дают отпусков летом, а я привык в августе ездить на юг, к морю, что, кстати, собираюсь вскоре сделать... Вам ведь тоже, кажется, предлагали? — спросил я не без ехидства.

— Предлагали,— кивнула Нина,— но мне нравится здесь работать с живыми людьми. Хотя, конечно, тяжело — горло, связки...— она провела рукой по шее, вздохнула, имея в виду профессиональную болезнь экскурсоводов,— ничего не помогает — ни боржом с молоком, ни ингаляции, ни электрофорез. Врач говорит, надо беречь связки...— она задумалась на мгновение,— но когда я подхожу к группе, вижу, как они, экскурсанты, смотрят,— мол, вот мы здесь, приехали, прими нас, какие есть, мы ехали долго, выстояли в музей длинную очередь, и теперь ждем, рассказывай нам все, что знаешь, и поинтересней,— тогда я все забываю и, пока говорю, боюсь, чтобы они не стали смотреть по-другому — холодно, равнодушно...

— Ну хорошо,— сказал я, улыбнувшись,— а как вы считаете, зачем большинству из них рассказывать, например, принципы академической живописи или, еще того лучше, повествовать об эклектике?! Неужели вы думаете, что им это интересно, что все это каждому необходимо знать? На месте научного отдела я давно бы разработал разные планы экскурсий в зависимости от контингента посетителей... Вы идеалистка, Нина!

— А где вы работали после окончания университета? — спросила Нина, так и не прореагировав на мои слова.— Вы, кажется, по образованию историк?

Я начал рассказывать, как перед приходом в музей два года проработал на кафедре.

— Как только наступал археологический сезон, надо было отправляться на раскоп. Лучше не вспоминать. Днем жара сорок градусов, ночью гнус. А наградой за это — несколько черепков. По обработанным данным начальник экспедиции Уткин писал диссертации. Впрочем, у меня никаких претензий — я всегда восхищался его терпением и верой в эти черепки...

Я взглянул на Нину и замолчал. Выражение лица ее было отсутствующим, будто она уже давно перестала меня слушать. Наступила тишина.

Тем временем дождь кончился, капли по стеклу скатились вниз, оставив после себя узенькие, прерывистые дорожки.

— Все, можно идти,— сказала Нина, перекидывая через худенькое плечо сумку.

Мы вышли из музея. Небо было еще в тучах, а воздух уже прозрачен. Навстречу нам прорвавшейся лавиной спешили прохожие.

Нина неуверенно остановилась у большой блестящей лужи.

— Давайте руку,— предложил я.

Нина пошла в обход. Казалось, она совсем забыла про меня, и исчезни я сейчас, она бы не обратила на этот факт ни малейшего внимания. Я догнал ее, взял левой рукой под локоть, а правой обвел вокруг себя и спросил:

— Нина, вам никогда не напоминает современный город старинную гравюру? Правда, сегодня вместо экипажей — машины, вместо господина в цилиндре — вот этот мужчина с портфелем, а вместо дамы в платье со шлейфом — девица в брюках... Но думали вы о том,

что весь этот город, и мы с вами в том числе, со всеми нашими жалкими заботами и ничтожными хлопотами, рано или поздно исчезнем навсегда, как те дамы и господа на гравюре?

— Неужели? — Нина усмехнулась, приподняв на переносице темные бровки, и каким-то извиняющимся тоном сказала: — Вадим, я уже это где-то слышала...

— Нет, правда,— заговорил я быстро, взволнованно и искренне.— Вы были когда-нибудь в Таллине, поднимались на Вышгород? Видели город сверху?! Помните это множество старинных крыш, а среди них крохотную площадь, по которой, подобно муравьям, бегают людишки?! Куда, зачем бегут? Спрашивали вы себя об этом?

Я заглядывал Нине в лицо, а она вдруг, отвернувшись, поспешно сказала:

— Мой автобус,— и побежала.

— Подождите, нам по пути! — крикнул я и хотел было тоже бежать, но передумал и оказался на автобусной остановке, когда дверь за Ниной захлопнулась.

Я растерянно улыбнулся.

Но теперь, увидев в толпе экскурсантов Нинин профиль, я поспешно отвел глаза и, пройдя еще несколько шагов, подвел группу к первому стенду. При этом я, как всегда, очертил указкой перед собой невидимый полукруг и со словами: «Подальше, пожалуйста, подальше» — заставил ребят встать по этому полукругу и ни на шаг ближе. Ребята, какие-то рыжеватые мальчики в бумажных костюмах, сероглазые девочки, наспех причесанные, а все вместе похожие друг на друга, как метелки в поле, обратили ко мне свои лица, и я, чтоб хоть как-то оттянуть начало экскурсии, преодолев зевок, спросил:

— Ребята, откуда вы?

— Из Ярославской области,— тихо ответил кто-то.

— Прекрасно,— вздохнул я,— итак, начнем экскурсию. Вы находитесь в одном из замечательнейших музеев нашего города, в музее, который является великолепным памятником русской культуры, гармонично сочетающим в себе различные виды декоратив-

ного искусства: живопись, скульптуру, мозаику, лепные орнаменты. История создания этого памятника неразрывно связана с историей строительства нашего города...

Рука моя с указкой механически двигалась по висящей под стеклом карте города, губы сами по себе произносили знакомые слова, голос звучал в заученно-повествовательной интонации, время от времени замолкал, согласно расставленным в тексте запятым и точкам.

Мы двинулись ко второму стенду, и я, находясь в бездумной прострации, проговорил положенные фразы об известных русских деятелях искусства прошлых столетий, которые «принимали активное участие в создании внутреннего и внешнего убранства здания», и соответственно показал на стенде их портреты.

— А теперь,— проговорил я, сделав положенную паузу,— я познакомлю вас с живописью.

Я подвел группу к росписи, опять выстроил ребят по полукругу и, перечисляя принципы академической живописи, почувствовал вдруг легкое беспокойство. Еще не отдавая отчета в причинах его, я невольно вышел из прострации, вникая в смысл плавно льющейся речи, но, охваченный все растущим беспокойством, сбился. Потом поправился:

— Простите, я хотел сказать, одним из самых долговечных видов искусства является мозаика.

Мы подошли к мозаике, и, рассказывая о свойствах смальты, я отчетливо наконец осознал — причиной моей взволнованности были ребята. Мы прошли на середину зала, остановились, и я пристально вгляделся в их лица. Ребята по-прежнему добросовестно слушали меня, следили взглядом за указкой, которую я направлял теперь в высокие своды, на золоченый орнамент, а между тем при взгляде на них создавалось впечатление, которое обычно при подобной встрече с незнакомым человеком выражается словами: «Кого-то он мне напоминает?..»

У последнего стенда мне уже нестерпимо захотелось задать ребятам один вопрос. Я быстро рассказал о судьбе музея в годы войны, показал фотографии поврежденных фрагментов живописи и рядом, на росписи,— эти же фрагменты в результате послевоенной реставрации, и — «на этом экскурсия заканчивается.

Благодарю за внимание, всего хорошего. Выход направо».

Ребята неуверенно начали расходиться, а я подошел к столу администратора и расписался в журнале.

— Вадим Алексеевич, что с вами? Вы же не там расписались,— строго сказала, блеснув очками, наш молодой администратор Галина Константиновна.— Вы же поставили подпись свою в графе Малининой!

— Извините,— растерялся я.

— Что делать?! — пожала плечами Галина Константиновна.— Малининой придется потом расписаться в вашей графе.

Я вошел в бюро, сунул указку на место и сел в угол дивана. Экскурсоводы, ожидающие вызова «на группу», занимались в эти минуты своим обычным делом: кто читал, кто дремал, кто писал письма, Юрий Семенков, внештатный корреспондент какой-то многотиражки и одновременно внештатный экскурсовод музея, очень бойкий молодой человек, названивал по городскому. Напротив меня за стареньким канцелярским столиком сидели и разговаривали Таня Малинина, та, в чьей графе я ошибочно расписался, и Виктория Григорьевна Красицкая, пятидесятилетняя дама с рыжими, тщательно взбитыми, но, увы, с предательской проседью у корней волосами. Виктория Григорьевна слушала и вязала, а Таня, как всегда, рассказывала ей о своих неудачных годах учительствования где-то в Коми, куда попала по распределению после окончания института. При этом в ее блестящих серых глазках, казалось, стояли слезы. Она взволнованно говорила:

— ...а он мне отвечает: «Ми ок тэд».

— А что это значит? — не отрывая глаз от вязания, спросила Виктория Григорьевна.

— Это по-коми значит: «Я не хочу». Тогда я говорю ему: «Ставлю тебе кык»,— а «кык» — это по-коми «два», — и сразу после урока к директору школы с заявлением пошла. Объяснила ему: «Все. Работать больше у вас не могу!» — и на следующий день уехала. Сюда вернулась, а здесь как раз музей набор на курсы экскурсоводов объявил...— Таня помолчала, потом тихо добавила: — Я думала, умру без школы, но жива,— и как будто кто-то в этом сомневался, прижав к груди руки, повторила: — Я жива...

Мне стало вдруг душно, тесно, я переменил позу, открытым ртом сделал вдох, беспомощно оглянулся в окно, с трудом встал и направился к выходу.

— Что, на сегодня все? Богато жить стал,— засмеялся мне вслед Семенков.

Я прошел к столу администратора и обратился к Галине Константиновне:

— Я могу уйти сейчас?

— Можете,— с недоумением посмотрела на меня Галина Константиновна, потом добавила уже холодным административным тоном,— только, пожалуйста, ненадолго. Через час подъедут автобусы с туристами.

Спустившись со ступеней портика, я сразу же окунулся в душное, июльское пекло — ноги увязли в теплом, тягучем асфальте, глаза ослепило жаркое, будто заполнившее все небо солнце, тело охватил плотный, пыльный воздух. Но, жмурясь и задыхаясь, я видел спасительный островок — круглый сквер в центре площади.

Натыкаясь на разморенных жарой прохожих, проскочив перед самым носом лениво разворачивающегося автобуса, я пересек площадь и ступил на «остров».

Забытый всеми в эти минуты, сквер был пуст. Я сел на скамью, покрытую тенью от невысокой широкой яблони, закинул голову, закрыл глаза. Мелькнула мысль: «Хорошо бы посидеть здесь подольше, пока не схлынет волна туристов», потом неожиданно подумалось о ребятах. Наверное, сейчас, после музея, они галдят в каком-нибудь гастрономе, покупая конфеты, или, усталые, одуревшие от избытка информации, спешат к себе в гостиницу... А завтра, быть может, они уже в поезде будут ехать к себе домой, мимо городов, маленьких железнодорожных станций, вдоль полей, по длинным гудящим мостам над широко разлившимися реками, все ближе и ближе к...

И вот тут-то и мелькнуло передо мной: серый дощатый дом, от дома тянется, подобно отростку, такой же серый дощатый забор, а перед домом, на гладкой зеленой площадке, стоит турник... У турника мальчик в черных трусах. Узкая загорелая спина, две полукруглые тени под лопатками. Мальчик поднял худые

руки — тени исчезли,— подпрыгнул и ловко ухватился за перекладину. «Считай,— говорит он, повернув голову в мою сторону, и я вижу его темный блестящий глаз. «Ра-а-з, два-а-а, тр-и-и... Теперь я». Болезненное ощущение в напряженных мускулах плеч, и, когда совсем невмоготу, я разжимаю ладони и падаю на твердую землю. Я подтянулся пять раз, а он — восемь. Так было всегда.

...За домом старая бочка с черной водой. В воде, колыхаясь, отражаются наши лица. Пахнет сыростью. Мы присутствуем при чуде. «Вот смотри,— говорит мальчик,— так — ничего не видать, а повернешь — чистое серебро». Это мы окунаем в воду покрытый снизу легким пушком лист белены. «Чистое серебро»,— повторяю я. Восторг, удивление... Около бочки в сырой траве мелкие желтые цветы. Кто-то из нас с любопытством и неприязнью: «Куриная слепота. От нее куры слепнут...»

...В одной руке дудка, в другой горсть гороха. Мы стоим у мелкой узкой речушки на плоском песчаном берегу и выдуваем из дудок горошины. Маленькие кружки на воде. Я вижу — у него дальше. Потом дуем в небо, в облака. У него опять выше... Самодельные кривые удочки с толстой леской. Пробочный поплавок на воде. «Клевало!» — «Не ври!» — «Честное слово, клевало!» У него всегда клюет... И вдруг: «Бежим, он же задохнется!» Песок. Наши пальцы темнее песка. «Вот здесь копай. Дурак, мы же его так совсем закопаем... Ура! Живой, лапками шевелит...» Это большой зеленый кузнечик, которого еще утром мы ради интереса зарыли... Длинная песчаная дорога. По бокам — телеграфные столбы. Над проводами во все небо распласталась огромная синеватая туча, а на горизонте розовеет узенькая полоска заката. У обочины в розовом свете сидит мальчик и что-то держит в руке. «Покажи, что нашел». Он всегда что-то находит... «Жень, покажи...»

И на фоне гудков машин, скрежета тормозов, разговора двух мимо прошедших женщин: «Давай сядем на ту скамейку, пусть ноги позагорают... Фу, какая жарища!..» — я увидел, как бегу по дороге к розовой полоске, и прохладный вечерний ветер, тугой волной готовый подхватить в любую минуту, бьет в лоб, в грудь, в живот...

Я очнулся, и первое, что мне бросилось в глаза, это телефонная будка, стоящая на углу отходящего от площади переулка. Через минуту я уже звонил, глотая спертый воздух нагретой солнцем кабины:

— Пожалуйста, Ирину Владиславовну из вычислительного сектора... Ирина, привет, это я. Здравствуй. Слушай, у меня появилась замечательная идея...

— Что с тобой? — перебил голос Ирины.— Ты что так дышишь? Бежал от кого-нибудь?

— Да нет. Слушай, я знаю теперь, куда ехать в отпуск. Насчет юга я передумал. Едем в Голубково.

— Куда?

— В Голубково. Это деревня в Ярославской области.

— Не понимаю.— В голосе Ирины послышалось недоумение.— Это что-то новенькое. Объясни толком, что за деревня. Пляж там есть?

— При чем здесь пляж? — оторопел я.— Я не помню этого.

— Тогда о чем речь?!

Маленькая старушка в белой панамке застучала кулачком в дверь кабины.

— Дело в том,— начал я,— что я был там в детстве...

— Ну и что же,— засмеялась Ирина,— мы все были где-то, когда-то в детстве.

— Понимаешь, там очень хорошо...

Ирина помолчала, потом сказала:

— Я верю, что хорошо, но ежели ехать, надо знать наверняка, как там с водой, с комнатой, имеется ли пляж...

— Ну при чем здесь пляж? — закричал я.

— Почему ты кричишь? — возмутилась Ирина.

Старушка опять постучала, шевеля за стеклом губами.

— Ладно,— вздохнул я,— приедешь — обсудим.

Я с грохотом захлопнул дверь будки, и старушка, отпрянув в сторону, прошамкала вслед: «Сумасшедший!»

Взвинченный разговором, я быстро пошел вдоль переулка, потом спохватился и повернул обреченно назад — к площади, к музею.

Вечером в пустой неприбранной квартире (мать недавно уехала на месяц куда-то за город к знакомой пенсионерке, с которой проработала в одном машбюро десять лет), усталый, уже остывший от дневной жары и волнений, я включил телевизор, уставился в кадры какого-то документального фильма,— голос диктора рассказывал о буднях рыбацкой бригады, и на экране рыбаки в брезентовых куртках вываливали из сетей на палубу гору мелкой трепещущей рыбы,— и вдруг подумал: «Где Женька? Куда он исчез?»

Если бы еще утром меня спросили: «Помнишь того Женьку?», я бы, наверное, сначала нахмурился, задумался, потом бы неуверенно улыбнулся: «Женьку, с которым, будучи студентом, в шашки играл?!»

В моем письменном столе лежали кем-то давно подаренные шашки. Когда говорить нам уже было не о чем, я доставал их и предлагал: «Сыграем?», и Женька охотно соглашался. Играл он хорошо, быстро и легко добивался перевеса. Я же, глядя, как Женька широкими узловатыми пальцами передвигает шашки, испытывал скуку, смешанную с легким раздражением к Женькиным всегдашним победам. Борису Земскому, сокурснику, который однажды застал нас за шашками, я так заранее все объяснил в прихожей:

— Ты не удивляйся, у меня турнир,— легкий смешок,— парень сидит, увидишь его — поймешь... Просто в детстве случайно были знакомы...

В этот вечер я вспомнил первую после детства встречу с Женькой.

Однажды мать сообщила мне:

— Представляешь, кого я сегодня встретила? Тетю Галю. Прохорову.

— Какую Прохорову?

— Помнишь, когда ты маленьким был, лет шести, мы с тобой после смерти отца три года подряд на все лето в Ярославскую область ездили, в деревню Голубково? Мне ее кто-то на работе порекомендовал, а Галя с Женькой своим туда к родственникам приезжала. Женька твоего возраста был, вы еще с ним горохом из дудок стреляли. Помнишь? Я сегодня ее в одном магазине встретила, за прилавком. Она продавщицей работает... Она меня сразу узнала, обрадовалась, про тебя спрашивала. Все же хорошая она женщина. В го-

сти приглашала. Они с Женькой в том же доме, что и магазин, живут. Съездим?

Кажется, я долго отказывался, ссылаясь на занятия, потом, отчасти движимый любопытством, поехал.

Мы очутились с матерью в маленькой, тесно заставленной мебелью комнате. В центре стоял большой круглый стол с вазой посередине, из которой торчал букет красных бумажных роз.

Тетю Галю застали одну. Это была полная, высокая, краснолицая женщина.

— Ну Вадима-то, Вадима-то не узнать! — говорила она восхищенно.— Встретила бы на улице — не признала. Слава богу — пятнадцать лет прошло! Бороду отрастил, и с портфелем. Ну совсем настоящий ученый!

— А он и вправду без пяти минут ученый,— похвасталась мать,— университет кончает.

— Кем же ты будешь? — всплеснула руками тетя Галя.

— Историком,— скромно улыбнулся я,— а где Женька?

— Кто его знает... Я предупреждала его, что вы придете... Беда мне с ним... Женька — не то что ты, выпивает.— И тетя Галя длинно и жалобно рассказала историю, которая начиналась с того, как Женькин отец, вернувшись с фронта калекой, без ноги, контуженный, сидел все дни дома и пил.— Он и до войны непутевый был — выпивал, а тут уж совсем... Я думала, Женька родится — он в руки себя возьмет, образумится, а он еще пуще... Женьке лет десять исполнилось, он его в гастроном за водкой посылать начал, а потом, чуть Женька постарше стал, и ему рюмку нет-нет да нальет. «Выпей, сынок, за папку своего несчастного». А я весь день на работе, не уследить... Женька сначала пил из жалости, понемножку, а потом... В шестьдесят третьем Иван умер, Женька на завод пошел, а там дружки пьющие нашлись... Хоть бы ты, Вадим, повлиял на него, все ж дружок твой!

Я пожал плечами — что-то покоробило меня в этой фразе.

И вдруг на пороге появился среднего роста темноволосый парень, в каком-то допотопном зеленоватом костюме, с двумя тяжелыми складками вокруг боль-

шого припухлого рта. Он был явно навеселе, стоял на пороге чуть покачиваясь.

— Жень, ты посмотри, кто пришел! — крикнула тетя Галя.

Парень приблизился, пристально взглянул на меня, и только глаза его, небольшие, ярко-карие, обведенные четкой каймой темных ресниц, сразу стали знакомыми.

— Встретились дружки,— смеялась тетя Галя,— в гости теперь ходить друг к другу будете!

— А помните, как горохом из дудок стреляли? — вспомнила моя мать.

Я — ни звука. Женька глядел на меня пристально, долго. Потом улыбнулся, покачал головой, тихо сказал:

— Ну ты даешь,— и положил мне на плечо руку.

Я завернул до упора переключатель громкости телевизора,— судно медленно и бесшумно поплыло к горизонту,— и подумал: каким был Женька? За пять-шесть встреч нельзя узнать человека... Но я и не делал для этого никакой попытки. С той самой минуты, когда он, какой есть, появился на пороге, я интуитивно очертил вокруг себя свой традиционный невидимый круг. Я только честно взял возложенную на меня тетей Галей обязанность «повлиять» на Женьку. Впрочем, Женька никогда и не приходил ко мне пьяным. Наоборот, судя по свежей, чистой рубашке, он явно готовился к встрече. Он приходил (весь какой-то праздничный), садился, и я задавал ему обычный вопрос «Ну-с, как дела?», и Женька в тон отвечал: «Нормально». Потом, поговорив через пень колоду о том о сем (Борису Земскому так и было сказано: «...Увидишь его — сам поймешь: двух слов связать не может...»), я доставал шашки. Мы никогда не вспоминали с ним детство. Почему? Что касается меня, то будущее представлялось тогда мне намного важнее и интереснее далекого, туманного детства, а главное, сидящий напротив меня «не моего круга» Женька (как я быстро и бестрепетно это решил), казалось, не имел к моему прошлому и настоящему никакого отношения. Но вот сам Женька...

Иногда создавалось впечатление, что он что-то очень важное для него хочет мне рассказать, о чем-то спросить, что-то услышать от меня. Иначе зачем уже после этих пресловутых шашек, видя, что я занимаюсь, он сидел и терпеливо ждал, пока я отодвину конспекты в сторону?.. Слушал он меня всегда внимательно, никогда не перебивал, напряженно глядя мне в лицо своими темными, глубоко посаженными глазами, и, когда я замолкал, все еще неподвижно сидел, будто ждал, не продолжу ли я... А когда уходил, то обычно мялся в дверях, как человек, который либо на прощание не решается что-то сказать, либо сомневается — может быть, еще остаться?.. При этом он делал явные попытки к сближению. Однажды он принес истрепанную книжечку из серии «Библиотека военных приключений», положил передо мной на стол и, очевидно предлагая ее мне, интригующе спросил:

— Читал?

— Нет,— улыбнулся я и подал книгу ему обратно.

Но так ли он был прост, как казался?.. У меня дома висела подаренная знакомым студентом Академии художеств одна абстрактная живописная работа под названием «В голубом кресле». Однажды Женька остановился возле нее, внимательно посмотрел и спросил:

— Почему так все нарисовано?

Я в популярной форме изложил ему принципы абстракционизма, упомянул, что художник, отражая свое мироощущение, не ставил перед собой задачу донести его до зрителя, а Женька на мои объяснения выдвинул «против» такой довод, какой не приходил в голову ни одному противнику этого «Кресла», когда перед ним загорались споры. Подойдя совсем близко к картине, он, прищурившись, сказал:

— А небось подпись «Р. Свахин 1968 г.» четко выведена. Неабстрактно. Чтоб понятно было...

Но я не замечал Женьку. Борису Земскому я тогда так и сказал:

— Просто в детстве случайно знакомы были... Мать его недавно попросила: «Женька выпивает, помоги».

— Понятно,— заулыбался Борис,— может, старик, ты и надо мной шефство возьмешь? Я вчера в одной компании так славно поддал! Только, чур, без шашек...

Значит, так: мы сидим с Женькой, играем в шашки. У меня унылое настроение. Звонок. Я открываю дверь. Стоит Леша Кунин, наш факультетский поэт, мой самый близкий приятель. Сообщает: сегодня, в день получения стипендии, собираются у одной студентки. «Пойдешь?» Я узнаю, кто там будет, соглашаюсь, прошу: «Подожди у парадной. Я сейчас». Затем вхожу в комнату, подхожу к столу и говорю:

— Все, Женька, ты выиграл.

— Так мы же не доиграли! — поднимает голову Женька.

— Все равно, и так видно, что ты выиграл,— упрямо твержу я, потом быстро смешиваю шашки и убираю их в стол,— понимаешь, мне надо уходить.

Мы выходим на улицу. Весна. Появляется Кунин. Я изо всех сил трясу Женькину руку, выказывая доброжелательность, и любезно его спрашиваю:

— Тебе куда? На трамвай?.. А нам на автобус, в обратную сторону. Пока. Заходи,— и игриво добавляю: — Уж в следующий раз я тебя обязательно обыграю...

А Женька вроде бы и ничего — вроде бы и улыбается, переминаясь с ноги на ногу. И мы расходимся. Кажется, я все-таки оглянулся, потому что запомнилось, как в своем зеленоватом костюме, сливаясь с весенней распутицей, Женька уходит — легкой, красивой походкой. У него вообще была очень красивая, данная, как говорится, ему от бога походка...

— Неудобно как-то вышло,— бормочет Кунин.

— Пустяки,— отмахиваюсь я.

По пути Кунин, как обычно, читает мне свои стихи, я одобрительно киваю головой, а сам думаю о предстоящей встрече с Люсей.

Люся была худенькая насмешливая блондинка с вечно обветренными, темными губами. Временами она выглядела совсем девочкой, а порой — намного старше своих однокурсниц. Люся всегда была окружена поклонниками. Избалованная успехом, она позволяла себе говорить им в лицо всякие дерзости, отчего нравилась еще больше. Одно время у меня создалось впечатление, что я, известный на факультете эрудит, остряк и отличник, нравлюсь ей.

В тот вечер, в компании, имея на прицеле Люсю, которая, казалось, кокетливо косилась в мою сторону,

я был в ударе. Я был красноречив и остроумен. Я рассказывал о литературных новинках и последних выставках, смешил всех остроумными анекдотами, удачно копировал университетских преподавателей, очень к месту кидал лихие реплики. Я был в центре внимания. И вдруг, когда мы, потанцевав, сели за стол, неожиданно встал Кунин и начал декламировать свои стихи:

Милая девочка, кто тебе снимет
Паутинку тоски с ресниц,
Чтобы ты в полумраке синем
Слушала пение птиц?!

Еще недавно, на улице, я пропустил мимо ушей эту сентиментальную чушь, но сейчас, когда неподалеку от меня сидела Люся, я крикнул:

— Стоп! А не лучше ли будет так?! — и тут же спародировал:

Милая девочка, кто тебе снимет
Паутинку тоски с ушей,
Чтобы ты в полумраке синем
Слышала писк мышей?!

Все засмеялись. Леша, как-то обмякнув, упал в кресло и будто утонул в нем. Люся загадочно улыбнулась.

В первом часу ночи я вызвался проводить ее до дома и в парадной попытался поцеловать. Она, как птичка, завертела своей маленькой, со светлым хохолком головкой.

— В чем дело? — пробормотал я, притягивая ее ближе.

— Не надо,— зло проговорила она, скидывая с плеч мои руки.

— Я не нравлюсь тебе?

— Нет,— ответила она.

— Почему?

Откинувшись к перилам, глядя мне прямо в глаза, Люся отчеканила:

— Во-первых, я заметила, что когда ты смеешься, ты изо всех сил трясешь плечами, а самому будто и не смешно, нет на лице улыбки. Так добрые люди не смеются...

— А во-вторых? — Я попытался улыбнуться.

— А во-вторых,— Люсино лицо неожиданно стало очень взрослым,— вспомни чеховскую «Свадьбу». «Они хочут свою образованность показать...» А потому теперь до свидания. — И она побежала вверх по лестнице.

— Глупая,— выдавил я,— небось Чехова-то и в руки не брала.

С Лешей Куниным мы как-то однажды встретились на улице. Я приветливо ему улыбнулся, а он — всегда такой безобидный и добродушный,— явно узнав меня, посмотрел холодно и отчужденно, будто мы никогда с ним не были друзьями... Что касается Люси, то долгое время я мстил ей, смеясь в тесной компании над ее острыми коленками. Но не с Люсиного ли почина я так и не узнал Великой, всепоглощающей Любви, о которой столько написано и спето, что существование ее подчас кажется подозрительным?!.

А Женька? Куда он ушел? Где был в те минуты, когда перед Люсей я лез вон из кожи? Именно с этого вечера он больше не приходил ко мне. Как-то потом мимоходом я сказал матери: «Женька что-то не заходит», и мать также мимоходом бросила: «Надо к ним как-нибудь заглянуть». На этом все и кончилось...

Я вздохнул, прикрыл окно, быстро разделся, выключил торшер и лег. В сонном мозгу пронеслись неясные видения прошедшего дня, отрывки телефонного разговора с Ириной, и вдруг тяжелую дремоту пронзила прекрасная, светлая идея — поехать в деревню с Женькой! При чем здесь Ирина, подумал я, с ее дурацкими вопросами о пляже, с ее отчаянной привязанностью к многолюдному югу, к морским и солнечным ваннам?! Единственный причастный к этой поездке человек — это Женька. Как же я раньше об этом не подумал? Ведь если мы с ним поедем, тогда... Ах, болван...

Я окончательно проснулся, зажег свет и, глядя в потолок, развил эту мысль дальше... Мы будем ходить с ним вдвоем по деревне, выискивать старые знакомые места, уточнять, где что когда-то росло, лежало, стояло.

И вдруг Женька, посерьезнев, расскажет о том, что выпало на его долю с тех пор, когда у него было «всегда выше» и «всегда дальше». И потом я, вывернув себя наизнанку, признаюсь ему в том, в чем никогда

не признавался себе: с тех самых прекрасных, светлых времен я что-то, где-то потерял. «Эх, Женька, я потерял! Прости»... И быть может, тогда, под ясным небом на зеленом просторе, разрезанном длинной светлой дорогой, это «что-то» вернется ко мне, и я схвачусь за него руками и зубами и больше никогда не выпущу и не потеряю...

Первой мыслью, с которой я утром встал, было — сегодня же разыскать Женьку. Я был почему-то уверен, что он в городе, и вначале не подумал, что у него могут быть свои планы на лето. «А если они есть,— решил я потом,— то мы вместе что-нибудь сообразим, придумаем, переиграем и в любом случае поедем». Уже опаздывая на работу, я отыскал в ящике туалетного столика старую записную книжку матери и, полистав истрепанные странички, наткнулся на адрес Галины Прохоровой.

День прошел, как в тумане,— в музее стояла страшная духота, был огромный наплыв экскурсантов, к тому же я чувствовал себя не выспавшимся. И только последнюю группу провел неожиданно на высоком подъеме. Группа была сборная, составленная Зинаидой Васильевной из одиночек.

Я говорил просто и увлеченно, как человек, показывающий своим издалека приехавшим друзьям родной город. При этом я получал огромное наслаждение, когда подыскивал и употреблял в тексте новые, не затертые годами слова, менял последовательность стендов и разделов, когда с легким волнением экскурсовода-новичка отвечал на обычные, немудреные вопросы. Я разговорился до того, что одна из смотрительниц стала мне издали показывать на пустой зал, призывая закончить экскурсию.

— Что-то вы сегодня сверх обычного,— сказала мне, убирая в стол журнал, Галина Константиновна.

— Приятная группа попалась,— улыбнулся я.

Я поднялся на последний этаж и позвонил в расположенную в лестничном тупике квартиру. Никто не подошел. Я позвонил еще раз. В квартире явно никого не было. Я вышел на улицу, купил в киоске

газету, снова поднялся к квартире, снова спустился, походил взад-вперед по тротуару. В какой-то момент мне показалось, что в парадную вошел Женька, я взлетел наверх, в очередной раз позвонил, и опять за дверью была тишина.

Я вышел из парадной. Начало темнеть. И вдруг я сообразил, что в магазине могу встретить тетю Галю.

И действительно, как только я вошел в магазин, сразу же увидел ее за прилавком. Она стала еще толще, но как-то бледней, неопределенней. Мне стало вдруг почему-то неудобно подойти к ней и просто так поздороваться. Я выбил в кассе чек и подошел к прилавку.

— Молоко или кефир? — спросила тетя Галя, накалывая чек.

— Кефир,— быстро сказал я. — Здравствуйте!

Она подала бутылку, чуть нахмурилась, сказала:

— Здрасте.

— Вы меня не узнали? — заулыбался я, прижимая бутылку к груди. — Я — Вадим.

— А-а-а,— протянула тетя Галя, вглядываясь в меня из-под тяжелых, набрякших век,— теперь узнала,— и обратилась к стоящему за мной покупателю: — Чек давайте!

— Ну как живете? — спросил я. — Как Женька?

— Следующий,— отвернулась тетя Галя.

— Молодой человек, вы же мешаете работать,— строго укорила пожилая покупательница. — Отошли бы в сторонку!

Я посторонился и, вытянув шею, заговорил:

— Мне бы очень хотелось его увидеть! У меня к нему есть одно предложение... Когда он хоть дома бывает?

И вдруг тетя Галя крикнула мне в лицо:

— Нету Женьки!

— Что? — не понял я.

Маленькая женщина в черном халате, со шваброй в руке потянула меня за рукав:

— Ну чего пристал к человеку? — И поманила к двери. — Похоронила она сынка. Прошлой осенью,— сказала вполголоса.

— Не может быть,— прошептал я онемевшими губами. — Как же это?

— А так. Такси его сбило. Насмерть. Вон на том

месте,— она указала худой рукой в окно,— домой шел. Выпивший...

— Как же это? — повторил я потрясенно.

Я обернулся к тете Гале, но ее уже за прилавком не было.

В выходной пришла Ирина, и первыми ее словами в прихожей были:

— Ты не представляешь, как меня напугал твой звонок! У тебя был такой голос, что я решила: ты уже от своих экскурсантов не в своем уме... Доведут они тебя когда-нибудь!

Потом она ушла на кухню и зазвенела там, загремела посудой.

Прислушиваясь к звону, я подумал: если тебя раздражает женщина, когда она в отсутствие твоей матери возится в доме по хозяйству, это значит — ты не хочешь, чтобы она стала твоей женой... Впрочем, сама Ирина тоже не выражает (по крайней мере, явно) этого желания. Когда-то она была замужем, потом разошлась и теперь на каждом шагу твердит, что дорожит своей свободой. Она довольна тем, что имеет — у нее хорошая зарплата, прекрасная репутация на работе (она старший инженер) и есть мужчина. Мужчина этот — я. А у меня, значит, есть женщина, которая, если говорить о мелочах, невыносимо раздражает шумной возней на кухне и неожиданным, нелепым употреблением в разговоре всяких народных анахронизмов, типа «нежели», «ежели», «кабы»...

Ирина вошла в комнату, держа в мокрых руках дребезжащие чашки, и принялась накрывать на стол.

— Так что ты звонил мне насчет деревни? Что за деревня? — Она сосредоточенно смотрела на стол, соображая, что надо подать еще.

— Да так,— отмахнулся я.

Вдруг выражение лица ее стало надменно-подозрительным:

— Может быть, ты решил ехать один или... с кем-нибудь?..

Я почувствовал, как у меня сводит скулы.

— Я желаю не ехать туда ни один, ни с тобой, ни с кем-нибудь,— процедил я.

— О чем это вы так возбужденно беседовали с экскурсантами? — как-то заговорщицки улыбаясь, спросила меня Таня, когда я вернулся сегодня в бюро после первой группы.

— Я тоже это заметила, когда группу сзади вела,— язвительным тоном подтвердила Виктория Григорьевна, не отрывая, как всегда, от вязания глаз,— завел их за колонну и о чем-то выспрашивает. Со стороны непонятно даже было, кто у кого на экскурсии.

Сидящая в кресле Нина, повернув в мою сторону голову, удивленно подняла брови и впервые мне улыбнулась.



Валерий Ларин

ВДОЛЬ МЛЕЧНОГО ПУТИ

Рябов расстегнул на спальном мешке пуговицу и явил свой конопатый нос на свет божий. Холод тотчас ущипнул его, отчего разбежались по углам палатки остатки сна, затаились до следующей ночи. В палатке — полумрак, не защищенный кроной лиственницы угол намок и провис. Неужто?.. Рябов выбрался из мешка, отворотил полог — точно, не соврали ханты. Двадцать дней назад скулили и чесались у воды их собаки, старики показывали три раза по семь пальцев и хмурились. А сейчас угрюмое небо навалилось на верхушки кедрача и учинило тайге всеобщую побелку. Похоже, всю ночь сыпало, если судить по толщине покрова.

Не уставая ворчать на погоду, Рябов облачился в полотняную бельевую пару, туго запеленал ноги во фланелевые портянки, натянул брезентовые штаны в палец толщиной. Свитером и лесорубкой он в свое время разжился у вальщиков. Резиновые сапоги Рябов не уважает: земля через них тепло из ноги сосет и та же нога в них в момент сопреет. Сапоги у

него яловые, армейские, на совесть пропитанные дегтем. В таких сапогах ноге тепло, сухо, вольготно. Рябов аж притопнул, до того ладно ему в тех сапогах.

Пригнув голову, он боком вышел из палатки. Сколько раз таким образом Рябову пришлось покидать борт АНов, когда он служил в десантах! Оттуда и вывез эту привычку. Шагалось легко, ягельник пружинил под ногами, накачивал в мышцы бодрости. Улица упиралась прямо в котлопункт. Впрочем, какая улица! Просто два балка и три палатки немножко потеснили сосняк. Ветер завернул и принес с котлопункта меню. Ноздри Рябова удовлетворенно дрогнули: будут оладьи.

Оладьи, точно, были. Пухлые, румяные, вроде самой Зины. Рябов одной рукой — в оладьи, другой — к Зине. Та бдительно увернулась, шлепнула его по руке полотенцем.

— Прибери лапки. Вас много, я одна.

— Такой, как я, тоже один, с другими прошу не путать. — Взглядом Рябов пригласил Зину докопаться до смысла им сказанного.

Та фыркнула, но посмотрела тревожно, а он уже — фунт презрения, знай себе наворачивает. Зина погремела на электроплите кастрюлями, казнила тряпкой нахальную муху и поняла, что проиграла. Подошла, тиснула Рябова бедром — развалился тут! — подсела.

— Согласна, парень ты с кислинкой. — Толик неопределенно хмыкнул. — Но как мне тебя от других отличить?

— А ты приглядись.

— Вот я и гляжу, здесь все разговоры с рук начинают, и ты туда ж.

— Так мужик я или не мужик?

— Во-во, то-то и оно, что му-ужик, а не мужчина.

— Да не один ли ляд? — Толик аж про оладьи забыл от удивления.

— Не оди-и-ин,— пропела Зина.

— Не нравлюсь? — спросил он упавшим голосом, явно сдавая позиции.

— Сидел бы ты тогда здесь!

У Толика отлегло.

— Но хотелось, чтобы было у нас красиво, как в стихах.

«Как в стихах» — это Рябову объяснять не надо.

— В другом месте я бы тебе цветов принес. А здесь... — Он глянул в окно и только рукой махнул.

— Так уж обязательно и цветы! — проговорила Зина с такой непонятной Рябову тоской, что он заторопился:

— Сейчас, сейчас, что-нибудь надумаем...— Ловить надо было синюю птицу мечты, а то ускользнет Зина. — Ага! Витька с «восьмерки» говорил, что в семьдесят пятое СМУ закинули польскую косметику, «Полена» какая-то. В кои-то годы бывает, бабы друг у друга волосья дерут. Духи там такие. Витька ими пахнет, как ромашка. Пойдет?

Зина усмехнулась:

— «Пойдет»! Не вещь важна — внимание.

— Так я со всем вниманием,— поспешно заверил Рябов.— Дороги сейчас, правда, такие, что сам черт ногу сломит. Но если сегодня выехать, то к утру обернусь.

Зина просияла.

— И ты поедешь? Из-за меня!

— А то стал бы я машину гробить.

У Зины потемнели глаза, дрогнули губы.

— Вот видишь, как все получается.

— Что?

— Завтра с утра Тоня, моя напарница из вагончика, табеля на подпись повезет. Дня в три это ей встанет. Одна буду...

— Ну?! — Рябов попридержал дыхание, не смея верить.

— Ты осторожней, как поедешь. Вернешься — ключ под крыльцом, на кирпичике.

— Ну Зин! — только и смог выдохнуть Рябов.

За окном трассирует снег, а здесь, в палатке, исходит жаром «буржуйка», в ногах возится лохматый ворчливый комок по имени Буран, и впереди целых три дня отгула. Не с неба они упали, Рябов наматывал их неделями бессонницы и адской тряски по ханты-мансийскому бездорожью. Заслуженный отдых, выстраданный. Как удачно все увязалось!..

— Рябов, в контору давай, начальство тебя обыскалось! — Ржавый голос мастера Григоренко отравой прошелся по настроению Толика.

— Ну чего орешь, не глухие!

Злиться на Григоренко невозможно, потому что с кирзачей его уже натекла лужа, ушанка-непотейка промокла. Мастер носом простуженно шваркает, к тому же еще оправдывается:

— Да я што, по мне хоть сутками дрыхни, только сказано было: без Рябова не возвращайся. Вот я и тут.

Толик поморщился.

— Хрен с тобой, пошли,— сказал он, вставая, а самого засосало нехорошее предчувствие: похоже, опять запрягут.

На улице хлестко стегнул ветер, разом выбил тепло из пор и складок одежды. Рябов выругался, глубже надвинул капюшон лесорубки и возымел желание смазать Григоренко по шее. Принесла нелегкая в такую погоду! Григоренко поежился, словно угадал желание Толика, а может, от того, что отчаянно намерзся в своей фуфайке-безворотке. Посмотрел Рябов на его ветром выжатые слезинки, стыдную, немужскую каплю под носом и передумал насчет шеи.

— Ты бы в тепло шел, ишь как скрючило,— посоветовал сердито.

Григоренко зажал пальцем ноздрю, стрельнул и помотал головой.

— Не, никак не могу. Пока бетон не схватит, я — никуда. — Посмотрел просительно: — Дойдешь один? А то мне надо еще бетономешалку подвезти.

— Топай, не сбегу,— усмехнулся Рябов.

Мастер круто отвернул в сторону, замотался в снежной сечке всей своей нескладной фигурой. «Не унесло бы,— подумал ему вслед Толик,— из легковесов... А попробуй разживись жирком на такой работенке!»

Рябов потоптал сапогами черничник, продрался сквозь низкорослый ельник и вышел к щитовому домику на сваях — конторе.

В коридоре пусто, обнаглевшие собаки не в счет — одна даже улеглась в приемной главного инженера. Рябов отодвинул ее ногой.

— И ты на прием записалась? Ну, а я не по записи.

Главный инженер строительного управления Мишин корпел над планом застройки участка. Рябов пошел к столу, отгребая пласты табачного дыма.

— Облака плывут, облака,— стихи ему даже вспомнились.

— Я тебя не стишки читать позвал,— сказал Мишин. — Садись! — Он помял лицо руками, посмотрел виновато.

Рябов понял, да и как не понять: не первый год знакомы.

— И не проси, не пройдет, если, конечно, только за этим позвал.

— За этим,— подтвердил Мишин.

— Между прочим, как я там по штатному расписанию прохожу? — скучно спросил Рябов.

— Водитель,— добросовестно ответил Мишин. — Классный водитель,— добавил уже от себя.

— Есть предложение исправить на «штатный козел отпущения»,— предложил Рябов и сорвался на крик: — На этих дорогах зарубежная техника гробится, так что же от людей ждать — они не железные! Давай выжимай из них последнее. Этого добра у нас хватает.

Мишин дернул щекой, словно примеривался, и криво улыбнулся. Видать, на полную улыбку не хватало сил.

— Потому-то и позвал я тебя, Толя, что не хватает этого добра. Ох как не хватает, особенно здесь.

— Но я, почему все время я? Два месяца на сухомятине, забыл, как нормально спят! Отгулы выдрал в кино ходить? Да свалюсь потому что, свалюсь и не встану! Витька с хлыстовозом почему с моста сковырнулся? Да потому что загоняли, заездили! Какого парня угробили!

Мишин придвинул Рябову пачку сигарет, сам было потянул одну, но тут же щелчком вернул на место.

— С Виктором разбираются. И разберутся, будь уверен. Не о том сейчас разговор. Ты домá, что у кузницы рубят, видал?

Рябов отвернулся к окну. Субординацию он понимает: звали — пришел. Что до прочего, то ему интереснее трясогузки за окном, чем пустые разговоры.

Нажимом воли Мишин не пустил на лицо улыбку — разве слегка глаза она задела. Продолжал спокойно, ничуть не ущемляясь в своих начальнических амбициях:

— Видал или нет? Наверно, видал, потому что сам же для них возил стропила. Так вот, с того места, где мы сейчас с тобой так мило беседуем, будет начинаться город как центр разработки месторождения. Естественно, геологическое управление должно быть здесь, а не за четыреста километров, в районе. Бегать по десять раз на дню к рации для согласования — это не работа. Насчет перевода распоряжение уже есть, но одно условие: люди должны быть обеспечены жильем, на первое время хотя бы семейные. Вот почему я о домах толкую. Сегодня из района первый заезд. Дома с одной стороны вроде бы готовы, а с другой — нет, больше, конечно, нет. Почему? Потому что дом без крыши — это не дом, крыша без утеплителя — не крыша: сколько ни топи, все через верх вытянет. Считай, что на улице живешь. А с утеплителем нас подвели, крепко подвели. Почему — это разговор отдельный. Одним словом, нет шлаковаты, ни куска, а значит, нет и домов. Не сдержали мы своего слова, подвели людей, обманули, и цена нам по всем статьям выходит нулевая, не говоря уже о том, что детишек мы на улице бросили. Что делать? — Мишин с хрустом потер щетину на подбородке, взглядом постучался в равнодушный затылок Рябова.

«Красиво говоришь,— думал Рябов,— на то ты и начальник, работа твоя такая — говорить». Ударилась о стекло муха, зевнул за дверью кобель. Тишина.

— А, Толя? — напирал Мишин.

— Ты начальник, ты и решай,— буркнул Рябов.

Мишин покачал головой.

— Неверно рассуждаешь, совсем неверно. Полезно было бы время от времени тебе на свою работу моими глазами смотреть, а мне на свою — твоими. Тогда только по-настоящему работать научимся. Человек — не лошадь: отпахал свое — спи да овсом хрупай. Работу свою он должен снизу доверху просматривать.

В стекло косо били снежные хлопья, штриховали его водяными дорожками.

Этот никчемный, как казалось Рябову, разговор, безнадежное небо, голые сосны подогрели его раздражение, плеснуло через край:

— Да что, дороже золота, что ли, эта шлаковата, тоже мне дерьма-пирога!

— Дороже ли, дешевле, а только нет ее,— развел руками Мишин.

— Я-то тут при чем?! — закричал Толик, теряя терпение, он даже от окна повернулся — не выдержал.

Мишин встал.

— Вот и докопались до существа вопроса. А при том, что на Северном участке трассы ты, Толя, лучший водитель.

— Задешево покупаешь, шеф,— процедил Рябов, чувствуя, как внутри что-то приятно шевельнулось. Чтобы задушить в себе это «что-то», он стал вспоминать, как в позапрошлом квартале ему зарезали премию — было такое дело.

Словно пытаясь догнать убегающее время, Мишин крупно зашагал по кабинету, заговорил торопливо:

— В Надалымской у меня друг, начальник ПМК. С Уренгоя вместе начинали. Был он здесь вчера, обещал выручить с утеплителем. Присылай, говорит, машину, но не позже завтрашнего дня. Они по трассе дальше уходят, там их уже не достать будет. В Надалымскую из десяти машин одна проходит, а дальше... — Мишин безнадежно махнул рукой. — Дожди целую неделю лупили, дороги — сам знаешь, в каком состоянии. — Он круто развернулся, подошел к Рябову вплотную. — Подумал я, из всего нашего Октябрьска единственный, кто сможет проскочить на Надалымскую, так это — ты. Вот почему тебя я позвал, Толя...

Главный сел, посмотрел беззащитно. Не следовало Толику перехватывать этот взгляд. Другое дело, если бы главный приказывал, грозил — вполне ясно было бы Рябову, куда его послать. Чувствуя, что надламывается, Рябов соорудил кукиш вместо талисмана. Заговорил, ковыряя каждым словом бывшие и небывшие обиды:

— Вот ты посчитай, Федорыч: три года я без отпуска. Сплю, где попало, жру, как попало, неделями не меняю белье, в баню сходить — праздник. И никакой личной жизни. Прикинь, вбивается ли все это в поясной коэффициент или дополнительной надбавки требует? Многого не прошу — относись ты ко мне по-человечески. Сам же говорил, что человек — не лошадь. Сказать тебе, сколько я без выходных молочу, сказать?

Мишин вяло махнул ладонью.

— Знаю... По-человечески, говоришь... А детей на морозе оставлять — это по-человечески? Верно, не курорт здесь. Потому-то каждый из нас и должен помнить, что мы — не только производственные единицы, но еще и люди, друг другу товарищи. Понял это — считай, сделал другим ту надбавку, о которой ты сейчас талдычил, а они — тебе соответственно, если, конечно, тоже поняли. То, что мы тут делаем, в положения и инструкции не вобьешь. Я, между прочим, семьи три года не видел... Ну да ладно... топай. Понадеялся тут на тебя...

Мишин склонился над планом участка. Рябов направился к двери, но с каждым шагом сильнее тянуло назад недосказанное — у дверей развернуло к столу.

— На прошлой неделе корреспондентик тут был залетный, в тетрадочке чиркал, богом дорог меня называл. Так ты, Федорыч, на бога надейся, а сам не плошай. Пословицей, значит, я тебя...

Он сказал это, но облегчения не почувствовал. А главный даже головы не поднял. Рябов помялся и хлопнул дверью. В приемной пнул широкозадого пса.

— Повадился тут куски сшибать!

Собака взвизгнула обиженно, забилась под стол, рыжие глаза проводили Рябова с недоумением и укором. Чтобы отделаться от них, он на улице долго ругался и размахивал руками. Вроде помогло — пропали рыжие глаза, но взамен явилась мысль: «А ведь непременно взгреют Федорыча по партийной линии... Мужик-то вообще неплохой...» Мыслишка вцепилась пиявкой, руганью тут не отделаешься. Рябов прибегнул к испытанному средству — стал вспоминать старые обиды. Главное — это то, что его в прошлом месяце поменяли на бензопилу «Урал». Вышло так, что в геологическом управлении, за которым он числился, с транспортом было еще туда-сюда, но — ни одной бензопилы. А по соседству, в строительном управлении, было пять бензопил, но — ни одной машины. По здешним нормам получалось, что строители на весь Октябрьск — наипервейшие богачи. Всякий к ним идет, в поясе ломится, просит одолжить пилу хотя бы на день. Мишин с Антиповым, непосредственным начальником Рябова, столковались так: геологи месяца на

два передают Толика в непосредственное распоряжение Мишина, а строители на тот же срок выделяют геологам бензопилу, любую, на выбор. И вот уже месяц, как Рябов в лес мотается — вальщикам и плотникам подбрасывает харчи, пиломатериалы, инструменты. Ну и геологам тоже приходится помогать. Как своим откажешь! Молотит Рябов на два фронта, просвета не видать.

— Меня на пилу! — ворчит он.— Я вам покажу пилу — напилитесь!

Далекий зуммерящий звук перестроил его мысли на приятный лад. Он прислушался для верности: «Техснабовский, рейсовый. Пошли, голубчики, залетали, родимые!» Глянул на часы — по расписанию через сорок минут должен быть почтовый. Момент для Рябова куда как приятный: пилот с того почтового, закадычный дружок Толика, конечно же, везет для него бутылку-другую по предварительной договоренности. В автоколонне, что через болото, сегодня банный день. Знакомые буровики обещали протопить на славу, зазывали. Соедини первое обстоятельство со вторым — и жизнь заиграет радужными красками. «Напарюсь завтра, гори все синим огнем, имею полное право!» — решает Рябов, и запах разомлевшего на полке березового листа ощущает так явственно, что лопатки передергивает сладкая дрожь.

Толик упруго перемахнул лужу и вышел к вертолетной площадке. По весне здесь повалили сосняк, сволокли трелевочником, прокорчевали, засыпали песком, крест-накрест накатали бревна, обшили сверху досками, водрузили пятиметровый шест с красной марлей — и готов трамплин в мир из этой глухомани.

В стороне от вертолетки, под лиственницей, тлеет бревно, к нему жмутся несостоявшиеся пассажиры. Который день загорают! Слышен знакомый, с хрипотцой, голос — Сашка, бульдозерист из СМП, известный зубоскал.

— К нам в общежитие вселили в одну комнату двух кадро́в: Едакова и Мясникова, койки рядом поставили. Обязательно расселить надо, говорю, опасное соседство. Хо-хо-хо!

— Ба, знакомые все лица! — Рябов подошел к костру, огляделся: четверо из СМП, мастер с буровой,

три тетки из ОРСа, геодезист Нургалиев — все тутошние. Дружно потеснились, дали место у бревна.

Рябов сел, сунул в огонь прутик.

— Давно не было?

— Пятый день, как кукукаем,— ответил Сашка и насторожился.— О, похоже, с Ханамыя «восьмерка» идет.

Остальные тоже прислушались.

Толик снисходительно улыбнулся. Откуда борт и когда сядет, он еще четверть часа назад знал. Эту науку только старожилы постигли. Но вот сядет ли? Рябов запрокинул голову. Снегопад кончился, облака слезли с верхушек сосен, полегчали и задымили в северную сторону. «Скоро вытянет эту хмарь,— соображал Толик.— Это хорошо. Но, с другой стороны, у антициклона свои капризы, вряд ли хлябь на дорогах в ближайшее время прихватит морозом. А это очень скверно».

Зуммерящий звук между тем становился толще, мощнее, перешел в ворчание, а затем в дробный грохот. Голубая стрекоза порвала дымящуюся пелену, легла в крутой вираж, дважды прошлась над просекой, затем стала снижаться.

— Ур-р-ра-а! — рванулось ей навстречу от костра. Это как бы насторожило стрекозу. Она зависла над площадкой, примериваясь, и осторожно коснулась колесами дощатого покрытия. С минуту переминалась на шасси,— щупала опору, лопасти кромсали воздух, гнали смерчи в глубь леса. Громыхал мотор, плевались лужи, секло хвоей глаза, дыбилась шерсть у собак, рвало одежду — некуда спрятаться. Натешившись вволю, винт лениво рассек напоследок воздух и замер. Квадратик стекла поехал в сторону, из кабины словно красно солнышко выглянуло — пилот Володя помотал головой, посветил улыбкой:

— Э-э-эй, живы тут?

— Живы, живы, помидор с ушами! — отозвался местный остpослов Сашка.

Ватага бросилась на приступ вертолета. Началась обычная кутерьма. Кого-то брали, кого-то не брали. Кому-то позарез надо было в Радужное, а пилотам это не по пути. В отличие от прочих Рябов подошел не торопясь, вразвалочку.

— Привет, Володя.

— Здоров, Толян.

— Разлетались, значит.

— Угу, в двенадцать только порт нас выпустил.

— Выходит, Витьку я дождусь.

— Попробуй,— сказал Володя и прыснул.

— Чего это ты? — подозрительно спросил Рябов.

— Ничего, так себе,— успокоил его Володя.— Будет твой Витька, видал вчера его на заправке.

— Кого-что привез?

— Ножи для пилорамы. Да ваши вот, из управления, переселяются.

— Да? — Рябов поспешил в хвост.

Вертолет распахнул свое душное брюхо — шла выгрузка. Кто бы ты ни был, но если пришел борт с грузом, подставляй плечо — так здесь повелось. Рябову сунули в руки дряхлый фикус.

— Принима-ай!

Потом последовали тюфяк, детская кроватка, что-то там еще. Словом, запрягли. А Володька только покрикивает:

— Шевелись, шевелись, полетное время — оно казенное!

Вот лопасти уже снова начали рвать воздух, сбивая его в плотную, упругую массу, которая стенкой пошла на лес, подхватывая все на своем пути. Возле самого лица Рябова метнулись чьи-то широко распахнутые глаза.

— Детей подержите, пожалуйста.

Теплые, доверчивые ручонки оплели его шею, в носу защекотало от запаха молока и чего-то еще, очень домашнего. Мотор взвыл в последнем усилии, Толик пошире расставил ноги.

— Барахло держите! — закричал он, заметив, как зашевелился и пополз в лужу тюфяк.

Поздно. Над лужами полетели клочья бумаги, тряпки. Оранжевой птицей взметнулась выше сосен косынка. Толик погрозил кулаком уходящей в тучи стрекозе.

— Сапожники!

Небо насупилось, одинокая снежинка-разведчик обошла по кривой площадку, резко засвежело.

— Рябов, гужуйся рядом,— закричал от костра остряк Сашка. Что еще ему оставалось: опять не улетел.

Разбрелись вокруг площадки за вещичками. Худенькая глазастая женщина упрашивала:

— Да перестаньте же, товарищи, мы сами, право, неудобно!

— К неудобствам теперь вам привыкать придется,— ворчливо заметил Рябов, выковыривая из грязи плюшевого барбоса.

— Не впервой,— улыбнулась глазастенькая.

«Симпатичная»,— отметил про себя Рябов.

— Чьи будете? — зацепился вопросиком для начала разговора.

— Из управления геологии. Переезжаем.

Посеял гнусненький дождишко вперемежку со снежными мотыльками. Толик поежился.

— А с жильем как?

— Обещали.— Женщина опять улыбнулась доверчиво.

К ее ногам жались два гномика в потешных вязаных капюшончиках, глазастенькие, в мать.

Рябов неуклюже сунул им барбоса.

— Вот.

— Мика! Мика! — защебетали гномики.

— Отстирается он,— гукнул Рябов и захрустел валежником.

«За болотом сяду»,— сказал прошлый раз Витька. Надо было поспешать. С запада зазудел металлический комар. Толик побежал.

Нижняя половина почтового вертолета — защитного цвета, верхняя — красного, за что и нарекли его «красной шапочкой». «Если брякнешься, то сверху его разглядеть способнее» — так объяснил это художество Витька. Вот «красная шапочка» прошлась над головой и отдалилась. «Это чтобы я успеть смог»,— подумал Рябов с той долей нежности, которая возможна на бегу. «Красная шапочка» вернулась, зависла и в акульем развороте нырнула вниз. Толик расстегнул лесорубку и поднажал.

На площадку он выбежал в самый раз — разгрузку уже заканчивали. Витька прохаживался вокруг своего почтаря, засунув руки в карманы щегольской кожанки. Голова благоухала бриолином, под глазом висело тухлое яичко.

— Ну-ка, ну-ка, чего это там у тебя? — нагнулся к лицу дружка Толик.

— Было дело под Полтавой,— скромно пояснил Витька.— Держи-ка! — сунул он пару бутылок. На одной был изображен стрелец с секирой, на другой — негритенок в шляпке с пером.— По агромадному блату и специально для вас.

— Народ вас не забудет,— сказал Толик.— Сядешь в Комсомольском — скажи трубоукладчикам, чтобы гитару мою забрали, когда из общежития будут уезжать.

— Сделаем.

«Красная шапочка» ушла на север. Рябов шел через болото, лаская в боковых карманах лесорубки бутылки, но желанной радости не испытывал: и в животе не теплело, и березовым листом уже не пахло. Отчего бы это? Задумался Рябов, а когда от мыслей своих очнулся, перед ним снова была первая вертолетка — сами ноги вынесли. Переселенцы из управления сидели на своих узлах. Детишки торчали из тряпья, как грибы. Рябова увидели — ручонками замахали.

— Дядя, дядя, у Мики ухо оторвалось!

Подошел — куда ж денешься.

— Вы никак зимовать здесь собрались?

Глазастенькая поплотнее запахнула пальтишко, улыбнулась почему-то виновато.

— Машину обещали.

— А там что? — ткнул Рябов пальцем.

Под листом ржавой жести громоздились кипы папок, рулоны бумаги, чемоданы.

— Документация,— сердито ответила толстая тетка.

Потяжелели облака, отмякло. Снег прекратился, зато заполосовал холодный дождь. Женщины развернули клеенку, накрыли детей.

— Та-ак,— оглянулся Рябов.— Обождите, я сейчас.

В кабинет главного влетел с разбегу.

— Потолок у тебя не течет? В окно не дует?

Губы главного дрогнули.

— Если насчет транспорта, то я уже распорядился.

Толик вышел, конфузясь. Хоть бы обругал или попрекнул его главный, а то эта улыбочка.

На улице дождь припустил вовсю. Сыро, мозгло — так жилы и вытягивает. Толик потоптался около крыльца управления, посмотрел на небо («Затемно

надо успеть») и направился к гаражу. Сначала шагом, быстрее, быстрее... побежал. В каптерке щелкнул сторожа по картузу.

— Спишь, дед? Отворяй!

Тот заворчал, заворочался.

— Носит тебя в такую погоду.

— Давай, давай!

Дед проснулся окончательно.

— Ты же вроде в отгул ушел?

— Как ушел, так и вышел. Шевелись, некогда мне с тобой!

Сторож засуетился.

— Ужотко изловчусь, щас приспособлюсь.

Рябов достал из рундучка сапоги-болотки, бросил в кабину своего «Урала» на всякий случай. Проверил уровень бензина и крякнул. Уровень — ладно, не в количестве дело, а в качестве. Семьдесят шестой пополам с соляркой — вонючка, а не горючка. Он плюхнулся на сиденье, посигналил — поторопил деда. Створки ворот нехотя разошлись. Дед погрозил пальцем.

— Торопкий ты, парень, ой торопкий!

Толик рванул в автоколонну напрямки, по грязи. С мостков чуть было не сковырнулся, круто вывернул руль, проскочил, у бани тормознул с маху, да так, что несколько метров несло юзом. Его уже ждали — компания хоть куда, у каждого индивидуальная шайка и веник, обступили, забарабанили в ветровое стекло, заулыбались. Толик распахнул дверцу.

— Мужики, не состоится!

— Че-го?

— Верно, еще походи, грязь сама отвалится!

Буровой мастер Клёпа покрутил носом, вводя в соблазн:

— Парок-то сегодня, парок! А, Толя!

Рябов вздохнул:

— Не, ребята, сегодня не могу. Давайте завтра!

— А мы и сегодня, и завтра!

— Вот это дело,— одобрил Рябов.— Слышь, ребята, кладовщика где найти?

Буровики, перемигиваясь, загоготали.

— Антонюк-то? Дома он в это время, а то где ж. Или спит, или жрет... или...

— Пособлю,— засмеялся Рябов, нажимая стартер.

Мужики не ошиблись. Антонюк, налегке, в одной майке, восседал за столом — примеривался к сковороде в три обхвата. На ней скворчало сало, пузырилась и стреляла яичница.

— Нужен девяносто третий,— заявил Рябов с порога.

— А я желаю бабу в щиколаде,— отозвался Антонюк не оборачиваясь.

Рябов вцепился взглядом в его трехскладочный загривок. Сладострастно затомила мысль: «Сковородкой бы по этой шее!» — затомила и, должно быть, столь ощутимо передалась во взгляде, что бритая кожа на затылке кладовщика дернулась. Он обернулся:

— Ты же знаешь, что девяносто третий только с личного приказа начальника и по лимиту.

Рябов легонько брякнул о стол бутылками. Физиономия Антонюка потекла, как блинное тесто по сковороде.

— Шо ж ты, ласковый, сразу так не разговаривал?

— Баки под завяз, две канистры в кузов. Время! — поторопил Рябов.

Антонюк выставил перед собой пухлые ладошки.

— Лечу, ласковый, лечу!

«Магазин сегодня закрывается рано,— вспомнил Толик.— Похоже, пролетел я с харчами.— Он покосился на пыхтящего над сапогами Антонюка, сунул за пазуху полкруглого.— И ладненько, сойдет и так».

Антонюк расстарался от души: кроме бензина, дал еще запасные сальники и пачку электродов.

Рябов положил на сиденье фуфайку, сунул полбуханки в «бардачок», протер ветровое стекло, закрепил дворники. Рыкнул мотор, стрельнули грязью колеса, по-заячьи отпрыгнул в сторону грузный Антонюк. Многосильный мотор без натуги провел машину по необъятной луже, опали под фарами водяные усы. Антонюк неутомимо делал вслед ручкой — счастливо, мол, счастливо (помнил добро!). «Урал» одолел насыпь будущей железки, и — вот она, дорога.

Рябов рванул рычаг передачи. Машина заковыляла, переваливаясь по-утиному, погнала перед собой жирный отвал грязи. Так было бы хорошо теперь откинуться на спинку сиденья, отдышаться, выстроить мысли, но дорога тасует их. Она трясет, швыряет,

отдирает тебя от руля. Из лесу подкрадываются сумерки, густеют и сжимают мир до светящегося оконца, а в нем — мама. Вот она тайком от Толика молится на ночь. Тайком — это чтобы сын за отсталость не укорял.

Он продолжает думать о своем:

«Свинья ты все-таки, Рябов, свинья! В отпусках червонцами соришь, все больше по девкам, а к матери завернуть тебя нету. Крышу бы надо перебрать, да и полы, поди, подгнили. Где ей сил на все это набраться, старенькая уже. Эх, был бы батя жив! — Рябов даже зубами скрипнул от таких мыслей.— Жениться советовала мама в последнем письме.— Х-хых! — Рябов ловит в зеркальце свое отражение.— Чем не жених! Волосы (не голова, а факел), веснушки и фамилию несомненно можно отнести к недостаткам, а все остальное — ничего, в норме».

Смеркается, просится в кабину дождь. «Не спать, не спать, потомственный забойщик Анатолий Рябов!» — Толик включил ближний свет. Луч пересчитывает сосенки вдоль дороги, отшвыривая их назад. Видимо, лучше опустить боковые стекла — на сквознячке оно пободрее будет. Скоро начнется длинный спуск, а за ним — мост. Тут гляди в оба!

Луч ткнулся в древнюю, замшелую сосну, ощупал ее снизу доверху, подержал за верхушку и отпустил — нос грузовика круто задрался в небо. Толик выжал сцепление, дал первую скорость, мягко дожал педаль газа. «Урал», всхлипывая, одолел подъем. Впереди, левее от дороги, проступал хребет железнодорожного моста — исполинский ящер стерег речку, с презрением взирая на суету четырехколесных насекомых. Противоположный подъем был до горизонта засеян тусклыми светляками. «Никак застрял кто-то?» — с опаской подумал Рябов. Если машины выстроились на дороге в затылок одна другой, считай, кто-то не смог речку проскочить и всех стопорить будет. Дело дохлое, потому что объезда нет.

Толик осторожно повел машину на спуск. Половины не одолел, как впереди подмигнул и прожег темноту огненный глаз. Толик дал дальний свет. Молочно-желтый меч вырубил в темноте силуэт «Татры». Дальше — еще какая-то, горбатая от груза машина уткнулась в грязь радиатором. Похоже, что дорога отсюда до самой реки забита техникой. И она, эта тех-

ника, не молчит, скандалит: тонко и басовито, отрывисто и протяжно, жалобно и требовательно — на разные лады, кто во что горазд. «Дрянь дело, это надолго»,— понял Толик и, выключив зажигание, выскочил из кабины.

Сырой ветер тотчас обшарил его, забрал остатки тепла. По лесорубке назойливо зацарапал дождь, жадная грязь подступила к коленям. С кряхтением выдирая из нее ноги, Рябов добрался до «Татры», бухнул кулаком по дверце кабины.

— Эй, сосед!

— Ну? — сразу высунулся водитель, как будто только того и ждал. Под необъятной собачьей шапкой нос — пельмешкой, глазки — пуговками.

— Давно этот концерт? — спросил Рябов.

— Час,— бойко отрапортовала шапка.

— Пошел бы помочь, тут много не высидишь.

— Помощников там и без меня хватает, а мне пацана надо было укладывать, о! — Водитель распахнул дверцу.— Где он тут, мой пузырь? — На сиденье, под ватником, посапывал щекастый, румяный малыш.

— Чего это он тут? — удивился Рябов.

— А не с кем оставить,— с готовностью начал объяснять папаша.— Жена у меня на буровой в смену заступила. Садика еще нет. Мы все так делаем.— Он улыбнулся — пельмень лег горизонтально, заблестели глаза-пуговички. Вроде как своей ловкости парень радовался.

— Кто это — все?

— Все из нашего гаража. У кого, конечно, дети есть.

— А-а-а... Надо пойти, пощупаем ситуацию,— сказал Рябов и зашагал не оборачиваясь.

— И то, и то,— заторопилась шапка.— Вот только пацана закрою.— Водитель «Татры» грохнул дверцей, прошлепал по грязи, догнал.— Меня Геной зовут, а тебя?

— Анатолием, Толя.

— Толя — это хорошо. Ты давно здесь, на Севере? А мы — недавно. Приехали, помню, в поселок, жена расстроилась. Как жить-то будем? А я ей: смотри, у псов какие морды, знать, помойки тут богатые, проживем! Го-го-го! — загромыхал щупленький Гена.

От неожиданности Рябов оступился.

— Люблю пошутить, это у меня в характере,— не унимался Гена.— А то, помню, в рейсе случай один был...

— Да замолчи ты! — сорвался Рябов.

Впереди уже явственно слышался галдеж, прерываемый время от времени надсадным воем моторов. Вот и мостик через речку — две брошенные в воду трубы, на них — бревна, а сверху грунт. В свете фар картина предстала со всей очевидностью: бьющийся в грязи трубовоз, возле него кишат в грязи человеческие фигуры — подмога с осиротевшей на дороге техники. Тут целая выставка: МАЗы, БелАЗы, «Шкоды», «Татры», КрАЗы и даже два красавца «Магируса». Кому как, а для Рябова ситуация яснее ясного — не первый год ездит. Дать вправо с мостика трубовоз, понятно, не мог. Там подъем, его не возьмешь — труба в речку утянет. Водитель принял влево, там уклон, грунт подмыло, вот и получилось — в самую грязь сел. Мало того, тридцатиметровая труба перекрыла дорогу. Какой-то умник хотел сзади подтолкнуть и сковырнул прицеп — дышло глубоко ушло в грунт, страховочный трос сорвало. «Урал» и «Кировец», дрожа от напряжения, пытаются вытянуть бедолагу, но от этого только шум один: чем сильнее тянут, тем глубже дышло в грунт уходит. Получается тормоз — надежнее и не придумаешь. Да что у них, глаз, что ли, нету! Рябов не выдержал, кинулся в самую грязь.

— Стой! Сто-о-ой!

Моторы осеклись. Рябова окружили потные, чумазые лица, обложили горячим, злым дыханием.

— Откуда упал, такой хороший?

— Тяни, если умнее других!

— В будку ему нащелкать, чтобы под ногами не вертелся!

Подступили вплотную, в руках зажаты разводные ключи, монтировки, ломики. Легонько, для затравки, толкнули в плечо, натянули на нос кепку. «А что — и нащелкают!» — оценил обстановку Рябов и дураковато улыбнулся.

— Да что вы, ребята, я же подсобить хотел, чтобы, значит, как лучше.

— Еще и лыбится,— угрюмо заметил косматый верзила в бушлате.

Толик заторопился:

— Вам-то, наверно, не видно, а мне сзади — в самый раз... Там у вас прицеп завалился, дышло завязло, оттого и не идет.

— Ну?!

— Сзади какой-то бракодел наддал, наверно.

— Ой, если врешь!..

— Разберемся.

Круг шевельнулся и рассыпался. Парни сгрудились у прицепа.

— Трос отцепить, трубу краном приподнять, прицеп поставить, трубу положить, и — поехали,— затараторил Рябов.

— Ишь ты, какой ловкий — приподнять! Пальцем, что ли? — сунулся раскосенький — глазки от ехидства за щеки ушли.

— Зачем пальцем? — игнорировал иронию Рябов.— Вон сколько добра на дороге скучает. Может, один кран и найдется.

— Кончай базар! — гаркнул верзила.— Половина направо, другие налево, что подходящего найдете, гони сюда!

Двумя взмахами рук он рассеял сборище. «Уважают! — отметил про себя Рябов.— Народ с ног валится, а как на пожар бросились».

Дождь между тем припустил — вычеркнул из свидетелей происходящего мост. Грязь сглатывала капли с натужным горловым звуком. Вздохами и шорохами откликнулся лес. И все же люди пошли на поиски крана, а когда вернулись порожняком, сгуртовались на корточках под кузовом машины, пустили вкруговую папиросы, курили, простуженно кашляли в рукава, молчали.

— А я знаю, где взять! — Под кузов сунулась Генкина голова. Роскошная шапка его превратилась в кочку — пожухла и осела под дождем... Все остальные головы флюгерами мотнулись в его сторону.

— Ну?!

— Пару километров вперед и влево есть автоколонна, это точно. А в колонне трудится Валера, крановщик, он мой дружок, на Выйгуре в одном балке зимовали... — Слова торопились из Генки так кучно, что время от времени их заедало.

— Да перестань ты трещать,— поморщился лохматый.— Никто ж не гонит, говори толком.

— Я и говорю,— продолжал Гена,— за Валеркой надо.

— Почем знаешь, что он дома? — Огонек папиросы выхватил из темноты недоверчиво прищуренный глаз.

— Так я его в конце прошлой недели на трассе встретил.— Гена даже шапку снял — запарился, объясняя очевидное.— Сам слышал, в среду у него выходной. А сегодня как раз среда! — Водитель «Татры» победно оглядел собрание.

— О чем разговор! Жми во все лопатки и помни — для нас ты сейчас заместителем бога являешься,— напутствовал его верзила.

— Эх! — кинулся на дождь Гена. Рябов вымахнул вслед за ним.

— Обожди, одному-то в дождь, темень — мало ли что.

Они вскарабкались по крутой насыпи. Шли, спотыкаясь о шпалы, увязали в песке. Дождь бил в лица. Толик чувствовал, как тяжелеет и набухает его лесорубка. «Похоже, скоро течку даст»,— равнодушно подумал он. Злорадно подтверждая его опасения, между лопатками наползла первая капля, потянула за собой озноб, а за ним — неуютные мысли: «Черт меня дернул встревать, перекемарил бы в кабине. Как-нибудь без меня управились бы. Куда идем, зачем? Каши с этим дурошлепом не сваришь, еще и в виноватых окажешься. Всегда меня в самый неподходящий момент что-то под зад подталкивает. Верно говорят ловкие ребята-снабженцы. Не будет в жизни мне фарта...»

— Пробежимся? — прервал его мысли Гена.

Шапка его уже превратилась в швабру. Нос под ней на боцманскую дудку сшибает. А какие трели выводит — куда там соловью! Кикимора болотная, а не мужик. Бежит быстро, а телом вроде бы назад устремляется. Смех сбил Толика с темпа.

— Ну тебя в баню, и так дойдем.

— Хоть так, хоть эдак,— покладисто отозвался Гена. Он минуту-другую пошмыгал носом, но, видимо обойденный даром молчания, опять подал голос: — Тебе куда ехать-то?

— Семьдесят пятое СМУ.

— Да ну! — просиял Гена.— Я ж там работаю.

Опять в Рябове забродило раздражение.

— Радуешься, будто рупь нашел.

— Так вместе ж!

Из-за кедрового мыска им подмигнул огонек.

— Она? — спросил Рябов.

— Она,— обнадежил Гена.

Разминулись с антенной релейки, обошли огни вертолетной площадки.

— Лева давай,— подкорректировал Гена.

Пошли плутать в темноте между вагончиками и срубами. Случалось, направляющий заводил в лужи.

— Не лучше ли было бы в конторе спросить? Дежурит, может, кто там,— предложил Рябов безнадежно.

— Зачем в конторе? — спокойно возразил Гена.— Вот тут, за бочками. Пришли.

Исполинские, поставленные на попа бочки стерегут одну, лежачую. В ней сбоку оконце прорублено, верхом тянет дымок.

— Ну и фокусы! — изумился Толик.— Никак живут здесь?

— А то как же! — В голосе Гены прозвучала гордая нотка.— Валера — он такой! Бочку опрокинул, теплоизоляцией изнутри обил, поролоном простегал, отопление, воду провел, и пожалте бриться! — Гена восхищенно покрутил носом.

Подошли ближе. Небо за бочкой подпирала стрела крана.

— Он! — окончательно убедился Гена.— Его МАЗ. Стучи!

Кулаком по железу молотить несподручно,— подобрали чурку. Грохнули несколько раз — никто не отозвался.

— Может, еще?

— Давай.

За спиной кто-то мягко подошел, деликатно кашлянул.

— Кто там? — дернулся Гена.— А-а-а, это ты, Валера. Чего тебе в доме не сидится?

Дюжий мужик (на пятый десяток, наверное), глаза шальные, с хитринкой, Валера потоптался, хохотнул.

— Не сидится, говоришь? А как тут усидишь? Бутылку я проспорил. Где ее взять, эту бутылку? Сто километров вокруг очерти — флаконов одеколона не

сыщешь, не то что бутылку. Вертолетчики обещали сегодня закинуть по пути из Кырьёгана, да, видно, погода подвела. Вот я и пережидаю.

— Где?

— А вон,— Валера кивнул на кабину крана.— Место плацкартное. Стекла зашторил, закрылся — и нет меня.— Он сник от беззвучного смеха и вдруг насторожился.— Ш-ш-ш, кажись, едут!

За поленницей дров загудел мотор, равнодушно глянули поверх голов фары.

— Пронесло,— перекрестился Валера.

Тут-то Гена и заговорил о деле:

— Валер, чего тут ошиваться? Подгони кран к дороге, помоги трубу поднять. Людям добро сделаешь и переждешь таким образом.

Валера склонил на бок голову, посмотрел на друга с любопытством, как ворона на ягоду.

— Это за какие шиши?

— Люди тебе спасибо скажут,— пообещал Гена с воодушевлением.

Валера снова ослабел от смеха. «Что это его разбирает?» — прикинул Рябов. Он потянул носом воздух — ноздри заволновались от крепкого, откровенного духа. Вот оно что! Ну, теперь ясно, куда подевалась проспоренная бутылка.

— Ха-ха-ха! — пугал темноту Валера.— Спасибо! Да за спасибо сейчас на горшок не посадят! Спасибо!

Рябов молча забрался в кабину. «Что там с дурнем толковать! Зажигание — на месте. Заведу, наверное, а там разберемся, как укрощать эту штуковину. Неужто из такой оравы ни одного специалиста не найдется?»

Благим намерениям не суждено было сбыться. Штаны Толика туго натянулись в паху, ворот сдавил шею. С помощью Валеры отыграл водитель экстракласса по воздуху на прежнее место. Крановщик добродушно улыбался и водил назидательно у носа Рябова пальцем:

— Чужого не замай. Не тобой положено, не тобой и взято будет. Ишь, рыжий, какой прыткий!

Толик вывернулся, подхватил с крыльца арматурину.

— А ну посторонись, кулацкая морда! За спасибо его не устраивает. Ребята там в грязи тонут, технику

завтра вертолетами выковыривать придется. У-у-у, живоглот!

Гена кинулся между ними.

— Ребята, ребята, поостынь, можно же и по-хорошему!

— Не выйдет с такими по-хорошему,— пятился опять к кабине Рябов, отмахиваясь арматуриной.

— Да я ж не возражаю, товарищ брюнет, катите.— Валера зевнул и хлопнул дверью бочки.

Толик — к зажиганию и враз обмяк. «Вон оно что, ключи успел вынуть. Ловок!» Навалились усталость и равнодушие. Он посмотрел на часы: «Сейчас сидел бы после баньки с ребятами у нормировщиц». Куснула злоба: «Да что мне — больше всех надо?»

Сеялась водяная пыль. Сигнальная лампа на мачте висела, как в тумане. О-ох и тощища! Поеживаясь, Рябов потащился назад. Позади плелся Гена. Плелся, бубнил виновато:

— Толь... Давай в гараж сходим. Может, что подвернется...

Между тем со спины накатывал рык мотора. Посторонись. Кого черт несет в такую погоду?..

Мазовский кран тормознул вровень. Валера тряхнул из кабины упрямыми кудрями.

— Идти не мокренько? Залазь!

В горизонтальных столбах света кипит водяная сыпь, а в кабине уютно припахивает бензином и табачком. Толик покосился на угрюмую стену ельника за стеклом и вздрогнул: «Бр-р-р! Невесело сейчас там!»

Валера заметил, протянул бутылку.

— Введи, там что-то на донышке телепается.

Ром погнал по жилам тепло. Дорога как бы накренилась.

— Давай, давай, прикемарь чуток,— одобрил Валера.— Ишь вымок, как цуцик. Тоже мне, быстрый какой. А фуфайку мне взять надо было? А «козла» выключить, а бочку закрыть? Скорый какой! Где сейчас переезд, считай, один я знаю. Без меня небось наездился бы? Далеко собрался?

— К нам он, к нам! — Гена весь извертелся — больше всех был доволен.

— Чего забыл? — ухмыльнулся Валера.— Генка — его я еще понимаю. А тебе что — лягушек ловить?

— Парфюмерии надо у них в магазине набрать. Завезли, слышал,— сказал Толик, будто оправдываясь.

Валера присвистнул, Генка встрял опять:

— Это есть, этого богато!

— А можно сделать так, чтобы мне сразу, как только приеду, отпустили? Чтобы утра не ждать. Я бы тогда тут же назад,— сказал Рябов.

— Все свои — организуем! — возликовал Гена.— Тамарка из магазина мне, можно сказать, ближайшая родственница.— Он чему-то хихикнул.

— Может, и мне с вами приспособиться? — заразмышлял вслух Валера.— Вдруг разживусь бутылкой? А то мне за нее плешь проедят.

— Красота! — Генка взбрыкнул от восторга.— У меня и заночуем, места всем хватит... О, подъезжаем!

У дороги водители встретили кран троекратным «ура!», облепили со всех сторон.

— Показывайте вашу беду,— снисходительно ухмыльнулся Валера.

— Поехали! — вскочил на подножку лохматый.

К застрявшему трубовозу сбежалась вся шоферня: ехать-то надо. Силясь вытолкнуть его на дорогу, кряхтели, орали, сипели, на чем свет стоит крыли друг друга. Неохотно отпускала свою добычу чавкающая прорва. Било судорогой корпуса машин, заходились визгом перетруженные моторы.

— Пошла! Пошла! — радостно побежало вдоль колонны в хвост.

Несколько десятков машин сигналили на разные голоса, приветствуя победителей. Валеру качали. Он хихикал, как от щекотки, потерял и едва нашел сапог. Водитель трубовоза растерянно улыбался, не веря в свое избавление. Речь его была проста и выразительна:

— Девок у нас в Соляном — во! — Он шлепнул сапогом по грязи.— Приезжайте, пристрою: они мне оч-чень послушные.

Приглашенные радостно загомонили: кто ж от такого откажется. Парню можно было поверить — вон какой красавец, артист! Пока толкались, уточняя его адрес, Валера выбрался из толпы и отогнал свой кран в сторону.

Лохматый, провожая Рябова до машины, смущенно прокашливался.

— Ты не обижайся. Прижали тут тебя сначала. Извини. Мы ведь почти весь день около этой уродины проковырялись. Все нервы она нам вымотала. А тут еще ты подвернулся. Словом, извини, братишка! — Он подсадил Рябова в кабину, полез в боковой карман бушлата, вынул две пачки «Беломора».— На вот тебе. Без этого совсем кисло придется.

— А ты?

— Ничего, есть там еще у наших. Мы впятером перегоняемся. Будешь в Радужном — спрашивай Серегу Фомичева. Любой покажет.

— Годится.

Луч фары некоторое время вел по обочине качающуюся Серегину фигуру, потом отдал темноте.

По всей дороге, насколько хватало глаз, дрожали и плыли светляки. Весело перекликались моторы.

Генкина «Татра» переваливалась с боку на бок, как баркас на волне, добродушно ворчала на скверную дорогу. Не грузовик, а воплощенная пословица: «Тише едешь — дальше будешь». «Как бы на мостике не сесть при такой скорости, силенок-то у нее не густо»,— стал опасаться Толик. Как бы поняв его, «Татра» поднатужилась и рванула под уклон. Рубиновый глаз стремительно удалялся. «Молодцом!» — одобрил Рябов и поднажал следом. Мост он проскочил с ходу. Хрустнул под колесами хворост (уже набросала какая-то добрая душа). Генка впереди шустро одолевал подъем. «Путем, все путем!» — радовался Толик. Он оглянулся — в нескольких метрах сзади мотал хоботом Валеркин кран. Кроме месива у моста, ничего не напоминало о недавней пробке.

Цепочка светляков извивается, корчится, ползет по дороге. Случается, некоторые из них отрываются от колонны, уходят влево, вправо — у каждого своя печаль-забота. Пришла и Генкина, очередь. Он посигналил, тормознул у обочины. Рябов, а за ним и Валера отвалили из колонны в ту же сторону. Вышли, закурили.

— Значит, приехали,— больше подтвердил Толик, чем спросил.

— Ага, вон туда нам,— Гена ткнул папироской в висящие над лесом огоньки.

— Пройдешь? — кивнул Толик в ту же сторону. Гена даже шапку снял от такого нелепого вопроса, на затылке задрался хохолок.

— У нас не то что у других, у нас все по-умному. Мы через болото лежни настлали, проскочим, как по асфальту.— Он приоткрыл дверцу кабины.— Поехали, что ли.

Рябов заглянул в кабину. В ней потешно, на четвереньках, ползал по сиденью Володька. Глаза со сна смотрели осоловело. Зевнул, теплой, мягкой, как оладышек, ладошкой схватил Рябова за палец.

— Он что, проспал все это время? — изумился в догадке Рябов.

— Ну,— подтвердил Гена.

— Космонавтом будет с такими нервами,— авторитетно заявил Рябов.

— Обязательно,— с гордой уверенностью согласился отец.

«Этот хоть в кабине, а те как?» — вспомнил Рябов о детях, оставшихся на вертолетной площадке. Чтобы отделаться от доверчивых, гнавшихся за ним сквозь дождь и темноту взглядов малышей, он длинно и витиевато выругался.

— Ты чего? — удивленно заморгали под шапкой глаза.

— Так, чтобы не отвыкнуть. Как с жильем здесь?

— Пока в палатке, но к зиме обещают.

Генка улыбнулся, видимо зримо ощущая перспективу новоселья. По-заячьи, двумя молочными зубами вторил его оптимизму Володька.

Валера хохотнул:

— Обещают!

«И тут обещают».— Рябов торопливо сунул попутчикам руку.

Они уставились на него.

— Ты чего? Разве...

— Тю, чумовой, по макушку сядешь! — предостерег Валера.

— Авось,— отмахнулся Толик, направляясь к своей машине.— Назад поеду — загляну к вам.

Валера опять хохотнул.

— Если поедешь.

— Мы постараемся,— подмигнул Рябов.— Будете в Октябрьске — найдите на котлопункте Зину. Она вам мою палатку покажет. В баню сходим, пар у нас путевый! — одолел он криком дуэт моторов.

— Замета-а-ано!

Разошлись. Снова виляет дорога. По ней отмерить предстоит полтораста километров, да еще десяток — в сторону. Слева — многокилометровый отстойник грязи, справа распахнулся зыбун — грозит заглотить все живое. Даже из «Урала» больше двадцати километров в час по такой дороге не выжать. Туда-обратно, на месте повозжаться придется, плюс часа четыре на всякие сюрпризы — в целом сутки клади, не отвертишься. Так виделась ситуация Толику, и падал от этого барометр его настроения. Клял он свой уступчивый характер, житуху, пошедшую наперекосяк, погоду. Действительно, пятый год, как он на Севере, другие за это время отстроились, машин понакупили, в должности повыходили, а он знай себе дороги утюжит, да и какие это дороги — одно название. Большие деньги в руках держал — по зимнику до тысячи в месяц выгонял, да все меж пальцев просеивалось. Сейчас вот тут вляпался. А с другой стороны, иначе вроде бы и нельзя. Снова виделись ему доверчивые детские глазенки, прижатый к груди плюшевый барбос с оторванным ухом... Как-то на родине, под Ворошиловградом, подобрал он выпавших из гнезда галчат. И эти тоже, как галчата... Отмахиваются «дворники» от неутомимого дождя. Два светлых коридора тянутся перед фарами. За коридорами — темень и глушь. Чтобы не так тоскливо было ехать, Рябов прибавляет скорость: впереди должны быть еще машины. Полчаса «Урал» расшвыривает грязь, и за все это время — никого. «Ну и хрен с вами, лежебоками!» — с легкой обидой бросает кому-то Рябов, дает среднюю скорость и начинает думать о приятном. Например, какой шкодный и хороший мужик этот Гена. Да и Серега с Валерой тоже мужики что надо. Вот еще двумя друзьями больше у него стало. А еще он думает о том, какая в окрестностях Октябрьска отменная охота. В праздники надо будет обязательно сгоношить на это дело понимающий народ. И конечно же, думает о бане. Нет, теперь, возвратясь из рейса, мимо нее не проскочит. Мысль о ключе на кирпичике Рябов оставляет на сладкое — вкушает и тут же вздыхает: «Извини, Зина, опаздываю!»

Потом он с умилением вспоминает Генкиного Володьку. Настроение начинает горчить. Давно бы пора самому вот таких настрогать. Было бы для кого по

комариному царству мотаться. А то заработал, съел — вот и весь интерес. Как у волка...

Толик потянулся за тряпкой — боковые стекла протереть. От лопатки к шейному позвонку потянулась боль. Возьми тебя холера! С чего это началось? По зимнику перед Новым годом авралили на разгрузке вагонов (прорвался один состав с продуктами сквозь метель). Рябов в азарте подхватил увесистый ящик — ну и стронул что-то в позвоночнике. Оттерли спиртом, отлежался, но стоит теперь с тяжестями поиграть или подзастыть — сразу вот такая петрушка. Толик потер шею ладонью, поморщился. Из медпункта в город направляли, на рентген. Говорили — надо проверить, может быть, что-нибудь серьезное. Но в город — это, считай, тысяча километров с лишком. С вертолета на вертолет прыгать — в месяц выльется. А кто работать будет? И так некому...

Мотаются «дворники», сыто урчит мотор, в кабине тепло и уютно. Надо, надо бы якорь бросить, пора. Допрыгаешься — некому будет воды подать. Возраст — уже к тридцати. Зина, например, чем плоха? И лицо, и фигура, и поговорить, и к нему со всем интересом. Надо бы закинуться к ней с серьезными намерениями, а то одни щипки да хиханьки...

«Пошла бы за меня, Зинаида Петровна?»

«Отчего бы и нет, Анатолий Степанович! Знайте, что по всей трассе никто лучше вас на гитаре не играет. И улыбки такой тоже ни у кого нет».

«Так что же мы, Зинаида Петровна?».

«Я к вам, Анатолий Степанович, хоть сейчас по всему поселку в палатку пойду. Только люди нам этого не простят, строго здесь насчет этого — хоть уезжай потом. А уезжать невозможно: приросла я к этим проклятым болотам, да и вы, наверное, тоже».

«Завтра, Зинаида Петровна, я вас перед всеми людьми своей женой объявлю».

«Ой, Толя!..»

Зина вдруг стала отдаляться, размываться, и брызнул светлый лик ее звездными осколками... Рябов обалдело протер глаза. Закемарил, сучье мясо! Лоб над правым глазом начала разламывать боль. Неужели к рулю приложился? Стучал мотор, продолжали свой неутомимый бег «дворники», а в остальном — тишина. И этот бег «дворников», и гудение мотора в сговоре с

тишиной увещевали: не спеши, ты устал, спи, спи, спи...

— Черта с два! — заорал Рябов и кинул машину назад, потом вперед.

Вперед-назад, вперед-назад, до отказа выжимая газ, рвался «Урал» из предательских липких объятий дороги, но только крепче стискивали они машину. Толик выключил зажигание и уронил голову на руль: эта дорожка кого хочешь доконает. Он сосчитал до десяти, вынул из «бардачка» мягкую, разлохмаченную книжечку. Любимый поэт смотрел укоризненно и грустно: «Что ж ты, Толя?» Рябов полистал: «...а в сердце, замирая, пел далекий голос песнь рассвета». Полистал еще немного, дал ближний свет — чего зря жечь-то! Темнота осмелела, подступила вплотную, привела с собой страх и тоску. Нет, не поддаваться! Толик распахнул дверцу и присвистнул: грязь стояла вровень с подножкой. Кажется, сел надежно. Он посмотрел на часы — половина четвертого. От последнего разъезда, где свернули машины, шедшие впереди, здесь никто не проходил. Иначе наверняка все сидели бы как миленькие. От последнего разъезда до Надалымской — зона молчания, глушь, надеяться не на кого. Он натянул болотные сапоги, прихватил топорик и махнул в грязь. Было почти по пояс, а в недомерках Рябов не числился. Он выбрался на обочину, с минуту постоял. «Не то что за сутки — за неделю здесь никого не встретишь. Надо идти. К завтрашнему вечеру всяк дойду»,— рассуждал Рябов, вырубая лесину. Вырубил, затесал — справный дрын получился. Ну, ходу!

Самое скверное, что он забыл взять с собой фонарь — в спешке оставил в палатке. Темнота, будто мешок на голову надели. Толик ориентировался по грязи: чавкает под ногами, значит, идешь по дороге, цепляешься ногами за кочки — считай, уклонился в сторону. Он тыкал перед собой дрыном, и думалось ему государственно: «Почему бы прежде чем строительство затевать, не позаботиться о дорогах? Дороги наладил — и строй себе на здоровье все, что требуется. А то ведь сколько техники в межсезонье гробится. Чем там думают?» При этом Рябов поглядывает наверх. Правда, ему один шибко лобастый прораб объяснил, что такие потери в технике не составляют и десятой части затрат на дороги, которые потом эксплуатируются без

должной интенсивности: строительство дальше по трассе уходит. Ничего тогда не понял Толик в объяснениях прораба, потому что понять не желал. Теперь же с теми горькими, но масштабными мыслями угодил он по грудь в яму с водой. Пока выбирался, пока портянки отжимал да перематывал, вконец застыл. И ведь не побежишь: либо шею свернешь, либо опять искупаешься. Толик бросил дрын, сунул руки под мышки и заковылял потихоньку. То, что кончился дождь, его равнодушное ко всему, промерзшее до основания нутро уже не воспринимало.

Потянул припахивающий морозцем ветерок, увел за кромку леса лохматые облака. Глянула вниз первая, самая любопытная звездочка. Глянула и увидела, как среди бескрайних заболоченных лесов плетется маааленькая скрюченная фигурка. Куда плетется, смешная? Зачем? Что гонит ее от человеческого тепла? Что?!

От надменной, своенравной луны не спрячешь глаз. Потомственный шахтер, водитель первого класса Анатолий Рябов шел в лес по лунной просеке, радуясь, что проясняется небо, что, видимо, будет подсыхать, что сейчас он надерет лапника и ткнется в него лицом. Спать, спать, спать. О том, что он может не проснуться, Толик не думал. Главное — вытянуться, дать покой измученному, задубелому телу. Одинокая залетная снежинка пощекотала лицо. Позовет ли она за собой другие, чтобы соткать пуховое покрывало? Толик ткнулся в ствол кедра. Сейчас, сейчас, где помягче... Рычит кто-то вроде? А-а-а, миша, мишка... У него такая теплая шуба... Мишутка, мишенька...

Рычание становилось сильнее, сильнее, перешло в лязг и грохот. За кедровыми стволами мелькнули два слепящих глаза. Толик очнулся. Машина! Гусеничная!

— Эй, эй! — Он опрометью бросился назад, к дороге, упал, сучком дерануло по лицу.— Эй, стойте! — Вскочил, не ощущая боли, метнулся наперерез. На расстоянии вытянутой руки пронеслось, умыло грязью мощное, жаркое тело вездехода. «Ураган!» — опознал по контуру Рябов и бросился следом.

— Стой! Стой!

Вездеход круто развернулся, остановился. Толик подбежал, давясь дыханием, обессиленно прислонился к кабине. Выскочили оттуда два черта, ладные, чуба-

тые, от того и другого шибануло водчонкой и чесночком.

— А мы-то думали — заяц перед фарами проскочил! — сказал тот, что повыше.— Потом решили — нет, крупноват будет для зайца.

— То не заяц, то леший болотный! — безуспешно боролся со смехом тот, что пошире.

— Нет, ты посмотри, посмотри только! — Черти подсадили Рябова в кабину. Из зеркальца на Толика глянуло заляпанное лепехами грязи лицо, щека рассажена, на лбу — шишка.

— Хоть сейчас под венец! — прыснул тот, что повыше.— Позади там не твоя лайба отмокает? Видать, рассохлась в отстое.

— Моя,— ответил односложно Толик, не было сил ни сердиться, ни обижаться. Он вышел из кабины и, расслабленно прислонясь к капоту, запрокинул голову. Над головой вдоль дороги дымился и таял где-то за Надалымской Млечный Путь.

— Куда понесло тебя одного, да еще в такое время? — спросил тот, что пошире.

— В Надалымскую мне надо,— кивнул на небо Рябов.

Черти переглянулись.

— Высоковато!

— Герой!

Они промыли Толику лицо, прижгли ссадину иодом из аптечки.

— Теперь можно и познакомиться,— протянул руку тот, что пошире.— Миша.

— Гриша,— назвался второй.

Толик загородился от их игривого тона серьезностью:

— Рябов, Анатолий Рябов.

Оба так и сникли от смеха.

— Фамилие тебе, друг, обломилось рябое.

— Да ты не обижайся.— Миша положил руку на плечо Толика.— Нас сегодня с утра разбирает.

— Что, возьмем шефство над отстающим? — спросил Гриша приятеля.

— Надо,— подмигнул тот. — В соцобязательства записывали.

Все трое забрались в кабину. В оправдание своего названия вездеход рванул так, словно не существовало

ни ям, ни колдобин, ни болотной топкой жижи. Рябов и Гриша сидели в одной кабинной секции. Рев двигателя сводил на нет звуки голоса, можно было только кричать на ухо.

— Вы откуда? — поинтересовался Толик.

— Из тринадцатой автолоконны.

— Это где Валера в бочке живет?

— Оттуда, оттуда,— заулыбался Гриша.— Завтра с утра в Кырьёган хотели нацелиться, да Валерка нас нашел, проспоренную бутылку вернул. А кроме того, говорит, сейчас же поезжайте, похоже, там у одного доходяги уже пузо подмокает. Это он про тебя. Ну, мы кайф по боку и сюда. Кстати, с тебя тоже бутылка.

— Так это вы-ы! — припомнил Толик.— Да-да, Валера рассказывал. А насчет бутылки — считай, что стои́т, и не одна,— заверил он Гришу.— Дай только обернуться.

Неожиданно его передернул озноб. На холоде Рябов еще держался, а здесь, в тепле, сразу раскис. Гриша внимательно на него посмотрел.

— О-о-о, да тебя как на высоковольтку замкнули. Потерпи маленько, что-нибудь придумаем.

Фары вездехода ощупали наполовину съеденный грязью «Урал».

— Еще бы несколько часов — и с макушкой. Вообще-то по этой дороге уже неделю не ездят. А какие-то ловкачи обрадовались и ям нарыли посередине — глину брали. Нарыли, а забросали кое-как,— объяснил Гриша.

Толик аж задохнулся.

— Узна́ю кто — ноги выдеру!

— Мы поможем,— деловито пообещал Гриша. — Сейчас в объезд ходят. Не сахар, конечно, но пройти можно. Ну, а мы напрямик, нам без разницы.

— Это точно! — не без зависти подтвердил Рябов.

— Держи,— протянул ему Гриша конец троса.

«Урал» вырвали из грязи со второй попытки. Чумазый, с потушенными фарами, он выглядел обиженно насупившимся. Толик похлопал его по капоту.

— Эх ты, бедняга! Постой чуток, сейчас поедем.

Гриша, сматывая трос, распоряжался:

— Давай, Толя, за руль, буксировать тебя до Надалымской будем. Ты, Миш, трос тащи, который потол-

ще. Мало ли куда влетим. Этот, боюсь, не выдержит. Да вот еще: тулуп с унтами из кузова достань.

«Урал» зацепили тросом через шкворень — для надежности. Миша кинул Толику в кабину необъятный тулуп и собачьи унты.

— Переоденься, хватит дубаря втыкать.

Толик повиновался.

От меха по телу пошли знобкие уколы. Подошел Миша с граненым стаканом в руке. На глазах у Толика он вбухал в стакан полтора флакона «Гвоздики».

— Конечно, это не то, но продукт вполне подходящий. Тем более, что выбирать тебе не приходится, если хочешь сам назад ехать. Погоди.— Он достал из кармана пакетик с марганцовкой. Пощелкал по нему ногтем. Кристаллики марганцовки собрали на дне стакана студенистую муть. Миша очертил ее уровень пальцем.— Досюда пить, остальное выплеснешь. Давай!

Желудок скрутила судорога, грудь дернула икота. Стиснув зубы, Толик переборол тошноту. Миша катанул к нему по сиденью банку консервов.

— Закуси. Хлеб есть?

Толик кивнул.

— По коням.— Гриша захлопнул дверцу кабины.

«Ураган» вел своего подопечного деликатно — ни рывков, ни тряски. Толику даже удалось умять хлеб с консервами. «Санаторий, а не езда»,— подумал он и, похоже, поторопился. Впереди машины поджидала заболоченная низина, затянутая отстоем тумана. Туман был ржавый, вода местами подступала к пробке на радиаторе. Гиблое место! Только сейчас понял Рябов, на что замахнулся он, сунувшись в Надалымскую этой дорогой. Как предупреждение смельчакам и как памятник им жутковато глянул с обочины глазницами выбитых фар остов грузовика. «Топь прибрала, в объезд кто-то пытался,— понял Рябов и вздрогнул.— Двигатель и приборная доска сняты. Кузов разбит на дрова. Кто знает, если бы не Валера...» — Дальше не хотелось думать.

Медленно, очень медленно одолевали машины длинный подъем. Медленно разбредался по болотам туман. Но вот уже опоясала верхушки сосен светлая лента, оттеснила темноту, стала сваливаться с небосвода

за горизонт расшитая звездами ночная шапка. Легким сиреневым дымком уходили между деревьями сумерки.

Лес насторожился в ожидании чуда, и оно явилось — взмахнуло багровым крылом и уронило на горизонт волшебное веретено, от которого размотались между деревьями золотые нити. Заиграла, заликовала проснувшаяся чаща, и ахнул пораженный Рябов. Красотища!

С «Урагана» приветственно посигналили, Толик откликнулся и расстегнул тулуп: жарко. Впереди — словно когтистая лапа замахнулась на дорогу — вывороченными корнями угрожало поваленное дерево. За ним косо стояла старая лиственница. Нет, она не поддалась ветру, а всего лишь склонилась в полупоклоне, да и то не перед ветром, а перед людьми: дескать, добро пожаловать!

Машины одолели подъем. Миша выскочил из вездехода, отцепил трос.

— Теперь он тебе ни к чему.

Действительно, дальше был песчаник, дожди его только утрамбовали. Лес стоял плотный, сухой, ядреный. Рябов дал газ, догнал вездеход. Шли вровень до тех пор, пока Гриша не погрозил ему кулаком. Пришлось обогнать.

У заброшенного, подгнившего сруба — избушка на курьих ножках — Рябов затормозил. «Сюда наконец-то!» В сторону от дороги уводили две накатанные колесами колеи. Глянул он на часы — около шести по московскому — почти двенадцать часов в пути! Появился вездеход. Одновременно хлопнули двери кабинных секций; Миша и Гриша все делали ловко и синхронно, словно парные акробаты.

— Ну, ты устроил ралли! — рассмеялся Миша.

— Почему бы тебе так не бегать пару часиков назад? — подмигнул Гриша.

Жарко вспыхнули коронки: у одного слева, у другого справа.

— А вы не братья? — высказал Рябов донимавшее его предположение.

— Попал — сводные,— хлопнул его по плечу Миша.

Гриша принял позу регулировщика.

— Нам — прямо, тебе — налево. Теперь дойдешь?

— Не о чем говорить,— лихо сплюнул Рябов.

Братья рассмеялись.

— Ишь как запел!

— Значит, дойдет.

Толик начал выворачиваться из тулупа.

— Вот, возьмите, спасибо.

Они снова запахнули на нем полы, подняли воротник.

— Он тебе еще пригодится,— сказал Гриша.

— При случае закинешь по пути, вместе с унтами,— подсказал Миша.

Они потискали его на прощание и исчезли. Ревел и громыхал в направлении на Кырьёган их стальной дьявол.

Толик расслабленно прислонился к капоту. Какие ребята! Хотелось немедленно сделать для них что-то хорошее... Он отворотил с дороги камень, откатил в сторону трухлявую, кем-то брошенную покрышку и въехал на территорию ПМК. Того самого ПМК, где ходил в начальниках товарищ Пожидаев, закадычный друг Мишина. Рябова тотчас обступили.

— Какой красавец!

— Издалека?

— Каким ветром?

— Это первый за две недели!

— Если не считать тех, кто воздухом, то точно.

Рябов светил фингалом из боярского тулупа, но достоинства не ронял, отвечал не суетливо: занесло ветром северным, сам из Октябрьска, шел старой дорогой.

— Что?! — не поверили.— Да ведь там идти низиной — гибель!

— Это для кого как,— отозвался Рябов, но тут же осадил распиравшее его тщеславие: — Может, мне не стоять бы сейчас перед вами, да ребята помогли — во парни! — Он показал большой палец.

Толпа дрогнула.

— Рябов! Рябов! Эй, народ, да это же Рябов! — вперед пробился круглоголовый коротышка, подпрыгнул, замахал руками, заверещал: — Рябов! Рябов! Помнишь общежитие в Приобске?

— Было такое,— осторожно подтвердил Рябов, прикидывая про себя: «К чему этот катыш разоряется?»

— Ох, ребята, и важно ж он гитару понимает! Слушай, Рябов, будь друг, сыграй! Леха, волоки инструмент! Рябов, а меня ты помнишь?

— Артист не может всякого зрителя упомнить,— без лишней скромности сказал Толик.

Вокруг рассмеялись. Толик тоже — не выдержал. А над головами уже плыла к приобскому маэстро шестиструнка.

— Отставить, товарищи!

— Начальник, начальник, начальник! — прошелестело среди собравшихся.

Расступились, пустили в круг высокого сутуловатого человека в брезентовом плаще. Внешности его Рябов подивился: лицо пожилой, уставшей женщины, но при всем при том архиерейская борода и голос, как у протодьякона. Строг, а глаза жалостливые. Посмотрел внимательно.

— Рябов Анатолий Степанович?

— Точно — я,— оробел от такого обращения Толик.

— Пойдемте со мной, Анатолий Степанович.

Пожидаев пошел не оборачиваясь. Сбоку вывернулся скуластенький с вороновой челочкой, почтительно поднял палец:

— Осень умная насальника! Ой-ё-ё-ёй!

— Поглядим,— нахмурился Рябов. Он догнал Пожидаева. Тот неторопливо заговорил:

— Мне о вас сообщили по рации вчера вечером. Выехал, сказали, может, заглянет. Выходит, заглянули. Сеанс был сопряжен для них с определенными трудностями. Октябрьск ретранслировался через Приобск. Впрочем, не это сейчас важно. Шлаковата — вот в чем загвоздка. Вертолет должен был доставить вторую половину нашего наличного запаса, которую я и хотел вам передать. Но ни один борт вчера у нас посадки не сделал: очень низкая облачность, плотный туман. Первую половину запаса я вам дать не могу: ею уже закрывают трубы. Беда в том, что у пилотов на сегодняшний день вышла месячная норма времени налета. Отдыхают они в Выйгуре. Там же и утеплитель.

— Так привезти его! — сказал Рябов таким тоном, словно спрашивал: «За что тебя только умным называют?»

Пожидаев улыбнулся, мягко объяснил:

— Видите ли, прилететь или не прилететь сегодня — это их сугубо личное дело. Мы только можем просить их о любезности, не больше. Сегодня уходит наш последний эшелон — двигаемся дальше по трассе. Мы должны были сделать это неделю назад, но, к сожалению, не управились с работами. Это территория ханты. Мы ее как бы арендовали, но к началу охотничьего сезона обязаны освободить. Это приказ управления. Вон уже к нам прибыл представитель поселкового Совета Савэрка Антонов, Савелий Никифорович.— Пожидаев указал на крошечного дедушку в малице. Тот сидел на корточках, блаженно ловил изборожденным временем лицом солнечные лучи.

— Что же делать? — приуныл было Рябов.

— Безвыходных положений, как известно, не бывает, здесь выход один — просить. Наша рация ориентирована на Приобск, мы ее развернем на Выйгур, вызовем пилотов. Будем так договариваться: сюда они везут инструмент и зимнюю спецодежду, затем с вами возвращаются в Выйгур. Вы там грузите утеплитель и привозите его. Погода...— Пожидаев запрокинул голову,— благоприятствует. Если удастся уговорить пилотов, часа в три вы сможете отсюда выехать...

Неторопливый басовитый голос Пожидаева начал отодвигаться и отставать, и Толику стало казаться, это говорит тот старичок сзади — знай себе что-то бормочет. И вся эта ранняя суета проснувшейся колонны с зудением пил, стуком топоров, ворчанием моторов и незлобивой, деловой бранью теперь воспринималась Рябовым как что-то не вполне реальное. Он двигался вязко и неосязаемо.

— О-о, товарищ дорогой, да вы совсем спите,— прогудел Пожидаев и взял Рябова за локоть. — Сюда, сюда, пожалуйста... Осторожно — ступеньки... Сюда,— он положил Рябова на что-то ворсистое, пахнущее крепким табаком и одеколоном.— Вам обязательно надо отдохнуть. Вид у вас, знаете ли, далеко не образцовый...

Наверное, говорилось еще что-то, но, падая в тягучую, властную истому, Толик уже ничего не слышал. Назвать это сном было трудно. Скорее забытье, выпадение из реальности, с которой его все же связывала тонкая контрольная нить...

— Игорь Дмитриевич, Игорь Дмитриевич! — неожиданно задергали нить с другого конца.

Рябов сел, незряче уставился в оконный проем. Мутное пятно в нем постепенно сформировалось в курносое удивленное лицо.

— Вот это да! А куда ж ты начальника подевал?

— Начальника, какого начальника? — бормотал, приходя в себя, Рябов.

— Пожидаева.

— А-а-а, на рации он.

Лицо выпало из окна.

— Бегу!

— Обожди,— потянулся Рябов за сапогами, надо же, кто-то успел с него снять их.— Я с тобой, покажешь.

Пожидаева они нашли около обшитого жестью балка. Рядом раскладывал на брезенте блоки своей релейки радист.

— То сворачивайся, то разворачивайся! Где тут времени напасешься? — бубнил он себе под нос.

— Все, Володя, последний раз.— Сквозь пожидаевскую бороду пробилась улыбка.

— Игорь Дмитриевич, а как со сварочным агрегатом быть? Ведь такую дуру на руках не унесешь,— налетел курносый.

— «Кировец» я тебе выделил, найдешь на рембазе Бабенко, он в курсе.

— Нормально! — щербато обрадовался баламут.— Лечу!

— А вы почему не отдыхаете, Анатолий Степанович? — нахмурился Пожидаев, увидя Рябова.

— Да как-то не спится.

Между ними ползал радист. Он жалом паяльника чертил на песке какие-то лепестки, бормоча заклинания:

— Дуплексный режим... Первый канал... Совмещенная диаграмма направленности... На юго-запад...— Радист нарисовал на песке стрелку— Давай, берись.

Строенным усилием они довернули антенну до стрелки.

— Годится! — Володя защелкал тумблерами, залопотал в микрофон: — «Вайгач», «Вайгач», я — «Тайга». Как слышите меня? Прием.— Он подал через плечо один наушник. Рябов взял.

Сквозь треск, хруст и шорохи эфира продрался мальчишеский голос:

— Я — «Вайгач». Слышу вас хорошо.— И вопреки радиоэтике возликовал.— Володька, что ли?!

— Ну я! Здорово! — Улыбка отвела к ушам румяные щеки Володи.

— Как ты там?

— Законно!

Пожидаев кашлянул, Володя подобрался.

— На связь вызывается командир борта тридцать пять шестьсот сорок девять.

Радист передал микрофон с наушниками Пожидаеву. Эфир очистился, зато голос в наушниках звучал так хрипло, словно вобрал в себя все его помехи:

— Никоненков слушает.

Пожидаев поклонился невидимому собеседнику, Рябову передал сложенный вдвое листок бумаги. Толик развернул. «В комнате, где вы отдыхали, на столе лежит черная папка. Пожалуйста, принесите». Рябов кивнул, вернул наушник радисту.

— У меня к вам будет просьба личного характера, Николай Александрович,— услышал он, уходя, адресованный микрофону голос Пожидаева.

Вернулся Рябов в тот момент, когда Володя щелкнул тумблером и повесил наушники. Пожидаев достал из папки бланк, протянул радисту.

— Срочно передать в Кырьёган начальнику СМП, телефонограммой.

Простодушная физиономия радиста светилась восхищением.

— Ох и хитрый вы, Игорь Дмитриевич!

— Приходится, Володя, приходится,— развел руками Пожидаев.— Святая ложь во спасение. Пойдемте, Анатолий Степанович,— повернулся он к Рябову.— Борт будет часа через три. Пока экипаж соберется, пока заправится, плюс дорога. Сейчас мы с вами позавтракаем, а потом, хотите вы этого, батенька, или не хотите, спать вам придется — насильно уложу. И не забудьте высушить одежду, которую в кабине бросили. Не лететь же вам в этаком великолепии.— Пожидаев потеребил полу Гриш-Мишиного тулупа.— В Выйгуре подзагостились два моих стропаля. Вы их найдите, мобилизуйте на погрузку и возвращайтесь вместе с ними. Хорошо?

У МИ-6 звук более низкий и основательный, чем у «восьмерки». Та-т-та! — неутомимо шинковал он воздух. Покрутился над поляной, осмотрелся и грузно сел. Ревело и рвало с березок последние листья клепаное чудовище, заставляло кланяться ели. Выли и садились на задние ноги собаки. Мужики приседали и крестили страшило матом, кричали:

— Выключай свою бодягу!

Из брюшного зева выскочил щупленький, в синем кителе, пилот. Он озабоченно осмотрел переднее шасси, забрался обратно. Стрекоза напряглась, оторвалась от земли и пошла вдоль поляны, заваливаясь на нос. Все попадали, кто где стоял. Казалось, еще немного — и стрекоза врежется в деревья! Нет — развернулась и пошла поперек. Уложила, разогнала все живое, села и затихла. После того как стрекозу выпотрошили, стеклянный колпак в носовой части поднялся, показалась голова щупленького.

— Рябов — есть такой?

— Ну? — выступил вперед Толик.

— Залезай, рыжий!

Вертолет прошелся вдоль трассы, отворотил и в который раз принялся промеривать необъятное болотное царство. Разбегается, петляет, закручивается блеклозеленый ельник, обходит ржавые проплешины, выписывая рисунок, мудренее кружевного. И ткется тот рисунок прямо на воде. Вода, вода до самого горизонта. Что, если в многотонном металлическом теле вертолета сдаст сердце? Такого еще не бывало. А вдруг?! От таких мыслей холодок стягивает кожу на голове. Рябов их прогоняет. Вся аппаратура работает нормально! Толик вытягивается на брезентовой скамеечке. Сколько раз приходилось ему на разных высотах летать над этими болотами. Сейчас внизу — тронутый лишаем бобрик, сверху — ноздреватый пресный блин. Толику видятся блины. Хорошо бы их сейчас со сметаной.

В смотровом окошке проплывают поселок, дорога, стройка. Выйгурское месторождение — газ!

На площадку Рябов спрыгнул, не дожидаясь трапа. Нетерпеливо повел глазами вокруг — вот она, желанная! Ломтями наваленная шлаковата лежала под брезентом. Рябов прикинул: «Тут не на три — на все четыре дома хватит». Он обернулся к пилотам.

— Стропали с Надалымской не знаете где?

— Это уж ты сам ищи,— ворчливо отмахнулся один. Двое других переглянулись и прыснули.

— Неделя, как тут бичуют.

— Во-он в той крайней бочке посмотри.

— На погрузку два часа можем дать — самое большее,— строго сказал один из пилотов.— Нам тоже отдыхать надо. Если бы сам Игорь Дмитриевич не просил...— Он не докончил, поддал носком ботинка комок грязи.

— Пожидаева нельзя не уважить: интеллигент! — добавил радист, вкладывая в это слово что-то свое, достойное особого уважения.

Щупленький опять хихикнул:

— Трудновато тебе будет отсюда своих ударников вытаскивать.

— Это почему? — насторожился Рябов.

— День газовика и нефтяника сегодня.

— Ч-черт, верно! — поскреб Толик в затылке.— С такой работенкой про собственное рождение забываешь.

— Студентки из Тюмени представлять будут — варьете. Есть установка, нарушить сухой закон,— щупленький даже зажмурился.— Вот и тяни своих из этой благодати.

И Рябов пошел тянуть.

Лес стоит чахлый, траченный, грязи вокруг великие, а поселок — весь в веселых красках. Еще издалека Толик услышал музыку, и ему стало до слез обидно. В кого он уродился, такой нескладный? У всех жизнь как жизнь — отдыхают, любят, заводят семьи. Ему же всегда в этой жизни самые неудобные места достаются. Был бы недоделок какой — понятно, а то ведь талантами и смекалкой не обойден, и девки за ним косяками. Так в чем же дело? В чем?! Жирная, цепкая грязь представляется Рябову трясиной из мучающих его вопросов. Он с остервенением выдирает из трясины ноги, но она держит крепко, срывает с ног сапоги.

Возле бочек выбрался наконец на спасительные мостки. Бочки — приветливые круглые домики. Каждую опоясывает надпись: «Волоколамский завод». Фирменные, не то что у Валеры из автоколонны — там отстойник из-под солярки.

Толик начал с крайней бочки, как и советовали.

Пузатый, губастый мужик с сальной челкой над левым глазом подозрительно оглядел Рябова: что за человек, почему в такой день — и трезвый? На вопрос не ответил, бросил коротко:

— Заходи.

В бочке — как в гостиничном номере: прихожая, туалет, спальня; пластик, коврики, занавески; тепло, светло, сухо.

— Шикарно живете,— позавидовал Рябов.

Губастый понял его по-своему, кивнул на стол, уставленный бутылками.

— Это только сегодня, а так ни-ни. Сюда давай!

В спальне багровел под двухпудовой гирей детинушка в сатиновых трусах до колен.

— Ать! — выжал.

Губастый и гиревик чокнулись, угостились.

— Теперь я жму пальцем. Ежели не сорвется — мне стакан дополнительно,— предложил гиревик.

— Идет,— одобрил губастый и вспомнил про гостя: — Э, э, а ты чево ж? — плеснул ему в пол-литровую банку.— Давай!

Приставными шажками вдоль стеночки Рябов начал подвигаться к выходу. Маневр был замечен.

— Э, э, куда же ты? Так не пойдет. Стой!

— Держи!.. А, черт с ним!..

Рябов скатился с железного крыльца, пропустил две бочки, в третью постучал:

— Двоих из Надалымской ищу. Стропали. Не у вас?

В бочке крутоплечий мужчина, вероятно старшой, огласил покусившемуся на веселье приговор:

— Штрафную!

Рябов с ужасом ощутил, как тает его готовность отказаться. «Ничего, ничего, прими. Сколько мерз, мытарился — заслужил!» — нашептывал ему лукавый. Гривастая блондинка посмотрела поощрительно. С другой стороны еще две цацы делали заявки. «Не устою!» — ужаснулся Рябов.

— На-да-лым-ские-е где? — Рябов вложил в этот вопль все отчаяние перед немыслимым искушением.

От дальнего края стола отвалились два кирюхи.

— А-а, вот мы,— признался один, вязко ворочая языком.

— Пошли, парни, погрузиться надо скорей да назад лететь. Времени осталось — только-только,— перекричал Рябов застолье.

— Пожидаев велел,— выложил он свой последний козырь.

Это вызвало реакцию, обратную желаемой:

— Митрич-то? О, мужик! До-обрый. И нам с тобой не будет ни-че-го! — пропели кирюхи, дирижируя стаканами.

— А-а-а-а,— неожиданно сорвался Рябов,— давай!— И тоже ухватил стакан.

К Толику подошла вплотную блондинка, накрыла сладким дурманом.

— Вы бы присели, покушали,— местечко рядом со мной вакантно.

— Не могу, ласточка,— отозвался Рябов, слабея.— Люди ждут. В другой раз...

А сам уже шел за ней, как теленок на поводу.

Усадила, прижгла тугим боком.

— Ваше здоровье!

По телу Рябова пошли наперегонки горячие обручи, добрались до мозга, зажали его огненными тисками и отпустили. Была последняя судорога совести: «Надо бы закусить сначала: плыву, вроде». Вокруг его талии собственнически захлестнулась рука блондинки. Подступали и приторно жмурились лица.

— Посуда любит чистоту!

«Спаивают, черти, чтобы не надоедал,— прошила сознание догадка. Прошила и завязла.— Милые, славные, родные!»

Издалека, с западной стороны, словно струя в подойник, зацедил жиденький звук. Вскоре он окреп, затарахтел, пробарабанил по крыше. Вскоре окошко перечеркнула крылатая точка удаляющегося вертолета. Рябов поднялся. «Чего же это я?»

— Извините, ребята, простите, девчата! — увернулся от жадных рук блондинки и шагнул в окно.

— Стой!

— Чё он вдруг?

— Далеко не уйдет!

— Верне-ется...

Качало Рябова между куцыми елочками. Сзади поспешали напрямик, теряя в грязи сапоги, осознавшие свою вину стропали.

— Эй, погоди-и-и!

Рябов обернулся. Подождать? Нет, не имело смысла. Гуляки завалились на первом же бугре, закопошились в грязи. Рябов рассмеялся.

— Помощнички — жуки навозные!

Северный ветерок быстро выстудил хмель. «Напрасно пил,— раскаивался Рябов,— вон сколько потерял времени». У вертолета и вовсе приуныл. За час с лишним перекидать эту гору — сомнительно. И что еще скверно — употеешь, а не раздеться: со шлаковатой шутки плохи — чирьями да нарывами от нее изойдешь. Техника безопасности не разрешает к ней подступаться без респиратора и спецодежды. Рябову оставалось только усмехнуться. Рукавицы есть — и то ладно. «Шестерка» приглашающе распахнула боковую дверь — только закидывай. Приспособился он так: брал сразу по четыре куска, волок их к вертолету, закидывал внутрь, забирался туда сам и оттаскивал груз в хвост. Куски не то чтобы тяжелые, а много сразу не возьмешь — неудобно. Бегать наполовину впустую приходится — пот начал заедать, зачесалось тело, а гора вроде и не уменьшилась.

Рябов пнул шмат ненавистного утеплителя (все из-за него!) и сел перекурить: все равно не успеть. Тут еще часа два потребуется — самое малое. Летчиков попросить, чтобы еще обождали? Согласятся ли?

Из-за вертолета, со стороны поселка, подразнила наимоднейшая мелодия — негритянское что-то. Стоны и охи стали приближаться. Динамик, что ли, кто-то по пьянке сюда тащит? Послышались голоса. Кого там еще несет? Толик обошел вертолет и ахнул: развеселая компания из бочки в праздничных ботиночках и туфельках совершала переход через грязь. Впереди гордо, как с первенцем, вышагивал с магнитофоном на вытянутых руках старшой.

— Допились! — хмыкнул Рябов.

Кочующее застолье заполонило площадку. Вразвалочку подошел старшой со стаканом.

— Не Магомет к горе, так гора к Магомету. От нас не убежишь. Открывается танцевальная часть праздничной программы. А под это дело мы всегда вертолетку пользуем, независимо от метеусловий.— Старшой повел рукой: — Танцплощадка — класс!

«Полный провал!» — похолодел Рябов.

Старшой хитровато покосился на шлаковату.

— Э-э-э, так не пойдет, мешать будет. Убрать в вертолет!

— Убрать! Убрать! — подхватили все.

Толику стало трудно дышать.

— Какие же вы...— Он беспомощно оглянулся как бы в поисках нужного слова.— Какие же вы... люди.

— Так точно — люди,— согласился старшой.— Хлопцы, остановись!

— Эх! — Рябов принял из чьих-то неловких рук гитару.— Заказывай!

Говорили, что у него идеальный слух. Говорили, что большой талант, советовали учиться. А Толику просто нравилось играть — и только.

Гитара ворковала, рокотала, плакала. Давно был перекидан в вертолет утеплитель, а заказы все сыпались:

— «Балладу о свечах»!

— «Отговорила роща...»

И длиться бы песням нескончаемо, если бы не пилоты.

— Концерт окончен,— сказал строгий Никоненков и расщедрился на комплимент.— Вам, товарищ Рябов, в филармонии работать надо, а не комаров здесь кормить.

— Рябов! — возликовал хозяин гитары.— А я про тебя в Уренгое наслышан. Вот только послушать там не довелось.

Компания будто взорвалась:

— Еще прилетай!

— Командировку выпишем!

— Ой, почему я замужем!

Напоследок чьи-то дюжие руки закинули на борт двух от души загулявших стропалей.

— Ценною бандеролью отправь!

Лопасти отсекли еще много хорошего, сказанного Рябову в напутствие. Но с него и так было довольно. Моргал в смотровое окошко. Машущая и пляшущая компания виделась смутно: работать без очков со шлаковатой не следует.

Вымытый, вычищенный, подзаправленный «Урал» заигрывал с солнцем смотровым стеклом, рвался в

дорогу, как застоявшийся конь. Вернувшиеся в лоно трезвости гуляки-стропали с совестливой старательностью накрывали в кузове утеплитель брезентом.

— Левый угол прикрой, чтобы в грех не вводил — торчит.

— Твоя правда. Увидит кто — не устоит.

— Да, такая штука дефицитней водки!..

Пожидаев давал Рябову последние напутствия:

— Назад пойдете новой дорогой. Это километров на двадцать побольше, но во времени выиграете: дорога идет посуху, грунт хороший. Следует, пожалуй, быть повнимательнее на одном участке. Дорога там делает колено — увидите горелый лес. На всякий случай: в двух километрах западнее от того места находится девятая буровая. Но, надеюсь, все будет в порядке.— Пожидаев улыбнулся и снял с плеча курковку.— Пожалуйста, передайте это Мишину, брал у него поохотиться. Стоит на предохранителе: заряжено. Может, дорогой разживешься дичью. Ну! — Пожидаев протянул руку и вдруг клюнул себя в лоб пальцем. — Склероз! Чуть было не забыл. Возьмите эту грамотку. Сегодня к вечеру нас здесь уже не будет. А в грамотке расписаны рабочие частоты для связи на новом месте.— Он оглянулся: — Ш-ш-ш-ш! — подмигнул и сунул Рябову флягу.— В нарушение сухого закона — тоже на всякий случай. Но, надеюсь, не пригодится. До свидания! — сильно сжал Толику руку.

В кабине Рябов обнаружил мешочек кедровых шишек — отборные, ядреные, в янтарных бисеринках смолы. Оглянулся — поклонник его таланта из Приобска отвесил изящный артистический поклон. Запуская мотор, Рябов не удержался, нюхнул из фляжки — ого, чистенький! Дал газ. Пожидаев указал рукой вдоль просеки. «Урал» резко взял с места.

— Приезжайте в гости! Спасибо за все-е-е! — прокричал Толик из кабины.

Он несколько раз оглядывался. Пожидаев, ухари-стропали, круглоголовый поклонник, радист Володя смотрели вслед.

«Урал» продрался между двух древних елей на дорогу. Лапы их выгребли из поля зрения ставших ему близкими людей. Сухая, укатистая дорога текла под колеса грузовика. Под стать ей — такие же ровные,

приятные — текли в голове Толика мысли — о хороших людях, о небывалом урожае кедра (а значит, быть знатной охоте), о том, что по такой дороге до Октябрьска самое большое пять часов ходу. Можно успеть в баню, ставшую после возни с утеплителем нестерпимо желанной.

День между тем шел на убыль. Небесная голубизна начала приобретать оттенок кипящей стали. Отяжелевшее солнце катилось вслед за машиной по верхушкам деревьев, набирая все более спелый цвет. «Засветло бы проскочить то место, о котором предупреждал Игорь Дмитриевич, а там, считай, дома»,— прикидывал Рябов и, послушный его нетерпению, «Урал» жестко вписывался в повороты.

Нет, никогда не привыкнуть Рябову к здешним краскам. Может, это одно из таинств северного колдовства? Может, это здесь людей и держит? В Донбассе если уж закат, то тучный, кровавый — полыхает на полнеба. Здесь краски нежные, пугливые, тающие. Им и названия-то нет. По прихваченному дымкой горизонту как бы разлит гранатовый сок. Чем выше, тем смелее дымчато-сиреневый оттенок. Дымок постепенно уходит, сиреневый оттенок отцветает, размывается. Сплети понятия «вечность» и «бездна», спроси у Рябова, какого это цвета, и он укажет на небо над головой. Оно постоянно меняет окраску, перестраивается, завораживает. Смотреть на него можно бесконечно, как на огонь. Быть может, тоска по нему и гонит Рябова оттуда, с запада, в этот богом забытый угол?

Толик помотал головой. Тьфу ты, наваждение! Чаща стала плотнее, подступила к дороге, начала ее душить. Дорога, будто пытаясь вырваться, вильнула и кинулась вниз... Вот оно! Поворот почти на девяносто градусов, отстойник грязи, чахлый, раздетый огнем лес. Рябов надел болотники, вышел из кабины. Тихо. Дурным голосом вскрикнула птица. Толик поежился — лешачье царство! Однако надо соображать, что делать. Цепляясь за кусты, он прошел вдоль топкого места обочиной — метров пятьдесят, не больше получаса. Дальше, от самого поворота, дорога посуху брала на подъем. Толик сплюнул и облегченно рассмеялся. Всего и делов-то! Вон следы чьих-то шин во мху. Значит, есть объезд. А мы дадим еще глубже в лес, срежем колено.

Рябов отогнал машину назад и круто дал в сторону. Захрустел под колесами хвойный молоднячок. Теперь только не сбрасывать скорость! Сосны! Петлять между стволами — поищи-ка ему равного! Мотор гонит в чащобу застоявшуюся тишину, летит назад изжеванный колесами мох. Там, правее, что-то вроде ягельника, а значит — песчаник, сухо! Туда! Рябов двинул рычаг передачи, крутнул руль. Мотор поперхнулся, под колесами хлюпнуло. «Топь!» — Догадка, как искра, пробила мозг.

Трясина вздохнула, икнула и отрыгнула зловонный пузырь. Рябов взял рычаг передачи на себя, выжал газ до отказа. Болото охнуло и выбросило стайку мелких пузырей. «Все, хана!» На полу кабины образовалась лужица коричневой жижи. «Ряску за ягельник принял. Эх ты, дырка!» — корил себя Рябов, выбираясь наружу. Он прихватил с собой ружье, повесил его на шею, залез на радиатор, примерился, прыгнул в сторону можжевельниковой поросли — там начинались кочки. Погрузился чуть выше колена, ухватился за ветки, выбрался на сухое. Некоторое время сидел оглушенно. До слез было жалко волнений, трудов, бессонных суток, а главное — выстраданного, бесценного в этих местах утеплителя.

«Урал» погрузился по самые борта, он сидел в болоте, задрав нос. «Глубже вроде бы не должен,— прикидывал Толик.— Ну, а если все-таки еще подзасосет? Чем тогда тянуть? В двух километрах западнее — девятая буровая»,— вспомнились ему слова Пожидаева. «Да, надо идти,— решил Рябов.— Видать, не для меня гладкие дороги. На роду написано мыкаться». Он подобрал сухую лесинку, обломал сучья и, прощупывая перед собой болотину, добрался до кабины, где хранился трос. Один конец его Толик захлестнул за бампер, другой для страховки — за сосну и пошел на зацепившийся за кромку леса ломтик солнца.

Небо приподнялось, раздвинулось, и его сковало ледком. Слабо мигнула первая звездочка. Лес угрожающе сомкнулся, контуры предметов начали приобретать нехорошую двусмысленность. Вон из-за дерева тянется лапой костлявое страшилище. Рябов вздрогнул и потянул курок.

«А-а, чтоб тебя, коряга! Нервы, Анатолий Степанович, нервы!» Сунулась под ноги кочка. Рябова броси-

ло вперед, сбоку больно наддал в плечо сучок, треснула лесорубка. Хорошая была куртка. Рябов выругался длинно, с закруткой. «Ша! Хватит! Приеду — сразу заявление на стол. Подыщите другого такого дурака! Во вьючного осла человека превратили! Окопались там, болтать и обещать мастера, а как потребуешь свое, законное, сразу вилять начинают! Начальнички-шарамыжнички!.. Иду... Куда иду?.. Запад — понятие широкое. Десять километров вправо, влево — все запад...»

От стука движка уныние рассеялось, как от сквозняка. Рябов прислушался — точно, дизель! — и бросился на звук, не разбирая дороги. Он бежал, спотыкался, падал, не обращая внимания на ушибы и ссадины. Бежал до тех пор, пока не увидел над лесом сигнальный огонек буровой вышки. «Вот она, девятая!» Дыхание осекалось, ноги подламывались. «Ничего, ништяк,— утешал себя Рябов,— теперь дойду, теперь скоро».

Нижняя часть вышки срезана темнотой, верхнюю держит на весу свет сигнального фонаря. «Чуток похожа на воздушный змей, что у нас ребятишки запускают», — напросилось сравнение. Рябов отмахнулся от него, сунулся к ближайшему балку, двугорбому от просевшей крыши. На стук дверь распахнулась сразу, как будто за ней ждали... Вышел дядька в ватнике на голое тело, взмахнул помойным ведром.

— Легче, люди тут! — выступил Рябов из темноты.

Дядька отпрянул.

— Тьфу, принесла нелегкая! Кто такой?

— С Надалымской еду, засел тут неподалеку,— ответил Толик.

— Все тут садятся,— утешил дядька.

— Где у вас тут техникой можно разжиться? У меня машину засасывает.— Толик от нетерпения схватил его за ватник.

— Ты право от дороги давал или лево? — невозмутимо полюбопытствовал дядька.

— Право! Право! — закричал Рябов, теряя терпение.

— А надо было лево.— Дядька, похоже, наоборот — терпением запасался.— Далеко от дороги сел?

— Метров тридцать.

— Не, не должно засосать, самая топь — она дальше.

— Да шевелись ты, твою мать!.. — взревел Рябов.

Дядька спокойно вылил помои.

— Иду,— пошел нога за ногу.

— Поживей нельзя?

— Можно,— ответил он и пошел еще медленней. Остановился вдруг, вернулся.— Ты этого, чай там пей у меня, заходи.

Рябов взмолился:

— Милый мой, пойми, пропадет груз. Мне только головой в прорубь останется! Ну чего ты тянешь?

— А чего мельтешить? — Дядька в недоумении утопил голову в плечах.— Шоферила с «Урагана», мой сосед, вона во второй половине балка жительствует. Пока он не придет, мне его не привести.

— Так куда ж ты пошел?

Мужик задумчиво поскреб пузо.

— Не осилить там одному «Урагану». Был такой случай.

— Так что ж? — обессиленно уронил вопрос Рябов.

— «Катерпиллер» надо подгонять — самое малое.

Только сейчас Рябов заметил, что в глазах дядьки тлеет мыслишка, а дураковатый вид — это от носа картошкой и мокрых мясистых губ. Спросил его искательно:

— Да где ж взять мне это заморское чудо?

Мужик подмигнул:

— А я куда шел? Приспел ты сюда ко времени. Как раз сейчас он собирается на компрессорную станцию ушлепать.— И, предупредив вопрос Рябова, добавил: — Не журыся, без меня не стронется. Я ему резак ацетиленовый обещал.

— Может, к начальству сначала? Попросить — оно распорядится, для верности. К мастеру или начальнику участка — кто тут у вас? — предложил Толик.

— Без надобности,— отверг дядька.— Что там начальство — столкуемся. Он сам себе царь и голова, а нам придан временно, время свое уж наработал. Так что, как его левая нога захочет. Ты вот что,— он взял Рябова за плечи, вывел на узкую просеку,— ступай прямо по ней. Минут через сорок аккурат к своему месту выйдешь — дорога там делает загогулину. А я тут все облажу. Не журыс-ся,— видимо, пришлось му-

жику словечко,— вытащим, не ты первый, не ты последний.

— «А-а-адин раз в го-о-од са-ады-ы цвету-ут»,— простуженно запел он и с тем потерялся в балках.

Не верилось, что вот так — косолапо и вразвалочку можно что-нибудь успеть. Но выбора не было, и Рябов поспешил назад: «Мало ли чего там —место глухое». Темнота брала свое. Куда бы она могла завести, если бы не просека,— одному богу известно. Просека, наверное, планировалась под дорогу: ни пней, ни кочек. Небо было почти беззвездным, стонала какая-то птица, давило недоброе предчувствие. Толик побежал.

На дороге он оказался чуть впереди того места, где стоял «Урал». Пришлось податься назад — вот он, второй, под прямым углом поворот. Но что это? Там, откуда он, Рябов, сворачивал в лес, проступал сквозь деревья силуэт МАЗа. Казалось, машина притаилась воровски, фары были потушены. Кто? Откуда? Почему остановился? Утеплитель здесь — на вес золота. А кто от золота откажется, тем более если оно в болото брошено? Толик замер на месте, глубоко вздохнул, унимая вдруг застучавшее в ребра сердце. Потом он подкрался на цыпочках (не дай бог, стрельнет ветка!), пригнул макушку можжевельника. Вон оно что! Шуровали двое. Один выбрасывал ломти шлаковаты из кузова «Урала» на сухое место, второй перетаскивал их к МАЗу. Дикость происходящего в первый момент оглушила его. Ну да, бывает — берут тут друг у друга, но берут по-соседски, взаимообразно. Случается, что и без спроса прихватывают (не всегда хозяина доищешься), но делают это в открытую и отдают обязательно. У кого берешь? Да у самого себя. А эти прямо-таки хапают, причем с оглядкой, по-крысиному, и отдавать, по всему видно, не собираются. Рябов задохнулся. Ворье! Сволочи! Все внимание его сосредоточилось на этих двух снующих фигурах. Он взвесил в руках ружье... «Нет, гнилое отродье! Вы у меня перед всеми людьми ответите!» Рябов дал крюка, вышел к МАЗу с другой стороны дороги. Встал за кузовом.

— Легче ты! — пискнул один.

— Не сифонь! — просипело в ответ.

Толик замер, ощущая себя до отказа сжатой пружиной. Прошаркали во мху сапоги. «Пора!» Он шагнул навстречу, повел стволами.

— Ти-ха!

В сумраке перед ним качнулось бледное, изломанное судорогой страха лицо.

— Вот что, гнида, зови второго, да без фокусов! — прошептал Рябов, осекаясь.

— Ле-еха, перекур! — позвал писклявый.

Леха появился бесшумно — хитрил. Рябов едва успел встать за дерево.

— Потише нельзя? Разорался,— просипел недовольно Леха.

Толик ткнул его стволами между лопаток.

— Стоять!

Тот дернулся.

— Лягавишь, друг! — зло процедил приятелю.

Рысий прищур, кошачья поступь. «Опасен»,— подумал про второго Толик и надавил стволами.

— К машине оба! Фары!

Писклявый полез в кабину, включил. У сипатого напряглась спина.

— Спокойно! — Толик поставил обоих в свете фар, спиной к капоту, сам отошел в темноту на обочину.

— Кто такие?

Писклявый угрюмо смотрел под ноги, сипатый ощерился:

— Прохожие люди.

Толик сплюнул.

— Сейчас подойдут наши — доставим куда надо. Там все выложите, как на духу.

Сипатого словно подстегнуло — пошел на Рябова с нехорошей улыбочкой, давился словами:

— Брось фраериться, есть толковый разговор для тебя...

— Назад!

— Товару там у тебя на три штуки, одна — твоя...

— Стоять!

— Все будет ловко, земеля, все схвачено,— шел прямо на ружье.

— Стреляю!!

Но попробуй выстрелить в живого человека, почти в упор, если до этого и курицы-то зарезать толком не мог.

Сипатый присел, сунул руку в карман.

— Ты не сделаешь этого, корешок. Глаза у тебя добрые, отсюда вижу.

«Этому по ногам, а с тем справлюсь».— Толик увел вниз прицел, попятился.

Но даже по ногам оказалось немыслимо трудно. Рябов матюгнулся, качнул стволами, долбанул поверх головы — темноту лизнули огненные языки, переломилась тишина. Сипатый отпрянул, второй метнулся за кабину.

— Леха, атас — псих!

— По себе же шмальнул, земеля, в тебя же и вернется! — закричал сипатый истерично.— Эх, кудрявый! — Он выдернул из кармана руку.— Стреляй, шкура! Ну-у-у! — взвыл со злорадством.

Толик хотел обернуться — шорох за спиной опередил его, в затылке рвануло, перед глазами вспыхнуло и изошло бенгальскими огнями солнце...

— Чего волынил?

— Раньше бы его назад подал, я бы раньше и заделал.

— Может, примочить? Болото спишет.

— Под вышку пойдешь, дура.

Толик приоткрыл один глаз. Веко подавалось неохотно, вязко. Возле самого лица — носки чьих-то кирзовых сапог. Правая щека и висок — в луже. Холодит, от этого и очнулся. Голоса. Вот этот вроде бы незнакомый. «Трое их, значит, одного в секрете держали. Это он меня сзади. Чем?» — шевельнулась вялая мысль.

— А ты его не очень?

— Норма, отдохнет с часик, а то шустер очень.

— Давай за дело, на станции не будут до утра ждать.

«Дело? Я вам по-кажу дело, воровское отродье!» — Злость медленно поднимала Рябова из грязи.

Те трое, наверное, не рассчитывали, что он так быстро встанет. Они шли не оборачиваясь, и это подарило ему несколько минут. Слабость чуть отступила, рассеялась пелена перед глазами. Фары освещали всех троих. «Главное вырубить третьего, самого крепкого, остальное — семечки»,— прикинул Рябов. Тот, третий, словно услышал — резко обернулся, прыгнул к Толику, ударил ногой — хотел кончить разом, используя преимущество в росте. «Эх ты, лапоть, разве так это делается!» Толик отпрянул в сторону. Стопу — на бедро, довернуть. Р-раз! Звериный вой пошел выгонять

тишину из укромных уголков леса. «Порядок, старшина был бы доволен!» Оскаленный, с заляпанным грязью лицом, Рябов, наверное, был страшен. Двое других испуганно отпрянули. С разворота всю тяжесть тела Толик бросил на челюсть сипатому: пятка — бедро — плечо — кулак. Всего какой-то сантиметр выиграл сипатый своей рысьей реакцией — кулак наполовину скользнул по челюсти, отшвырнул его к капоту. Непогашенной частью энергии Рябова бросило на землю. «Что ж ты мажешь, первый в Луневке кулачный боец? Видать, стронули они тебе что-то в черепушке?» — корил себя Рябов, пытаясь встать. Удар сзади опрокинул его снова. «Джентльмены удачи не дерутся голыми руками. Ай да пискля!» — замкнула сознание несерьезная мысль. Встряхивание тела от последующих ударов ощущалось как езда на верхней полке поезда: сон — частокол на границе твоего восприятия. Через частокол проникают только толчки и покачивания. А еще просачивается теперь уже знакомый плаксивый голосок:

— Эта падла мне мосел своротила! Ножонками его поярить!

Опять встряхивания. Второй голос подключился:

— Да не так — почку ему подковырни, почку!

Третий:

— Тише! Что это?

Стянутое в точку сознание Толика раскручивалось в объемную спираль. Снова стали доступны цвета, запахи, звуки. Нарастал рев и грохот моторов. «„Катерпиллер" с „Ураганом" идут — не обманули»,— както вяло подумал Рябов.

— Сматываемся!

— Шухер!..

МАЗ обдал Рябова жарким дыханием, окатил болотной жижей. «Не наехали почему-то»,— скорее удивился, чем обрадовался, и забылся снова.

— Друг, эй, дру-уг, прими-ка.

Обожгло губы, защекотало в носу, перехватило горло. Рябов зашевелился.

— Жи-ив, к-курилка!

Яркий свет пробился под ресницы, раздвинул веки. Толик заморгал.

— Мырга-ает,— умиленно протянул все тот же голос.

В склонившемся Толик узнал потешного мужика с буровой. Поодаль стояли двое: пожилой в кожушочке и столичного вида парень. На парне — фасонная куртка и проклепанные штаны, сидящие теснее собственной кожи, упругие, длинные с модным зачесом волосы. «Этот с «Катерпиллера» — аристократия!» — догадался Рябов. Парень сострадательно сморщился:

— За что тебя так?

Рябов шевельнул разбитыми губами.

— Был разговор.

Его осторожно подняли. Тот, что в кожушочке, ощупал Толика и авторитетно заключил:

— Кости целы — мясо нарастет. Ну, пройдись.

Рябов, припадая на левую ногу, сделал несколько шагов. Ныли бок и спина, раскалывался затылок.

— С-сволочи!

— Да нет — добренькие,— длинноволосый подобрал обернутый ветошью разводной ключ.— Видишь, чем обрабатывали, не голым металлом. Людишки, видно, в этих местах случайные. Не знают, что за воровство здесь руки отрывают.

Пожилой нагнул Толику голову:

— Дай-ка!

— Ой!

— Шишка... другая... Ничего, котел целый, будет варить. Я сейчас на рацию смотаюсь, дам по всей трассе че-пэ. Никуда голуби не денутся, тайга их на людей выгонит.— Он проворно залез в кабину, погнал «Ураган» по просеке. Только сейчас Рябов заметил, что «Урал» стоит, стыдливо притулясь к «Катерпиллеру».

— Уже?!

— Пять минут работы,— усмехнулся парень.— Двумя тросами зацепили — и все дела. Сосну, правда, одну пришлось завалить: мешала на выезде.

Старый знакомый с буровой перебил его, словоохотливо забарабанил:

— Сунулись мы сюда, а МАЗ этот мимо нас, как ошпаренный, шмальнул. Ну, думаю про тебя, выбрался — лупит на радостях. Подъехали ближе — не, грузовик сидит. А где водитель, то есть ты? Я подумал еще, что в том МАЗе оказия тебе случилась. Нас не дождался, за своими наладил. Выводим твой «Урал»

на дорогу, а тут и ты лежишь — весь в грязи, не очень углядишь. Ленька грит, что бревно, я грю — где же бревно, вон сбоку голова рыжая торчит. Дальше — сам знаешь. На МАЗе, выходит, те мазурики ушли. Залетные, смекаю, людишки-то, дури по самую маковку. То есть, жадность впереди ума бежит. Да, заведет она их в самую мотню. А что в драку ввязались, так это со страху, точное дело... Шуба у тебя в кабине богатая и еще вот,— Митяй потряс фляжкой.— От-мен-нейший продукт!

— А ружье? — спохватился Рябов.— Курковка?

Леня развел руками:

— Йок, с собой, наверное, прихватили как сувенир.

Толик огорченно покрутил головой.

— Что же я начальству-то скажу — для него вез.

— Скажешь, что придет через неделю. Егор сейчас по рации отсемафорит — этих быстро засветят. Такая шантрапа не часто здесь попадается. Видна издалека.

Толик вздохнул:

— Хорошо бы!

Он с кряхтеньем встал на колесо, заглянул в кузов — успели снять только верхний слой. «Плевать, набирал с запасом — хватит». Опять пришлось Толику переоблачаться в тулуп. В прежней одежде только ворон пугать. «Одеваешься, раздеваешься — сплошной стриптиз»,— сетовал он на обстоятельства. Беспокоила левая рука — плохо слушалась, вспухла.

— Егора надо дождаться,— сказал Митяй.— Куда тебе ехать такому? Вернется Егор с рации — довезет. Его горыныча я назад отгоню, а он вернется с первой же оказией.

— Вот еще! — возмутился Рябов.— У вас на буровых народу с гулькин хрен, а вы еще в кучера нанимаетесь. Ну помяли немного — всего и делов. Не баба, доеду.

— Нет, так не пойдет! — Леня решительно направился к его кабине, но Толик уже дал газ.

— Все путе-ом!

Митяй бросился за машиной.

— Флягу-то, флягу! Зелье-е-е!

— За мое здоровье! — откликнулся Рябов и прибавил газу...

Пожидаев был прав — машина шла, как по асфальту. Толик управлял одной рукой. Давно не ездил по

таким дорогам. Сплошное удовольствие, если бы только не ныла спина, не ломило бок, да вот еще затылок — словно гвозди в него заколачивают. Рябов терпел, усмехался: «Не многовато ли набирается этих «если»?» А что там с физиономией? Он заглянул в зеркальце и повернул его от себя. Лучи фар пересчитывали стволы сосен, торопились вдоль обочины елочки. Далеко впереди машины неслись мысли Рябова: «Урал» еще на полпути, а мысли уже в Октябрьск вбегают, прямо к Антипову на крыльцо, тормошат, будят начальника. Он с подвывом зевает, тянется к папиросам.

«Что так рано, Рябов?»

«Дело есть, Григорич, увольняться желаю».

«И только? Да ты каждый месяц увольняешься».

«На этот раз точно. Баста. В этом рейсе я и на колесах, и пешком, и грузил, и летал, и тонул, плюс битая морда. И все за те же деньги. Невесте за подарком ехал, а привез синяки да шишки».

«А я тебе как раз прибавить собирался».

«Все, поздно. Меня в городе любая контора с поклоном возьмет».

«Что верно, то верно, но только знай, Рябов, мне тебя очень будет не хватать. И ребята по тебе скучать будут».

Тут Толик так разволновался, что притормозил и вышел перекурить.

«Знаю, Григорич, все знаю, но хватит, наломался, хочу жить культурно, по-людски, чтобы ванна, театр и все такое».

«Вот у тех, кто будет после нас, все это будет. Но кто-то же должен быть первым».

«Побыл».

«Неволить не могу. Жаль...»

Толик обратил повлажневшие глаза к небу. С ума можно сойти! Над головой студено дышал безбрежный, графитовой черноты омут. Звездные россыпи тонули в нем, усеивая его дно мерцающим крошевом, по которому стлалась в сторону Октябрьска поземка Млечного Пути. Толик зажмурился. Казалось, еще минута — и завороженная душа его рванется из груди в эту обморочную глубину.

Он бросил окурок, запустил мотор и, оставляя за спиной клубы лунной пыли, повел свой «Урал» туда, куда вела его опрокинувшаяся в небо дорога.

Морил сон — склеивал веки, валил грудью на баранку. Толик держался — дрему гнала боль. Боль довела его до огней вертолетной площадки, помогла одолеть объезд. И все же у конторы усталость взяла свое. «Урал» ткнулся бампером в стенку склада и остановился. У Толика едва хватило сил, чтобы выключить зажигание...

Проснулся он от детского щебета.

— Мика, Мика!

— Не т'огай Мику, он хоёсый!

На конторском крыльце играли два гномика в капюшончиках. «Вот, значит, куда поселил их пока Федорыч. И то дело»,— подумал Рябов.

Дверь конторы распахнулась, вышли Мишин и Антипов.

— Смотри-ка ты — Рябов!

— Ну и дела! Я уже и не надеялся. Золотой парень!

Они подошли к кабине сбоку. «Это хорошо — не видно побитой морды»,— подумал Рябов. Быть битым, а тем более в таком виде показываться на люди он считал для мужика, независимо от обстоятельств, позорным. Для верности поднял воротник тулупа.

— Рябов, сейчас борт с трубами придет. Разгрузишься — трубы те с вертолетки забери,— прокричал через стекло Антипов.— Стоит теплотрасса, поднатужься, как человека прошу!

Толик соорудил кукиш. На большее его не хватило.

Свежевыбритое лицо Мишина внезапно побагровело до свекольного оттенка. Обычно невозмутимый, он взорвался таким матом, от которого шарахнулись из-под крыльца собаки, медведем пошел на Антипова.

— ...дай отдышаться человеку, он же к черту в преисподнюю лазил!

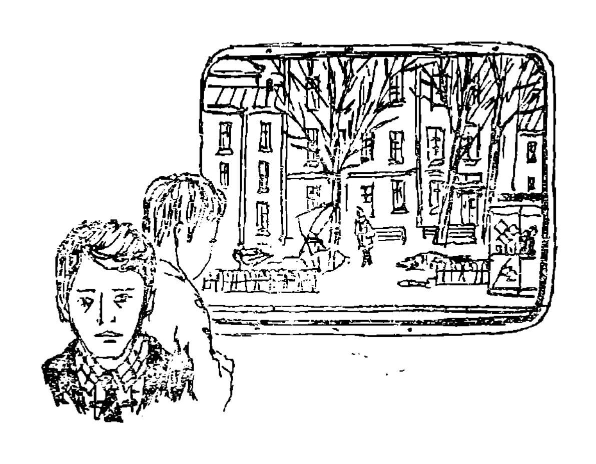
Антипов попятился, замахал руками:

— Написано на нем. что ли!

— А ты приглядись!

С восточной стороны зазудела металлическая стрекоза, окунулась в солнце, вынырнула и заскользила по его лучам в сторону поселка.

Рябов включил зажигание.



Леонид Липьяйнен

В ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ

Маленький мальчик стоит, прижавшись к стене старого дома, словно пряча от солнца свою тень. В кожу его ладошек, закрывающих честно-пречестно зажмуренные глаза, впились острые зазубринки окаменевшего раствора, намертво скрепившего закопченные временем, бурого, дореволюционно-тюремного цвета кирпичи. Через их поверхностное тепло стынущий от страха мальчик чувствует заключенный в этой стене холод, но оторваться от нее и повернуться лицом к солнышку он по правилам игры не может, он должен считать до конца: раз... два... три, четыре-пять...

Со стороны трудно даже определить: играет или плачет этот одиноко уткнувшийся в стену мальчик. Но можно увидеть на глухой стене светлый след от здания, когда-то замыкавшего двор и превращавшего его в колодец, на дне которого так же, как мальчик, играл в прятки его отец со своими сверстниками. Многие из них так и не увидели в своем дворе солнышка, потому что дом, сметенный войной, тот, что заслонял солнце, был именно их родным домом.

Пока мальчик считает, я успеваю разглядеть на брандмауэре единственное и странное, как глаз на затылке, оконце. Оно забрано решеткой, чтобы вырвавшийся из детских рук мячик не нарушил звоном стекла его угрюмой взрослости, хотя это оконце — единственная отдушина и ахиллесова пята его односторонней окаменелости, тусклая и неумытая,— навряд ли зазвенит так восторженно-ликующе, как звенят от чудом попавшего в них мячика блистающие на солнце, чистые оконные стекла — те, что, лопнув от смеха, наверняка разбегаются по всему свету веселыми солнечными зайчиками.

Нет. Это ослепшее стекло просто треснуло бы от злости и, вывалившись из своей громадной кирпичной рамы, падая, долго бы бранилось. Шлепнувшись о землю, этот силициум-о-два поджидал бы, притаившись, беспечных мальчишек, чтобы порезать их ноги.

«И в том, что оно сидит за решеткой, есть свой особенный смысл»,— подумал я и тут же догадался, что мальчик, как я ни прятался за свои взрослые рассуждения, опять меня нашел и теперь мой черед искать.

Иной раз ночью, когда я подолгу лежал с открытыми глазами, сосчитав до ста, но так и не уснув, а слегка разбавленная лунным светом темнота, скрадывая углы узкой, упирающейся в незашторенное окно комнаты, превращала ее в некое подобие подзорной трубы, мой взор, ни на что по пути не наталкиваясь, как бы весь уносился в отделенную от меня стеклом бесконечность ночного неба, словно притягиваемый к луне — единственному предмету в этом безвоздушном пространстве.

Сегодня, не перебиваемая дневным светом и земной тенью, луна светилась полно и кругло, как сквозь толщу воды брошенная на память монетка.

Я перебирал события минувшего дня и не мог припомнить ничего такого, что мешало бы уснуть. Днем мы ездили за город, на залив, гуляли, фотографировались. «Должны получиться чудесные слайды,— умилялся я, представив среди вздыбленных у берега льдин красочные фигуры играющих в снежки приятелей.— Странно, что мы так редко выбираемся за город... Нет, все не то... Разговор с девушкой?.. «Кем я работаю?» Нет, не по призванию. Сижу в душном КБ и конструирую новую соковыжималку. Но я-то с детства мечтал

быть дворником. Вот расчищал сегодня снег перед гаражом, чтобы покатать вас,— это было такое счастье!» Я вспотел. До свободной от снега дороги оставалось всего метра три, я мог спокойно, не спеша, отдохнуть и, созерцая свою работу, великодушно увидеть: «Какой удивительно большой падает сегодня снег!»

Мне захотелось наконец-то рассмотреть снежинки во всех подробностях их кристаллического скелетика. В силу своего слабого зрения я поднес ладонь в рукавице к самому носу и, пока, затаив дыхание, рассматривал снежинки, почувствовал, что чем-то взволнован. Что-то удивительно знакомое...

Не сразу я догадался, откуда взялось это волнение — это был запах из детства, именно так пахли шерстяные варежки, на которых от тепла рук таял снег,— казалось, совсем уж забытый повзрослевшим горожанином запах.

Мне захотелось узнать, что же в моем подсознании подразумевается под этим понятием: «мальчик». Я закрыл глаза, сказав про себя: «Мальчик».

После немой вспышки чернильного мрака вновь на прежнем месте появилась луна; я запомнил ее постепенно гаснущее остаточное свечение, и она повисла в верхнем правом углу неба, на этот раз уже мысленной картины, которую, как диапозитив в волшебный фонарь, подсовывала память.

Странность была в том, что каждая такая картина представляла собой только часть когда-то цельного впечатления. Так, вначале я видел луну на густо-синем небе, потом небо снизу отгородилось зазубренной белой границей словно намалеванного на фанере темного леса, затем вспыхнули звезды, и такие яркие, что, не рассчитав свои силы, они погасли, уступив место снежинкам,— я вижу их так отчетливо, что узнаю в них те, что из сложенного во много раз листка бумаги вырезают дети. Снежинки замедляют полет и плавно, плашмя ложатся на снежную поверхность, пропадая на ее фоне. Заснеженное поле перекрещивают две тропинки; горит фонарь, желтый конус которого как бы высвечивает из мрака две темные неуклюжие фигурки: девочки и мальчика...

Тут включается усыпленный на мгновение, проворонивший самое начало рассудок, отсчитывая компью-

терно-светящиеся, набегающие друг на друга цифры... 15, 14, 13, 12... 13 — именно несчастно-тринадцатилетним видел я сейчас этого мальчика.

«Непонятно, однако,— поразился я,— откуда эта театрально-сказочная условность?» Ведь я, маленький горожанин, даже в раннем детстве воспринимал, скажем, снег не как сказочное одеяло, которым зимушка-зима укутывает от морозов землю, а как атмосферные осадки. Чудом было, как убирают, изгоняют из города мешающий жизни машин снег.

...Едва завидев расправляющееся со снегом чудовище, малыш тянул к нему за руку упирающуюся и, как ему от этого казалось, тоже боявшуюся чудища маму и завороженно следил за сверхъестественным для механических существ движением загребущих лап. Они двигались так странно! Не как заводной автомобиль — прямо или по кругу — и не как юла, вертящаяся вокруг оси с шишечкой на конце... Грязные комья снега лапы передавали маленькому эскалатору, и тот, натужно ревя, поднимал их на головокружительную высоту, чтобы сбросить оттуда в железное корыто подъехавшего задом самосвала, которым лихо, одной рукой, управлял высунувшийся по пояс из кабины шофер. На другой стороне улицы уже ждал новый самосвал с высокими, приделанными для зимы дощатыми бортами, ждал, мелко дрожа своим металлическим телом от нетерпения повторить волшебство для детей с самого начала...

И все же странно: этот намалеванный лес...

В детстве мальчика, проведенном в центре города, во дворе-колодце, лесом был дремучий лабиринт дровяных сараев, которыми зарос пустырь на месте погибшего в войну дома. У родителей — коренных ленинградцев — родни в деревне, куда можно отправить на лето детей, не было. А выехать на дачу им удалось лишь один раз.

И наверное, поэтому, когда мальчик впервые гулял с той девочкой и она таскала его по Ботаническому саду, воображая его изумление от каких-то экзотических деревьев, он следовал за ней с житейской умудренностью взрослого, которого ребенок тянет за руку, обещая показать чудо.

Она не догадывалась, что задача отличить липу от тополя привела бы мальчика в полное замешательст-

во. Определить породу автомобиля — это он мог с детства, а всяких там цветиков-семицветиков, лютиков и ромашек он находил недостойными внимания серьезного мужчины. Мальчик ценил в себе трезвый взгляд на жизнь и полностью разделял мнение учительницы, что у него критический склад ума. Он полагал, что в голове у настоящего мужчины нет места для сантиментов. Его идеалом стал эрудированный и настроенный ко всему скептически человек. Мальчик гордился своим умением представить один и тот же поступок или проступок как с хорошей, так и с дурной стороны.

Слава о его якобы энциклопедических знаниях распускалась давно, с четвертого класса.

...Проходили войну двенадцатого года...

Побывав в гостях у дяди, порывшись в книжном шкафу, мальчик нашел нужный ему том энциклопедии и стал разглядывать цветные вклейки. Ему казалось очень важным уметь отличить гусара от драгуна, улана от кого-нибудь еще; потом он принялся читать сопроводительный текст.

...И когда на уроке он услышал от учительницы, что Наполеон проиграл Отечественную войну 1812 года из-за того, что не имел связи с солдатскими массами, мальчик поднял вверх руку. Срывающимся от волнения голосом начитанный очкарик вступился за Бонапарта: «Галина Михайловна! Я читал в энциклопедии, что солдаты любили своего императора и называли его „наш маленький капрал"!»

Учительница, подумавшая, что он специально хотел подорвать ее авторитет, до слез разозлилась и вызвала в школу родителей борца за справедливость...

Однако это ничего не изменило. Мальчик запоем читал взрослые, толстые книги и, чтобы не терять время даром, пропускал пустые, не несущие ровным счетом никакой информации описания пейзажей и любовных излияний главных героев.

Учился мальчик хорошо. К нему прикрепили второгодника Алексея Евтухова. Целый год мальчик подтягивал Евтухова по всем предметам, исключая физкультуру. За время шефства они так сблизились, что классная воспитательница стала поговаривать о вредном влиянии дурных приятелей.

Хулиган Евтухов почему-то полюбил делать уроки и допоздна засиживался у мальчика. Мальчик был признателен Алексею за то, что тот искренне уважал его обширные познания.

Хулиган Евтухов пользовался громкой славой. Она тоже давно тянулась за его спиной. В классе были ребята несомненно сильнее Лехи, низкорослого и не так уж физически крепкого, но он не боялся быть избитым и потому почти никогда и не был бит.

Быть может, других пугало то, что он старше. Никогда так не чувствуется разница в возрасте, как в детстве.

Евтухов наверняка сознавал слабость своей славы и силы, иначе зачем бы он, когда друзья приехали на зимние каникулы в пионерский лагерь, где их никто не знал, во время первого же тихого часа стал громко рассказывать о том, что сюда к нему приедут дружки и отметелят любого, «кто будет против нас хоть что-нибудь иметь, ребята». Обращением «ребята» Евтух как бы брал под защиту всех вдруг притихших обитателей палаты. Загодя предупрежденный, что всему сказанному Евтуховым нужно поддакивать, мальчик вскоре убедился в Лехином знании жизни. Не только с Евтуховым — заикающимся, с прямой на лоб челочкой мальчишкой, но и с ним, очкариком, здоровались за руку совсем уж большие ребята из первого отряда. Восьмиклассники!

Опьяненный успехом Леха забыл про мальчика. Найдя единомышленников, с восторгом слушавших его россказни, Евтухов, размахивая кулаками, живописал им драки, в которых ему довелось участвовать. Мальчику обрести друзей помог случай.

— Грянул выстрел, свалился парнишка,
Как гитара вечерней порой.
На коленях осталась лишь кепка,
Пулей выбит был зуб золотой!

Аминь. Пошли в бильярд играть,— сказал Костик и засунул гитару за спинку кровати.

Гарик, прицеливаясь, елозил кием, а Костя, присев, положив подбородок на бортик стола и прищурив глаз, выверял траекторию удара друга и по привычке ехидничал:

— Зуб даю, шар в лузу не войдет!

Гарик неумело ткнул кием в шар, и Костя, взвыв от боли, скрылся в туалете.

Выйдя оттуда, он бросил на бледного, перепуганного Гарика убийственный взгляд и сплюнул на пол кровью.

— Катись отсюда, пока цел!

Гарик понуро ушел.

Костя, только что так неромантично потерявший зуб, из-за этого хорохорился:

— Нормально! Теперь наконец-то вставлю себе настоящий, золотой...

— Если мне навстречу идет девчонка, я сначала смотрю на ноги, а только потом на лицо,— высказывал свой опыт Гарик, считавший себя орлом в вопросах любви и дружбы.— А королева красоты лагеря у нас Сашка. Я тебе ее как-нибудь покажу. Фигура у нее — класс!

Гарик показал Сашу мальчику во время КВН со вторым отрядом. «И что в ней все нашли?» — недоумевал мальчик, украдкой ее разглядывая. Она, встретившись с ним глазами, смутилась и покраснела. «И смущается, королева! Какая она королева — обыкновенная девчонка!» — скептически решил мальчик. Саша была в белом, домашней вязки свитере, легонько приподнимавшемся на ее груди, когда она, переживая за свою команду, взволнованно дышала. ...Это была принцесса...

Мальчик участвовал в конкурсе художников. Его соперницей оказалась аккуратненькая черненькая девочка, ученица английской школы. Признанная лагерем художница, она, расстелив на полу лист бумаги, надменно взглянула на мальчика и быстро нарисовала заданную ей лису... Лисица вышла такой, какой знакома всем по рисованным мультфильмам. Мальчик по жребию рисовал собаку. Ему было далеко не все равно, какую собаку рисовать. Мальчик недолюбливал щенков или просто так собак... Одна такая «простособака» имелась у его прежнего приятеля Петьки Макарова. К Петьке, по прозвищу Боцман, вечно серьезному, стриженному почти наголо крепышу, зимой и летом носившему тяжелые черные штаны, мальчик частенько забегал смотреть кортик. Вся квартира Макаровых была наполнена военно-морским содержанием:

начиная со стен, увешанных флотскими фотографиями отца, и кончая полом, который, несмотря на обилие разбросанных по нему тряпок, никогда не просыхал. В море превращала пол старая, подслеповатая сука Цусима, однажды увязавшаяся во дворе за поразившимся ее сообразительностью Петькой... «Опять собаку гулять не вывел!» — злился пришедший с работы, как всегда навеселе, отец, и тогда Боцман траурно, словно флаг, приспускал штаны. Цуська молча смотрела, как Большой хозяин дрессирует Маленького, и в ее слезящихся глазах не отражалось ничего, кроме слепой преданности.

...Мальчик хотел нарисовать собаку умную. Тем собака и отличалась, в глазах мальчика, от остальных животных, что в ней можно было пробудить разумное начало. Благодаря правильной дрессировке четвероногое могло стать необходимым, как двухколесный велосипед.

Из-под его карандаша уже начала выглядывать умная восточноевропейская овчарка, открывшая пасть, потому что запыхалась, пока со всех ног бежала на его зов. Девочка, склонив над рисунком голову, постепенно утрачивала свою надменность и, не выдержав разрывавших ей сердце мук, разрыдалась и убежала. Мальчик не заметил бегства соперницы — высунув от усердия язык, он ползал на коленках по бумаге, заставлял блестеть на солнце собачью шерсть.

Победила дружба. Юным художникам вручили призы: большие красные карандаши «Пионер».

Но на следующий день художница прислала записку на английском языке: «Я люблю тебя...» Когда в тихий час в палату пришла усмирять мальчишек вожатая второго отряда, мальчик, выгораживая товарищей, сунул ей под нос записку.

— Вы за своими смотрите! Вон ваши девочки нам записки какие пишут! Мы такими глупостями в первом классе занимались!

...Только не знал мальчик, что художница будет его, дурака, долго любить... Нет, он, конечно, был уверен, что она будет его любить, а не знал, что же это такое: любить. Но он многого еще не знал. Ведь для того чтобы понимать, надо почувствовать. А вот для того, чтобы почувствовать, надо еще не понимать...

Счастливым вернулся из лагеря мальчик. Смеясь над ним, мама говорила, что он ночью во сне кричит «ура!». Он ходил по школе и распевал привезенную из лагеря песню, чтобы все знали, какие есть у него интересные друзья. «Это вместе с ними я разучил эту песню, которую здесь никто еще даже не слышал».

Ходящая в нем ходуном энергия звала на подвиги, и как-то весной он, уговорив Евтухова, поехал к Саше. А куда было еще ехать, как не к королеве красоты?!

Саша жила на Аптекарском острове, и дом ее, что их удивило, стоял в Ботаническом саду.

Открыла им, подталкивающим друг друга к двери, вместо долгожданной Саши какая-то бабка.

— А Сашенька, детки, здесь больше не живет. Они с неделю как переехали. А вы кто ж такие будете?

— Из класса мы, бабушка. Учимся вместе.

Соврав, мальчик сразу об этом пожалел: так он лишал себя возможности узнать, где ее школа.

— А из класса уже заходили,— засомневалась старуха,— про книги спрашивали. Сашенька-то заболела, а книги не сдала.

— Так и мы за книгами.

— Вы у матери ее спросите — она тут, в саду, в библиотеке работает. Спросите Анну Николаевну, вам ее и позовут.

Евтухов заартачился:

— Д-да брось ты. Н-на фиг нам с ее мамашей связываться!

Не пасовавший перед хулиганами Леха почему-то не любил, когда дело доходило до родителей. Услышав, что мальчик пойдет даже один, Лешка смирился, не веря в успех.

Библиотеку они нашли слишком быстро. Мальчик не успел придумать, кто они такие и зачем им нужна Саша. Он стоял перед дверью библиотеки, переминаясь с одной мысли на другую: то ли говорить неправдоподобную правду, то ли правдоподобную ложь.

Открылась входная дверь, и с улицы с портфелем под мышкой влетела Сашка. Как она удивилась!

Не поверив, что они приехали к ней, она заставила мальчика два раза рассказать, как выпытывали они у соседки ее адрес.

— Она такая, точно! — радостно соглашалась Саша.— И не дала?

— Нет!

— Да врете вы все!

И мальчик опять принимался уверять ее в том, во что ей так хотелось верить. Саша написала им новый адрес и сообщила, что мир тесен,— оказалось, она будет учиться в одной школе с Гариком! Потом попросила:

— Может, вы меня подождете? Я к маме, на минутку,— и, увидев на лице мальчика согласную на все улыбку, исчезла в дверях.

...Они гуляли по саду, фотографировались, она таскала их за собой, мечтая удивить диковинными деревьями. Но что на свете могло сравниться с таким чудом, как Саша!

Мальчик напечатал фотографии и снова уговорил Евтухова составить ему компанию, хотя тот долго рыпался, ни с того ни с сего выразив желание заняться лучше уроками.

Они приехали к Саше, и, когда позвонили, никого не оказалось дома. Евтухов предательски повеселел. Мальчик приложил столько усилий, чтобы приехать к Саше, что готов был ждать хоть целый день. Евтухов, скрепя сердце, согласился,— бросать друга, в его глазах, было не по-мужски. Битый час они околачивались во дворе, пока мальчика не осенила счастливая идея. «Это будет эффектно, когда возвращающаяся домой Саша увидит нас, взрослых, не без юмора, мужиков, качающимися на детских качелях». Еще полчаса они качались на скрипучей доске, мальчик лицом в сторону Сашиной парадной, Евтухов тоскующим лицом к нему...

...Я иду по дворику и чувствую, будто кто-то на меня смотрит. Несмазанно скрипит доска — дети на качелях качаются... Никого...

...Вверх — вниз, обрадуется или нет? Мальчик то парил в облаках, то возвращался на землю.

Саша издали помахала ему рукой.

Она, рассмотрев снимки, расстроилась.

— Мама всегда мне говорит: «Когда фотографируешься, стой спокойно». А я опять...

На фотокарточках она поправляла либо шапочку, либо выбивавшиеся из-под шапочки волосы.

— Может, зайдете?

— Да как тебе сказать,— радостно промямлил мальчик.

— Зайдите! — упрашивала она.— Я вам квартиру покажу.

И за Сашей в квартиру вошли, пропустив друг друга в дверях, мальчик с Евтуховым.

— Раздевайтесь,— сказала Саша, уходя с сумкой на кухню.

Мальчик снял шапку, Евтухов тоже. В приоткрытую дверь приятели увидели выстеленную ковром комнату. Мальчик скосил глаза на замызганные ботинки Евтухова. Помолчали. В наступившей тишине тоненько звенело в серванте. Из кухни вернулась Саша.

— Пошли домой, чего там! — вдруг брякнул этот неотесанный мужлан Евтухов.

С извиняющей Лехину бестактность улыбкой мальчик попрощался:

— Ну ладно, мы пойдем, у нас дел много...

Надевая на лестнице шапку, он сказал, ликуя:

— Ну видишь! Что я тебе говорил!

...Он несколько раз приезжал к Саше. То привозил снимки, то еще что-нибудь...

Но как странно выглядели эти свидания!

Задолго до визита мальчик измышлял, что сказать, если откроет Саша, или что сказать, если откроют родители; заходить или остаться в дверях, раздеться или для начала не стоит — чуть ли не как подойти к двери и позвонить! А в результате, вытирая о дверной коврик ноги, краснея, врал, что спешит, дела, и, быстренько распрощавшись, выскакивал на улицу, облегченно вздыхал и целую неделю, обсуждая сам с собой это свидание, радовался: как здорово все получилось!..

Приехав снова на зимние каникулы в пионерлагерь, мальчик в первый же день похвастался Костику: «Стоит мне только захотеть, и Саша в два счета будет моей».

После тихого часа к нему подошла Римма, одна из семи нравившихся прошлой зимой девочек, и спросила, знает ли он, почему Саша не пошла на обед. Мальчик приятно удивился, что даже в предлоге, под которым начала разговор явно желающая побеседовать с

ним Римма, его имя связывается с Сашиным. «Наверно, Сашка уже разболтала, что я к ней приезжал»,— втайне радуясь, сердито подумал мальчик. Вслух он выразил недоумение, что, мол, Римме, как девочке, это вроде бы лучше знать... Честно говоря, он не заметил, приходила Саша обедать или нет.

Но к величайшему ужасу мальчика, оказалось, что кто-то из девчонок подслушал разговор с Костей и передал его слова Саше. И она никуда не хочет выходить из палаты, плачет, а ему «нужно извиниться и сказать, что это неправда». «Правда, ты не мог этого сказать?» — продолжала верить в него Римма.

Мальчику предстояло объясняться. Он понимал: самое важное, что нужно сказать,— это то, что он хочет с ней дружить, и не только в лагере, а вообще. А, мол, Косте он сказал так потому, что мальчишки еще просто не поймут и посмеются над их дружбой, и вообще среди мужчин принято так говорить о женщинах, и хотя он понимает, что это не совсем хорошо, но тут уж ничего не поделаешь. А Костя, тот понимает отношения между мальчиком и девочкой как несерьезное развлечение, а он, наоборот, хочет с нею по-настоящему дружить, и если они будут дружить, то она сама увидит, но Косте сказать иначе было никак нельзя, лучше бы вообще не говорить, но он его друг...

Обычное наше заблуждение! Говорим пошло о высоком, о нашем чувстве, считая, что этим оберегаем его, хотя другой, так же пошло рассказывающий нам о своих победах, уходя, думает: «Какой же ты, братец, пошляк!» Впрочем, как и мы про него.

Пожалуй, в любом мужчине, каким циничным он ни выглядел бы в наших глазах, живет образ светлой любви, который даруют нам мать и наше детство. Даже Лешка Евтухов, два раза отсидевший в тюрьме, недавно встреченный мною в гастрономе — мы столкнулись нос к носу, иначе, быть может, он не пожелал бы меня узнать,— после нескольких необязательных слов спросил, как поживает моя сестра, не вышла ли замуж... Спросил так, что в его страшном и почти неузнаваемом из-за шрама и выбитых зубов лице я увидел что-то грустное, человеческое, тоскующее по любви и нежности — девушке, давным-давно, словно в другой

жизни, среди семейного тепла и уюта ласково уговаривающей отнекивающегося, не знающего, куда деться до ночи, пацана не уходить и пообедать,— по тому, что, так и оставшись в Лехиной жизни единственным, воплотилось в образе моей сестренки.

...Предстоящее объяснение уже не пугало мальчика. Ему все было ясно, с девчонками он говорить умел — получиться должно складно и на славу. Ему даже стало интересно, чего он добьется и чем потом сможет похвастаться перед Костей.

Вечером мальчик подождал на тропинке возвращавшихся с ужина последними подружек, тронул за рукав Сашу, и, не взглянув на него, она сказала Римме и Алле, что скоро вернется.

Почему-то шепотом он долго и путано убеждал ее в том, что не сказал ничего плохого. Он ведь... Он бы ни за что про нее плохо не сказал! Она молча смотрела, как падает медленный, удивительно большой снег. Страдая от невозможности счастья, не замечая ничего вокруг, мальчик отвернулся к темнеющему лесу, пряча свое мокрое лицо...

...Наверное, вот это. Я собирался играть роль влюбленного, не зная, что уже люблю ее. И то, что я впервые видел лунную ночь, зимний лес не тогда, а в иллюстрациях к сказкам, которые я разглядывал, прижавшись к теплой шерстяной кофте читавшей мне мамы, в декорациях к детским новогодним утренникам, сыграло свою роль в том, что от этого вечера осталось сказочно-условное, театральное, бутафорское впечатление и на него, как на задник сцены, натолкнулся взгляд моей памяти.

...Но девочка неумолима...

Наконец она ему ответила:

— Я скажу тебе «да» или «нет», когда будем уезжать из лагеря,— и попросила: — Иди, пожалуйста, вперед.

И мальчик пошел, но от незнакомой боли, внезапно сжавшей ему сердце, он обернулся, и медленно, так, что он успел увидеть ее блестевшие от слез глаза, его лица коснулась тень будущего...

Но ведь и в той жизни, которую принято называть взрослой, я иногда замечал в себе похожее чувство:

я, как говорится, выяснял отношения с одной девушкой; отвернувшись к окну, я увидел курчавые, словно нарисованные, облака; как бы подчеркивая мне истинную реальность происходящего, они двигались за окном так быстро, будто чья-то нетерпеливая рука тянула их за веревочку. «Что же ты не уходишь?» — донесся до меня ее уже «свободный» голос. «Я почти ушел, но тут слышу: дети из зрительного зала кричат: „Не уходи! Не уходи!"» — «Какие еще дети!» — плача, сказала она.

...Дети шли по тропинке, и тени их вырастали все больше и больше и, став уже совсем взрослыми, соединились в вечерних сумерках, позволяя мне строить догадки об их дальнейшей судьбе.

Интересно... Что же я увижу, раздвинув шторку будущего опыта, в тех десяти, так потрясших внутренний мир мальчика, днях?

...Мальчика словно подменили. Из самоуверенного, рассуждающего обо всем на свете так, будто он это давно прочитал, знает тысячу лет и его авторитетное мнение может вызвать недоверие лишь у глупца, мальчик превратился в робкого и застенчивого ребенка...

Мальчик уже не мог, например, взявшись с Сашей за руки, счастливо кружиться по катку. Он об этом и мечтать не мог. Хоть глаза бы на нее поднять, полюбоваться ее нежным лицом.

Встретиться с ней взглядом стало для мальчика невыносимой мукой. Он смотрел в пол, и, по «определителю взглядов», пользовавшемуся среди девчонок огромной популярностью, это означало, что мальчик думает о своей возлюбленной. «Определитель» был так дорог девчонкам потому, что, куда бы ни смотрели интересовавшие их мальчики, всему находилось объяснение. Вниз — думает о тебе, вверх — страдает, в сторону — ревнует, в глаза — любит. Но мальчик и думал, и страдал, и ревновал — он любил и был не в силах поднять на нее глаза.

Как он проклинал свою мелкую, зачаточную душонку! «Надо же сморозить такую глупость! Причем именно про нее!» — сокрушался мальчик.

Едва почувствовав на себе прикосновение ее взгляда, мальчик попадал в неволю чувств, главным среди

которых было чувство неуверенности в себе. Он ужасно терялся, хотя иногда, по смыслу, должен был вроде подняться в собственных глазах.

...Он рвался к победе, глотая ртом воздух; какая была отдача! Второе дыхание так и не пришло к нему — он победил одним духом! Но все равно, когда после ужина в превращенной в актовый зал столовой объявили результаты лыжных соревнований и он, сидевший у стены, услышав свою фамилию, понял, что занял первое место и стал пробираться по всему ряду, чувствуя, что Саша обернулась, все его душевные силы ушли на то, чтобы не споткнуться и не упасть. Ему казалось, что какой-нибудь дурак обязательно подставит ногу, а он обязательно споткнется и упадет, вызвав злорадный смех всего зала. Уже в проходе, когда он шел по середине, недосягаемой для подножек, мальчик по-прежнему со страхом глядел под неслушавшиеся его ноги.

Он все-таки добрался до стола, где сидела начальник лагеря, и наконец оперся руками о покрытую красным бархатом поверхность. Но тут же ослабил их,— ему почудилось, что, так сильно навалившись, он перевернет торжественный стол, графин с принесенной из кабинета начальницы водой и испортит тем самым официальную часть.

Начальница что-то громко говорила; над столом зависла ее ладонь с отогнувшимся вверх большим пальцем. Покачнувшись, мальчик оторвал свою руку от стола, плавно перенося тяжесть неустойчивого тела на другую, постарался не задеть графин, и начальница долго трясла ее вместе со своими безвольными пухлыми пальцами, стягивая потным пальцем левой руки верхнюю грамоту со стопки. Это ей удалось; мальчик подхватил освободившейся рукой грамоту и с облегчением потянул к себе. Но только что безвольные, с облупившимся маникюром пальцы начальницы цепко держали грамоту. «Чтой-то она?! Что за бред!» — вскинул изумленный мальчик глаза и увидел шевелящиеся губы, щедро, как лыжной мазью перед соревнованиями, вымазанные губной помадой. «Спасибо, спасибо,» — приговаривала начальница. Мальчик пролепетал ей в ответ «пожалуйста», вытянул из ослабевшей руки начальницы грамоту и побрел прочь от стола.

В полуобморочном состоянии возвращался на место мальчик, пошатываясь от дружеских похлопываний и не слыша поздравлений.

Когда он сел на стул и постепенно восстановил в себе ощущение реальности, он подумал, что все закономерно, и эта победа фатально продолжила список его неудач...

Даже совсем детская игра «ручеек» — в нее поначалу с трудом заставили играть ребят не знающие, чем их занять в тридцатиградусный мороз, вожатые — доставляла мальчику невыразимые муки и за какие-то полчаса многократно умножала количество несчастий, счет которым велся в его душе.

— Ребята! Постройтесь парами, возьмитесь за руки и поднимите их вверх. Выше! Выше! — говорил вожатый, разглядывая ребят скучными глазами. Из-под солидных очков в массивной роговой оправе еле-еле и очень смешно таращился ноздрями его коротенький, тянущийся вверх, чтобы хоть как-то дышать, носик.— Кто у нас остался? Иди сюда. Ты проходишь сквозь строй, выбираешь любого и вместе с ним становитесь в конце. Тот, кто остался без пары, начинает сначала. Всем ясно?

...Мальчик выбирал Сашу, и, когда их вознесенные руки робко находили друг друга в недостижимой для его зрения вышине, он всем телом ощущал, как ее нежные пальцы касались его руки, не проникая в нее, не становясь рукопожатием, но все же эта сладостная мука обладания обрушивалась в нем лавиной отчаянного счастья... Чья-то случайная рука прерывала его неземное блаженство, и тогда он чувствовал в своей ладошке либо пустоту другой руки, уже увлекающей за собой в символический коридор, где нужно было идти, согнувшись в три погибели под рукотворным сводом, чтобы распрямиться потом последним в очереди за счастьем и встать к нему лицом, мучаясь, что вот на этот раз оно, может, выберет тебя, либо ощущал действительную пустоту, если можно так сказать про пустоту, при которой на коже теплилось воспоминание о Сашиной руке, и тогда мальчику приходилось стороной обогнуть «ручеек», углубиться в коридорчик и, встав за Сашей, поглаживая взглядом ее разделенные пробором, перетянутые аптекарскими резиночками

русые волосы, дожидаться своей участи: вновь пройти эти круги счастья...

Мальчик инстинктивно начал панически бояться участвовать в играх, конкурсах, соревнованиях — одним словом, быть на виду у Саши, и основным содержанием каникул стали бесконечные, из пустого в порожнее, разговоры: в них мальчик ничего не совершал, предавался своим мечтам и воспоминаниям о Саше, и эти разговоры придавали отношениям с любимой девочкой успокаивающую сердце иллюзию развития.

Прежде стоявшая посередине, между кроватями Гарика и Кости, кровать мальчика придвинулась вплотную к Гарькиной. Гарика он мог бесконечно расспрашивать о Саше, и далеко за полночь они шептались о своих чувствах — Гарик признался мальчику, что испытывает к Римме «вот точно то же самое, что ты к Саше».

Мальчику все же казалось, что Гарик любит не так, хуже, что только он может любить сильнее всех на свете.

...Римма, лучшая Сашина подруга Алка, Гарик и мальчик гуляли после ужина. Мальчик шел с Риммой и говорил ей в третьем лице за Гарика то, что сам хотел и не мог сказать Саше; Алка и Гарик, который должен был говорить за мальчика, отстали.

— Идите сюда,— услышал мальчик смеющийся Алкин голос. Подойдя поближе, Римма и мальчик увидели хохочущую, сидящую в снегу Алку и...

— Игорек! Пока ты не встанешь на колени, я не поднимусь! — удовлетворяя свое женское тщеславие, потребовала Алка, запрокинув от смеха голову, будто не замечая уже стоящего на коленях Гарьки...

Тесное сближение мальчика с Гариком не прошло для Кости незамеченным, и он то и дело донимал Гарьку дурацким стишком, скаля в злорадной улыбке щербатый рот. Зуб он так и не вставил, объяснив это опасностью возникновения во рту гальванического элемента. «Вот смотри, возьмут мне в драке и выбьют второй зуб. А денег у меня на второй золотой не будет. Придется вставлять металлический, и тогда...» Костик корчил гримасу, изображавшую муки человека, ударенного по зубам током. Точно такую же гримасу он строил, декламируя стишок.

Гарику волей-неволей приходилось вступаться за поруганную честь дамы сердца, и он шипел, делая страшные глаза: «Ну Костька! Убью!» Пока наконец он, науськанный общественным мнением, не выхватил из-под кровати лыжный ботинок Кости и не запустил им в спину пустившегося наутек мучителя. Ботинок настиг беглеца, когда тот закрыл за собой дверь, и перебил его дурашливый голос звоном дверного стекла.

Выгонять их из лагеря не было смысла — зимние каникулы подходили к концу.

В увозящем ребят из лагеря автобусе мальчик оказался сидящим за Алкой и весь путь до города болтал с ней, радуясь тому, как легко он поддерживает беседу с девчонкой.

Алка похвасталась, что никто так и не смог узнать номер ее телефона,— он остался тайной. Мальчик, понимая, что это ее задело — никто наверняка и не пытался,— сказал ей на ухо: «Но мне-то ты откроешь эту тайну?» Она радостно продиктовала номер, дважды на весь автобус повторив, чтобы мальчик случайно не ошибся. А Саша, до самой последней минуты не знавшая, что же ему ответить — просто из-за своей доброты и наивности сказать «нет» было для нее невозможным,— все это слышала.

Мальчик опомнился в объятиях папы, отвечая на вопрос:

— Соскучился?

— Да...

«Она ведь должна была сказать «да» или «нет»!» Только теперь до мальчика дошло, что не Саша подойдет к нему и решит его участь, а он, он должен был спросить, а он не подошел, и она подумала, что ему неважно ее решение!

Саши у автобуса нет!

Сунув онемевшему папе лыжи, сумку, протараторив, чтобы тот ехал домой и его не ждал, а он приедет попозже, у него дела, мальчик сломя голову помчался на трамвайную остановку, не замечая никого вокруг. Подбегая к остановке, он испугался, что мог запросто обогнать ее, идущую по другой стороне улицы, или не разглядел у автобуса, кем-нибудь заслоненную, но тут вид уходящего трамвая поверг его в ужас, он уцепился за повисших в дверях людей, и двери за ним захлопнулись.

...Господи, да неужели это было со мной?! Не может быть, ведь я... Я ни за что, ни за кем не побежал бы. Кто же из нас более настоящий? Он, воскресающий в моих мечтах о прошлом, или я — бледная копия его представлений о собственном будущем?...

...Как давно не ночевало во мне чувство, что я совсем другой человек! Все быстрее, по инерции прожитых лет, несешься по жизни, действительно как экспресс — без остановок, претворяя жизнь в прочерк между двумя датами на его эмалированной табличке. Как давно хотелось сойти с рельсов и, делая детские шажки, дойти по забытой ветке до ее истока — заросшего травой холмика земли — и, присев, надышаться настоянным на цветах и стрекотании кузнечиков вольным полевым воздухом, со свежей струей пения порхающей по безоблачному небу птахи.

В переполненном трамвае я возвращаюсь с работы и заново прокручиваю разговор с начальником отдела, надеясь разобраться, что же мы наговорили друг другу...

Я стоял на лестничной площадке и курил, не в силах решить, что должна ответить мальчику Саша: «да» или «нет». Мой начальник прошел мимо, спустился на две ступеньки, но, будто что-то припомнив, обернулся и заботливо спросил:

— Не надоело?

— Да нет,— ответил я,— вроде бы нет.

Тут он и завелся:

— Нет, да! Пройдемте со мной!

Пошли по образованному двумя длиннющими рядами поставленных почти вплотную кульманов коридору. У нас в отделе столько инженеров, что сажать некуда — чуть ли не парами сидим за кульманами.

Перспективу коридора замыкает, превращая его в тупик, дубовый стол моего начальника.

Сев за стол, он долго молча так на меня глядел, что я стал заикаться в мыслях. Потом он ехидно произнес:

— Хорошо для начала!

— Да начало-то какое! — перебил я.— Сидишь и целыми днями соскребаешь бритвочкой с чужих чертежей чужие ошибки!

— Да! Надо проникнуться пониманием общих задач, вы вносите свой, пускай на первых порах маленький вклад. Я ведь тоже...— И он стал увлекать меня своим примером: как он, молодой еще тогда парнишка, с отличием окончивший институт, пришел в отдел и с песней в душе брался за любую, пускай на первых порах нудную работу, а если нужно, он всегда оставался вечером и всегда сдавал ее в срок... «А я и так в срок сдаю,— подумал я.— А вечерами оставаться?! Может, сказать ему...» Начальник продолжал гнуть свои заботливые, правильные слова. «Ведь год уже вместе работаем, а по душам ни разу не говорили. Я же не бездельник, если не могу сверхурочно работать, сказать ему, что ли, что все свободные вечера гроблю на...»

— Но послушайте,— попытался заикнуться я.

— Никаких но! Хватит разговоров! Вы начальник — я дурак, я начальник — вы дурак. Идите и выполняйте, что вам сказано.

Я не выдержал, вскочил:

— Слушаюсь!

...Мальчик сел в трамвай и сразу узнал ее белую пушистую шапочку и пальтишко, куцый воротничок которого стойкой обнимал ее шею. Она разговаривала с мамой. Подобравшись поближе, он чудом в сутолоке нашел ее руку в вязаной рукавичке и требовательно потянул к себе. Она оглянулась, чтобы тут же испуганно от него отвернуться. Мальчик все держал ее руку — целую остановку! — пока она, глядя в окно, не повела головой. Нет! Уже раз испытанная боль вновь сжала сердце. В отчаянье он повернул Сашу к себе — он должен видеть ее глаза! Они полны слез.

Он шепчет ей еще не казавшиеся банальными слова:

— Саша, если тебе когда-нибудь будет плохо, ты только скажи — я все для тебя сделаю!

Девочка с мамой вышли, а мальчик все едет и едет,— ему не хочется выходить и садиться в другой, идущий к дому трамвай, ему не хочется возвращаться домой, к родителям, где есть купленный в честь приезда торт «Сказка» и на густо-синей картонной коробке которого желтая луна и звезды, как на колпаке у звездочета... Родители впервые ничем не смогут по-

мочь его горю, и даже папа, умеющий все на свете, будет тут бессилен...

...Итак, новый поворот повествования.

Вот мой мальчик в который уже раз поехал к Алке,— гуляя с ней, он надеялся выведать что-нибудь о Саше, а если у Алки будет хорошее настроение (она не высмеет его, как в прошлый раз), то и рассказать, что творится у него на душе.

Мальчику было невыносимо трудно: привыкший в лагере каждый вечер подолгу разговаривать о своей любви, мечтать вслух, что и его полюбят,— теперь, в городе, отвергнутый любимой и разлученный с друзьями, он с ужасом понимал: «Надо что-то предпринимать, ведь иначе выходит, будто ничего и нет!» А было наоборот: ничего важней его любви для мальчика не существовало. Но Римма жила на другом краю города, Гарик, увлекшись астрономией, слушать его «вздохи» больше не желал — оставалась Алка...

Вагон трамвая был полон ехавших из церкви старух, и по платкам и кокетливым шляпкам мальчик пробовал угадать дореволюционное происхождение их владелиц. Чтобы себя проверить, он стал прислушиваться к разговору: «...Всех мужиков с еродрома будто ветром сдуло. Остался Толя один с двумя гробами. Но не испугался: переложил из оцинкованного в деревянный. Он в оцинкованном-то весь белый был, а в деревянном — сразу и посинел». Старуха пересказала историю два раза, но ее товарки с интересом слушали в третий, не забывая причитать и креститься.

«Опять мне будет неудобно,— думал мальчик, отвернувшись к окну,— что не могу позвать ребят к себе в гости»,— и вспомнил, как насмешливо сощурила губы Алка, когда на ее вопрос «какой у них дома телевизор» ему пришлось ответить «КВН», мучительно этого стыдясь. Мальчику казалось, что Алка теперь непременно представит все убожество их квартиры, воплощавшееся для него в этом морально устаревшем ровеснике. Когда-то этот телевизор вызывал у первоклашки чувство законной гордости — только у него есть телевизор, и живут они лучше всех! Но со временем почти у всех ребят появились собственные телевизоры с огромными экранами, в корпусах из ценных пород дерева, отделанные металлизированной пластмассой. Теперь, когда мальчик в одиночестве си-

дел у своего допотопного и большого, как комод, коричневого ящика с подслеповатым окошком посередине, с четырьмя ужасными, как костяные пуговицы, ручками, с круглой выпуклой линзой, щели которой были замазаны пластилином, и покрытого сверху белой кружевной салфеткой, телевизор стал ему казаться древней каргой в коричневом двубортном пиджаке, десять минут соображающей, прежде чем начать «чегой-то» бормотать своим невразумительным шепотом.

Надо сказать, что у бережливой родни мальчика ничего не пропадало зря. Так, мальчик донашивал почти новое зимнее пальто своего двоюродного братца, почти новое потому, что тот еще восемь лет назад, увидев, отказался его носить, что, впрочем, не так уж и важно — пальто было перелицовано из дедушкиного, и сейчас в двубортном драповом пальто с черным, чуть вылезшим каракулем мальчик запросто сходил за своего в компании старух, которые недавно с боем взяли пустой, шедший с кольца трамвай, мигом его заполонили, причем ни одна не стояла, словно они знали, по скольку влезать, и ехали теперь, крестясь и причитая, так и не оплатив проезд.

«Какие они все-таки разные, Саша и Алка! Алка, та...» Уже тронувшийся с остановки трамвай затормозил, поджидая семенящую к нему, маленькую и беленькую, прямо божий одуванчик, старушку, и прервал тем самым ход рассуждений мальчика.

— Спасибо, у вас доброе сердце,— еще не отдышавшись, сказала она сквозь трафаретное правило на стекле «С водителем во время движения не разговаривать».

Уже давно, с тех пор как объяснили, что пожилым людям надо уступать место, мальчик замечал, что ему приятней уступить место такой вот маленькой старушке, нежели толстой румяной бабе.

Алка и мальчик болтались по улицам, он рассказывал ей легенды о происхождении созвездий и показывал их на небосводе.

— Ты видишь? — спросил мальчик, но в Алкиных глазах отражались не звезды, а неоновые огни «Кафе-мороженое».

— Зайдем,— предложила она.

— Ну зайдем,— согласился мальчик с удивительной для себя легкостью, которая его будет долго потом преследовать.

Алка заняла столик, он предложил ей на выбор.

— Есть сливочное, крем-брюле, ореховое и шоколадное. Какое ты будешь?

— А давай все,— нимало не смущаясь, ответила Алка. Ей тоже было с ним легко, и она пользовалась этим.

Мальчик стоял в очереди, когда она с радостной улыбкой, словно вспомнила нечто им, двоим, очень важное, подошла к нему:

— И с сиропом.

— Сашка-то? — говорила она, выскребывая ложкой гущу растаявшего мороженого, в который уже раз по просьбе мальчика рассказывая, как Саша вернулась в палату после объяснения с ним.— Ну, она вошла и сразу — бух! — на кровать, уткнулась в подушку и давай реветь: «Он чуть не плачет, а я его не люблю-ю». И снова ревет-заливается...

«Раз Саша обо мне плачет, значит, я не совсем ей безразличен»,— думал мальчик и с каждым новым витком рассуждений все более и более уверял себя в том, что Саша его почти любит. А это так утешало его бедное сердце, рядом с которым он все время носил Сашину фотографию, относясь к ней с таким благоговением, с каким дети — кому выпало такое счастье! — относятся к сокровищам, из которых они составляют свои кладики...

...Мальчик вошел в Сашин двор. С грустной улыбкой посмотрел на тонущие в луже качели. Поднялся. Позвонил. Дверь не открылась. Мальчик медленно побрел на остановку, сел в трамвай и прильнул, как всегда, к окну, надеясь ее увидеть. И вдруг увидел — она шла по дорожке, пересекающей скверик...

— Здравствуй! Ты куда?!

— Да ехал мимо и случайно тебя заметил.

— Ну... Какие у тебя новости?

— Недавно к Алке ездил...

— Зачем? — отвернувшись в сторону, как можно равнодушнее перебила Саша.

— Поговорить,— удивляясь, что она не понимает, зачем он ездит к ее лучшей подруге, ответил мальчик.

— Ах, да! Она мне говорила, что ты к ней приезжал. О звездах рассказывал.

Они молчат. Мальчик счастлив: она знает, что он может рассказать про звезды,— ему больше ничего не

нужно, вот только сейчас он еще соберется с духом и скажет, что где-то в космосе...

— Знаешь, я вчера вечером шла от подружки и так в мороженку захотелось. Но была ужасная очередь!

Мальчик растерялся. Она, обидевшись на его молчание, разглядывала черные стволы двух деревьев, стоявшие в лунках с талой водой, как в блюдечках. Она подняла глаза, и вдогонку за взглядом ее серых, как воробушки, глаз мальчик запрокинул голову. Он увидел сырое, пасмурное небо, изрезанное черным, позимнему обнаженным переплетением ветвей, показавшимся ему в ту минуту кровеносной системой деревьев, и тогда оно поразило мальчика трагичной изломанностью своих линий. С резким криком угловатая ворона выделилась среди веток и, не нарушив графичности изображения, словно ковыляя, скрылась из глаз. И снова боль в сердце: «Никогда, никогда я не забуду Сашу...»

Когда-то, через много лет, весной, когда будет пригревать солнышко и те два дерева протянут друг другу свои майские ветви с нежной, молодой листвой, я приду с одной девушкой в это кафе.

Впервые туда попав, притихший и странный, совсем не похожий на себя, я долго-долго, так, что это вызовет недоумение посетителей, буду предаваться глупейшему занятию: вкатывать один шарик мороженого на другой. Потом я дважды надавлю соломинкой на верхний шарик — на нем останутся два кружочка — и, выдавив из себя улыбку, поверну вазочку со снеговиком в сторону девушки.

— Ты знаешь, я люблю тебя,— помолчав, ответит она. Эта фраза будет долго, чуть колеблясь, стоять в воздухе — я буду видеть ее перед собой, в то время как снеговик станет таять под теплыми, ласковыми лучами, превращаясь в приторно-сладкую, липкую лужицу.

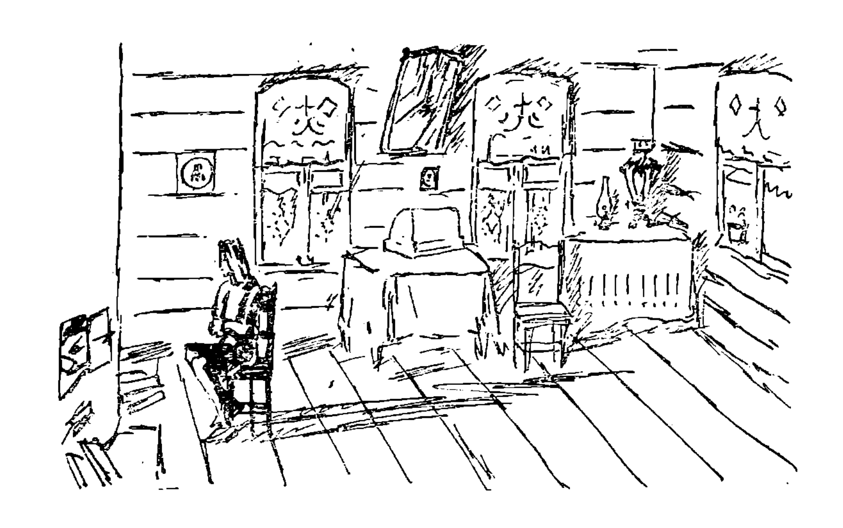
Мальчик дождался трамвая. Казалось, это был тот же трамвай, на котором он все время ехал, такой, где можно сидеть не только лицом к движению, но и спиной и даже боком. Трамвай, представляющийся мне похожим то на гроб, то на карандаш, поставленный на попа и вытянутый в длину, прежде бывшую высотой.

Мальчик оставался один на один со своей любовью. Ему казалось, что никто на свете, даже сама Саша, не способен его понять. Переполнявшее его чувство стремилось объясниться, получить словесное выражение и стать понятным его разуму. Уже вечером мальчик с нетерпением ждал, когда же погасят наконец свет и все лягут спать. При свете, днем, он не мог сосредоточиться на своих чувствах, побыть с ними наедине: если раньше мама, когда он занимался уроками с Лехой, уходила на кухню, оставляя им комнату, то теперь, видя сына праздным, уставившимся в потолок, не только не догадывалась, что ему нужно побыть одному, а даже сердилась на его безделье. Но и тогда, когда мальчика оставляли в покое, перемещение перед ним домашних притягивало его взор, обращенный в эту минуту вглубь себя, и даже, когда он ставил себе условие не обращать на них никакого внимания, то ловил себя на том, что только контролирует: обращает он или нет внимание на своих домашних.

Но как только гасился свет, заранее лежа на левом боку, чтобы уткнуться носом в спинку дивана, мальчик отдаваться на волю течения своих мыслей. Эти ночные размышления облекались в пленительную для его сердца форму. Мальчик думал: «Надо рассказать Саше!» Казалось, что стоит только суметь объяснить, как он ее любит, и тогда Саша непременно ответит на его любовь.

Мальчик не мог уснуть. Как ему хотелось встать и записать эти фразы, рожденные его душой и разумом, сливавшимися ночью воедино,— он по горькому опыту знал, что наутро не сможет связать и двух слов, потеряет нить, потянув за которую он распутал бы этот волшебный клубок... но было стыдно встать среди ночи: что бы он сказал разбуженным родителям?

Мальчик начинал чувствовать сердце и, как бы отворачиваясь от своих мыслей, ложился на другой бок... И здесь, уже зная, что будет дальше, я могу оставить в покое мальчика, поставив наконец многоточие...



Елена Матвеева

ВСТРЕЧА

День начался таким тихим и ласковым, будто на дворе стоял июнь. Василий стал делать что-то по хозяйству, но бросил, спустился к прудику и уселся на мостик, свесив голые ноги в воду. Тут он и почувствовал, что весна и лето далеко позади, а вода холодная, засыпающая.

У Василия был день отгула, и дома всегда нашлись бы дела, но последнее время он замечал в себе не то чтобы нежелание их делать или леность, а что-то другое. Он и дома любил оставаться один и тогда ложился на диван или сидел в кухне у окна и думал. О чем именно думал, если бы спросить невзначай, Василий бы не ответил. Но про себя знал: думы думает.

Ближе к вечеру он решил обойти свои заповедные грибные местечки. Были они недалеко от дома, минут десять ходьбы, и почти никогда его не обманывали. Хотя сейчас грибы уже отходили.

Василий вышел на лесную дорогу, миновал огороды, перекопанные и заваленные бурой картофельной ботвой, свернул на мостик и тут увидел девушку. Чем-

то знакома была она ему. И девушка будто ждала, окликнет ее Василий или нет. И Василий негромко окликнул:

— Алка?..

Она подошла. Ну конечно же, Алка. Только как же она подросла за эти четыре или пять лет! А ведь была тощая, лупоглазая, волосы прилизаны и заплетены в тонкие длинные косицы. А теперь пополнела, похорошела. Одета по-взрослому, волосы остригла.

— Ну дак вот и совсем стали девушкой.

Василий даже смешался немного, начал неловко называть Алку то на «вы», то на «ты».

— Что же ты здесь делаешь?

— Захотелось посмотреть старые места,— ответила Алка.

— А тетка как?

— Умерла тетя Магда два года назад.

— Ах ты...— Василий закачал головой.— Я тетку твою часто вспоминаю.

Василий в самом деле часто вспоминал тетю Магду. Летом комнаты у него сдавались дачникам, както в одной из них поселилась тетя Магда с тринадцатилетней племянницей Алкой.

Детей у Василия с Клавдией не было. Иногда ночью Василий ругался с ней, упрекал, что бездетная, и грозился уйти.

Тогда вставала тетя Магда, высокая, величественная женщина лет шестидесяти, и в ночной рубашке до пят шествовала на кухню утихомиривать Василия и вызволять Клавдию. Это хорошо ей удавалось. Она брала Василия за плечо, говорила что-нибудь незначительное: «Хулиганить, Василий, я тебе не позволю». И Василий мгновенно стихал. Слушался он ее и даже побаивался.

Клавдия была на редкость угрюмой женщиной, а низкий лоб и светлые твердые глаза делали ее лицо неприветливым. Работала она в местной больнице акушеркой и ежедневно допекала Василия: «Ты деревенский парень. Каково мне, образованной женщине, с тобой жить?» Василий молчал.

Приехал он к Клавдии из Кондопоги. В один день сорвался и прибыл, хоть ни разу до того не видел ее, и сейчас же на ней женился.

В Кондопоге Василий вырос и жил, оттуда в армию ушел, туда же и вернулся. И была у него Нюша. Даже имя ласковое — Нюша, не то что Клавдия. Наверно, и любовь у них с Нюшей была, по крайней мере потом Василий ни к кому ничего подобного не чувствовал. Сутками не спали: ночь прогуляют, а утром на работу, а после работы опять вместе. Может быть, слишком молодой был Василий, сам не знал, что это и есть любовь, и Нюше не сказал, что любит. Язык не поворачивался. А может, не воспитала мать — женщина суровая, мужа в войну потеряла, про любовь от нее Василий за всю жизнь слова не слышал.

А Нюша однажды неделю странная ходила, говорила недомолвками, вконец запуталась и тогда сказала Василию просто:

— У нас ребенок будет.

Ему бы, дурному, обрадоваться, ведь, не будь этого, он вскоре все равно на ней женился бы. А он растерялся. От растерянности же и брякнул что-то вроде:

— Дак зачем он нам?

А Нюша свое:

— Родится.

Тогда Василий и спросил:

— Может, не обязательно рожать-то?

Нюша покраснела, а волосы у нее белые, в проборе краснота проступает. Посмотрела, с ног до головы взглядом померила и сказала, без ножа отрезала:

— А знаешь, Вася, не расстраивайся, не думай об этом много. Я ведь на мушку тебя брала, посмотреть, что скажешь. Ребенок-то не знаю чей, твой или Мишки Семенова. Так что иди своей дорогой и не оглядывайся.

У Василия в глазах потемнело. Он повернулся и пошел прочь. В армии Василий переписывался с девушкой Клавой — обычные армейские письма и обмен фотографиями. Нашел ее адрес, в тот же день сел на поезд — и к ней.

Через месяц сыграли свадьбу. Василий построил дом. Выписал мать. Она приехала к нему, да прожила недолго — умерла.

Над кроватью Василия и Клавдии висит их свадебный портрет. Оба счастливые, гладколицые, здоровые. Он красив, она под фатой мила.

Здорово тосковал Василий. А Клавдия пела тогда

голосом необычайной силы и тембра: «Эх, загулял, загулял да загулял парень молодой, эх, молодой...» Ее низкий, зычный голос слышался на окраине деревни, у спуска к реке, где уже не первый год были заложены каменные квадраты фундаментов, заросшие травой, орешником и малиной, совсем как и жизнь у Василия с Клавдией, недостроенная, запущенная...

Кроме тети Магды и Алки, в тот год на даче жили баба Катя с трехлетним Витьком и художница, которая приходила только ночевать, а целыми днями бродила с этюдником по лесу. Когда Василий скандалил, никто никогда не выходил, кроме тети Магды, хотя в доме просыпались все.

С детьми Василий разговаривать не умел, боялся их и стеснялся одновременно. Да он бы и не придумал, о чем с ними говорить. Просто его неудержимо тянуло к детям.

Вечером, когда Витька укладывали спать, Василий просовывался в дверь и баба Катя звала его. Он садился на табуретку и смотрел.

Сначала Витьку мыли рожицу и руки, потом ноги, потом раздевали и укладывали в кровать. Спать Витек не хотел, поэтому лежал и говорил:

— Витек спит, и ботиночки спят, и подушечка спит... — И вдруг, снизив голос до шепота: — А кастрюлечки не спят...

И он порывался бежать в кухню — проверить, почему не спят кастрюлечки. Тут баба Катя хватала его и снова засовывала в постель.

Постепенно это вошло в привычку. А Василий своим ежедневным присутствием как будто завоевал доверие и права и тоже становился участником игры. Пока доходили до «кастрюлечки», перебирали множество вещей, находящихся в комнате. И Василий, забывшись, начинал подсказывать со своей табуретки:

— Ну дак, а носочки что же, забыл?

Утром обычно Витек натягивал трусики и бежал во двор, крича:

— Баба, баба, беги! Картошка горит, компот варится!

И Василий знал — Витек проснулся.

Потом Василий немного попривык, а вернее, Витек привык к нему. Василий потихоньку от Клавдии и бабушки заманивал Витька в огород и позволял

ощипывать малину или сажал его на колени и прижимался носом к маленькой редковолосой голове. Он принюхивался и втягивал в себя странный запах — свежий, сладковатый, густой, особенный. Потом этот запах преследовал его. Василию казалось, что ребенком пахнет от его одежды, от задубевших, прокуренных, желтых пальцев.

Позже привезли маленькую двоюродную сестренку Витьки — Люську. Они вертелись на кухне под ногами у взрослых, которые готовили бесконечные завтраки, обеды, ужины. И Василий все свободное время стал проводить там.

Однажды Люська подошла к висевшему в углу тулупу, провела по меху рукой и вдруг сказала, ласково к нему обращаясь: «Киса, мяу!» В кухне никого, кроме Василия, не было. Он пришел в совершенный восторг, бегал по дому и рассказывал об этом. С тех пор это стало его любимой историей, анекдотом, прибауткой для всякого случая жизни.

В первых числах сентября детей увезли в город. А Клавдия сказала тете Магде:

— Дачников с детьми больше пускать не стану. Ну их к лешему. Без них лучше. И Василий поспокойнее будет.

С тех пор Алка не видела ни Василия, ни Клавдии. А съездить в деревню ее давно тянуло. Заходить она ни к кому не собиралась. Хотела просто погулять по лесу, по местам, обхоженным когда-то тысячу раз.

Когда она увидела Василия, то узнала его мгновенно. Он был по-прежнему красив, а теперь и наполовину сед, по-прежнему заикался, что придавало его разговору нерешительность. И встреча эта неожиданная не пришлась ей в тягость, а когда Василий позвал в гости, сейчас же согласилась.

У крыльца встретили Клавдию. Она ничуть не изменилась. Была все такой же крепкой, жилистой и угрюмой. Она не слишком обрадовалась Алке, но искренне удивлялась, как та выросла, и расспрашивала о тете Магде.

Она собиралась на дежурство.

А Василий с Алкой пошли в дом. Он разжег печку и намазал ей вареньем хлеб. В комнате было сумрачно, лишь красные отблески печки удобно расположи-

лись на полу. И только теперь становилось понятно, что на улице холодно и ветер.

Василию хотелось поговорить с Алкой о своем житье-бытье. Может быть, для этого он и зазвал ее сюда, свалившуюся как снег на голову, именно ее, потому что с Петей-пожарником он не мог об этом говорить. А с Алкой мог. Вот ведь человек она чужой, городская девчонка, с другой стороны, как будто и не чужая, не вагонный попутчик. Объяснять ничего не надо. Он чего-то ждал от нее, может даже совета. А она не подозревала, жевала хлеб с вареньем, отогрелась у печки, раскраснелась.

Месяца два назад Василий проснулся ночью. На улице шел дождь. Рядом лежала нелюбимая, угрюмая женщина, и вся жизнь его безотрадная с ней всколыхнулась, и прошлое. И вдруг он вспомнил необычайно ясно, будто не много лет назад это было, а только что: у дома Мишки Семенова много народу и грузовик, кузов в цветах, березовых ветках и детских первомайских флажках — Мишку в армию провожают.

Память у него, что ли, отшибло? Или спала она, как и сам он, это долгое время? Когда Василий уезжал из Кондопоги, Мишку Семенова уже полгода как служить проводили. Сам он на проводах не был, но помнит даже этот день, ветреный и синий, и машину, которая увозит новобранцев.

Мишка уже полгода служил, когда Василий уехал от Нюши.

Василий не знал, как заговорить. Из коридора, потягиваясь, вышла пятнистая Мурка, которая жила здесь еще в то лето, когда тетя Магда с Алкой снимали комнату. Мурка волочила провисший мешком живот. Потом собралась с силами и вспрыгнула Василию на колени.

— Ах ты, Мурка, ах ты, дура! Дура ведь и есть. Она у нас в прошлом году урода принесла. Урод, дак о двух головах, четырех хвостах, восьми ногах. И опростаться никак не могла. Уж думал, подохнет. Я ей помог. Сама бы нипочем не родила.

Мурка прикрыла полупрозрачные веки и дремала. Он снова погладил ее:

— А-а, бай, бай, бай! Поди, бука, на тот край. Поди, бука-нахлобука, нашу Мурку не замай.— Он смущенно улыбнулся: — Это мне мать в детстве так пела, только вместо Мурки — Ваську. А у нас и еще одна есть.

Василий позвал — и откуда ни возьмись появилось нечто тощее, маленькое, полосатое, с лисьей мордочкой и хвостом-шилом.

— И еще один. Но у того все свиданки. Дак по неделе не видно. А Динку, собаку, помнишь? Сдохла. Коза еще была — Зорька. Дак знаешь, что я тебе хотел сказать-то? Мы с Клавдией так ведь и живем, как жили, может, еще и хуже. Ты ведь помнишь? Тетя твоя... Ну дак что там, мы с ней часто говорили...

— Помню,— отозвалась Алка.

— Нет твоей тетки, а с ней мне бы и поговорить. Я бы ее спросил, что мне делать, и она бы сказала. Я тут давно об одном думаю. До Клавдии, лет семь назад, у меня была девушка в Кондопоге. Ну дак что вспоминать, уехал я оттуда. А у нее должен был родиться ребенок. Наверно, скоро уж в школу пойдет. Я дак думаю: поехать бы мне туда?

Алка молчала. Даже перестала жевать.

— Надо ехать? — спросил Василий.

— А может, ребеночек и не родился?

— Как так — не родился?

— Ну, не родился. Как-нибудь так она сделала, что не родился.

Василий задумался. Такое ему и в голову не приходило. Алка же сидела притихшая и гордая, потому что до сих пор никто не удостаивал ее таким доверием и не спрашивал важного совета, не обсуждала она ничего более серьезного, чем девчачьи дела подружек. И чувствовала она важность этого момента.

— Да не мог он не родиться,— сказал Василий.— Родила она. Я же знаю ее.

— А может, она замуж вышла? — предположила Алка.

— Замуж? Дак ты что? А и в самом деле. Могла ведь.

Он налил в кружки чай.

— Слушай, Алка, может, ей там нехорошо живется? Может, она и согласится? Простит? А?

— Не знаю. А ты, Василий, попробуй съезди.

— Если я уеду, дак насовсем. Матери все равно нет. И никого у меня нет.

— Как хочешь,— сказала Алка.— Я, честное слово, не знаю.

— А тетка Магда сказала бы. Сразу и сказала бы. Я дак думаю, ехать надо.

— Конечно, съезди.

Какого-то более определенного ответа ждал от нее Василий, будто ответ девчонки должен был утвердить то решение, которое созрело в нем. Но о разговоре не жалел. Вот и сказал он об этом кому-то вслух.

Потом он пошел провожать Алку до дороги, а вернувшись, долго рылся на чердаке с карманным фонариком. «Вот дожили,— думал он,— в доме нет порядочного чемодана. А ехать человеку надо, хоть в корзину пожитки бросай. Дак прежде чем покупать, еще в сарайчике покопаться надо.— Он улыбался и покачивал головой.— А тетка-то Магда всем теткам была тогда тетка. Справедливая. Крутая только».



Владимир Насущенко

ТАНЯ

Теплоход уходил на шесть месяцев в дальнее плавание. Корольков списался с судна, чтобы в августе сдать экзамены в Институте водного транспорта.

По закону идти в отпуск было рано. Инспектор отдела кадров предложил командировку на север, куда по своей охоте никто не соглашался ехать в такое время года.

Подолгу бывая в рейсах, Корольков отвыкал от родного города: все время куда-то тянуло. Вот и сейчас решил поглядеть на людей. Дома он натер полы, сменил занавески, постельное белье, вложил в портфель две свежие рубашки, пасту, электробритву и поехал в аэропорт. Там получил заказанный билет и вышел на свежий воздух.

Самолет с закопченными мотогондолами уже стоял на бетонке. Из сопел механики вынимали красные заглушки. По крылу ходила женщина-заправщик и наполняла топливные баки керосином.

Людей в ту сторону летело мало: группа студенток на практику, железнодорожная комиссия с коле-

сами и шевронами на рукавах, растерянная старуха, несколько командировочных, жены моряков и девушка с сумкой через плечо.

Пассажиров пустили на поле. Студентки столпились на трапе. Корольков не любил бессмысленную давку, ожидал, когда рассосется очередь. Девушка с сумкой улыбнулась ему. Лицо у нее было какое-то беззащитное. Через всю щеку светилась голубая жилка. Корольков невольно кивнул попутчице, как старой знакомой.

Лету было два часа.

Девушка, сидевшая впереди, оглядывалась на Королькова, он не придал этому значения.

Сели благополучно. Бортпроводница отдраила двери, снаружи подкатили трап. Пассажиры стали спускаться по одному, уже без спешки.

Темнело. В чужом, холодном поле было неуютно.

Корольков вышел к стоянке такси, разговорился с любопытной девицей. Звали ее Таня. Пожаловался ей, что прибыл в командировку, знакомых ни души.

— Везде люди, освоитесь,— успокоила она.— Сходите в наш театр, на выставку местных художников.— Она вздрагивала от порывов сырого ветра. Одета была в легкое драповое пальто, на голове — шапочка крупной вязки, надвинутая до бровей.

Очередь двигалась медленно. Визжали тормоза такси.

Он заслонил Таню от ветра. Она засмеялась:

— Ой, мне же на вокзал. Опоздаю на поезд...

— Я думал, в центре живете. Сходили бы в кино...

Таня неожиданно обрадовалась и так открыто посмотрела ему в лицо, что он смутился, закурил папиросу.

— Приезжайте в гости. Буду рада,— сказала она и объяснила, как добраться до поселка, где жила и работала фельдшерицей.

Корольков пообещал, хотя ему вовсе не светило ехать в такую даль. Они заняли одну машину. На крутых поворотах Таня прижималась к Королькову, и он решил, что стоит съездить.

У вокзала девушка вылезла, помахала рукой.

По ленинградским понятиям, город был небольшой. Скоро шофер затормозил дребезжащую «Волгу».

Гостиница была нафарширована спортсменами, прибывшими из области на соревнования. Администраторша, грузная молодящаяся особа с сильно напудренным лицом, повертела паспорт. Бобровый воротник Королькова произвел на нее впечатление.

— Специально для вас есть изумительная комната. Будете жить один, как король... — засмеялась, довольная своим каламбуром.

Корольков холодно улыбнулся, взял ключ и поднялся на второй этаж. В номере было широкое ложе. Скрипучий паркет застилал дагестанский палас, исчерченный стрелами. Драпировка на окнах пахла дорогим одеколоном. Видно, здесь останавливались залетные знаменитости. Пепельницы и графин были чистенькие.

Корольков оставил портфель, спустился поужинать. Кафе было рядом с торговым портом. К стойке подходили краснолицые от морского ветра грузчики, тальманы, лоцманская служба, матросы с буксиров. Корольков выбил бифштекс, кружку пива, в дальнем углу нашел место. От людского гомона, сжатого воздуха забегаловки разболелась голова. Он вернулся в гостиницу, принял две таблетки димедрола, разделся и лег, но долго не мог уснуть. По коридору топали энергичные легкоатлеты. Казалось, за дверью ходит огромная лошадь. Из плафона торчала лампа, похожая на огурец.

По дурной морской привычке он курил в постели и размышлял, что по окончании института жить на берегу все равно не сможет, будет плавать, состарится в море. Ему уже тридцать шесть, своей семьи не завел, а мать давно умерла. Никто не будет ждать, встречать и тосковать. Оно и лучше... Он скорчился под прохладными простынями, в забытьи вспомнил живые глаза Тани.

Утром поднялся разбитый, вялый: вероятно, его просквозило на аэродроме. Оделся тепло, пошел в кафе.

Сейчас здесь было пусто, светло. Весеннее солнце пронизывало синие стекла, отражалось в никелевом кипятильнике. Две школьницы в белых передниках завтракали около холодильника.

Корольков взял кофе с булочками, поел и пешком двинул в управление.

Через три дня он обжился, вечерами гулял по главному проспекту, шатался в порту, глядел на пароходы. Сердце щемило от запаха мокрого зюйда. Тянуло в море. В театр и на выставку Корольков так и не попал.

Однажды он не пошел в гостиницу, ночевал у знакомого боцмана, с которым когда-то делал рейс в Гавану.

С каждым днем становилось веселее. Ощущалось мощное дыхание Гольфстрима. Весна была ранняя. Снег сошел. Над домами летали чайки. Люди ходили без пальто, готовились встречать праздник. Город наряжался в красное.

Пора было улетать. В последний день взбрело в голову увидеть Таню. Где-то в подсознании сидела эта мысль.

Придя из управления, он тщательно выбрился, начистил английские ботинки и поехал на вокзал, прихватив в портфель венгерского вина с набором дорогих конфет.

Тепловоз с тремя вагонами стоял на первом пути. Вагоны были старенькие, списанные с дальних рейсов. Состав мягко тронулся. Навстречу поплыли цистерны с мазутными боками, шлагбаумы, приусадебные участки с отопревшей землей, без травы. Через три станции Корольков вылез и оглянулся. На конце платформы маячила фигура женщины. У ее ног сидела собака. Он подошел и спросил, где найти фельдшера.

Женщина вздрогнула, словно очнулась от невеселых раздумий. Глаза у нее были красные. Объяснила: нужно подняться на гору и свернуть через два дома.

Корольков поблагодарил и зашагал. В небе заливался вечерний жаворонок. Идти было трудно по вязкой после ночного дождя дороге. Сладко пахло разбухшими березовыми почками. Справа был виден мост через реку, провода, висевшие над водой.

Желтый дом он нашел сразу, поднялся на крыльцо, стукнул в дверь. Она была не заперта. В распахнутых окнах горело солнце.

Никто не отозвался.

Тогда, насвистывая веселый мотивчик, он прошел через веранду и очутился в светлой комнате. Видно, хозяйка только что сделала приборку и куда-то вышла. Было очень чисто. Голландская печь блестела из-

разцами. На стене висели часы в медном корпусе, старинный барометр с делениями на дюймы, полки с книгами. Налево стоял резной буфет, стулья, стол у окна.

Корольков посмотрел на свои грязные туфли, расстегнул портфель и выложил на стол целлофановый пакет.

В соседней комнате послышались мягкие шаги. Он обернулся. Дверная занавесь затрепыхалась от сильного сквозняка. На пороге появилась Таня и, ойкнув, закричала уже из-за двери:

— Извините! Ждала соседку, а это вы... Располагайтесь.

Корольков успел заметить, что девушка была в одной комбинации.

«Увалень чертов,— выругал себя Корольков.— Не мог подождать на улице со своим дурацким портфелем...»

Сел на стул, держа каблуки на половичке. В окно был виден поселок, с высокими шестами телевизионных антенн у каждого дома. По канаве бегали свиньи, издали похожие на собак. Было тихо. Маятник шатался с мелодичным звоном. По раме ползал шмель.

Корольков не видел такого чудного шмеля лет десять: скитался в морях, чужих портах. Он дотронулся до бархатистой спинки. Шмель недовольно загудел, поднялся в прозрачный воздух. Из спальни доносилось шуршание, тугое щелканье резинок.

Наконец Таня вышла. Платье из серого шелка облегало ее легкую фигуру. На груди подрагивала металлическая цепочка с подвесками янтаря. Девушка выглядела неплохо. Он улыбнулся, и она смутилась, оправила платье. Оно было коротковато, в таких ходили года три назад.

Королькову померещилось, что уже видел эту манеру одергивания, поворот головы, тонкие руки. Но где?

Таня прошла по комнате, остановилась в дверях.

— Вы сидите... Я отлучусь на полчаса. Хотите, пойдемте вместе...

Корольков встал, тупо соображая, куда понадобилось ей идти, раз приехал гость, но спрашивать не стал.

Они вышли. Улицу освещало вечернее солнце. Таня шлепала по лужам. На ногах у нее были резино-

вые сапоги. Она шла к реке, где стояло несколько домов.

Показался берег, продырявленный стрижами. Дорога висела над обрывом. Река была еще мутная от паводка.

Таня остановилась, ковырнула ногой ком глины. Он скатился к воде с желтой пеной. Здесь была небольшая площадка с врытой в землю скамьей. На дамбе рыбаки махали удилищами. В затоне тарахтел катер. Место было красивое. Девушка обернулась.

— Давайте посидим.

— Слишком прохладно от воды,— сказал Корольков и взял ее под руку.

Она испуганно убрала локоть.

— Не надо. Увидят.

— Кто?

— Люди. Разговоры пойдут...

— Не понимаю. Взрослая самостоятельная девушка — и боитесь сплетен.— Он усмехнулся.— У вас тут родственники?

— Никого у меня нет. Мама далеко,— она махнула рукой в направлении моста, по которому двигался поезд,— километров триста отсюда.

Вода блестела при низком солнце.

— Странно. Жили бы тогда в городе. Здесь пропадете,— сказал Корольков.

— Мне и здесь неплохо.— Она натянуто улыбнулась и стала смотреть на дамбу. Рыбаки вытаскивали белесых сорог. Штаны удильщиков были вымазаны рыбьей слизью.

— Я была в отпуске в Ленинграде, у подруги. Она там замужем,— немного помолчав, сказала Таня.— Народу полно. Только в Эрмитаж сбегала. Суета и грохот. Мне не понравилось...

— Хотите сказать, лучше быть первой в деревне, чем второй в городе. Так, что ли? — спросил Корольков, чтобы приободрить ее, и спросил: — Вы здесь необходимы?

Таня махнула рукой:

— Ай. В сущности, никто из нас не необходим...

Она откинула волосы и пошла по дороге, даже не оглянулась. Корольков догнал ее.

— Ну, это вы бросьте,— сказал неуверенно он.

В кустах порхала птица с загнутым клювом. У низкой конюшни ходила бурая лошадь, чавкая в грязи разбитыми копытами. Ребра у нее торчали, как обручи.

Таня подошла к изгороди, протянула руку:

— Клепсидра, миленькая.

Лошадь приблизилась, положила узкую морду на жердь.

— Настоящий мустанг. И кличка оригинальная,— ухмыльнулся Корольков.

Таня погладила лошадь по губам.

— Зря смеетесь. Это моя кормилица. Я на ней езжу в леспромхоз, когда там кто болеет. Она меня не раз выручала из беды. Кличкой ее наградил мой коллега, которого я сменила. Он был дурной человек.

— Почему?

— Ну... Лошадь уже плоха... И он в насмешку выдумал кличку. Нехорошо это.

Таня вздохнула и отошла от изгороди. Корольков оглянулся на животное, представил, как девушка сидит в неловкой позе на этой скотине. Ему стало жаль обеих.

По дороге ковыляли два инвалида, махая палками. Один остановился и закричал хриплым голосом:

— Доброго здоровьица, Танюша! Никак к тебе гость пожаловал.

Таня вдруг покраснела.

— Гость...

— Ну-ну.— Инвалид недружелюбно зыркнул синими глазами на Королькова, повернулся и снова замолотил палкой по земле, нагоняя товарища.

— Хожу под прицелом. Авторитет потеряю из-за вас,— грустно пошутила Татьяна.

— Не потеряете,— пообещал Корольков.

Теперь она шла быстро к дому с зеленой крышей. Корольков еле успевал за ней. Она обернулась.

— Подождите. К больной зайду. Уколы сделаю...

Она направилась под навес.

У забора лежали сухие бревна. Корольков сел на комель, закурил. По улице на мопедах, со снятыми глушителями, гоняли два подростка. Треск разносился километров на десять. Парни радостно гоготали задирали ноги на глубоких колеях, заполненных коричневой водой.

Какой-то небритый мужик с пилой на плече, в измазанных глиной сапогах, прошел мимо, ругнулся:

— Подонки лохматые, башку оторвать мало. Технику гробят...

Он сплюнул, поддернул спадающие штаны и, мотая сгибающейся пилой, затопал к сельсовету, где краснели флаги.

Вечер был теплый. От бревен пахло смолой. Корольков тут же забыл сердитого мужика и этих, варварски веселящихся подростков, думая, что приехал зря, встревожил хорошего человека. У нее своя жизнь. Все не так просто...

«А наплевать,— решил он.— Посижу и уеду».

Она вышла через полчаса, неся на отлете покрасневшие руки, звонко закричала, будто обрадовалась, что он ждет ее под окнами:

— Ну вот, я свободна!

У Королькова кольнуло сердце.

«Где я ее видел? Волосы убрать на затылок...»

Он встал. Теперь Таня сама протянула ладошку. Он нежно взял ее. Рука у нее была ледяная.

— Ну как ваша подопечная?

— Ничего. Кризис миновал. Вторник сидела у нее всю ночь. В город отправлять нельзя. Девочка очень слабенькая.

Татьяна шла с какой-то вымученной грацией. Корольков чувствовал ее напряженность.

В соседнем дворе стояла широколицая женщина, приложив руку ко лбу, глядела в их сторону. Корольков поклонился. Она ответила кивком, присела и стала набирать из рассыпанной поленницы дрова в охапку.

У крыльца сидела кошка. Увидела чужого, убежала в траву на полусогнутых лапах.

Татьяна наклонилась, плеснула из низкой бочки на сапоги:

— Грязь непролазная. Мойте ботинки.

Искоса поглядывая на девушку, Корольков тоже начал мыть свои туфли.

Платьице у Тани съезжало с плеча. Девушка раскраснелась. Она выждала, пока он справился с обувью, и сказала:

— Знаете, вчера самолет видела. Почему-то решила, что вы летите на том же сиденье... Никогда не вернетесь. И вот вы здесь. Просто чудо...

Корольков с усилием засмеялся и стал говорить неправду: было много работы, вырваться не мог, сожалеет об этом.

Таня махнула мокрой рукой:

— Ой, да ну вас. Выдумываете.

— Первый раз в жизни чувствую себя так хорошо. Наслаждаюсь тишиной, такой воздух здесь... И вы... Я помолодел. Черт знает, что со мной творится...— бормотал Корольков.

Солнце зашло, катилось где-то под самым горизонтом. Таня обеспокоенно разглядывала гостя в сгустившихся сумерках и наконец ответила:

— Наслаждение опошляет человека. Грусть — святое чувство... Когда люди веселятся, ищут наслаждений, они ни о чем не раздумывают, то есть не бывают людьми. Как бы проще выразиться... — Она покрутила пальцами.— Человек должен думать, иначе он что-то другое...

— Ну вы даете, Таня. Нельзя все время думать. Откуда выкопали такую теорию? — возмутился Корольков.

Таня грустно посмотрела на него и ничего не сказала. Сумрак заволакивал поселок. На реке клубился туман. Корольков сел на перила с отполированными сучками, думая, что совершил какую-то оплошность, чего нельзя было делать.

Девушка вынесла самовар, быстро разожгла. Из его трубы вырвалось синее пламя с тихим гулом.

— Караульте. Я накрою на стол.

Через открытую дверь Корольков видел, как Таня включила свет, выставила посуду и все время оглядывалась, словно боялась, что он уйдет в темноту, хлопоты ее будут напрасны.

Вскоре они сели. Таня разлила вино, плеснув себе чуть на донышко.

— Будем пировать.

— Мне побольше. Трясет что-то,— весело сказал Корольков.

И правда, он ощущал недомогание с первого дня, как приехал.

За окном завыла собака. Звук был высокий, раздирающий.

Таня протянула руку, прикрыла раму и пожаловалась, что собака каждую ночь воет, спать не дает. Хо-

зяин умер на прошлой неделе. Не ест ничего. Соседка водит ее прогуливать. Все равно не ест. Подохнет...

Корольков кивнул, вспомнив женщину с красными глазами:

— Я видел их, когда шел сюда...

Кто-то крикнул на пса. Вой утих, только мелодично похрустывали часы. Татьяна стала рассказывать о себе. Третий год живет на квартире у Елены Ивановны. Она уехала повидать сына. Он служит офицером. Елена Ивановна преподает литературу в местной школе.

— Господи, какая я была беспросветная дура... Вы не представляете, Саша. Она меня многому научила...

Корольков в душе обрадовался, что учительница уехала, отпадают лишние сложности. Он откинул голову, поднял вино.

— За вашу мудрую наставницу!

Не уловив иронии, Таня улыбнулась.

Они выпили. Но что-то не ладилось. Корольков чувствовал себя скованно. В другое время наговорил бы, а тут сидит, как последний мальчишка, боится прикоснуться, словно Таня ему сестра.

— Ну что же, Саша, ничего не едите? — Она пододвинула горячую картошку с крупно нарезанным луком.

Корольков взял себя в руки, приосанился, стал холоден, заговорил о жизни. Что редко ходит по земле, месяцами трудится в море, семьи нет. Выпадают удачные дни, когда кажется, что счастлив. Оглянешься — никого рядом, кроме испытанных друзей, мужского братства.

На Танином лице дрожала мучительная улыбка. Корольков воодушевился. Хотя было жестоко с его стороны, стал вязать паутину, похожую на правду. Даже правдивей, чем сама правда. Это всегда потрясало слабое женское воображение, как он понимал.

Под горой громыхнул поезд. Таня испуганно глянула на свои настенные часы в медной оболочке, облегченно вздохнула:

— Ой, думала, последний.— Она суетливо налила чай, подвинула сахарницу с дорогими конфетами. Призналась: — Господи, увидела вас в аэропорту, сразу подумала: вы не такой, как все...

— Интересно,— польщенно усмехнулся Корольков.

— Ну понимаете, раньше мне казалось: нет на свете человека, на которого хотелось бы оглянуться. Идти и оглядываться, идти и оглядываться...

— Фантазируете, Танечка...

— Нет, я говорю правду. Вы хотите казаться другим. В вас сидят два человека. Маска приклеилась, приросла, а на губах скрытая душевная боль... Я правду говорю,— упрямо повторила она.

Корольков помял лицо ладонями, встал и прошелся по комнате. Половицы скрипели.

— У вас есть аспирин? — глухо спросил он.

Таня поднялась из-за стола, принесла таблетки на блюдце. Она подошла близко.

— Вы больны?

Прозрачная луна в окне освещала легкие арки облаков. Королькову хотелось обнять девушку. Но руки не поднимались.

Он стоял на неровном полу, и ему казалось, что стоит на льду, очень холодном, скользком. Мышцы болели от напряжения, так он боялся упасть...

За окном опять завыла собака. Будь оно неладно.

— Да, я простудился,— признался Корольков. Теперь он вспомнил все отчетливо и заговорил, чтобы избавиться от невыносимой тяжести, накопившейся за эти годы.

— Да, у меня была девушка, Лида... Давно. Любимая... Я с первой минуты почувствовал страх, что потеряю ее. Перед расставанием Лида твердила: «Не уходи, я умру без тебя...»

В тот рейс ушел с тяжелым сердцем. Полгода меня не было. Я дал тридцать радиограмм. Ни на одну ответа не получил. Меня встретила ее подруга. Завела в комнату, они жили вдвоем, выставила бутылку водки, усадила и сказала: «Пей. Пока все не выпьешь, ничего не скажу».

Я понял, что она не скажет. Выпил, но был трезв, как стекло. Тогда подруга достала ворох радиограмм, вывалила на стол. Вещи Лиды были на месте, на спинке кровати висело ее любимое платье.

Я не знал, что думать. Лицо подруги было непроницаемо. И я решил, что Лида полюбила другого.

— Где она? — заорал я.

— Далеко,— сказала подруга.— Так далеко, что не достать.— Она выскочила за дверь и привела другую девушку. Та была спокойней и стала объяснять, что в городе ходила эпидемия тяжелого гриппа. Лида заболела...

Корольков замолчал и сипло добавил:

— Думал, забыл ее. Увидел вас... — Он махнул рукой и отвернулся.

Таня сдернула со стула черный платок с яркими розами, нервно укутала плечи и заплакала.

Наступило тягостное молчание. Корольков был взволнован и сказал:

— Простите, я вас огорчил. Я выйду, Таня.

На улице было темно. Луна скрылась за облаком. На дамбе горели рыжие костры рыбаков. Оттуда тянуло холодом. Корольков постоял, успокоился от прохлады. По шоссе проехал грузовик. И было слышно, как компрессор со свистом засасывал воздух. Из низкой травы глядели зеленые глаза кошки.

«Охотится»,— подумал Корольков и вошел в дом.

Самовар остыл. Таня тихо сказала:

— Опоздали на последний поезд. Я вам постелю на веранде. Утром разбужу.

Девушка вынесла одеяло, простыни с подушкой, застелила оттоманку. И, опустив голову, молча ушла к себе.

Корольков открыл дверь, чтобы свежий воздух тек на веранду, потушил свет, разделся и лег.

Среди ночи к нему под одеяло залезла кошка. Она была вся мокрая от ночной росы. Он ее не выгнал. Она скоро согрелась, прижалась к его ноге и казалась очень длинной.

Он не мог уснуть. Кошка мурлыкала, ласково впиваясь когтями. Он вспомнил, что в детстве у него был злой котенок. Когда его брали на руки, было ощущение, словно берешь моток колючей проволоки. «Эта кошка нежная. Приятно, как она покалывает,— думал Корольков и вдруг решил: — Все равно не усну. Пойду пешком. Рассчитаюсь с гостиницей, улечу вторым самолетом».

Стараясь не тревожить кошку, оделся, зажег спичку, вырвал из записной книжки листок и написал: «Таня, я ушел. Мне тяжело. Не сердитесь. Вы добры.

Буду помнить Вас в этой и последующей жизни... Простите». Он подумал, вычеркнул «последующей».

Ночь была без ветра. Он спустился к станции. Блестели рельсы, отражая огни выходных стрелок. У будки обходчика стояли мокрые березы. По щебенке идти было трудно. Ноги соскальзывали с камней. Он сошел под насыпь. Послышался шум поезда. Товарняк пронесся мимо с грохотом, обдал вихрем. Навстречу шел другой. Они шли один за одним, был их час.

Луна скрылась. Ночь была темная. Корольков ослеп от локомотивных прожекторов. Лицо хлестали мокрые придорожные ветки. На небе, среди звезд, царил свой неизменный порядок. Вдали светилась станция, накрытая туманом, оттуда катился железный гул.



Захар Оскотский

ПРОТУБЕРАНЧИК

Вначале Павловский собирался посетить только один институт. Потом, как водится, его попросили заодно заехать еще в одну фирму, потом еще в одну, и, когда он уезжал из Ленинграда, в его бумажнике лежали командировочные предписания сразу в пять московских организаций.

Командировки Павловский любил, считая, что всякое отклонение от устоявшегося течения жизни полезно и отчасти эквивалентно отдыху. Особенно охотно ездил он в Москву, где у него жили добрейшие родственники — тетя Шура, сестра отца, и ее муж дядя Тима. К ним можно было являться запросто, без предварительного звонка или телеграммы. Они даже уговаривали Павловского завести постоянный ключ от их квартиры.

В поезде Павловский спал, как всегда, прекрасно и утром вышел на Ленинградском вокзале в Москве свежим и бодрым. Было солнечное, хотя и холодное, апрельское утро. Спешить было еще некуда, но Павловский всегда ходил быстро, и сейчас он шел стреми-

тельно, легко лавируя в людских потоках проснувшегося города, упругий, подтянутый, в коротком, спортивного вида плаще, с венгерским портфелем-чемоданчиком, полный хозяин своей жизни, во всяком случае, на ближайшую командировочную неделю.

План его на первый день был обычным: вначале заехать в какую-нибудь фирму, где у него второстепенные дела и не придется долго задерживаться, отметить там прибытие в командировочном удостоверении; потом — поехать на улицу Горького, пройтись по магазинам и посмотреть новый фильм в кинотеатре «Россия»; потом — пообедать в небольшом уютном ресторане, который он случайно открыл несколько лет назад; потом — отправиться наконец к тете Шуре и провести неизбежный вечер семейных воспоминаний с милыми стариками. С завтрашнего дня уже начнется настоящая работа, да и к старикам вечерами можно будет не торопиться. Он походит по театрам (ему всегда везло на лишние билеты), и, возможно, заедет к Тане.

Одно из командировочных предписаний Павловского было выписано в какой-то неизвестный ему учебный институт консервной промышленности, где его просили получить небольшую консультацию на кафедре автоматики. Дело было пустяковое, и Павловский выбрал для первого посещения в Москве именно этот институт, название которого показалось ему забавным.

Началось, однако, с того, что поиски института, находившегося в окраинном переулке Москвы, заняли гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Когда после долгих блужданий он увидел наконец обшарпанное четырехэтажное здание с нужной вывеской, утреннее приподнятое настроение уже начало сменяться усталостью и легким раздражением.

Институт явно был не из солидных. Павловский шел по его тускло освещенным коридорам, со снисходительной улыбкой разглядывая давно не крашенные, закопченные табачным дымом стены, выщербленный паркет и истертый линолеум под ногами. Забавно было, что его, представителя солидной фирмы, привели сюда дела, однако именно здесь работал профессор Кулев, создавший какое-то новое направление в пневмонике.

Шли занятия, но и в коридорах было полно студентов. Павловский с добродушным сочувствием смотрел на девушек в брючках и на лохматых мальчишек, которые суетились с тетрадками у дверей аудиторий, смеялись, курили, жевали пирожки, и испытывал легкую грусть оттого, что его студенческие годы давно прошли и никогда уже не быть ему таким юным, беззаботным, свободным. Впрочем, легкая грусть Павловского о студенческих годах, о необратимости времени была все же не более чем легкой грустью. Молодость проходила, но время работало на него. Если бы ему предложили помолодеть на десять лет, он отказался бы. Он не согласился бы променять нынешнее прочное, трудом завоеванное положение на неустроенность и неопределенность студенческой поры.

Павловский вошел в приемную ректората. Прочел надписи на дверных табличках. Фамилия проректора по научной работе — Ноздревóй — ему не понравилась. Павловский иногда в шутку утверждал, что фамилия человека отражает в какой-то степени его сущность. Собственная фамилия, простая и благозвучная, Павловскому в этом отношении весьма нравилась. Фамилия же «Ноздревой», казалось, говорила о грубости и бескультурье. Секретарша за столом в приемной вопросительно посмотрела на него. Но секретарши никогда не были препятствием для Павловского.

— У себя? — спросил он, кивая на дверь, и, мгновенно поняв по лицу секретарши — «у себя», прежде чем она успела сказать хоть слово, распахнул дверь и быстро вошел в кабинет.

Внешность Ноздревого соответствовала его фамилии. Это был крупный моложавый мужчина с грубым, сонным лицом. В кабинете он находился не один: перед его столом стояла женщина с пачкой бумаг в руках. На вошедшего Павловского Ноздревой бросил недовольный взгляд и снова обратился к женщине, которой что-то выговаривал. Павловский с достоинством встал рядом.

Наконец Ноздревой отпустил женщину.

— Вам что? — спросил он у Павловского.

Павловский положил на стол свое командировочное удостоверение и предписание. Обычно должность Павловского — начальник сектора — в сочетании с его молодостью (а он, по общему мнению, выглядел

моложе своих двадцати девяти лет) производила некоторое впечатление. Однако Ноздревой даже не взглянул на документы.

— Что надо?

Павловский чувствовал нарастающее раздражение, но, думая прежде всего о деле, вежливо начал объяснять, что приехал получить консультацию по пневмонике на кафедре профессора Кулева.

Эффект от упоминания пневмоники и Кулева оказался потрясающим: лицо Ноздревого скорежилось, словно сжатое в огромном невидимом кулаке.

— Мы вас что — вызывали?! — заорал он на Павловского.— Какого черта вы все сюда таскаетесь с этой пневмоникой?! Мы эту тематику вообще будем закрывать!

— А куда передадите? — спросил Павловский.

— Никуда не передадим! — еще громче заорал Ноздревой.— Закроем — и все! У нас консервной промышленности институт! Нам эта пневмоника не по профилю! Развели тут черт знает что!..

— Хорошо,— сказал Павловский.— Тогда отметьте мне только командировку.

— Не будем отмечать! — рявкнул Ноздревой.— Мы вас не вызывали и знать вас не желаем!

Павловский из личного опыта знал, что подобному типу ничего не докажешь. Он величавым движением смахнул со стола Ноздревого свои документы и, прищурившись на него как можно презрительнее, сказал, словно выстрелил:

— Па-ардон! — развернувшись, пинком ноги открыл дверь, вышел в приемную и, не оборачиваясь, хлопнул дверью так, что секретарша подскочила за столом. После этого он с невозмутимым видом вышел в коридор и отправился разыскивать кафедру автоматики.

Профессор Кулев, высокий, худой, лет пятидесяти, принял Павловского довольно доброжелательно. Выслушав его рассказ о стычке с Ноздревым, хмуро усмехнулся («Ничего. Наши семейные дела...») и быстро перевел разговор на технические проблемы. Он подробно ответил на все вопросы Павловского. Когда хотел о чем-то умолчать (как понимал Павловский, еще не были получены авторские свидетельства), не увиливал, а говорил просто: «Этого я вам пока сказать не могу».

Павловский быстро записывал, тщательно зарисовывал схемы. Консультация нужна была не лично ему, не по его работе, но, раз уж он брался за дело, он делал его на совесть.

Кабинет Кулева, довольно просторный, был одновременно и лабораторией, большую часть его загромождали приборы, аппаратура. Рядом за письменным столом работала темноволосая девушка в красном костюме. Павловский, разговаривая с Кулевым, случайно перехватил ее настороженно-любопытный взгляд. Девушка смущенно улыбнулась и опустила глаза. Через несколько секунд это повторилось. Тогда, продолжая разговаривать с профессором, Павловский начал сам осторожно рассматривать ее. Девушка была миленькая: красивое, немного смуглое лицо, карие глаза, мягкие темные локоны. Теперь уже девушка перехватила его взгляд. Это рассмешило обоих, они улыбнулись друг другу и склонились каждый к своим бумагам. Грудь Павловского щекотнуло приятной тревогой.

Кулева куда-то вызвали, он, извинившись, вышел, и Павловский с девушкой оказались наедине. Молчать стало неловко.

— Этот ваш проректор, Носопыров,— что, ненормальный? — спросил Павловский. — Чего он на меня накинулся?

— Ноздревой нашего Кулева не любит,— с готовностью откликнулась девушка, не обратив внимания на искаженную фамилию. — Говорит, мы не по профилю тут. Ему не нравится, что к Валентину Александровичу все время ездят.

Павловский видел, что, разговаривая с ним, девушка волнуется. Это было приятно, это льстило его мужскому самолюбию. Но и не более. Ни о чем другом у него в ту минуту и мысли не было.

Павловского позабавила мысль о том, что, как ни трудно умному Кулеву уживаться с этим Носопыровым, в другое место, куда-нибудь в солидную фирму по автоматике, он не уходит; терпит, но держится здесь. Все-таки — самостоятельный завкафедрой, пусть даже и в таком захолустном вузике. Древняя мудрость: лучше быть первым в деревне...

Вернулся Кулев, они закончили разговор, и Павловский заторопился. Он и так потратил слишком много времени. Кино на сегодня уже отпадало.

— За командировку не беспокойтесь,— сказал Кулев,— вам ее отметят в канцелярии на первом этаже.

Павловский поблагодарил, попрощался с Кулевым, улыбнувшись, кивнул девушке и пошел разыскивать канцелярию.

Он шел уже по коридору первого этажа, когда услышал чей-то оклик: «Подождите, пожалуйста!» Обернувшись, он увидел, что девушка догоняет его. Тоненькая, стройная, довольно высокая, здесь, в слабом коридорном освещении, она показалась Павловскому совсем юной. Она подошла к нему, учащенно дыша не то от волнения, не то оттого, что бежала, и спросила, запинаясь:

— Вы ведь из Ленинграда?

— Совершенно верно,— сказал Павловский.

Оборот событий начал забавлять его.

— У меня к вам просьба... там... в Ленинграде... — сказала девушка. Она смущенно улыбалась, напряженно глядя ему в глаза.

«Ну, давай придумай что-нибудь»,— снисходительно подумал Павловский.

— Я должна была подруге из Ленинграда двадцать рублей... выслала их... две недели назад... Вы позвоните ей, пожалуйста, узнайте, получила ли она... Если вам нетрудно.

Просьба была шита белыми нитками, но Павловский принял игру. Он записал номер телефона ленинградской подруги и спросил:

— А от чьего имени я буду звонить?

— Скажите, что от Милы... Меня зовут Мила... Людмила... А вас?

— Александр.

Наступила неловкая пауза. Девушка явно ждала, что игру продолжит Павловский и они познакомятся. Но Павловский мог ей только посочувствовать. Конечно, Мила была хороша, но такая детская романтика, внезапное увлечение с первого взгляда — уже не для него. Был бы он помоложе, ее ровесником, лохматым мальчиком-студентом...

— А как же я вам сообщу ответ вашей подруги? — с честной безжалостностью начал он разрубать ткань игры.

— Ну... вы же еще приедете к нам в институт?

— Вряд ли.

Девушка смутилась, но, вопреки его ожиданиям, не отступила:

— Но в Москве вы еще же будете?

— Буду. Бываю.

— Позвоните мне на кафедру. Дать телефон?

— Не нужно, мне его уже дал Кулев.

Надо было как-то поделикатнее, не обижая ее, прекратить этот разговор.

— А вообще, вы часто ездите в командировки? — спросила девушка с какой-то странной интонацией.

— Вообще — часто,— ответил Павловский, не понимая, куда она клонит.

— А дома как из-за этого? Ничего?

Павловский усмехнулся ее наивной хитрости.

— Ничего, отпускают.

— И жена не возражает?

Ай да Мила!

— Я разведенный,— с чистой совестью соврал Павловский. Они с Леной действительно когда-то чуть не развелись, даже заявление подавали.

— А мой муж умер,— сказала Мила.— Кровоизлияние в мозг. В двадцать пять лет. Мы год всего прожили...

Павловский был ошеломлен.

— Сколько же тебе самой-то? — спросил он.

— Двадцать три.

Черт возьми, бедная девочка... Но вместе с жалостью к Миле Павловский почувствовал острое, нарастающее волнение. Какие-то слабые всплески угрызений совести (вдова ведь, не разведенная, нехорошо как-то) сразу потонули в этой нахлынувшей горячей волне. В конце концов, она сама подошла к нему, сама.

И, уже не скрываясь, глядя ей в глаза с откровенным мужским восхищением, Павловский быстро подхватил нить разговора и перевел его с прошлого, с умершего мужа, о котором Мила пыталась рассказать подробнее, на сегодняшний день.

Через пятнадцать минут Павловский уже знал, что она заканчивает вечерний факультет в этом же институте, работает пока секретарем у Кулева, который хорошо к ней относится, обещает после защиты диплома самостоятельную тему; что живет она одна в однокомнатной квартире, не в Москве, а в Домодедове, и много времени тратит на дорогу; что знакомые муж-

чины у нее, конечно, есть и многие пытаются познакомиться, но все — не то (она именно так и сказала — «не то»); что, как бы ни было ей тяжело одной, а с ними еще хуже, и это оттого, что было с мужем очень хорошо, вернее, когда он был жив, она и не понимала, как это хорошо, как он ее любит...

Встретиться договорились в субботу вечером у станции метро. Павловский шутливо предлагал какие-то особые знаки, по которым они могли бы узнать друг друга в московской толпе. Мила благодарно смеялась. Раскрасневшаяся, повеселевшая, она убежала к себе на кафедру. Павловский, приятно возбужденный, быстро пошел от института пешком, чтобы на ходу осмыслить ситуацию.

Он не относил себя к числу мужчин, чрезмерно и неразборчиво озабоченных поисками любовных приключений. Но, будучи женат, он, разумеется, никогда не считал себя обреченным на постоянство и однообразие. У него всегда было несколько проверенных, более или менее прочных связей, которые с течением времени, «естественным путем», как он это называл, обновлялись, заменялись новыми. Иронично анализируя свои увлечения, Павловский находил, что к новым женщинам его влечет потребность не столько новых физических, сколько новых психологических ощущений.

Его любили — за нежность. Нежен с женщинами он был вдохновенно и довольно искренне, подыгрывать в этом ему почти не приходилось. Более же всего, как редким искусством, Павловский гордился тем, что со всеми женщинами, с которыми он разошелся, по чьей бы инициативе это ни произошло, у него оставались достаточно хорошие, дружелюбные отношения.

Сейчас он с удовольствием думал о Миле и предстоящей встрече с ней. Смешно она представилась: Мила-Людмила... Но как хороша: это прелестное, чуть смуглое лицо, эта многообещающая нервная порывистость... «Спасибо»,— неожиданно произнес он на ходу и засмеялся. Кому спасибо? Судьбе за такой подарок?

Правда, где-то в глубине, в какой-то беспокойной клеточке сознания, щемило тревожным, предостерегающим холодком. Интуиция, на которую он привык полагаться, подсказывала, что хорошим история эта кончиться не может и лучше было бы вообще не заводить

такого знакомства, хотя и теперь еще не поздно передумать и не явиться на свидание. Но Павловский бесшабашно решил, что — плевать на интуицию — он встретится с ней, а там, дальше — как выйдет. Кроме того, он решил, что не будет звонить Тане. Бог с ней, с Таней. Он и ездил-то к ней только потому, что больше в Москве не с кем было провести время. И удачно вышло, что в этот раз он не позвонил Тане из Ленинграда перед отъездом. А то бы получилось неудобно.

Следующие дни были целиком заняты работой. Лаборатории, кабинеты, цеха. Он уговаривал, требовал, согласовывал, решал. С его появлением приходили в движение десятки людей, станки, приборы, испытательные стенды. Он иногда не прочь был поворчать, пожаловаться: «Пока сам не объездишь, не выбегаешь, ни черта не будет. Как волки, ногами кормимся». Но в действительности он любил именно такую работу, именно это стремительное движение, именно эту, похожую на фехтование игру, которую надо было вести одновременно с множеством людей, чтобы заставить их шевелиться, делать то, что нужно было для его фирмы и для него самого, Александра Павловского. Он безошибочно чувствовал, когда можно надавить, потребовать, когда и до каких пор нужно уступить, когда следует прибедниться и сыграть на сочувствии («Мы тоже на службе! Вернемся ни с чем — что с нами начальство сделает?!»). В документах, которые в командировках ему приходилось составлять во множестве, он умел мгновенно и дальновидно оценить каждое слово. Ненавязчиво, заручаясь согласием другой стороны, чуть-чуть, почти не изменяя смысла, он уточнял термины, даже просто подправлял стилистику, и в конечном счете решения и акты приобретали именно то звучание, которое было благоприятно для его дела.

У него было огромное преимущество перед большинством людей, с которыми сталкивала его работа: он превосходно владел собой и в любом случае — успеха или неудачи — оставался в глубине души, в общем, спокоен. Это внутреннее, глубинное спокойствие не нарушалось и тогда, когда ему приходилось — по обстоятельствам — горячиться и даже выходить из себя.

Причем он не взвинчивал себя специально для такого поведения. Он просто как бы разрешал себе перейти в другое состояние, «на более высокий энергетический уровень».

В эти дни он был в особенном ударе: все удавалось ему еще легче и быстрее, чем всегда. Он понимал, что этот приятный подъем вызван ожиданием свидания с Милой, и посмеивался над собой: «Как мальчишка, честное слово!»

В субботу он хорошо выспался и провел день со стариками. Тетю Шуру он умилял, вспоминая в подробностях мелкие эпизоды двадцатилетней давности, когда мальчишкой приезжал вместе с отцом к ней в гости (у него была фотографическая память). С дядей Тимой они обсуждали вопросы международной политики.

Вечером он тщательно собрался, почистил и отгладил костюм, надел белую рубашку, которую на непредвиденный торжественный случай всегда брал с собой в командировки. Уходя, он предупредил тетю Шуру, что едет в гости к приятелю, за город, и там, вероятно, заночует, пусть не беспокоятся. Но ключи от квартиры у нее на всякий случай взял, чтобы не будить стариков, если Мила не пригласит его к себе и придется вернуться.

Мила опоздала минут на десять. Павловский увидел ее издали и с удовольствием смотрел, как она приближается, тоненькая, легкая, в красном плаще. Она быстро шла, с беспокойством осматриваясь вокруг. Он окликнул ее. Мила подбежала, смущенно улыбаясь.

— Извини, пожалуйста,— сказала она, виновато прикоснувшись тонкими горячими пальцами к его руке. — Меня на работе задержали. Мы работаем и в субботу. Я уж так торопилась...

Она была немного иной, чем тогда, в институте. То ли от усталости, то ли от косметики, лицо ее сейчас не выглядело таким уж юным, в чертах прорезалась преждевременная, утомленная взрослость. Но — такая — она показалась Павловскому еще привлекательнее.

Поехали в тот самый, знакомый Павловскому небольшой ресторан. Вообще, он не любил ресторанов

вечером, с их шумной, пьяной публикой, но куда-то следовало пойти, посидеть, поговорить: это был обязательный этап игры.

Им неожиданно повезло: в ресторане были свободные места и весь вечер они провели за столиком вдвоем. Говорила больше она — обо всем, перескакивая с одного на другое,— о своей работе, подругах, домашних делах, кинофильмах, а он, внимательно и ласково глядя ей в глаза, слушал, думая о своем. Он все-таки устал за эту неделю. Сейчас ему было хорошо и спокойно, все вокруг действовало на него умиротворяюще: слабо освещенный ресторан, тихая музыка, вино, красивая женщина, которой приятно его внимание. Ему было так хорошо и спокойно, что, казалось, больше ничего уже и не надо. Только сидеть и сидеть вот так.

Когда Мила, спохватываясь, что говорит все время сама, начинала расспрашивать Павловского о его жизни, он, легко обходя щекотливые моменты, рассказывал в общем — о Ленинграде, о своей диссертации, о частых командировках в Москву. Получалась некая приятная неопределенность: как бы само собой подразумевалось, что эта встреча — только начало и в дальнейшем они будут часто видеться, хотя прямо об этом не было сказано ни слова.

В начале двенадцатого она заторопилась домой.

— Я тебя провожу,— сказал Павловский, подавая ей плащ.

— Что ты! Это так далеко, на электричке!

— Ну, хоть до вокзала.

Она, ничего не ответив, как-то странно, словно с удивлением или испугом, взглянула на него и быстро пошла к выходу. Он догнал ее на улице и взял за руку. Она не отняла руку, послушно пошла рядом, но как-то притихла. Весь путь до вокзала, пока шли по улице и ехали в метро, Павловскому пришлось самому что-то говорить, о чем-то рассказывать. Мила молчала, отводя глаза, лишь изредка коротко отвечала на его вопросы, бросая на него быстрый напряженный взгляд. Павловский не мог понять причину столь внезапной перемены. Шевельнулось даже сомнение: может быть, не ехать к ней?

Павелецкий вокзал, на который Павловский попал впервые, показался ему в этот ночной час сумрачным и

малолюдным. А когда вышли на пустынную платформу к темным вагонам электрички, он подумал, что все равно, в любом случае надо ее проводить, нельзя же чтобы девушка, одна, ночью, добиралась в такую даль.

Когда Мила вошла в тамбур вагона, Павловский остался на платформе. Продолжая шутливый разговор о каких-то пустяках, он внимательно наблюдал за ней и видел, что она и верит и не верит в то, что он останется, но по-прежнему не мог понять, чего же хочет она сама. И только в последние минуты, когда под вагонами зарокотали моторы и в поезде зажегся свет, Павловский шагнул с платформы к ней в тамбур. Почти сразу же за его спиной захлопнулись автоматические двери.

В вагоне не было ни души.

— Мила...— сказал Павловский.— Мила-Людмила.

Он привлек ее к себе и стал целовать. Мила не противилась, даже отвечала на поцелуи, но как-то скованно, нерешительно. Это было не то, совсем не то, чего он ожидал. Пытаясь пробудить ее чувственность, он начал ласкать все настойчивее, все откровенней, но она по-прежнему оставалась словно в оцепенении, и он с досадой подумал, что, наверное, зря ввязался во всю эту историю.

Дом Милы находился в нескольких минутах ходьбы от станции. Эти несколько минут они шли молча, не глядя друг на друга. Павловский решил: если только она заколеблется, приглашать его к себе или нет, хоть на секунду заколеблется,— он не станет упрашивать, он слова не скажет — повернется и уйдет. Черт с ней. Электричка на Москву, кажется, еще будет.

Однако свершилось все неожиданно просто, даже с каким-то слегка задевшим Павловского оттенком деловитости: Мила молча поднялась впереди него по темной лестнице, открыла ключом дверь и отступила, пропуская его в квартиру. Павловский хотел было произнести что-то, чтобы разрядить молчание, но услышал ее раздраженный шепот: «Проходи скорее!...» «Соседей боится»,— подумал Павловский и, посмеиваясь про себя, вошел в квартиру, ступая с преувеличенной осторожностью.

Однокомнатная квартира имела довольно запущенный вид. Павловский был неприятно удивлен, увидев

лампочку без абажура, пятна на обоях, грязноватый пол, неубранные со стола тарелки с остатками еды. Он никак не ожидал от Милы такой неряшливости и подумал, что намекнет ей на это. Конечно, не сейчас, после, но обязательно намекнет.

Машинально он потянулся к книжному шкафу и стал просматривать корешки книг. Одну полку целиком занимали учебники и справочники по черчению. Так же машинально он спросил об этом Милу.

— Это его книги,— ответила она.— Он в техникуме преподавал черчение.

Получилось неловко... Павловский шагнул прочь от книжного шкафа, настороженно взглянув на Милу. Но ее лицо было спокойно. Она вышла на кухню, несколько минут возилась там, бренча посудой, потом вернулась и спросила:

— Хочешь кофе?

— Лучше не надо на ночь.

Мила пожала плечами и так же спокойно, словно равнодушно, сказала, снимая покрывало с постели:

— Раздевайся и ложись. Я сейчас приду.

Через несколько минут она действительно пришла, выключила свет и скользнула к нему под одеяло. Нагое тело ее было прохладным.

Последовавший за этим чувственный взрыв приятно поразил Павловского. Но еще больше поразило его то, что произошло потом. Мила высвободилась из его объятий и резко откинулась прочь. Он попробовал ласково привлечь ее к себе, но она оттолкнула его и, прерывисто дыша, забилась на самый край кровати, вся сжавшись, словно боясь даже случайно прикоснуться к нему.

«Реакция,— подумал Павловский.— Пусть пройдет». Он деликатно выждал некоторое время и попытался заговорить. Но Мила не отвечала. Она лежала неподвижно, дыхание ее стало ровным; можно было бы подумать, что она заснула, если бы он не видел, как напряженно блестят ее глаза в ночном полусвете.

Приятно разморенного Павловского охватил прилив нежной жалости к ней. Он тихо стал утешать ее, заговорил о том, что она еще совсем молода и ей не нужно так отчаиваться, у нее еще все впереди, все будет хорошо... И вдруг Мила разрыдалась. Она рыдала, уткнувшись лицом в подушку, так громко, с

такими протяжными воющими всхлипываниями, что Павловский даже подумал сперва, что, может быть, она хохочет, может быть, это у нее такой смех... Потом он растерялся.

— Ну что ты, Мила... Мила-Людмила...— повторял он, гладя ее по голове.

Она отбросила его руку и заревела еще громче, сотрясаясь всем телом. Скомканное одеяло сбилось с нее куда-то вниз. Павловский осторожно подтянул одеяло, укрыл ее и тихо отодвинулся к стене. Ему стало не по себе...

Остаток ночи он провел прескверно. Иногда он проваливался на несколько минут в тяжелую дремоту, но тут же просыпался, чувствуя, что она лежит рядом и не спит. Когда в окне начало понемногу светлеть, он смог разглядеть ее лицо, осунувшееся, подурневшее. Она лежала на спине с открытыми глазами, невидяще глядя в потолок. И вдруг Павловского охватило раздражение. Какого черта он должен все это терпеть?! Что она — издевается над ним, что ли?! Истеричка! Дура! Он повернулся к ней спиной и стал дожидаться утра.

Стук первой пронесшейся за окном электрички столкнул его с места. Быстро, подчеркнуто стараясь не задеть Милу, Павловский соскочил с кровати и стал одеваться. Он чувствовал, что Мила следит за ним, но ни разу не взглянул в ее сторону. Только уже выходя из комнаты, он обернулся на ходу и коротко бросил:

— До свиданья.

— До свиданья,— тихо откликнулась с постели Мила.

Все же, уходя, он заметил сперва номер на двери квартиры, потом — табличку с названием улицы и номером дома. Заметил почти машинально, бесцельно. Не собирался он запоминать ее адрес, пропади она пропадом.

Голову ломило после почти бессонной ночи, на душе было скверно, гадко. Он злился на Милу, злился на себя за то, что вляпался в такую дурацкую историю, и с раздражением думал о том, что придется болтаться по командировочным делам еще три дня, не меньше, хотя ему уже вот как все надоело.

В последующие дни ему пришлось работать с утра до позднего вечера — собирали и испытывали партию приборов с его блоками. Закрученный делами, он почти не вспоминал, во всяком случае, старался не вспоминать про Милу, хотя в груди все время приглушенно горчил неприятный осадок.

Настоящее беспокойство охватило его неожиданно, несколько дней спустя, когда он уезжал из Москвы. Уезжал необычно — дневным поездом: закончил утром последние дела и вдруг почувствовал такое желание поскорее вернуться в Ленинград, что даже не захотел ждать до вечера.

Вообще Павловский любил уезжать, и любил уезжать один. Он никогда не разрешал провожать себя. Он любил вокзалы. Их сутолока, калейдоскоп лиц, вокзальный особенный шум действовали на него приятно-возбуждающе, вызывали прилив освобожденности, легкости, ощущения собственной силы. Особенно любил он последние минуты перед отправлением. Закинув под полку чемоданчик, он всегда выходил на платформу и, благодушествуя, курил у двери вагона. Это был его ритуал.

Но в тот день, в те самые последние, ничем не занятые минуты перед отправлением, вдруг неприятно всплыла в памяти эта дурацкая история с Милой. Он не хотел вспоминать о ней — все кончилось, и слава богу. Он успокаивал себя: конечно, он был смешон, но то, что было, было лишь между ними двоими, Мила никому ни о чем не расскажет; а если бы и рассказала кому-то, пусть — у них нет и не может быть общих знакомых; а если бы такие чудом и нашлись,— тоже ничего страшного, не смертельно. Но противная, постыдная горечь в груди не рассасывалась, беспокоила, он чувствовал ее непрерывно, даже думая о другом, даже задремывая под стук колес в откидном «самолетном» кресле у окна вагона.

Павловский не мог понять, с чего это вдруг привязалось к нему. Ведь он ни в чем не был виноват перед Милой, да и вообще... Тут он спохватился: вот в чем, оказывается, дело — не в том, что он выглядел смешным в этой истории, а в том, что оказался как бы виноватым. Но это было уже совсем глупо. В чем его вина? Она сама навязалась...

Когда Павловский вышел вечером из дверей Московского вокзала в Ленинграде и увидел привычные, с детства знакомые дома площади Восстания, Невского, он сразу почувствовал себя спокойнее и увереннее. Нелепая московская история сразу оказалась где-то в прошлом, начала расплываться, теряя болезненную осязаемость. Правильно он сделал, что поспешил вернуться.

Еще с порога своей квартиры он почувствовал застоялый кислый запах табачного дыма.

— Опять курила в комнате? — крикнул Павловский.— Мы же с тобой договорились!

— Я думала, ты утром приедешь,— оправдывалась Лена,— я бы успела проветрить.

Она лежала на диване с книгой, свернувшись калачиком. Фарфоровая пепельница на столике была набита окурками.

— Это ты одна столько выкурила?

— Нет, девочки ко мне приходили.— Она села, потягиваясь.— Как ты съездил?

Все-таки она очень располнела за последнее время. При ее маленьком росте такая пышность форм начинала выглядеть немного карикатурной, тем более что она питала раздражавшее Павловского пристрастие к обтягивающим брючным костюмчикам.

Женаты они были уже семь лет. Первые годы страшно ссорились из-за любого пустяка. Потом перестали. Павловский, все более и более занятый делом, и сам стал спокойнее, и постепенно привык не обращать особого внимания на ее нервные вспышки, относиться к ним, как к детским капризам. Вообще, с годами они как-то все меньше и меньше общались друг с другом. Это даже нельзя было назвать отчуждением. Просто не находилось общих интересов. Разговаривали они главным образом о своих хозяйственных делах да иногда обсуждали какой-нибудь кинофильм или спектакль. Рассказывать о своей работе, о диссертации Павловский не любил. Все равно Лена не смогла бы понять тех тонкостей, технических и служебных, которые заботили его. Она же была словоохотлива до болтливости, но многословные ее рассказы о каких-то мелких событиях у нее на работе или в жизни ее подруг были Павловскому неинтересны.

У них не было ребенка. Возможно, из-за того, что

первое время очень его не хотели. Впрочем, о причине можно было только строить догадки: даже врачи, к которым они обращались, не могли сказать ничего вразумительного, их обоих находили здоровыми. Сначала Павловский не мог смириться: как это — у меня, у меня не будет ребенка? С годами, постепенно, он привык и к этому, хотя в глубине души и сейчас еще немного надеялся, что все в конце концов поправится и у него родится сын.

Лена работала инженером в другом НИИ и, как понимал Павловский, работой была не особенно загружена. Иногда она начинала хныкать, жаловаться, что ее не ценят, не повышают, требовала, чтобы он устроил ее в другое место, получше. Павловский только посмеивался.

И не любил он ее подруг. Подруги у Лены подобрались, как они сами себя называли, «неприкаянные» — незамужние либо уже разведенные. Они часто собирались в его квартире и сидели часами, болтая с Леной об искусстве, модах, вещах, чьих-то служебных и любовных делах, жалуясь на жизнь; при этом непрерывно курили и глотали сухое вино. Павловскому это мешало заниматься.

Иногда они приводили своих очередных «мальчиков». Павловский называл их «андрюшами». Этих спортивненьких, улыбчивых тридцатилетних «андрюш», которые тоже болтали об искусстве и пили сухое вино (как подозревал Павловский, потому только, что на водку у них не хватало денег), он презирал уже совершенно откровенно.

По праздникам устраивались вечеринки. Мужчин всегда было мало, захмелевшие, разгоряченные «девочки» наперебой тащили танцевать Павловского, который танцевать не умел и не любил, и, танцуя, прижимались к нему. Павловский старался отодвинуться.

Конечно, он мог бы развестись с Леной, жениться на другой. Возможно, тогда у него и появился бы ребенок. Но что-то его удерживало. Все-таки за семь лет он привык к ней. Привыкать заново к жизни с другой женщиной было бы трудно, утомительно. И потом, если не думать о ребенке, то что могла бы ему дать женитьба на другой женщине? Скорее всего, в конечном счете было бы то же самое плюс ревность. Это уж точно.

— Ничего,— ответил Павловский,— нормально съездил.

Лена, чуть улыбаясь, смотрела на него, слегка прищуривая черные блестящие глаза, и покачивала ножками. Спортивные черные брючки туго обтягивали ее полные икры, трогательно белели маленькие ступни в капроновых следочках.

И, уходя, отрываясь от неожиданно всплывшего воспоминания о том, как он, озябший, жалкий, с болью в висках, брел на электричку после той ночи, Павловский шагнул к Лене и потрепал ее по коротко остриженной темноволосой головке:

— Все было хорошо.

Окончательно все успокоилось, улеглось, встало на свои места следующим утром, когда он пришел в свой кабинет. Кабинет у Павловского был уютный, современный — стены отделаны пластиком под дерево (сам подбирал). Правда, маленький кабинетик, в нем едва умещались письменный стол, книжный шкаф и несколько стульев. Но Павловскому больше и не надо было.

На столе его ожидала папка с накопившимися письмами и телеграммами, и при виде этой папки Павловский даже ощутил приятное нетерпение.

— Как съездил? — спросил, входя к нему, начальник отдела Андреев.

Андреев был старше Павловского лет на шесть. Неплохой инженер, он всплыл в руководители, по мнению Павловского, на безрыбье: слишком лез в мелочи и не имел нужной твердости с людьми. К Павловскому, который, едва осмотревшись после студенческой скамьи, взялся за дело решительно, независимо, а вскоре начал готовить и диссертацию, Андреев сперва отнесся настороженно. Однако Павловский быстро поставил все на свои места: подумаешь, должность — начальник отдела; если бы он задался целью сделать служебную карьеру, для него это была бы только ступенька; но то-то и оно, что он в начальники не метит, это сомнительное удовольствие не для него. Он хочет вести свою тематику со своим небольшим сектором, заниматься тем, что интересно самому. Административные же дела пусть тянет хоть Андреев, хоть другой

какой-нибудь любитель. Все равно все вопросы в отделе, касавшиеся сектора Павловского, решались только так, как считал нужным сам Павловский. А карьера — что карьера? Главное, защититься. Тогда и на должности начальника сектора он будет получать как директор. Что еще нужно?

— Ничего,— ответил Павловский,— нормально съездил. Подожди, разберусь с почтой, тогда поговорим.

Через несколько дней, когда Павловский, казалось, уже и забыл о командировке, его попросили рассказать о том, что он узнал у Кулева. Павловский достал свой блокнот с записями, принялся объяснять, расшифровывать схемы. Он добросовестно старался припомнить все, что говорил Кулев, и тут его фотографическая память сыграла злую шутку: вместе с подробностями нужными, техническими, она стала воскрешать, ярко высвечивая, подробности ненужные, нежелательные и неожиданно дразнящие — лицо Милы, сидевшей за соседним столом, ее настороженно-любопытный взгляд. Вот это он записывал, когда впервые заметил, что она смотрит на него. А когда дорисовывал эту схему, Кулев вышел и они заговорили. Какой красивой она ему тогда показалась... Он вспомнил разговор в коридоре внизу, когда она догнала его. Ее просящие глаза. Ощутил то беспечно-счастливое настроение, с которым шел от ее института. Да, начиналось-то все хорошо. И в том ресторане все было еще так хорошо...

Эти воспоминания разожгли в нем сожаление о чем-то неопределенно хорошем, необычном, может быть, возвышенном, чего он никогда еще не испытывал с женщиной и что, как ему теперь казалось, надеялся испытать с Милой. Странное дело, он не чувствовал сейчас раздражения против нее. Теперь, когда все немного отдалилось во времени, события той ночи выглядели какой-то аномалией, нелепой случайностью, зачеркнувшей то настоящее, что уже начиналось, и могло, и должно было бы быть между ними.

Конечно, он тоже вел себя глупо. Непростительно глупо. Ах, какой дурак! Даже не пытался поговорить с ней утром, когда она успокоилась. Морду отворачи-

вал. Идиот! А это «до свиданья» через плечо? Ох, идиот! И теперь все непоправимо загублено, потеряно... Впрочем, он мог бы, конечно, снова поехать в Москву, позвонить ей на кафедру... И тут Павловский вспомнил, что знает ее адрес. Номер квартиры на двери. Табличка с названием улицы и номером дома в Домодедове.

Несколько дней спустя он написал ей письмо. Написал уже успокоившись, на трезвую голову, тщательно взвешивая слова. Сначала сообщил о том, что выполнил ее поручение, позвонил подруге (деньги та, конечно, давно получила). Потом плавно перешел к тому, что чувствует себя виноватым и не хочет, чтобы их отношения оборвались так нелепо. Он просил, чтобы Мила разрешила ему снова увидеть ее, когда он приедет в Москву. Только увидеть и поговорить. В целом получилось неплохо: чувствовались его раскаяние и виноватая нежность к ней. В последних фразах звучала робкая надежда не только на новую встречу, но и на возможность каких-то безоблачных отношений между ними после этой встречи.

Перечитав письмо, переписанное набело, Павловский подумал, что, как бы Мила ни ответила, узнать ее реакцию будет, во всяком случае, любопытно. Письмо было своего рода психологическим экспериментом, причем экспериментом безопасным для его самолюбия, дистанционным.

В графе «адрес отправителя» на конверте Павловский написал адрес своих родителей, как делал всегда, когда ему нужно было вести переписку втайне от Лены.

К родителям своим Павловский относился заботливо, хотя особой душевной близости с ними не чувствовал. Они его вырастили, дали возможность учиться на дневном, за это он был им благодарен. Всем же остальным он был обязан только самому себе. Впрочем, ни отец, работавший мастером на небольшом заводе, ни мать, школьная медсестра, никогда и не пытались вмешиваться в его дела, определять что-то в его жизни. Они только радовались успехам сына и гордились ими, наивно преувеличивая его положение и перспективы.

Родители были некрепки здоровьем, и Павловский считал своей обязанностью часто звонить им. При любой занятости он находил эти несколько минут для того, чтобы узнать по телефону об их самочувствии и сообщить, что у него все в порядке. Если, случалось, им нужна была его помощь,— что бы ни требовалось — переносить ли тяжести, достать лекарство или организовать ремонт квартиры,— Павловский исполнял все с готовностью и немедленно.

Навещать их ему было и некогда и немного трудно. Особенно с тех пор, как вышел на пенсию отец. Уже один вид отца, который обычно сидел во дворе перед домом в компании других пенсионеров, почти всегда слегка нетрезвый и шумный, вызывал у Павловского прилив тоскливой жалости, раздражения и стыда. Хорошо еще, если удавалось бывать у родителей часто, тогда можно было каждый раз долго не задерживаться. Если же он приезжал после длительного отсутствия, быстро уйти было неудобно, приходилось сидеть, вести какой-то никчемный разговор. Отец норовил усадить его за стол, упрашивал мать разрешить им «отметить встречу». Мать разрешала, но неизменно жаловалась, что «старик совсем отбился от рук».

Павловский рассчитал примерно, через сколько дней Мила должна получить его письмо, а ее ответ дойти в Ленинград. Срок наступил. Каждый вечер, набирая номер телефона родителей, Павловский надеялся услышать о письме из Москвы, и каждый раз его ожидало разочарование. Нетерпение его нарастало. Вначале он не спрашивал о письме сам, спрашивать было ни к чему: если бы письмо пришло, ему сказали бы сразу. Но когда после срока прошло уже больше недели, он, злясь на себя и где-то, на какую-то капельку, все же надеясь, что, может быть, письмо есть и отец с матерью просто забывают сказать об этом, спросил.

— Все гуляешь, котяра,— засмеялся в трубку отец.— Смотри, Ленке расскажу... Нету тебе писем, нету.

Бросив трубку, Павловский еще некоторое время стоял у аппарата. У него горели щеки. Насмешливые слова «нету писем, нету» звучали в ушах, и это была насмешка, конечно, не отца,— на отца он и не поду-

мал обидеться,— это она смеялась над ним. Он готов был получить любой, буквально любой ответ от Милы. Его самолюбие не задели бы ее самые злые слова; приготовившись к этому, он чувствовал себя защищенным. Но он никак не думал, что она сможет не ответить ему вообще. Просто не ответить... Дрянь. Какая дрянь. Она снова нашла способ унизить его. «Бедная девочка»...

Павловский вспомнил, какой она пришла на встречу к метро, ее лицо — утомленное, неприятно взрослое, и подумал, что уже тогда было заметно в ее чертах что-то недоброе и порочное.

Конечно, еще некоторое время он все-таки продолжал ждать письма, но за потоком дел все забылось. Работы было много, и дома каждый вечер приходилось допоздна заниматься: в следующем году — кровь из носу — он должен был защищаться.

— Усталый у тебя вид, Сашенька,— вздыхала мать.— Синяки под глазами.

Павловский отшучивался. Он чувствовал себя неутомимым.

В мае он улетел на неделю в командировку в Новосибирск. Его устроили в отличной гостинице. Он отоспался и вернулся отдохнувшим, посвежевшим.

— Тебе письмо пришло,— в тот же день сказал по телефону отец.

— Из Москвы? — удивился Павловский.

— Нет, не из Москвы. Из Дедова какого-то... Приедешь, что ли?

— Приеду,— подумав, сказал Павловский.— Завтра.

Письмо было тоненьким, в конверт явно был вложен всего один небольшой листок. Взяв письмо в руки, Павловский не почувствовал ничего, кроме равнодушия. «Долго собиралась, милая»,— подумал он и спрятал письмо в карман.

Вскрыл он письмо только в метро, возвращаясь от родителей. Разрывая конверт и вытаскивая листок, он все же ощутил легкое волнение. Почерк у Милы был красивый (сразу вспомнились ее нежные, горячие пальцы). Рассматривая аккуратные, округло выписанные буквы, Павловский как-то не сразу воспринял смысл коротенького письма. Когда же этот смысл до-

шел до сознания, он испытал мгновенное, болезненно-ослепительное ощущение, подобное внезапному удару по глазам. На листке было написано: «У меня установили телефон (следовали пять цифр номера). Позвони мне сразу, я каждый вечер дома. Умоляю тебя, позвони и приезжай скорее, иначе я не знаю, что сделаю. Я больше так не могу».

В этот вечер он долго курил, стоя на лестничной площадке. Мыслей не было, только злость на себя — за то, что написал ей, выманивал ее на ответ. Ничему дурака жизнь не учит.

Ночью он проснулся и долго ворочался без сна. Какое-то неприятное, очень неприятное чувство мешало заснуть, какой-то сосущий холод, даже не в груди, а где-то в животе, и он не мог понять, что же это такое.

Утром, на работе, смутный, невыспавшийся, он понял, что это: страх. Но чего? Того, что она теперь, зная его адрес, будет писать ему или даже приедет в Ленинград? Глупо! Тогда чего же ему бояться? Что она покончит с собой? Но это вообще идиотизм!

Он курил в своем кабинетике, чего никогда прежде не делал, роняя пепел на черновики срочных документов. Глупо, глупо! Он пробовал спокойно разобраться во всем. Мила, ее поведение в институте, потом в ресторане, потом той ночью. Ее молчание в течение целого месяца и теперь, вдруг, это неожиданное письмо. Одно не вязалось с другим, никак не вязалось. Конечно, все это ерунда, просто она психически неуравновешенна, и это ее письмо — всего лишь очередная нервная вспышка. Протуберанец. Вернее даже — протуберанчик. Написано под влиянием минутного настроения и никаких последствий иметь не должно.

Он перебирал в памяти события, отыскивая то, что должно было подтвердить успокоительные рассуждения. Время от времени перечитывал письмо, которое носил с собой. Иногда начинало казаться, что эти красиво выписанные слова действительно звучат, в общем, безобидно и ничего угрожающего в них нет. Но в следующий раз его снова обжигали эти строчки на листке, их кричащий смысл. Да, конечно, она психически неуравновешенна, но ведь это и страшно! Черт ее знает, на что она может быть способна... И дальше

лезло в голову нечто уже настолько неопределенно-жуткое, что Павловский только морщился и мотал головой.

Ну, хорошо, старался он рассуждать логически, даже если он примет все это всерьез и кинется на ее призыв, что он сможет для нее сделать? Приехать и сказать ей, что он женат?.. Конечно, можно развестись с Леной и жениться на Миле. Для окружающих это будет если и не оправдано, то понятно. Красивая женщина, на шесть лет моложе. А главное, Лена бездетна. Вот и причина... Да нет, абсурд! Как можно о таком даже подумать! Жить с истеричкой. Сам вместо нее в петлю полезешь!

Он злился на нее, злился на себя, и от этой злости рождались холодные, едкие мысли о том, что самое благоразумное — вообще наплевать на всю эту историю. Пусть делает, что хочет, он здесь ни при чем. Она написала именно ему, конечно, только под влиянием минутной вспышки. За час до этого, наверное, о нем и не помнила. Не настолько уж они связаны. Если она какую-нибудь глупость и сотворит, кто его станет разыскивать и обвинять? Он ничего даже не узнает.

И, думая о том, что он действительно мог бы и должен был на все наплевать, но вот — принимает же эту нелепость так близко к сердцу, мучается, без вины виноватый, Павловский жалел себя.

Он считал себя хорошим психологом. Не только по отношению к другим. С другими — при его наблюдательности, знании людей, интуиции — обычно было несложно; ошибки, вроде случая с Милой, бывали редки. Гораздо труднее, казалось ему иногда, было разобраться в том, что чувствовал он сам. Но он приучился, одергивая себя, трезво и логично анализировать собственные чувства и побуждения, раскладывать их, как векторы в механике, на простейшие составляющие. Это помогало: снималось напряжение, все высвечивалось ярким бестеневым светом, в котором любые переживания представали сровненными, сглаженными, теряли ненужную остроту. Такое мудрое умение сохранять глубинное спокойствие сложилось не сразу, по кирпичику, но сложилось прочно, и теперь он считал, что иначе и нельзя, потому что спокойствие было не целью, а только средством, чем-то вроде

защитной реакции организма, целью же была та относительная независимость, которую оно давало, это спокойствие. Независимость от повседневной будничной нервотрепки, от случайных обстоятельств, от чужой недоброжелательной воли и глупости. Без этого спокойствия, без ощущения независимости, которое оно давало, он, с его самолюбием, просто не выдержал бы. Ведь и диссертация была нужна ему прежде всего для того, чтобы утвердить свою служебную независимость; и высокий оклад тоже в конечном счете нужен был не ради самих денег, не ради вещей, к которым он был почти равнодушен, не ради какой-нибудь дорогостоящей нелепой игрушки вроде автомобиля, но ради той дополнительной независимости в жизни, которую могли дать деньги, хотя бы просто ради возможности тратить, не считая, на какие-нибудь мелкие повседневные прихоти. Ставя перед собой только реальные цели, он был уверен в успехе, но, впрочем, не сомневался и в том, что если бы возникли непредвиденные осложнения, если бы его вдруг постигла неудача — с диссертацией, с должностью, с окладом, то он перенес бы и это, сумел бы приспособиться к новому.

Он знал, что не обманывает себя: все было именно так. И потому казалось особенно непонятным, отчего сейчас он болезненно выбит из равновесия, что заставляет его так переживать, так метаться из-за этого нелепого письма нелепой, случайной знакомой. Ведь не виноват же он перед ней, в самом-то деле! А хоть бы и был виноват, что из этого?..

Надо было работать. Иногда привычные дела отвлекали настолько, что он, казалось, забывал о неприятностях, работал так же спокойно, вдумчиво, уверенно, как всегда. Но потом, вдруг, словно без всякого внешнего толчка, накатывалось это беспокойство, этот сосущий холод где-то в животе, и все валилось из рук.

Прошло несколько дней, и Павловский постепенно начал сдаваться. Вначале он решил послать ей письмо и долго, до головной боли, обдумывал, что написать. Потом понял: письмо не годится. От мысли позвонить по междугородному телефону он отказался сразу: что могут дать три-четыре минуты разговора, который будет слушать вся очередь на переговорном

пункте? Надо было ехать в Москву. И как только Павловский окончательно решил это, его сразу охватил приступ пугливого нетерпения. Скорее ехать, скорее!

Он отыскал у себя в столе бланк командировки и кинулся к Андрееву:

— На, завизируй, мне в Москву надо съездить.

— В НИИЭП? — спросил Андреев.

— Да, в НИИЭП!

— А может, не стоит тебе самому ехать? Может, сюда их представителя вызовем?

— Да что толку вызывать? — закричал Павловский.— Как будто ты не знаешь! На месте надо все решать!

— Ну хорошо, хорошо,— быстро согласился Андреев, расписываясь на бланке.— Я только потому говорю, что о тебе беспокоюсь, ты сам везде мотаешься, только что из Новосибирска успел вернуться и опять...

— Ничего, съезжу,— сказал Павловский.— Не развалюсь.

Билет он смог достать только в плацкартный вагон, и к тому же на самое неудобное, боковое место. В вагоне было жарко, душно, он плохо спал и утром вышел на Ленинградском вокзале в Москве с тяжелой головой и болью в висках. Было еще слишком рано, чтобы куда-то ехать или звонить. Он побрел в утреннем людском потоке по привокзальным московским улицам, стараясь собраться с мыслями. Его толкали.

К началу рабочего дня он заехал в НИИЭП отметить командировку, но задерживаться не стал, сказал, что приедет завтра.

Никак не удавалось найти слова, которыми он начнет разговор с Милой. Он даже не мог решить, как лучше связаться с ней. Сначала хотел позвонить утром на кафедру, но быстро передумал: говорить с кафедры Мила будет в присутствии других. Кто ее знает, как это может повлиять. Потом он решил встречать ее возле института после рабочего дня. Но отказался и от этого плана: столкнуться лицом к лицу, неожиданно для нее, без всякой подготовки было бы слишком резко. И в конце концов Павловский решил, что для начала позвонит ей вечером домой, как она сама хотела. За каждую новую отсрочку в несколько часов он цеплялся с каким-то облегчением.

По его расчетам, Мила должна была вернуться домой около семи вечера. До этого срока нужно было как-то убить время. Он пошел в первый попавшийся кинотеатр и дремал во время фильма. Потом долго обедал в «своем» ресторане.

Уже около семи часов, когда Павловский, охваченный тревожным знобящим холодком, шел по улице, присматривая телефонную будку подальше от людного места, ему вдруг пришло в голову, что номер телефона у Милы не московский, из семи цифр, а пятизначный, местный, домодедовский, и, значит, позвонить ей из обычного московского автомата нельзя. Поняв это, он мгновенно сообразил, что звонить нужно из междугородного переговорного пункта, и тут же, каким-то экстренным напряжением, вспомнил, вытолкнул из памяти место в Москве, где когда-то видел такой пункт. Он кинулся к метро. Непредвиденная задержка как-то особенно испугала его, он спешил, словно мог опоздать.

Ему повезло: людей на переговорном пункте было немного, и в одной из кабин стоял специальный автомат, из которого можно было звонить в подмосковные города. Павловский бросил в автомат пятнадцатикопеечную монетку, набрал код Домодедова и начал уже набирать номер телефона Милы, как вдруг остановился. В спешке он растерял даже то немногое, что приготовился ей сказать. Он напрягал память, но обдуманные, обкатанные фразы куда-то ускользали, а то, что удалось вспомнить, показалось сейчас вымученным и фальшивым. Несколько секунд он стоял в растерянности, потом яростно принялся набирать дальше. Сегодня, сейчас надо позвонить обязательно, и он позвонит. Нечего придумывать, надо просто почувствовать ее настроение и договориться о встрече. А уж когда они встретятся, он что-нибудь сымпровизирует, он найдет убедительные слова, чтобы успокоить ее и расстаться по-хорошему.

Первый длинный гудок вонзился в него, как игла. Второй гудок, третий... Павловский с досадой и в то же время с некоторым боязливым облегчением подумал, что ее нет дома и он получит новую отсрочку, до завтрашнего дня. Но в трубке неожиданно щелкнуло, тонкий женский голосок сказал:

— Алё!

В горле у Павловского встал тугой резиновый ком. Первые слова, которые он готовился произнести, были: «Это ты, Мила? Здравствуй». Но он только беззвучно открыл рот. «Сейчас, сейчас,— успокоил он себя,— я буду говорить, надо только перевести дыхание, и пусть она повторит «алё», чтобы убедиться, что это действительно она, Мила».

— Алё-о! — снова, уже с насмешливой настойчивостью, сказал женский голосок.

И тут Павловский, неожиданно для самого себя, судорожным движением оторвал трубку от уха и бросил на рычаг аппарата. Сердце у него гулко колотилось.

«Глупости,— подумал он,— глупости, чего бояться... Она это была или не она? Телефон изменяет голоса. Нет, кажется, она. И голос спокойный, даже веселый. Но, может быть, я ошибся номером?»

Он позвонил снова, проверяя себя набором каждой цифры.

— Алё! — откликнулся голосок.— Алё-о! Ничего не слышно!

Павловский нажал левой рукой на рычаг и перевел дыхание. Да, это была она. И, судя по голосу, явно в хорошем настроении. С таким голоском топиться не идут. «Дурак! — выругал он себя.— Вот дурак-то!»

Он постоял в кабине еще немного, раздумывая, что теперь делать. Потом отыскал в кошельке еще одну пятнадцатикопеечную монетку и снова набрал номер. Набрав последнюю цифру, он сразу взялся левой рукой за рычаг.

— Алё! — сказала Мила. — Алё! Алё-о!

Павловский прикусил губу, стараясь не дышать в трубку.

— Наверное, автомат не соединяет,— сказала она кому-то в сторону.— А может, и балуются... Алё-о! — крикнула она в трубку и засмеялась.— Перестаньте хулиганить.

Павловский нажал на рычаг. Сердце билось еще гулко, хотя уже не так сильно и резко. Во всем теле была слабость, ноги чуть дрожали. «Вот и все,— сказал он себе и засмеялся: — Ах, дурак, дурак!» Он повесил трубку, вышел из переговорного пункта на буль-

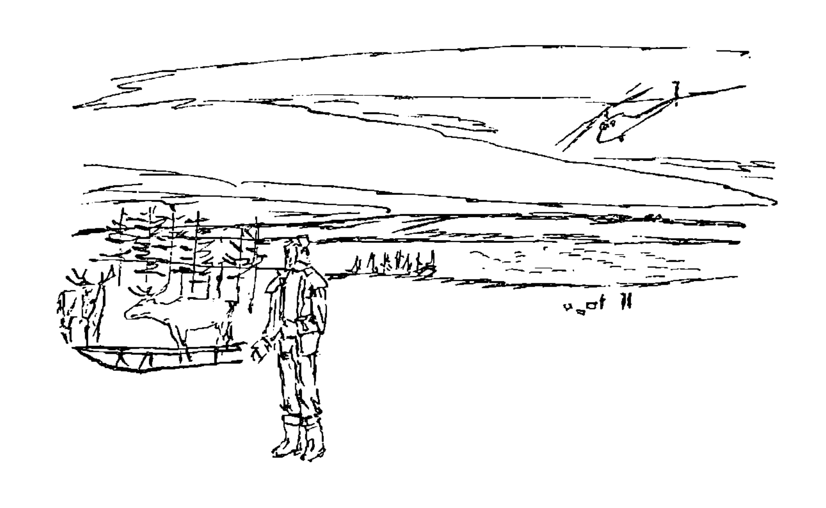
вар, сел на первую попавшуюся скамейку и закурил, успокаиваясь.

Конечно, она, скорее всего, и думать позабыла о том письме к нему. Настроение у нее сейчас, судя по голосу, нормальное. И кто-то рядом с ней есть. Неважно даже кто — мужчина, женщина. Есть — и слава богу. Значит, не пропадет она и без него.

Он не сердился сейчас на Милу, не сердился и на собственную глупость. Он просто курил, откинувшись на спинку скамьи, и блаженно ощущал, как уходит, рассеивается то, что нелепо давило и мучило его все эти дни. Это было подобно выздоровлению.

Вечер был теплый, солнечный, по-настоящему летний. Павловский с удовольствием думал о том, что сейчас поедет к тете Шуре, поужинает, выспится, а утром явится пораньше в НИИЭП, быстро раскидает дела и, может быть, уже вечером уедет домой.

Окончательно успокоенный, снова чувствуя себя собранным и сильным, он бросил окурок сигареты в урну, легко поднялся со скамьи, перешел на тротуар и зашагал сквозь толпу к станции метро.



Александр Скоков

БУЛЬДОЗЕРЫ ЦУГОМ

1

Первую после сна сигарету Олег курил на койке уже весь во власти отпускного настроения, мыслями далеко отсюда, от этой узкой, темноватой, в одно окно комнатушки.

Пройдет ночь, утро, над поляркой загрохочет турбинами вертолет. На четыре месяца он окунется в нормальную жизнь, которая сейчас, после двух лет дичания в тундре, кажется ему невероятной...

В вечерних сумерках таинственно белело высокое узкое окно. Снова приполз туман. Туман с океана, промозглый, плотный, туман с Севера. Над лагуной, над тундрой, над сотнями мелких тундровых озер, над сопками, реками... Он распластался над памятниками и мостами, проспектами и вокзалами его большого города, в том дворике, глубоком, гулком как колодец, в Заячьем переулке, в скверике.

На мокрых скамейках под деревьями ни души, кое-где белеют в тумане плоские тарелки светильников, и какой-то чумной один на волейбольной площадке обводит самого себя...

Шестая Советская, Суворовский... Он ждет ее в жалком пятачке света, падающего сзади из витрины ювелирной мастерской. «Ремонт колье, кулонов, перстней». Из тумана выплывают огоньки троллейбуса, замирает на той стороне шум шин. Девушка в коротком плаще бежит по ходу троллейбуса к перекрестку...

В дверь громко стукнули.

— Да,— неохотно крикнул Олег и повернулся на койке лицом к двери; он знал, что это снова Мурый, никак не отвязаться от него. Этот толстый суетливый киношник прилетел снимать в тундре буровиков и на обратном пути, в ожидании вертолета, на пару дней застрял на полярке; радисты устали от его криков, восторгов, бесконечных приставаний сыграть в бильярд на интерес...

— Кто же с вечера спит? — вскричал Мурый, входя и бесцеремонно включая свет. Он заявился — в кожанке, сплюснутой кожаной кепке — румяный, возбужденный, довольный собой.

— Вот что значит крепкие нервы! Да если бы я два года не был на материке, я бы уже как конь бегал вокруг полярки, высматривал вертолет. Мух у тебя здесь нет? — Он подошел к окну и заглянул в промежуток между рамами.— Такого симпатичного паука у буровиков поймал, прожорливый, стерва, не знаю, как довезти. Дома он мне всех мух переловит. Все-таки в квартире будет живое существо.— Он повернулся от окна к Олегу, огладил свои черные усики.

— Мечтаешь? Небось прилетишь и прямым ходом с ней в загс? Пробки в потолок, машина с кольцами, потом юг...

— Ее еще найти надо,— сказал Олег и покраснел.

— Кому заливаешь? Такой мальчик, и чтобы там у него никого не осталось? Расскажи другому...

— Была одна... Сейчас не знаю... Два года прошло...

— Вот это ближе к истине! Я тоже кой в чем разбираюсь, хочешь тебе совет дам? Начни лучше по новому кругу. Могу, между прочим, познакомить, порекомендовать. Семья приличная, девчонке — девятнадцать, учится в музыкальном училище, самостоятельная, неизбалованная, чем не жена?

— Она же не поедет со мной, ей учиться надо, или мне оставаться там, тогда зачем я учился?

— Это резон, я не подумал об этом. Но есть другой вариант. Эта нигде не учится, поедет хоть куда. Но уже была замужем... В общем, решим на месте, поживешь у меня недели две-три. Я люблю, чтоб вокруг меня была жизнь, тишину не переношу. Домой прихожу вечером, первым делом телевизор, радио на полную катушку, засыпаю только при включенном телевизоре... А комната, считай, что она твоя в любое время, занимай, живи сколько надо; будешь у меня как сын. Деньги потребуются — дай телеграмму: дядя Гена, столько-то... Думаю, что ты понял меня и к этому возвращаться не будем. Бриолина у тебя нет?

— Нету,— ответил Олег.

— На буровой где-то потерял тюбик... Говорят, усы, усы... За усами уход нужен... Какая здесь на выгрузке техника у Камардина?

— Техника вся на буровой, здесь только тягач да подъемная стрела, для разгрузки плашкоутов.

Мурый озадаченно потрогал усы.

— Маловато... Ладно, что-нибудь придумаем. Пленка осталась, надо отснять...

В комнате вдруг стало темнеть, лампочка на шнуре исчезла в потемках.

— Это что за бармалейство? — весело закричал кинооператор, щелкая выключателем.

Олег пробрался в потемках к вешалке, нашарил на полке фонарик и вышел с ним в коридор. В коридоре столкнулся с Виктором. Вдвоем вышли на крыльцо. От крыльца к электростанции были проложены дощатые мостики. Желтое пятно света запрыгало по мокрым доскам.

— С радиоустройством работал? — спросил Олег напарника.

— Жду, третья очередь.

— Кинооператор волнуется, будет ли завтра вертолет...

— А сам собрался?

Олег хмыкнул.

— Соберусь, что мне собираться — пара рубах да клифт.

— Клифт... Борт прилетит, будешь, как таракан, бегать из угла в угол.

Мурый тоже вышел на крыльцо. Было холодно, тихо, далеко на берегу лагуны на малых оборотах постукивал трактор.

Из тумана выдвинулась фигура с папироской. Подошел Виктор, стал вытирать о подстилку сапоги.

— Главный дизель скис,— хмуро буркнул он.— Сейчас Олег резервный запустит, можете перед сном почитать...

Мурый пошел за ним в дом. Виктор зажег керосиновую лампу, принес комплект белья и в кают-компании стал стелить гостю постель на древнем кожаном диване.

2

Главный дизель Олег запустил только утром.

Собрав инструмент, разбросанный по всему машинному залу, он свернул переноску; подмел, убрал верстак и, толкнув дверь наружу, обессиленно прислонился плечом к косяку.

Молочная волна тумана бесшумно неслась через мыс. Она смыла мачты антенного поля, радиолокационный отражатель, створный знак. Только их длинный барачный дом, как корабль, с тарелкой-вибратором на крыше все еще держался на плаву и скользил неправдоподобно далеко загадочной тенью. После паров соляра, выхлопных газов холодный утренний воздух будоражил; ноги гудели, болела голова, но он знал, что не заснет, не переборет мыслей, нахлынувших на него вчера...

На метеоплощадке Виктор проверял приборы, писал на пластмассовой дощечке цифры карандашом. За ним, от прибора к прибору, таскался Мурый, осанистый, с влажными черными волосами, зачесанными назад и на шее завившимися в кудряшки.

— Салют! — крикнул он издали Олегу.

— Порядок? — спросил Виктор у напарника, выходя с площадки.— Запустил?

— Нагрузку дал, тянет...

— На плите макароны, чай. Попробуй, вздремни, борт будет не раньше двенадцати.

Они пошли гуськом по мосткам. Мурый обернулся к Олегу.

— Ты что же, старик, всю ночь?

— Ну,— усмехнулся Олег.

— Устал?

— Привык. Мы стоим вахту круглосуточно. Ночью тоже.

Виктор вошел в дом. Олега кинооператор придержал на улице.

— Неловко, старина, просить тебя... Если бы не крайняя нужда... До лагуны не подбросишь на вездеходе?

— Можно,— согласился Олег.

— Понимаешь, есть у меня мысля, нужен вездеход... Ажиотаж, так сказать, движение, техника!..

— Собирайтесь, напьемся чаю и поедем!

...Когда Олег выехал из гаража, все вокруг было как на ладони, мористый ветер гнал в тундру туман. Надстройка теплохода сверкала под солнцем глыбой льда. На баре, у входа в лагуну, на мелководье, катер с двумя плашкоутами на буксире смело пробивался через белые шевелящиеся бугры. На первом плашкоуте покачивался синий домик-балок, на втором — новая техника.

Обогнув баню, склад, Олег увидал возле крыльца легкую летнюю нарту и пару крупных ездовых оленей. На нарте сидел черный большой пес, второй, такой же масти, крутился на крыльце, не решаясь сунуться в коридор. Черные псы водились только в бригаде Долгановского; наверно, кто-то из его пастухов приехал к ним отовариться.

На крыльцо, с кофром через плечо, зеленым рюкзаком и стеклянной банкой, выскочил Мурый, за ним вразвалочку двигался в кухлянке оленевод. Пастух взял за рога оленя, собаки спрыгнули с нарты, и вся кавалькада медленно потянулась к лагуне вниз.

Олег развернулся перед крыльцом, Мурый швырнул рюкзак в кузов, поставил на сиденье в кабине кофр, банку с пауком и, кряхтя, стал втискивать себя в маленькую дверцу.

— Я сразу, старина, с вещами... Оттуда же до вертодрома рукой подать...

Открылась в аппаратной форточка, высунулась стриженая Викторова голова.

— Собрал вещи? — спросил он у Олега.

— Успею.

Вездеход, грохоча траками, резво побежал по рыжим тундровым кочкам, обогнал пастуха с нартой,

собак. Мурый высунулся, помахал рукой пастуху в направлении лагуны, уселся, раскрыл кофр и сквозь грохот железа закричал:

— Представляешь, какой сюжет я сейчас накручу? У-у-у! Плашкоут, олени, бульдозеры, оленевод в кухлянке, пароход... Жизнь, черт тебя дери, жизнь!

Олег кивал ему, поглядывая на мелькавшие сбоку траки гусеничного полотна; в одном звене болтался сточенный палец, который он забыл сменить, теперь Виктору лишняя работа.

Мурый вдруг всполошился, выхватил из кофра камеру и высунулся на полтуловища из кабины. Вездеход шпарил по гладкому берегу лагуны, впереди тягач медленно разворачивал многоосную платформу с тяжеловесной грузоподъемной стрелой.

Плашкоут с техникой покачивался, брошенный посредине лагуны, а катер, набрав разгон, летел прямо на берег с другим плашкоутом под бортом. Весь плашкоут занимал балок — двухквартирный жилой домик, из таких балков на буровой комплектовался поселок.

Берег в районе выгрузки был пологий, илистый; шурша днищем, плашкоут наполовину выскочил из воды. Тягач взревел и, пятясь, стал загонять в воду платформу с грузоподъемной стрелой.

Ребята-такелажники, все как один в зеленых стройотрядовских куртках и кепках, быстро застропили балок. Командовал ими сам Камардин. Он поднял руку в брезентовой верхонке, завертелся барабан, поползли по стреле черные тросы. Балок завис в воздухе над плашкоутом, плашкоут подвсплыл. Тягач, напрягаясь, с ревом медленно потащил платформу из воды.

Мурый снимал с нижней точки, распластавшись возле вездехода на песке, потом вдруг вскочил и отчаянно замахал руками.

Камардин сделал руками крест-накрест, тягач остановился. Камардин отвернул голенища резиновых сапог, спрыгнул с плашкоута в воду и побрел к берегу.

Мурый, сопя, задыхаясь, бросился к нему.

— Михалыч, миленький... десять минут, не больше... Клянусь! — (Олегу показалось, что оператор сгоряча вот-вот брякнется прорабу в ноги.) — Десять минут... Ну? Отъезжаешь на вездеходе за мысок, раз-

ворачиваешься, вылетаешь и шпаришь по прямой, обгоняешь собак, оленей, здесь — поворот на сто восемьдесят градусов (Олег сумеет, сделает), выпрыгиваешь — бульдозер в это время ревет, дергается — лезешь в кабину сам, садишься за эти рычаги, ну...

Камардин хмуро смотрел в песок.

— А зачем?

— Ну как же, старик! Опытный тундровик, механизатор... Разве за тридцать лет не бывал в таких передрягах? Критическая ситуация... Жизнь!

Перед тем как влезть в вездеход, Камардин бросил тревожный взгляд на свою замершую технику. От него не ускользнуло, что платформа под тяжестью подвешенного к стреле балка слегка завалилась на левую сторону. Шел прилив, задняя пара колес платформы уже была под водой.

— В темпе, Олежка, в темпе...— попросил Камардин.

Все вышло блестяще, именно так, как оператор хотел: рейд, теплоход, пастух с нартой и вдали черная точка, превращающаяся на глазах в приземистый быстрый вездеход.

Вездеход подлетел, взревел, крутнулся на траках. Камардин выпрыгнул из кабины и бросился к тягачу.

Мурый снимал его сбоку. Еще миг, и крупная фигура прораба очутилась на гусеничном полотне тягача. Оператор ликовал: кадры, кадры!..

Прораб забыл про съемки. Платформу заливало, вода так быстро подняться не могла — задние колеса просели, их засосал грунт, а бульдозерист, олух, прохлопал, вовремя не догадался рвануть.

Камардин решительно потеснил бульдозериста. Тягач свирепо рявкнул, задрожал и остался на месте. Бессильно мыкаясь взад-вперед, он рыл гусеницами траншеи и быстро садился в топкий грунт. Камардин попробовал сдать назад, платформа сильней просела на левую сторону...

Мурый, оглохнув от рева, метался вокруг тягача, приседал, отбегал, менял насадки, лез под гусеницы... Не замечая, что вода льется ему за голенища сапог, он пробрался вдоль борта плашкоута, забрался на него и стал снимать эпопею сверху.

Минут через десять тягач намертво сел на раму.

Камардин, без бушлата, кепки, с всклокоченными мокрыми волосами, подбежал к вездеходу и заорал:

— Прикипели! Выручи... Гони свою сотку... Стрелу замоет — ставь крест!

Когда Олег пригнал с полярки трактор, буксирный трос был уже заведен, такелажники дружно окапывали засевший тягач и подсовывали ему под гусеницы бревна и доски.

Оператора на берегу не было. На том месте, где были брошены его вещи, осталась только стеклянная банка с пауком.

Олег растерянно глянул в небо. Низко над тундрой с юга стремительно скользил громадный грузовой вертолет. Через пять минут машина зависла над вертодромом. Рокот турбин докатился до лагуны, смешался с перестуком тракторов.

Такелажники свистнули. Олег оглянулся. Буксирный трос был уже накинут на гак. Высунувшись из кабины засевшего тягача, Камардин, с лицом злым, черным, крутил в воздухе длинной рукой.

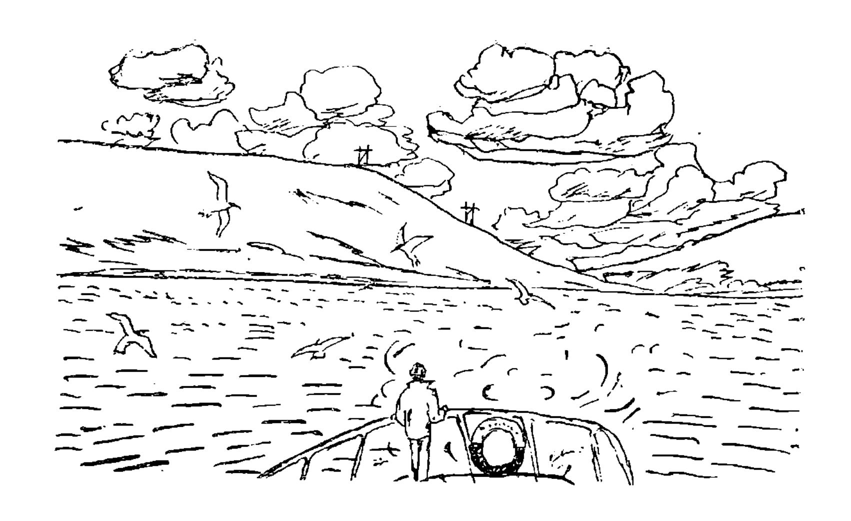
Сглотнув ком в горле, Олег еще раз глянул на вертолет. Лопасти машины еще крутились, а народ с кулями, рюкзаками весело сыпался из проема его двери. Прилетела буровикам подмена. Какой-то бородатый кент заявился даже с белой собачонкой. Она скакала, возилась на снегу, ликовала, что дорвалась наконец до свободы...

Мурый ввалился в дверь вертолета, турбины загрохотали, вертолет взлетел и боком заскользил прочь. Олег вдруг почувствовал, что сейчас заплачет.

...Суворовский проспект, аэропорт, цветы, теплое море, счастье быть с нею — все уносилось у него на глазах и превращалось в дрожащую над тундрой точку...

Сзади еще раз нетерпеливо свистнули, он полез в кабину. Такелажники побежали от троса.

Оба бульдозера взревели, дернулись и разом затряслись от чудовищного напряжения, впряженные цугом.



Валерий Суров

ПАСМУРНАЯ ПОГОДА

Утром я поднимался очень поздно. Позавтракав в верхнем ресторане, выходил в салон, где бородатый радист уже принимал заявки на радиограммы. Дни стояли мрачные. Промозглый ветерок листал бланки с однообразным содержанием: «Встречай, выехали...»

Здесь же, на соседнем диванчике, возле курительного столика, добирались до Крайнего Севера «по четвертому классу» женщина с узлами, чемоданами и двумя детьми — рослой девочкой-подростком и маленьким мальчишкой Сережкой. Дети ее бегали в буфет за хлебом, за колбасой; приносили в собственной посуде кипятку для чая или просто бегали по палубам, заглядывая во все укромные уголки парохода.

Было видно, что они привычны к дорогам. Во всяком случае, чувствовали они себя как дома. Мать их почти не опекала, предоставив полную самостоятельность.

Взгляд этой женщины был насторожен, движения беспокойны.

Ее явно что-то заботило. Радист, худощавый парень с шотландской бородкой, зажав в губах истлевшую наполовину сигарету, щурил от дыма правый глаз и писал на бланках цифры. Окончив формальности, он исчезал в радиорубке и спустя несколько минут над свинцовыми волнами Енисея звучала музыка. Казалось, что здесь, где на тысячи километров лишь осенняя тайга, укрытая тяжелым пасмурным небом, никакие антенны не способны ничего поймать и музыка в дорогу просто взята радистом с собой из Красноярска и является таким же имуществом парохода, как и спасательные круги, шлюпки и все-все, на чем написано оранжевой краской: «Д. Э. Антон Рубинштейн».

Ближе к полудню пассажиры выбирались на прогулку. Набросив плащи или курточки, они двигались по палубе медленно, словно роботы, или же собирались на корме и бросали за борт бакланам хлеб, бакланы хватали его на лету. Дул северный ветер.

Мальчуган тоже просил у матери хлеба:

— Мам, я курочек покормлю!

— Это, Сережа, не курочки, а чайки,— поправляла его сестра. Мать молча давала горбушку, и Сережка снова бежал на корму в своем коротеньком потертом пальтишке.

Жизнь этого семейства была у всего парохода на виду, в то время как все остальные пассажиры были скрыты друг от друга перегородками кают и появлялись в коридоре или на палубе только для того, чтобы погулять, себя показать да посмотреть на берега...

После завтрака я в буфете купил плитку шоколада и угостил Сережку. Он уже вернулся с кормы и показывал маме, как «курочки» хватали хлеб. Сережка не сказал мне спасибо и не поделился ни с сестрой, ни с матерью. «Однако...» — подумалось мне.

Я закурил сигарету и присел рядом с Сережкиной матерью.

— Вы в Норильск? — спросила она меня.

— Да.

У нее вдруг загорелись глаза. Она что-то шепнула дочери, та во все глаза наблюдала, как братишка, сидя на чемодане, жадно поедал дареный шоколад.

— А я тоже еду в Норильск... У меня там муж. Мы вот к нему,— мамаша кивнула на детей. Ей было немногим за сорок. Но выглядела она старше. Она пришпилила гребнем бесцветные, падающие на морщины лба волосы и продолжила: — Он там работает на Талнахе... Слышали?

— Да.

— А как там заработки? Хорошие? Крайний Север как-никак...

Она не нуждалась в моем ответе, говорила без остановки, сама себе отвечала, и скоро я уже знал, что муж ее уехал из Донбасса после какого-то очередного семейного скандала, а теперь и в Норильске беспробудно пьет. Что Сережка и девчонка не его, он их усыновил, когда на ней женился, а она на него подала на алименты. Закон такой... Это была длинная история женских злоключений. Она, брошенная мужем «на растерзание свекрови», как-то встретила свою разлучницу и надавала ей «по морде». Это был ее первый муж — «подлый изменщик». А второй попался и того подлее. А третий — «пьяное мурло» — сбежал на Крайний Север. Вот ты их и разыскивай по всему свету...

Мне надоела эта слишком откровенная исповедь при детях, я караулил предлог уйти. А она все говорила. Между прочим, не закрывая рта, дала подзатыльник Сережке за испачканные шоколадом руки. Тот даже не ойкнул. Сестра его увела в умывальник, а женщина все рассказывала, как ни в чем не бывало.

Она не знала адреса мужа, ехала к супругу сюрпризом. «Чтоб опять не сбежал». Она «слабохарактерная», по доброте ему уже все простила и ехала для того, чтобы он получил квартиру, а не маялся на старости лет по общежитиям, да получку в забегаловках не оставлял. Потом я узнал, что алименты-то контора ей переводит исправно. Но ведь это только третья часть! Экую прорву деньжищ дуралей пропивает!.. А будут жить вместе, семейно — другое дело...

Близился обед. Женщина мне осточертела, но «футляр» приличия обязывал изображать на лице внимание и даже сочувствие.

После исповеди женщина стала считать меня хорошим знакомым, и я должен был ежедневно изо-

бретать уловки конспирации, ибо она буквально меня подкарауливала.

Два солдата ехали в одной каюте с мальчишкой-ремесленником. Ремесленник вез из дому бидон меду и всех радушно угощал. Я у них прятался, как в убежище.

После обеда, по расписанию, за бортом показалась достопримечательность. Вместо пожухлых и серых берегов Енисея, совершенно безжизненных и однообразных, появилась пристань Туруханск.

У причала продавали ведрами бруснику, кедровые шишки, связки широкой плоской воблы, молоко и мелкие моченые яблоки. Пароход простоял недолго — звякнули склянки, вскипела вода у кормы, и он тяжело отвалил от деревянного дебаркадера... В салоне появилась смуглая раскудрявая девушка. Она шутливо объявила:

— У меня билет четвертого класса! Я поеду здесь.

— Вон свободный диван,— буркнула «моя» женщина с явной неприязнью: новая пассажирка была цыганкой. Она бросила на диван спортивную сумку и обратилась сразу ко всем, кто в этот момент оказался в салоне:

— А ну, кому погадать?

Мои знакомые солдаты, смущенно улыбаясь, согласились, начали шарить по карманам. Цыганочка протестующе растопырила ладонь:

— Без этого! Так, чтобы время убить.— И рассказала, что она едет в Игарку на лесозавод — мужа проведать.

— Что ж при себе не удержала? — съехидничала Сережкина мать. Девушка засмеялась:

— Руки были заняты. Малыш у меня. Сын.

— Бросила, стало быть?

Цыганочка свела брови в одну линию, сверкнув глазами, срезала обидчицу:

— Иди ты, тетка, к бесу! — И тут же снова рассмеялась: — Ой, солдатик, счастливый ты! Ждет она. Ударяется к тебе. Видишь, как красная масть ложится? Слушай сюда...

Знакомый ремесленник заговаривал с сестрой Сережки. Та хмурилась и грубила.

— Откудова едете?
— Тебе что за дело?
— Хочешь меду?
— Нет,— сказала девочка,— отвяжись!
— А я хочу-у,— захныкал Сережка, и ремесленник пошел в каюту за медом.

Мать двоих детей презрительно смотрела на цыганку, которая весело раскладывала карты. К ней уже выстроилась очередь. В салоне стало многолюдно и шумно.

Я вышел на полубак, облокотился на перила и стал смотреть на безлюдные берега пасмурной реки. Мимо прохаживались пассажиры. Летели, как привязанные к пароходу, бакланы. Худенькая, лет двадцати пяти проводница в коричневой форме стояла на корме и бросала птицам кусочки хлеба...

Вечерами на корме были танцы. Потанцевать выходили все свободные от вахты матросы, пассажиры помоложе, солдаты, ремесленник, цыганочка. Я тоже от нечего делать выплясывал с кем придется. Цыганочка была нарасхват.

Над головами бухал алюминиевый таз динамика. Под звуки танго и фокстротов приближался Полярный круг. Вечерами приходилось одеваться теплее. Люди танцевали в плащах, пальто, а некоторые даже в перчатках. Все еще до ночи работал ресторан на верхней палубе.

Утром я, как всегда, позавтракал и направился в салон перекурить. Там меня прищучила моя собеседница, сидевшая в полном одиночестве. Она, оказывается, познакомилась «с одним мужчиной — из пассажиров — большим начальником». Он ее пригласил в каюту и роскошно угощал. От него она была в восторге: «Уж так ухаживал! Намекал, конечно, но я не из таких...»

Я убежал от нее самым невежливым образом. Чуть не выругался вслух. Ну и чума баба! Громобой.

За кормой скрылась очередная пристань, и я смотрел на удаляющиеся серенькие трубы, деревянные тротуары и свору лаек, мчавшихся берегом за пароходом.

Метр за метром приближался ко мне Север. Дни от безделья тянулись невыносимо медленно. Словно по покойнику, причитали бакланы...

В Игарке вышла на берег цыганка. Она весело помахала пассажирам своей легкой сумкой, резво побежала по крутой лестнице в гору. Без нее стало уныло. Ночью, на переходе в Дудинку, был шторм. Волны прыгали на нижнюю палубу, и пароход качало из стороны в сторону. Спали все беспокойно. В три утра бросили якорь на рейде Дудинского порта. Стало тихо, и маленькие волночки лишь слегка плескались о борт. Они льстиво лизали бока парохода, словно извиняясь за бурную ночь... По горизонту, в тумане, маячило на якорях много океанских судов, и наш «Д. Э. Антон Рубинштейн» среди них казался щепкой.

Пассажиры стояли у открытых дверей своих кают или сидели в проходе на чемоданах.

В салоне, на узле, сидел Сережа в застегнутом на все пуговки пальто. Женщина улыбнулась мне и както скованно принялась рассказывать, что ее знакомый «большой начальник» оказался большим нахалом. Я слушал не слыша — не воспринимал.

Над волной слабо пошел снег. Морозило. Вода, забравшаяся на палубу ночью, заледенела.

Часа через два нас допустили к причалу, и мы сошли на берег.

В город поезд пришел во второй половине дня. Я сел в автобус и поехал сразу на рудник, где мне предстояло решить два жизненно важных вопроса: узнать, в какую смену выходить на работу, и разжиться авансом... В крайнем случае, перехватить у кого-нибудь до получки.

На участке никого не было, и я спустился в буфет, где застал знакомого механика. Мы с ним выпили пива, и я пошел в бухгалтерию. Там меня ждал приятный сюрприз.

— У тебя за июнь целая получка лежит, а ты — аванс! — укорил меня бухгалтер.— Беги в кассу, а то кассирша уйдет. Вот что значит Север! Когда на отпуск получаешь целую кучу, немудрено и забыть, что не под чистую выгреб.

Получив деньги, я ожил. Настроение поднялось, и, вызвав такси, я поехал в город.

Там потоптался по проспекту, просмотрел объявления, наклеенные на углу большого белого дома — не сдает ли кто комнату в городе. Но комнаты не сдавались. Все продавали мебель, требовали нянь, делили жилплощадь, искали пропавших болонок.

Шел пушистый снег. Волосы намокли. Я втянул голову в мягкий воротник куртки и, послонявшись по проспекту, направился в ресторан. Заказав обед, позвонил товарищу по работе — он жил в центре города.

В зале народу прибавлялось. В стороне стояли два банкетных стола... На сцену выбрался аккордеонист. Он поставил инструмент на стул и внимательно осмотрел публику, словно решая, стоит ли играть.

Зал был уже заполнен, когда, лавируя между столиками, появился Саша. Он был в накрахмаленной белой сорочке, гладко причесан.

— Сашка! — крикнул я.

— Что ты кричишь?! — зашипел он возмущенно, присаживаясь рядом.— Неприлично же!

— Что новенького? — спросил я его.

— Все старенькое,— ответил он в тон. Отщипнул кусочек хлеба, посолил его и принялся жевать.— Скажи официанту, чтобы он мне поесть принес.

— Принесет,— успокоил я Сашу.

Время бежало. Начал играть оркестр. Из-за банкетных столов стали подниматься пары. Над головами кружились вентиляторы. Словно перед грозой, плавали облака табачного дыма, стучали ножи о тарелки, звенели бокалы, хрипло пел бородатый оркестрант. А умолкнув, размахивал медной трубой, напрягая щеки.

— Тебе не кажется,— спросил меня Саша,— что нам не с кем потанцевать?

— Кажется,— ответил я, окинув взором пустующие кресла за нашим столом.— Но ты же проворный и умный мужчина — иди найди кого-нибудь.

— Попытаюсь,— сказал он и поднялся с места.

Я проводил его взглядом до выхода и стал смотреть на танцующие пары. Подвыпившие мужчины, яркие женщины с бусами, браслетами, сережками беспечно прыгали под взвизгивание кларнета вразнобой и подпевали солисту.

Появился Саша с двумя девушками. Он их пропустил вперед, указывая путь к столику, потом подошел сам и пояснил шепотом:

— Смотрю, а их швейцар не пускает... Мест нет. Я и пригласил. Правильно?

— Правильно,— согласился я.

Мы познакомились, я тут же забыл, как их звать. Но это не было помехой. Мы опрокинули по рюмочке, по второй и ринулись в толпу танцующих. Мы танцевали на совесть — ни минуты отдыха. Успевали только в перерывах подбежать к столу перехватить чего-нибудь — и снова в гущу веселья... Но оркестр объявил перекур, и мы присели отдохнуть.

Я сник. Мне вдруг стало грустно. Я без сожаления вспомнил свой отпуск — серое и долгое болтание по стране, сдачу экзаменов в университет...

— Как ты думаешь,— спросил я Сашу,— получится из меня учитель?

— Из тебя получится хороший алкоголик, если ты будешь пить так же лихо, как сегодня... А вообще, не ходи в учителя: нервы не выдержат и ты будешь раздавать школьникам подзатыльники, а роно тебя уволит... В наших школах драть детишек не положено.

— А зря,— сказал я, туманно созерцая занавески, недоеденного цыпленка, початую бутылку коньяка.

— Галя... Что ты смотришь?! Растормоши его, пока он не заснул в салате...

Галя прислонилась к моему плечу и спросила:

— Тебе нехорошо?

— Дурно,— согласился я.

— Может быть, выйдем на свежий воздух?

— Нет. Мне не в этом смысле.

— А в каком?

— Мне дурно на белом свете. Неуютно.— Я не видел ее лица, но было все-таки хорошо, что рядом кто-то есть.— У меня дурно на душе,— пояснил я.— А ты думаешь, от выпитого? Много ли мы выпили?! Мы же шахтеры. Официант! Принесите-ка нам шампанского, бренди и цветов для наших дам.

На столике появилось требуемое.

— Конфет! — разошелся я.— И мороженого.

— Сейчас начнет зеркала бить,— кивнул на меня Саша.— Купчик.

— Могу в ухо,— предупредил я.

— Он может,— подыграл мне друг.

— А он на нас драться не бросится? — встревоженно поинтересовалась Галя.

— Не должен,— пожал плечами Саша.— В университет как-никак поступал. Культура.— Он опять пошел со своей партнершей танцевать, а ко мне подсел какой-то кавказец.

— Ты меня уважаешь? — спросил он меня.

— Не за что,— ответил я.— Уважение надо заслужить. Вот выпьем — тогда посмотрим.

Мы выпили по рюмке коньяку, и я спросил его:

— Ты кто?

— Грузин,— ответил он.

— А я — негр.— (Грузин рассмеялся.) — Я перекрашенный...

Потом он ушел, а я вновь остался один. Откуда-то появилась Галя.

— Мне здесь надоело,— сказал я ей.

— Мне — тоже.

— Убежим? — предложил я.

— Давай,— согласилась она.

Пока мы сидели в ресторане «Лама», на улице шел снег. Когда мы вышли, на карнизах уже лежали пушистые меха. На почтовом ящике была надета песцовая шапка — плавные снежинки скользили, как конфетти на новогоднем карнавале... Я в этом году впервые толком видел снег. Мне захотелось погулять. Было тепло и радостно. Мы шли по улице, освещенной сотнями фонарей. Расстегнутая куртка моя трепыхалась.

— Едем ко мне,— заявил я решительно.

— Придется,— согласилась Галя.— Не могу же я такого пьяного бросить на улице... Чего доброго в вытрезвитель попадешь.

— Я? Кого! Меня?! В вытрезвитель? Да я как стеклышко!

— Тогда застегнись, стеклышко.

— А мне, может быть, жарко! Я с материка приехал! На дворе два градуса жары, а ты — «застегнись»! — Я размахивал руками, призывал в свидетели прохожих.

Потом мы зашли в магазин и купили там еды и питья, так как дома у меня ничего не было. Галя договорилась с водителем «газика», и мы поехали за город, ко мне.

Машина шла около часа, и я успел немного вздремнуть. Галя меня растолкала и спросила:

— Долго еще ехать?

— А мы уже проехали,— сказал я, приглядевшись.— Надо назад, по этой же дороге... Тут недалеко.

Машина развернулась. Я старался показать издалека, где мой дом, но Галя ничего не видела и все время спрашивала:

— Где? Там же ничего нет...

Машина остановилась, мы выбрались на дорогу и двинулись к моему бараку.

В бараке никто не жил. Он стоял у подножия горы. Безобразные его окна были заколочены досками.

Мы нырнули в дверь, попали в длинный коридор, в котором раньше жило бесчисленное множество бездомных собак. Я чиркнул спичкой, отыскал ключ за рваной обшивкой двери и открыл замок.

— Прошу! — пригласил я ее широким жестом.

Она вошла и стала беспокойно озираться в темноте. Я включил свет и свалил еду и все остальное на кровать...

Сюда я переселился в конце года. Мне тогда было все равно, где жить. Мы развелись, и я ушел. До переселения сюда я три ночи спал в гардеробе рудника, одну ночь — в каком-то подъезде. А потом, шатаясь в тоске по горам, вдруг увидел, как из-под снега клубится пар. Я разгреб снег и увидел строение... Мне оно понравилось — здесь меня никто не мог найти, а этого-то мне и недоставало в то время... Когда я ночевал в гардеробе, меня жалели технички и поговаривали между собой о моих прошлых отношениях с женой. Ругали ее и хвалили меня — от этого хотелось повеситься. Слух о моей беспризорности добрался до наших ребят, и все горняки стали гостеприимно звать к себе. Но я нашел барак в тундре! Тут я жил спокойно недели две, а потом ко мне заявилась комиссия от профсоюза. Комиссия покачала головами и решила поставить меня на срочную очередь для получения жилплощади. Я их выгнал с нехорошими словами. И конечно, был не прав. Они же ко мне по-человечески. В конце концов, не выдержав круговой заботы, я взял отпуск и укатил на материк... И вот — вернулся.

— Ну как? — спросил я Галю.

— Отлично,— сказала она без энтузиазма, осматривая мою конуру.

— Тогда можете раздеваться — здесь тепло... Мой дом — ваш дом,— сказал я, копаясь в кухонном столе.

Надо было отыскать чайник и согреть кипятку.

— Извините, но насчет закусона у меня ничего, к сожалению...

В столе попадались лишь высохшие корки хлеба, половинки лаврового листа, одна макаронина, две распечатанные банки какао...

— А это что? — кивнула она на свертки и стала убирать их с кровати.— Обойдемся. Я знаю, что шахтеры — бездомовники. Разбрасываете свои рублики, как бумажки, направо и налево. Кутилы.

— Солить их, что ли? — хмыкнул я.

— Глупо вы рассуждаете! Извините.

— Я вообще не люблю рассуждать. Моя бывшая жена хорошо рассуждала — я от этого до сих пор смурной.

— А ты был женат? (Ну на «ты», так на «ты»).

— Десять раз.

— Да-а?! Хорошенькое дело!..

— Но мне не понравилось. Она, вернее, они все на меня кричали.

— Значит, заслуживал.

— И сейчас заслуживаю, но кричать на меня уже некому... И вообще, не люблю умных разговоров: от них рано лысеют. Лучше стряпайте закуску, и мы опрокинем с вами по стаканчику этого отличного вина.

Взор мой постепенно прояснялся. Теперь я мог как следует разглядеть, кто это топчется в моей комнате. Это была девушка лет двадцати трех, с большими темными глазами, худенькая, в длинном осеннем пальто. Тонкие пальчики то расстегивали, то застегивали пуговки. Она была совершенно трезва, и мне вдруг стало стыдно. Чего паясничаю?

Наконец-то она скинула с себя пальто и спросила:

— Долго будешь в куртке ходить?

Я послушно разделся. Сел к столу. Галя приготовила закуску — почистила апельсины и открыла банку маринованной свинины. Мы выпили, и я решил:

— Больше пить не будем. А то уже в животе черно. Раздевайся, туши свет и ложись.

— Вот как?! — спросила она.

— Только так.

Она помолчала, потом решительно сказала:

— Только уж если я разденусь, выключу свет и лягу — это будет надолго...

— Ясно. Живи, если нравится. Мне не жалко.

Она засмеялась и скинула сапоги.

Три дня промелькнули, как один. Утром мы поднимались поздно. Я выбегал на улицу прямо в трусах — в этих краях даже птиц не было. Даже приблудный пес Норд и тот сбежал, пока я был в отпуске. Мы были здесь одни, в горах, на ярком снегу.

Пока я обтирался снегом, она готовила завтрак. Мы садились за стол, потом читали книги и почти не разговаривали.

Ближе к вечеру шли, утопая в снегу, в магазин за два километра. Там брали все, что надо и не надо, и навьюченные возвращались домой.

Галя обжилась в моей комнате, перестирала наволочки, проморозила их, выгладила, для чего мне пришлось купить таз и утюг. Она отыскала рядом еще одну комнату и приказала мне пробить в нее дверь. Я обследовал комнату и тоже пришел к выводу, что в двух жить удобнее.

Мы больше не выпивали. На завтрак у меня появились горячие блюда — раньше я по выходным ходил голодный до тех пор, пока не выберусь в город и не наткнусь на какую-нибудь столовку.

Галя на меня покрикивала, заставляла мыть руки, выносить мусор, не разрешала курить натощак, а я хоть и посмеивался, но делал все, что она приказывала.

В понедельник утром я привел себя в порядок и заявил:

— Отпуск канул в Лету — мне сегодня надо зарабатывать на булку с маслом.

— Что тебе для этого нужно?

— Ничего. Я просто довожу до сведения... Мне надо только, чтобы ты помахала мне рукой, в то время когда я буду удаляться за горизонт.

— Помашу,— пообещала она.

В два часа я глубоко вздохнул, положил на стол деньги и, буркнув:

— Уйдешь — ключ положи за обшивку двери,— двинулся на работу.

Такая лютая зима пришла, что не продохнуть!

Я несколько раз обмораживал уши. Они облуплялись и становились красными, как вареные раки. С работы добираться до ущелья было удобно: прикатил автобус к руднику, сел, а где надо — вышел. А вот на работу! Приходилось подолгу стоять на дороге и ждать, пока не подойдет автобус, а иной водитель даже и не остановит «по требованию» — не заметит в темноте. Наступила полярная ночь: ходить на рудник и возвращаться приходилось в кромешной темноте. Единственным освещением было северное сияние, да и то не каждый день.

В шубе, унтах и меховых рукавицах мне было жарко. Мерзли только щеки и уши...

С середины декабря к сильному морозу присоединился ветер. Я трусил по тропинке, протоптанной мною и Галей, сунув нос в глубокий воротник, а руки — в карманы. Воротник обрастал инеем, а борода, отпущенная для утепления, примерзала к шарфу.

Я влетал в барак, хлопал коридорной дверью и принимался плясать перед комнатой, держа в руках покрывшийся инеем ключ. В конце концов Галя слышала мою чечетку и открывала дверь в комнату.

— Замерз?

— Нисколько,— бодрился я и пытался сорвать с головы шапку. Но шапка, как правило, примерзала к волосам, потому что волосы были мокрыми после рудничной бани.

Я так и сидел в шапке, и обедал в ней, пока не оттает.

Галя готовила превосходно — или с мороза мне так казалось. Ел я с аппетитом.

Она ждала меня весь день. Она не работала. Целыми днями лежала на кровати и читала книги. Книг становилось все больше; вероятно, днем она бегала в поселковый магазин, наш «микроуниверсам». Там и книги продавались.

— Вот наймем комнату в городе, тогда я на работу устроюсь,— говорила она.— А то можно погибнуть от тоски.

— Мы скоро расстанемся,— возражал я.— А то потом тебе и в загс захочется.

— Фигушки,— парировала она.— Меня не так-то просто выгнать!

— А я сниму комнату и тебе адреса не дам, во! — И показывал ей язык.

— Узнаю! Найду! Не беспокойся,— в той же полушутливой манере угрожала она.

Стекла окон замерзли, и сквозь толстый лед ничего не было видно. Возвращаясь с работы, я от дороги минут десять топал по глухой черной тропе, ежился от крепкого мороза и всякий раз дивился — как могли здесь, в этих диких местах, поселяться первые люди! За коротенькое лето выстроить избушку, запастись дровами и — жить! Тут и стойбищ-то поблизости нет — долгане расселены где-то в стороне, и отсюда до ближайшего селения верст сто... Мне и то достается, хотя живу я здесь с заботливой женщиной. И магазин есть. Пусть не рядом, но есть же. Да и в городе можно все купить. Только я давно уже отвык таскать сумки со всячиной.

На описание ущелья в декабре художнику не потребовалось бы палитры вообще: зимняя картина состояла бы из сплошной черноты — не знаю только, какими красками передал бы он лютый мороз, от которого плевок на лету застывает в ледышку, а сигарета примерзает к губам.

— С получки купишь телевизор,— приказала мне Галя,— а то я тут погибну с тоски.

— Похороню,— успокоил я.

— Но я еще очень мало жила! — возразила она.

— В таком случае телевизоры надо искать в других местах,— ответил я ей.— Мне лично он так же необходим, как слону насморк.

— Все порядочные люди смотрят вечерами передачи!

— Порядочные люди не живут в бараке, занесенном снегом.

— Нормальные люди не живут, как бирюки! Даже в бараках. У всех есть телевизоры.

— А я — псих, ненормальный! Заявляю это вполне серьезно. Берегись...

Она сидела на кровати и как-то несерьезно спорила. Возможно, мы оба принадлежали к тем, кто, единожды обжегшись, дует на все. Оба мы не были откровенны — не говорили о нашем прошлом. Не загадывали вперед. Так, случайные попутчики. И все. Я бы ее давно спровадил, но из-за сильной усталости после работы, из-за мощного мороза никуда не хотелось идти, не было желания искать развлечений. А сама она никуда не уходила. Не мог же я ее просто вышвырнуть. «Да и что я буду один делать, в таком бездонном ущелье! — думал я в иные минуты.— Собаки и те — хоть и грызутся, но вместе держатся...» И я решил подождать до весны, а там видно будет. Может, ей и самой надоест этот добровольный плен.

Галя сидела на кровати и внимательно смотрела в книжку. Но не читала. Прошло несколько минут, а страницы не листались — наверное, она о чем-нибудь думала.

— Гриня! — вдруг позвала она и отбросила книгу.

— Ну, что тебе?

— Поедем привезем мои тряпки?

— Зачем?

— Но не могу же я ходить в одном и том же...

— А ты и не ходишь, а лежишь да читаешь. И вообще, чем меньше на женщине одежды, тем она красивее.

— Дурак ты неотесанный!

— Уговорила. Бери мою тельняшку и щеголяй. Она теплая.

— Давай хоть приемник купим?

— Ты громче любого радио... Ты мне и без приемника надоела, как...

— А ты мне?! Ты не надоел?.. Да я же в твоей хибаре забыла, что такое баня. Во сне снится веник березовый.

— А кто тебя держит? Обувайся и айда.

— И не собираюсь.

— Ну и живи.

— Ну и живу. Не цепляйся к слову!

Мы уткнулись каждый в свою книжку. Потом мне читать надоело. И я принялся завираться:

— Послушай, как поет ветер! Как стая крокодилов, заплывшая нечаянно в Ледовитый океан; свищет, словно подвыпивший соловей; воет как дровосек, хвативший себя топором по ноге; визжит, как старый трамвай на несмазанном крутом повороте; вякает, как мешок с кошками, на котором тренируются боксеры...

— Эх ты, сочинитель! — воскликнула она и прижалась ко мне.

Я погладил ее по голове и сказал:

— Только ничего не воображай! Вообще, я не люблю вашего брата: визг-писк, а проку — ноль.

— А у меня брата нет,— подыграла она.— Расскажи еще что-нибудь.— Подобрала коленки и, устроившись поудобнее, приготовилась слушать.

— Ну так вот. Оттопырь ухо — приступаю,— предупредил я.— Слушай: жили-были дед и баба. Было у них три сына. Один — умный, второй — хоккеист, а третий — Гришка-дурак. И поехал однажды этот Гришка из отпуска на Север... Плывет на большом пароходе — волны так и лезут на палубу, хотят смыть даже с его мостика капитана. Холодно. Мурашки толпами маршируют по спине. В ресторане ничего не осталось, кроме шампанского и прошлогоднего печенья... Пассажиры качаются по палубе: едят валидол — валерьянкой запивают... Цыганка ходит по салонам — гадает: кто потонет, а кто доплывет... На корме танцы. Играют фокстроты... Вдруг подходит к Гришке прекрасная царевна, лет двадцати пяти...

— Фу! Врешь ты все!

— Вру... Ладно, больше не буду. Слушай дальше: подходит к Гришке-дураку цыганка и говорит: несчастный ты человек, Гриша, но очень скоро найдешь ты свое счастье в казенном доме, под звуки музыки, по колено в вине... Только хотел он спросить ее, что за такой-сякой казенный дом, как цыганка прыг за борт и в табор. Приехал Гришка из отпуска в свое имение и решил дать обед одному красивому князю, что жил в столице... И вот она объявилась, в красном хитоне, с жемчужными глазами, которые, словно лазер, жгли занавески на окнах...

— Врешь! — крикнула она,

— Вру...— признался я.— Так что ж тебе надо?

— Пойдем-ка лучше в магазин.

— Сиди дома — я один схожу. Замерзнешь.

— Я тоже хочу!

— Дура! Там такой мороз, что кошки мерзнут на бегу. Между прочим, сегодня вылез из шахты — гляжу, объявление висит, кто хочет, пусть зайдет в рудничный комитет, есть комнаты в старой части города... Может быть, мне получить?

— Конечно! И на меня тоже.

— Ты мне — никто.

— Тогда давай распишемся!

— На-чи-нается! Бегу в загс и спотыкаюсь от нахлынувшего счастья.

— А почему бы и нет, Гриня? Я же хороший человек. Как жена — образец. На меня надо молиться!

Она висела на моем плече, но я ее не отталкивал. Мне было приятно тепло живого существа в этом склепе из камня и льда.

— Я буду встречать тебя с работы и воспитывать детей.

— У меня их нет.

— А я тебе нарожаю.

— И куда детей — в эту конуру?! Мы с тобой живем здесь потому, что — юные романтики. Нам простительно. А дети? С них же надо каждую муху сдувать!

— Тебе дадут квартиру.

— Вот еще! Новую квартиру я не позволю детьми заполнять! В новой квартире я буду отдыхать, лежать на диване, купаться в ванной... И вообще!

— А без детей тебе ничего не дадут, понял?!

— А я и в бараке проживу — мне здесь нравится. Горы, мороз, ветер, дальняя дорога...

— Давай купим кровать!

— А что? Тебе эта не нравится?

— Это не кровать, а борона́ какая-то! Тут шесть пружин торчат, и все на моей стороне!

— Ну, купи.

— А как я ее довезу?

— Наймешь вездеход — и привезешь...

— Новую кровать — в такую нору?! Ни-ког-да!

— Ох и зануда же ты! А еще говоришь, жениться на тебе! Да я повешусь на третий день медового меся-

ца... То ей — кровать, то — «ни-ког-да»! Ладно — считай ребрышками пружины...

Вдруг в дверь кто-то бешено заколотил.

— Кто это?! — встревожилась она.

— М-м-м... Черт его знает! — Я тоже вроде бы испугался. Живые люди здесь не ходили. Медведи спят. Олени с волками ушли на юг...

Я высунул голову в коридор и прокричал страшным голосом:

— Кто-о!!!

— Открывай,— пробубнил кто-то жалобно.

Я открыл.

В коридор вползло какое-то чучело, дрожа и стуча зубами.

— Входи в комнату,— сказал я чучелу. Оно вошло, расстегнулось — под шубой и намордником оказался Саша.— Сашка! Черт! И надо тебе было тащиться, мог бы запросто околеть!

— Я в гости. Попить кофейку, поесть... На дармовые обеды я, бывало, и еще дальше ходил...

— Дальше не бывает... Галя, я его пока задержу, а ты припрячь-ка съестное, что успеешь... Он, оказывается, не к нам шел, а потрескать бесплатно.

— Что делать? Животик пуст.

— Держи голову в холоде, а живот — в голоде. Кто сказал?

Мы оба хохочем. Галя тоже.

— Кто это здесь смеется дамским голосом?! — озирается с беспокойством Саша. Якобы только сейчас заметив Галю, требует: — А ну! Познакомь!.. Во-от почему он не хочет в городе жить! Все ясненько. Я с такой дамой согласился бы и на Северную Землю, и на Новую...

Галя просветлела. Мы с Сашей устроились за столом, и он сказал:

— Пока ты гулял в отпуске, я стал крупным начальником. Я пришел дать тебе квартиру. Хочешь?

— А кто ты теперь? Не иначе, как в профсоюзные лидеры пролез?

— В них,— согласился Саша.— Так вот, если у тебя есть желание выжить эту зиму и нет желания отказываться, ты можешь получить в старом фонде комнату, но все надо обстряпать до Нового года — а то

потом весь старый фонд отойдет горисполкому, понял?

— Знаю,— махнул я рукой.— В такой мороз перетаскивать вещи — извини, гражданин начальник. Я еще пожить хочу.

— Вещи! — возмутился Саша, окинув взором мой вигвам.— Какие у тебя вещи? Три книжки да таз с утюгом!.. А там отдельные квартиры есть. Только старой планировки... Но с твоим же чумом не сравнить! Тоже мне нашелся «Гришка на Севере»... Давай стаканы! — грозно крикнул он на меня, вытаскивая из кармана шубы бутылку коньяка.

— Из стаканов пьют только алкоголики, вроде тебя,— укорил я товарища.— А мы, трезвенники, пьем из рюмок. Так что наливай в рюмки, не церемонься.

— А вы тоже на руднике работаете? — спросила Сашу Галя.

— Конечно,— сказал я.— Ведь вы однажды уже знакомились в ресторане «Лама».

— А я вас не узнала.

— И я вас,— сказал Саша.

— Вот видишь,— укорила меня Галя.— Бедняжку уже не узнают!.. — Она снова повернулась к Саше.— А что делают из вашей руды?

— Во! — Саша вытащил из кармана никелевую монету и крутнул ею в воздухе, но поймать не успел — монета упала на пол.— Металл делают,— сказал он и, наклонив голову, принялся искать.

Но я его успокоил:

— Не волнуйся, дружище. Я найду.

— Вот поэтому и волнуюсь,— буркнул он.

Он еще раз внимательно осмотрел пол, потом махнул рукой:

— Дарю. Пользуйся... А мне уже надо топать... Ну, как с квартирой-то? Постыдись! — уже серьезно укорил он.— Долго ты будешь из себя черт те кого гнуть? На руднике мужики возмущаются. Какой, говорят, отшельник нашелся! Вот продернут в газете — узнаешь!

— Да пошли вы все к дьяволу! — вспыхнул я.— Кому какое дело, где и как я живу? Что я, плохо работаю? Или прогуливаю? Или аварии у меня на участке?.. То-то.

— «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами...» — процитировал Саша.

— Ладно,— согласился я.— Чувствую, покоя мне здесь больше не видать. Давай фатеру!

— Во, другой разговор,— потер руки Саша.— Пиши заявление. Справку с места работы...

— Ты что?! Очумел? Какая справка «с места работы»! Да меня весь рудник знает!

— Порядок такой... Ну да ладно. На работе я тебе все объясню.

— Клянусь последним утюгом,— воскликнул я,— что ты притащился ко мне не как друг и обжора, а как представитель профсоюза. Авторитет куешь?

— Гриня, это плод твоего туманного воображения. Пей валерьянку!

Он оделся, и мы вышли.

— Ты не болтай на руднике, что я здесь не один,— попросил я его в коридоре.

— Ладно,— согласился он.— А хороша женщина, черт! Женился бы ты право. А?

— Сам на ней и женись и получай квартиру в старом фонде, а я уж как-нибудь один проживу.

— Ну смотри. Твое дело. Только мне кажется, что ты заболел.

— Чем? — приподнял я брови.

— Самомнением. Тебе нравится, как с тобой возятся наши ребята... Кому и что ты хочешь доказать? Зачем тебе эта дыра?.. Ты прекрасно видишь, что все знают о том, где Гриша́ живет. На глазах у всех ты выходишь из автобуса... Прости, но ты — свинья.— Он повернулся и вышел.

Я постоял еще минуту в коридоре, чувствуя, как мерзнут кончики пальцев, потом вернулся в комнату.

Галя куда-то собиралась. Я сел на кровать и спросил:

— Ты куда?

Она промолчала. Но видно было, что она чем-то обижена. Движения ее были резки.

— Куда это ты собираешься?! — снова спросил я.

— Ухожу.

— В магазин?

— Нет. Совсем ухожу.

— Куда торопишься — живи до весны.

— Спасибо... Я слышала, как ты предлагал меня своему другу в жены.

— Да ты что? Рехнулась? Кому я тебя предлагал?!

— Не ты ли Саше говорил: «Вот и женись на ней»?

— Дура! Это же я смехом.

— Вот и я смехом ухожу.

— Ну и проваливай! Я цепляться за твою юбку не собираюсь.

— А тебя об этом никто и не просит...— Она рывком открыла дверь.

— Проводить? — спросил я.

— Не надо,— бросила она и вышла в лютый мороз.

Я тоже вышел на улицу. При лунном свете было видно, как Галя бежала по тропинке в сторону дороги. Вдалеке горели огни города. Я проводил сожительницу взором до шоссе, потом вернулся в барак. Посмотрел в зеркало — обморозил правое ухо. Так быстро! А она? Помчалась в демисезонном пальтишке и в легких сапогах...

«Замерзнет — обратно прибежит,— решил я.— А если не замерзнет — доедет».

«Наконец-то я покинут всеми,— думал я.— Теперь поживу один. Займусь чем-нибудь. Начну, например, по второму заходу готовиться в университет...» — и в полном блаженстве растянулся на кровати.

Но она не возвращалась, и я еще раз вышел на улицу. Вдоль линии шоссе никого не увидел. Наверное, уже уехала.

— Мда! — громко вымолвил я.

Самое интересное — куда? Я не знал. Галя ничего мне не рассказывала о себе. Кто она? Есть ли у нее кто близкий? Где она жила до нашей встречи? Где работала? И даже сколько ей лет — я знал приблизительно.

Ночь я провел беспокойно.

Утром, раньше обычного, поехал на работу. Ключ от двери забрал с собой...

В нарядной было сильно накурено. Начальник участка объяснял, что нам надо сегодня делать. А я присел на стул и стал думать о Гале... Где она сейчас? Где ночевала?.. А вдруг она замужем! Но я отогнал от себя эту мысль. Мне почему-то стало казаться, что

она здесь, на Севере, может жить только у меня. А без меня — ее нет.

Рядышком подсел Саша.

— Ну как? Написал уже челобитную? — спросил он.

— Надо еще посмотреть, что там за квартиры. А то получится: из куля да в рогожку.

— Уж получше, чем твоя берлога. Рядом магазин, автобусная остановка...

— Лады.

Расписавшись в книге нарядов, мы пошагали переодеваться. Оставшись наедине с кучей спецовки, я подумал, что Галя может прийти сегодня, а ключа за обшивкой двери нет. Замерзнет, и в комнату не попадет... В коридоре можно волков морозить... Так и побредет в ночи ее маленькая фигурка... Мурашки побежали у меня по спине.

«Ну ладно,— подумал облегченно я.— Вернется к себе домой и будет нормально жить. А то что за жизнь — в любовницах у идиота!»

На спуске надел ремень с аккумулятором, прицепил фонарь на каску, налил кофе во флягу — но что бы я ни делал, всюду ее образ топтался у покрытой инеем двери и картина эта не исчезала перед моими глазами.

Забрался в вагонетку.

Мимо провели пьяного рудокопа. Он буянил. Его тащили в ламповую. Оттуда донесся крик — начальник спуска отчитывал табельщицу за то, что она под землю пропускает пьяных.

Я сам был немало удивлен. За все время работы ни разу не приходилось видеть пьяных, шагающих по штреку.

— Кто это? — спросил я у Еремина.

— Черняев, с четвертого участка,— ответил бригадир.— С радости напоролся...— Он помолчал, потом вздохнул и спросил: — Вот ответь мне, Гриша, что за дурацкая привычка у русского человека — с радости напиться, с горя — напиться, со скуки — нажраться, простудился — опять стакан за галстук. И ведь принято это, дьявол его креста соломинку! К другу идешь — бери пол-литра. Гостей встречаешь — беги в магазин! Да когда же это кончится?!

— А ты не иди на поводу у мерзких обычаев дикого прошлого,— посоветовал я.— Идешь в гости — бери «Боржоми», гостей принимаешь — ставь самовар или готовь банку спецмолока. С радости — покупай лотерейный билет, с горя — ставь клизму, и все сомнения как рукой снимет.

Свистнул электровоз, и поезд тронулся. Чаще застучали колеса на стыках, и я прислонился к стенке вагона, чтобы подремать.

Еремин глубоко вздохнул, почесал поясницу ремнем самоспасательного противогаза и продолжил о пьяном шахтере:

— Отличный мужик. Забойщик хороший... Тебе, Гриха, до него еще сто верст на карачках... На Севере уже лет двенадцать, если не больше... Жена померла в прошлом году. Раком болела.

— Ты про кого это? — спросил я.

— Да все про Черняева... Ну, которого выводили на-гора, когда мы спускались-то. Ну, пьяный который!

— А-а... Вот оно что!..

— Совсем один остался. Живет — дешевле помереть. Упаси нас, господи, чтобы остаться в таком возрасте одинешеньким. Тогда и жизнь ни к чему. Девка у него училась в институте. Нынче, в сентябре, пропала... Он все больницы и морги обошел, и в розыск подавал — нигде нету. Как будто ее и не было никогда. А вчера вдруг явилась... Где была? Молчок. Он с радости квартиру на замок, чтоб опять не убежала, и напился. Пришел на рудник и всем рассказывает. Лучше бы и не приходил совсем. Жалко мне его во как!..

У меня нехорошо застучало сердце. Поезд грохотал в штреке, словно жестянка в водосточной трубе. Я почему-то подумал, что Галя и есть черняевская дочь.

Из-за грохота металлических вагонеток Еремину приходилось кричать и дополнять жестами сказанное, для того чтобы я полностью его понял.

— ...а дочь у него непутевая! — снова выкрикнул он.— Она ему года с три назад, при матери еще, в подоле принесла... Они нынче дите на материк отправили — в деревню к бабке.

— Это еще что! — вмешался какой-то рудокоп из

темноты.— Я знаю, на улице Нансена девка живет... Лет ей — девятнадцать, и уже трое детей. А законного отца нет ни у одного!

Поезд остановился, и все стали разбредаться по разным штрекам и выработкам. Я пошагал на свой участок. Луч лампы натыкался на темноту, зайчик прыгал по стойкам. Но образ Гали мерещился мне возле промерзшей двери. Воображаемая ее рука шарила за брезентовой обшивкой. И спина у меня леденела...

Получили взрывчатку и двинулись дальше.

Я жестоко корил себя за то, что все время смеялся над нею, гнал даже, резко разговаривал... Хотелось плакать от злости на самого себя... И вновь я видел, как она, сжавшись от мороза, бежит по тощей тропинке ночью к моему бараку, шарит оледенелой ладошкой — ищет ключ...

Навстречу мне плавно двигался ковш, полный руды. Руда искрящимся потоком стремилась в колодец у подножия лебедки, там грохотала по каменным стенам. Слышно было, как мою руду отгружали в вагоны, как свистел электровоз на нижнем горизонте, и от этого становилось еще тоскливей.

Из дальних воронок вывалились большие валуны руды, и я, остановив лебедку, полез туда с сумкой взрывчатки. Разложил весь запас аммонита, подсоединил проводник к машине, отбежал подальше и закричал:

— Пали-и-им! — просвистел три раза в свисток, спрятался за выступ и крутнул ручку.

Бахнул взрыв. Я подождал немного и направился смотреть результаты. Валуны разбило в щебенку.

Включил лебедку, но выгреб только три ковша, а затем подошел к Еремину и сказал:

— Слушай, я двигаю на-гора.

— Да ты что!

— Приболел — башка кружится.

— Ну, смотри. Если башка, то иди — а то свалишься в рудоспуск... Иди-иди. Где у тебя аммонит?

— Я его сейчас весь ухнул.

— Тогда иди. Дойдешь? Может, «скорую» вызвать?

— Дойду. Не беспокойся...

Я долго шел по глухим штрекам. Навстречу дул сырой ветер, пахло прелой корой от деревянных стоек.

Пассажирский подъем не работал, и я пошел по главному грузовому штреку пешком. Идти надо было три километра. Мимо меня несколько раз на большой скорости проносились составы с рудой, так близко, что приходилось прижиматься к стойкам всем телом. За составами неслись вихри пыли.

Чем ближе подходил я к поверхности, тем холоднее становилось, и я шел быстрее в надежде согреться.

На выезде сдал свой жетон, пошел раздеваться, вымылся и помчался домой.

По тропинке к бараку я почти летел. Но ее не было. Ни в коридоре, ни в комнате.

Я, не раздеваясь, сел на кровать и горестно покачал головой.

Мне казалось, что она приходила, намерзлась здесь и, не найдя ключа, ушла... Что самое страшное, что она больше уже никогда не вернется!..

Отчаяние овладело мной. Я выпил немного коньяку и заплакал. Я сидел и плакал прямо на кровати, в шубе, в унтах, в меховых рукавицах... Иней таял на бороде, и на пол капала вода. Убогая комната, окленная мерзкими обоями, с пятнами журнальных картинок. Окно в толстой шубе льда, старый кухонный стол — все говорило о ней. Здесь она стояла, гладила, прикасаясь тонкой рукой к наволочкам. Обвивала пальцами чашку и дула на горячий чай... Мне казалось, что до ее появления в моей жизни меня не было.

Выплакавшись, я сорвал с головы шапку, поставил чайник на плитку, разделся и принялся ходить из угла в угол. Черной полярной ночью пустота зияла передо мной. Мне казалось, что ЕЕ уже больше не вернешь никогда.

Я автоматически попил безвкусного чаю и попытался читать. Но не читалось. Я стал смотреть в лед окна...

Окно вдруг озарилось светом. «Что за чертовщина!»

Набросив куртку, я выскочил во двор.

К бараку по сугробам полз вездеход. Он поднимал за собой светящийся веер снега, и змеи поземок бросались от железного дракона в разные стороны. Лучи

фар нащупывали снежные барханы и среди них — дорогу.

Я вернулся в барак и надел шапку с рукавицами. Тревожное любопытство вновь вытолкало на улицу. Кто бы это мог быть? Уж не хотят ли снести барак? Куда я тогда пойду? В общежитие?.. К Сашке? Но если бы собирались ломать барак, то вначале отключили бы воду, электричество... Ничего не понимая, я ждал.

Наконец-то громадина вездехода подкатила к порогу и остановилась. Из кабины выпрыгнул водитель и проворчал:

— Ну, голуба! Не знал я, что в такую даль. Ни за что бы не поехал!

Вслед за ним выбралась Галя и сразу же набросилась на меня:

— Что рот разинул?! Помогай!

Я радостно закричал:

— А ты какого дьявола выдумала? Чего притащила?!

— Помогай!

Из кузова двое мужчин уже вытаскивали что-то большое.

— Что это? — спросил я.

— Кровать,— ответила Галя.— Там еще телевизор, если уцелел, конечно... Помоги людям, а то стоишь, как на витрине!

Когда мы все перетащили в комнату, отдохнули, отогрелись, я спросил ее:

— Где это ты столько барахла набрала?

— Из дому.

— А у тебя и дом есть? — не удержался я.

— Это только у тебя нет дома. Живешь, как пес, в тундре... Собака и та сбежала от тебя.

— А ты-то сама здесь не жила?

— Я — дело другое. Где ты — там и я. Я — женщина.

— А если бы ключ не нашла от двери?

— Сломала бы замок. Велика важность!

Экипировалась она на полную зиму. На ней была теплая шуба, песцовая шапка, маленькие унтайки из оленьего меха. С собой она привезла еще и небольшой чемоданчик со всем необходимым, и даже с простынями и занавесками. Она тут же принялась возиться по

хозяйству: застелила стол скатеркой, вытащила две фарфоровые тарелки, заставила меня принести ведро снега и установить телевизор. Растопила снег и принялась мыть полы. Я поставил телевизор на ножки, раскинул усы антенны, включил, и он заработал...

Все-таки подал я заявление на квартиру. Мне выдали ордер, а в жилье пока не впустили — сказали, что там идет косметический ремонт. Скоро кончат красить полы. До вселения оставалась будто бы неделька.

Вернувшись с рудника, я спросил Галю:

— Хочешь в новую квартиру?

— А что?

— Мне ордер дали. Говорят, что в ту субботу можно будет переезжать.

— Переедем!

— Но мне тогда надо слетать в город — у меня там чемодан с барахлом у Сашки, под кроватью.

— Езжай.

— Ну жди. Я одной ногой...

— Гринь, а может сбегаем, посмотрим, а? — проканючила она.— Взглянуть хочется!

— Что там смотреть? Сказали же, что красят...

Я наскоро поел, оделся и поехал в город.

Погода стояла морозная, но безветренная. По центральному проспекту гуляли люди, закутанные до глаз. Сияли огни Домов культуры и ресторанов. Весь проспект горел рекламами, и если бы не мороз, можно было бы подумать, что это какой-нибудь европейский город.

Первым делом я направился на почту, купил газет — в бараке можно было совсем одичать. Все новости доходили до меня устно. Выйдя из почты, двинулся быстрым шагом в сторону Сашкиного дома, как вдруг меня окликнули:

— Гриша!

Я обернулся и увидел закутанную женщину в красном пальто. Разглядев ее, я узнал свою нудную попутчицу с парохода. Рядом с ней стояла ее дочь.

— А, здравствуйте,— откликнулся я.

Но она меня быстро перебила и начала рассказывать о себе.

Вновь я почувствовал ту пароходную атмосферу, которую уже успел позабыть. Она тараторила не переставая:

— Когда мы приехали — нашли его сразу. Он работал на Талнахе, а жил в общежитии на улице Кирова... Мы как снег на голову... Ой, холодно у вас здесь. Кира, тебе не холодно? — спросила она дочь.

— Нет пока,— ответила девочка.

— Все равно. Зайдем куда-нибудь да и поговорим. Ведь не заметишь, как нос отморозишь. Пойдем, Гриша, в пирожковую. Не покидай нас. И так мы всеми покинуты. Пойдем... Мы тебя долго не задержим.

Пришлось идти с ними в пирожковую. В городе пирожковые, пельменные, чебуречные стояли на каждом углу. Это были полустеклянные лабазы. Стекла внутри обмерзали от пара, и казалось, что весь дом состоит изо льда.

В пирожковой мы устроились за дальним столиком.

— Жаль, что не могу я тебя ничем угостить,— посетовала женщина,— но мы можем и так посидеть, погреться... Видишь ли, у нас совсем нет денег...

— Может быть, вы есть хотите? — спросил я.

— Нет-нет,— запротестовала женщина.— Я совсем ничего не хочу. Вот разве только Кира?

Я дал девочке три рубля, и она отправилась к стойке, а женщина продолжала:

— Ну так вот: нашли мы своего пропойцу. Устроились в общежитии, а нас стали гнать — не положено. Куда деваться? Квартиры ему не дают — прогульщик. Пошла я дворником. Думаю, уберу с ребятишками как-нибудь. Устроилась. Его с собой взяла. Дали нам служебную на первом этаже. Все нормально... Мету. А тут снег пожаловал, а у меня поясница хуже деревянной... Разругалась с начальником ЖЭКа. Уволилась, а он, подлец, стал нас выселять. Через суд. Я и жаловалась, и везде ходила — без толку... Столько сил потратила, не передать! Но нас все же выселили... Это еще в октябре было.

Пришла Кира и принесла кофе, бульону, пирожков и ватрушек.

— Ты зачем так много чужих денег потратила, негодная девчонка? — выругала ее мать.

— Бросьте вы,— махнул я рукой. И уже сам попросил продолжать.

— Ну и вот, квартиру мы освободили, а куда идти — не знаем. Хорошо, что нас люди добрые подобрали... Мы у них прожили все это время... Но Киру в школу без прописки не принимают. Мой куда-то пропал, и глаз не кажет... Пойдем с нами — посмотришь, как мы живем... Ты не знаешь, где можно найти комнатку хотя бы на время? Хозяин грозится выбросить нас. Им самим тесно — пятеро ребят. Вот мы и пошли искать жилье...— Гриша, а ведь ты имени моего не знаешь! Мария я, Маша.

— А отчество? — спросил я.

— Ах, будь, друг, без церемониев! Маша, да и все, тут. Не старуха еще.

Мы вышли на улицу.

Встреча с Марией-Машей меня ошеломила. Мне было сейчас не до нее. Меня ждала Галя, а я еще и чемодан свой не взял... Но как было бросить в беде женщину с детьми, хотя я и не представлял, чем тут могу помочь. Однако покорно шел туда, куда меня вели.

Признаться, я впервые видел такую обстановку. Мебели почти никакой: две кровати в двух комнатах, два стула, три табуретки, кособокий стол в углу. Три мальчика разного возраста возились на некрашеном полу — визжали и пищали. Пристроившись за фанерным ящиком из-под папирос, две девочки готовили уроки. Их мать — крупная, лет сорока женщина — колдовала на кухне. У нее под ногами вертелся мой знакомец с парохода — чумазый Сережка.

— Здравствуйте, проходите,— приветствовала меня хозяйка дома.

— Это Гриша,— сказала ей Мария.

— Очень приятно,— улыбнулась хозяйка.— Присаживайтесь.— Она подолом фартука обмахнула стул и выдворила всех детей в другую комнату. И они там притихли.

Я, пораженный, сидел молча. Волосы под шапкой поднимались дыбом. Все мои знакомые шахтерские семьи жили просто-таки по-царски. У всех были не только коммунальные удобства, но и современная мебель, телевизоры, холодильники, ковры, библиотеки — зарплаты рудокопа хватало с излишком. Сам, правда, я жил по-свински, но по своей вине и при желании мог это исправить.

Мне захотелось как-то приласкать детишек, я нащупал в кармане баночку с поливитаминами, которые нам ежемесячно выдавали на руднике, и протянул ее самому маленькому. Привлеченный яркой этикеткой, он принялся катать банку по столу. Но я показал, как открывается и что внутри. Дети принялись глотать витамины, отнимая друг у друга, и ссориться. Хозяйка шлепнула одного-другого, и дети угомонились.

— Маша,— обратилась она к жилице,— у тебя не найдется рубля? Наш что-то задержался с получкой, а скоро магазин молочный закроют.

— Нет у меня для вас ни копейки! — огрызнулась Маша.— На вас не напасешься...

— Ну ладно, не заводись хоть при госте. Нет так нет.

Я подумал: «Дать ей пятерку? Неудобно как-то. Вот положение!..»

Когда хозяйка отлучилась на кухню, Маша, точно подслушав мои мысли, сказала со злобой:

— Ничего ей не давай! Попрошайки. А потом гонят на мороз...

Раздался звонок, и в дверях появился отец семейства. Крупный, розовощекий мужчина. Он нес в руках большой бидон и авоську с хлебом в целлофане и овощами.

— Петенька! — обрадовалась хозяйка.— Что так долго? Ребятам ужинать пора, а у меня, сам знаешь...

— Мастер, мать, задержал. По делу. Ты уж прости. Я и так чуть ли не бегом. Взмок весь.

Я с удовольствием отметил, что хозяин с получкой пришел абсолютно трезвым. Значит, бедность не от этого.

— А это кто, простите? — Петр повернулся ко мне.

— Это Машин знакомый,— пояснила жена,— Гриша, хороший человек...

— На пароходе сдружились,— буркнула Мария.

Хозяин протянул мне большую, сильную руку и нахмурил брови, глядя на жилицу:

— А ты все еще здесь?

— А тебе не терпится выгнать детишек на лютый мороз?! — вскинулась Маша.

— При чем тут детишки? — возразил хозяин.— Кабы ты не скандалила, так и еще бы подержал. В тесноте — не в обиде.

— Ну нет уж! Спасибочки за ваше гостеприимство! — крикнула Маша и стала нервно собирать пожитки.— Ты, Гришенька, найдешь, где нам переночевать? — спросила она меня.— Только одну ночь, а завтра что-нибудь сыщем...

— Ради бога,— промямлил я, застигнутый врасплох.— Ночь, две можно у меня.

— Кирка, собирайся! — приказала Маша дочери.

Пока они увязывали узлы, я разговорился с Петей.

— Вы так все время живете? — спросил я у него.

— А что? Честно живем, не воруем. В тепле и не в голоде, слава богу. Чего ж еще-то?

— М...м...м...— Я не нашелся что возразить. Начал осторожненько: — Но ведь... Это самое... ребятишки...

— Что же делать? — вздохнул отец.— Сами нарожали. Да небось вырастут. Вон тут рядом интернат строят, обещают дочек взять бесплатно. Вот и облегчение мне. Грузчиком я на хлебозаводе. Двести чистых выходит. Неплохо, но едоков-то у меня многовато. Все на стол уходит.

— А что вам мешает перейти работать на рудник? У нас самый последний слесарь зарабатывет в два раза больше... Переходите к нам!.. После кратких курсов вы сможете работать колонковистом-бурильщиком. Тогда на все хватит. И квартиру дадут как следует.

— А примут так-то... с улицы? — сказал Петя.— Я бы, пожалуй, согласился. Ребятишки-то растут...

— Тогда так,— решил я тут же.— Приходите завтра, после наряда, часов в пять вечера. Я поговорю с кем надо. У нас народ сейчас требуется... Приходите!

— Хорошо! Спасибо, товарищ Григорий!

— Ой, Петенька,— всплеснула хозяйка руками.— Чай, страшно под землей-то?!

— Ну, поехали? — сказала Маша.

— Извините за беспокойство,— поклонился я хозяевам.— До свидания.

— Заходите,— пригласила хозяйка.— Ужо таких пирогов наваляю.

— Спасибо. Непременно зайду.

Маша бесцеремонно сунула мне в руку самый большой чемодан, выпустила вперед Сережку, дочь и, крикнув в дверь:

— Голытьба! — вышла сама.

Вот чертова баба!.. Тьфу, дурак, связался...

На улице ветра не было. Я искал глазами зеленый глазок свободной машины.

— Мам, а куда мы идем? — спросил из-под вороха платков Сережка. Маша все еще кипела.

— Молчи, пока цел! — прикрикнула она на сынишку.— Не открывай пасть на морозе.

Я поймал такси, и мы поехали в мое родное ущелье. Сережка в пространство изрек:

— Я очень люблю в таксях ездить...

— Не в таксях, а в такси...— поправила Кира.

Навстречу летело покрытое льдом шоссе. Справа осталось большое озеро Долгое. Дорогу на берегу покрывал густой туман. Это было особое озеро, даже зимой не замерзало и с его поверхности поднимался клубами пар. В старой части города, которая начиналась по ту сторону озера, было малолюдно. Вспыхивали багровые зарницы за никелевым комбинатом, отблески яркого пламени озаряли горы.

Дальше машина покатила по пустынной дороге, навстречу черноте. Все дальше уплывали огоньки города. Вскоре я заметил верховья нашей тропинки и сказал шоферу:

— Стой. Приехали.

Тот подозрительно посмотрел на меня. Вокруг ничего не было видно. Только в стороне, если присмотреться, выделялся большой снежный ком — мой барак. Шофер выгрузил вещи и, развернувшись, уехал.

— Это мы где? — испуганно спросила Маша.

— Беги по тропинке и стучи в дверь,— подтолкнул я Сережку. А Маше сказал: — Идите за мной, не пугайтесь. Я здесь живу.

И мы гуськом направились к бараку.

Галя на стук Сережки открыла дверь и изумилась. Но подошли мы, и я сказал:

— Принимай гостей... Вот — Маша, а это Сережа и Кира, ее дети.

— Проходите,— пригласила их Галя, как я заметил, без особой радости.

Но обедом незваных гостей накормила. И чай с конфетами выставила.

— Вот вам пока жилье,— сказал я Маше, показав ей вторую комнату.

На старую кровать нашелся не менее старый матрац и даже одеяло. Я ввернул в патрон лампочку, и жить было можно. В брошенных комнатах барака я отыскал стол и перетащил его новоселам.

Так мы зажили уже впятером.

Машина семья сидела целыми днями дома, даже и не помышляя о поисках жилья. Галя теперь не могла пожаловаться на скуку, тем более что из наших продуктов она готовила обед на всех. Маша говорила, что рассчитается с очередных алиментов. Примерно через неделю после новоселья явился глава семьи — Федор, низкорослый небритый мужчина в обшарпанном полушубке. Он выставил на наш стол бутылку спирта и сказал:

— Квартплата.

Мне пить не хотелось, и я только пригубил. Галя и вовсе отказалась. Остальное допили Федор с женой и принялись скандалить:

— Змей! Бросил родную жену с детьми, и дела ему мало! — кричала Маша.— Спасибо Грише, а то замерзали детишки насмерть.

— Заткнись,— мрачно советовал Федор.— Напоролась спиртяги и орешь в чужом доме.

— Ах ты гад подколодный! Да ты должен кланяться в ножки Грише!..

— Маша, оставьте,— бормотал я.

— Видишь?! Какой скромный человек... Сделал доброе дело и скромность свою проявляет... Кланяйся, тебе говорят! Или скалкой помочь?!

— Да ты что?! Рехнулась? — осердился Федор.— Что мы, не люди? Расплатимся со временем.

— Ах ты паразит, прибегаешь, когда мы уже устроились... А когда бедствуем — тебя и близко нету!..

Кричала она истошно, не выбирая выражений. Муж отвечал тем же.

После обеда хотелось почитать и отдохнуть, но они всё кричали. Галя, не раздеваясь, бросилась в кровать и закрыла голову подушкой.

Тогда я не выдержал:

— Убирайтесь в свою комнату! Надоело.

— Ах?! Тебе надоело?! — взвыла Маша.— Вот она, твоя доброта фальшивая. И ты готов детишек выбросить на мороз!

— Никто вас не гонит, не лайтесь только!

— Мы не лаемся! Мы не собаки! Брезгуете выпить с простыми тружениками! Антиллигенция. Ты сам заткнись! Не на ту нарвался...

Это было уже слишком.

— Собирайте манатки! — крикнул я вне себя.— Муж пришел — пусть он о вас заботится.

— А-а-а-а! Кирка! Сережка! Федя! Что вы смотрите?! Каждый будет меня оскорблять?!

— Ты что это на мою жену кричишь?! — набросился на меня глава семейства.

— Выматывайтесь,— уже спокойно ответил я.

— А вот никуда не уйдем! — заявила Маша.— Никуда... Сам тут на птичьих правах вместе со своей...

Я побледнел:

— Замолчи!

— Что оскалился-то?! На-ас не обидишь! Мы тебе покажем...

Хлопнула дверь. Я мельком взглянул на кровать и заметил, что Гали там нет. Я бросился за ней. Но на улице ее не оказалось.

Тогда я влетел в барак, схватил Федора за горло и потребовал:

— Ищи мою жену! Башку отверчу!

Федор шел на меня медведем. Машка вцепилась в волосы. Кира оглушительно визжала и колотила по моей спине крепкими кулачками. Сережка орал благим матом и пытался укусить за руку. Я еле вырвался. Галю обнаружил в сарае. Она тряслась и плакала. Я обнял ее за плечи и стал уговаривать:

— Пойдем в дом — застынешь же!

— Не пойду. Не могу.

— Пойдем, оденемся и уйдем.

Мы вошли.

Милое семейство, зло глядя на нас, восседало на нашей кровати и стульях. Мы молча оделись и вышли.

— Колесом дорога! — гаркнула вслед Машка.

— Убью! — рванулся я к двери.

— Плюнь,— остановила Галя.

Мы шагали по тропе, не замечая пятидесятиградусного мороза.

— Сейчас поедем на рудник,— бормотал я,— возьмем ключи от квартиры и — к себе, в новый дом, со старыми дырками...

— Ты говорил, что там еще пол не высох?

— А куда нам деваться?!

— Ладно. Поехали. В случае чего, постелим газеты... Не ночевать же на улице.

Мы дождались автобуса, проголосовали, сели — но на руднике никого уже не было.

— Что делать? — спросил я.

Она пожала плечами.

— Поехали к Сашке. На полу переспим.

Но друга моего дома, как на грех, не оказалось.

Прохожих на улицах становилось все меньше, уже закрывались магазины, а мы все болтались и не могли найти пристанища. Мы грелись в подъездах, в почтовых отделениях, на междугородном переговорном пункте. Опять возвращались к Саше, но его все еще не было дома. Мое предложение — поехать и взломать дверь в мою законную квартиру — Галя отвергла сразу же... Часам к двенадцати ночи мы совсем отчаялись и уже перестали надеяться на ночлег... В конце концов Галя решилась:

— Пойдем ко мне... Отец в ночь работает. Мы проберемся в мою комнату и ляжем спать.

— Придет твой родитель и устроит скандал.

— Не устроит,— заверила Галя.

И мы направились к ней.

Галя жила в новом районе города, за площадью Металлургов, в большом крупнопанельном доме. Туда мы добрались автобусом. Автобусы на Севере с двойными стеклами и жаркими печами. В салоне было тепло.

В подъезде девятиэтажного дома грелись собаки. Бобики и тузики лежали на припорожных ковриках и при приближении к ним угрожающе рычали. Но мы, не обращая внимания, пробежали мимо. На втором этаже Галя остановилась, пошарила в карманах шубы, вытащила ключ и открыла дверь.

Мы шагнули в квартиру.

Вот где она жила до нашего знакомства. Кухня, прихожая и две комнаты... Обстановка заброшенности

и неуютности. На пианино можно пальцем писать — от пыли оно сделалось матовым. Возле телевизора — журнальный столик с грязной посудой и нерешенным кроссвордом.

— Проходи прямо ко мне,— сказала Галя, и мы прокрались в маленькую комнатку. И улеглись спать.

Утро наступило мгновенно. Мне показалось, что не успел я толком сомкнуть глаза, как где-то послышался шепот:

— Тише топай! Спит же человек.

— А я и не топаю,— ответил другой шепот.

— Шел бы лучше на кухню.

— Я знаю этого парня.

— Ну и что?

— Он на нашем руднике работает. Забойщик с шестого участка, из бригады Еремина... Я его часто вижу на спуске.

— Тише ты!

— Молчу-молчу... Давай лучше выйдем...— Дальше шепот стал невнятен.

Я приподнялся и осмотрелся. Чужая комната. На часах, освещенных отблеском уличного фонаря, девять. А мне надо было встать в половине шестого!

Схватил шубу, сунул ноги в унты и выскочил в коридор.

— Куда? — спросила там меня Галя.

Я ошалело, со сна, взглянул на нее, на пожилого мужчину в спортивном трико и буркнул:

— Куда-куда! На работу... Проспал, а ты не разбудила!

— Сиди спокойно,— сказал мужчина.— Во вторую смену выйдешь. Тебя сейчас все равно под землю не пустят — руда идет.

— Это мой отец,— пояснила Галя, кивнув на мужчину.

— Ясно,— сказал я.— Очень приятно.

— Мы знакомы,— сказал отец.— Садись к столу, как там тебя?..

— Гришка.

— Это ты, что ли, в Медвежьем жил?

— А вы откуда знаете?

— Про тебя весь рудник знает... Чудачишь?

— Все нормально,— возразил я.

— Галка, сообрази-ка нам перекусить.

— Не командуй!

— А я и не командую,— обиделся Черняев.— Чего злишься? Совсем от дому отбилась. В берлогу залезла. Приходи да и живи тут по-человечески. Всем места хватит.

— А мне развернуться хочется...

— Ты и так разворачиваешься — успевай только наклоняться,— вздохнул отец.— Вот ты и возьми ее замуж! Жизни от нее не будет.

— Не возьму,— сказал я.

— Возьме-ешь!

— Возьме-ешь,— подтвердил отец.— От нее никуда не денешься.— Он помолчал, потом спросил: — Что же с вами делать?!

— Ничего не надо,— сказал я.— Мне надо только взять ключи от квартиры, и мы уйдем.

— А где квартира-то? — спросил Черняев.

— На Нулевом пикете...

— Мда... Далековато. Живите здесь.

— Не люблю стеснять других, да и сам стесняюсь,— ответил я.

— Я с ним,— заявила Галя.

— Знаю,— сказал отец.— А может быть, я пойду в Гришкину квартиру, в старый город?

— Зачем? — удивилась дочь.

— Я на Нулевом пикете прожил десять лет, и на работу оттуда ближе.

— Извини, отец, оставайся здесь. Мы хотим иметь свое.

— Где мой ром? — спросил отец.— Только что здесь стояла бутылка. Как пришла — ничего не найдешь!

— Вот твой ром — только Гришка не пьет.

— Это правда? — спросил Черняев.

— Пью,— сказал я,— но запоями.

Он налил две рюмки.

Жить мы стали в старом городе. Квартира оказалась вполне нормальной, изолированной, даже с ванной. Только далеко от центра, около завода с плавильными печами.

Мы привезли из барака на санках телевизор, кровать, Галя перетащила кое-что из дому, и квартира стала похожа на нормальную обывательскую без малейшего намека на романтику. Только в прихожей висели огромные оленьи рога, но и те были обгрызаны лемингами.

Как-то Галя принесла от отца большую фотографию мальчугана лет трех, повесила ее на стену и пояснила:

— Это мой сын. Юрик. Я тебе не говорила?

— Нет.

— Вот — говорю.

— Ясно. А где он?

— На материке... Я его летом хочу привезти сюда.

— Привози,— согласился я.— Мне не жалко.

— А ты не будешь его обижать?

— Привезу с рудника самоспасательный ремень, и — только держись!

— За что?

— Авансом.

— А хочешь — мы еще одного родим?

— Рожай. Мне-то что.

— Как это «мне-то что»?

— Не я же буду рожать!

— Не ты,— согласилась она.— А воспитывать?

— Тоже не я. Рожай и воспитывай — с меня рудника хватит.

— А ты поросенок! Как я двоих прокормлю?

— Прокормим. Не беспокойся.

— Ну, я тогда рожаю?

— Рожай... Только если ты летом собираешься на материк, как с животом поедешь?

— Нормально поеду, как все женщины ездят...

В середине февраля с соседнего рудника «Медвежка» приехал Саша. Он ворвался ко мне, как в собственный дом, и заблажил:

— Я солнце видел! Со-олнце!

— Врешь! — не поверил я.

— Точно! Вот такусенькое. Едва высунулось из-за горизонта и опять туда...

— Галка! Ты слышишь, что этот полоумный бормочет?!

— Слышу-слышу,— отозвалась она радостно.

— А вокруг него — ореол... большой такой.— И Саша попытался изобразить руками солнечный ореол.

Было весело. Зима пережита. До тепла еще ох как далеко, но с этого дня можно ежедневно видеть настоящее солнце, а не любоваться с тоскою на ультрафиолетовый фонарь в рудничной бане. Начнет прибавляться день, а в апреле ночь растает, словно лед в комнате, и наступит сплошной свет.

Еще предстояло пережить самые сильные ветра и вьюги. Но солнце! Кто не жил на Севере — тому трудно понять, какой это радостный день. Аборигены этот день отмечают как начало нового года — солнце пришло! Хейро! Скоро возвратятся олени из-за гор, оживет тундра, выпорхнут белые куропатки и голубые песцы выйдут на охоту. Хейро!..

С появлением первого солнца легче работается и веселее дышится. В первые дни этого северного праздника не хочется сидеть дома, а тянет выйти на улицу, пройтись по проспекту, заполненному счастливыми горожанами.

— Я предлагаю по такому поводу посетить ресторан! — предложила Галя.

— Великолепно! — поддержал Саша.— Я вас там познакомлю со своей невестой.

— Так ты что? Жениться собрался?

— Женюсь.

— Что же ты молчишь, хитрец!

В конце февраля на руднике сказали, что меня спрашивал какой-то мужчина. Я насторожился — спрашивать меня было некому. Но время еще было, и я вернулся в наря́дную.

У окна, в коридоре, стоял Петя, отец-герой.

— Здравствуй,— обрадовался он мне.— А я тебя искал. С трех часов всех спрашиваю...

— Решился?

— Да... решил к вам.

— А что раньше не приходил?

— Боязно было... Шу́тка ли — под землю лезть! Да и жена все не пускала. А я ей говорю: ведь там работают же люди!

— Ну и правильно! — воскликнул я.— Пошли.

И мы вошли в наря́дную. Там я рассказал о Пете начальнику и бригадиру, и они решили принять его

учеником забойщика, в обход инструкции, которая категорически запрещала принимать в забойщики без двухлетнего подземного стажа. Но для Пети сделали исключение — бригадир согласился на то, что взрывные работы в будущей Петиной камере будут проводить другие.

— Я буду стараться,— заверил Петя, смущенно краснея.— Честное слово!

— Ну, иди и старайся... Пронин будет твоим учителем, раз уж он привел тебя.

Я похлопал большого Петра по плечу и сказал:

— Оформляйся быстрее.

Март разразился сильными ветрами. Но зато мороз пошел на убыль, и ниже тридцати пяти столбик термометра уже не опускался. Галя изредка ходила в институт,— ей удалось восстановиться. Она была уже в интересном положении...

Сам себе я врал, что мне будто бы все равно. Просто это мой ядовитый язык говорил все поперек. На душе же разливалось тепло от мысли, что в моей подруге зарождается жизнь. А во сне часто видел мальчишку, гоняющего в футбол. Наяву же сильно беспокоился о Гале:

— Ты не шляйся по улице-то! — ворчал я.— Вон какой ветрище! Вмиг сдувает с ног... Сорок метров в секунду — по радио передавали.

— Не трусь,— отвечала она мне.— Я теперь тяжелее, и меня не так-то просто сдуть, а во-вторых, рожать буду я, а не ты.

— Вот поэтому и говорю тебе. Если бы я — тогда можно было не беспокоиться. А ведь у тебя голова совсем не работает... Не понимаешь: что можно, а что нельзя...

Догадывался я, что Галя понимает, что кроется за моей грубоватостью, поэтому и ворчал еще пуще, а она только хохотала.

Через несколько дней на участок явился Петр. Он принес в узле спецовку, и мы с ним направились под землю. Я был горд, что веду нового человека в наше подземное царство. Показал ему в раздевалке сво-

бодный шкаф, потом рассказал, как надо облачаться в рабочее, чтобы не мешало, и мы двинулись на спуск.

По дороге Петя удивленно все осматривал — все ему было в диковинку. В ламповой по номеру отыскали его лампу. Он хотел надеть аккумулятор на брючный ремень, но я отсоветовал и велел ему принести из дому широкий ремень, а банку аккумулятора пока носить в кармане куртки.

Всему он удивлялся.

— Ох ты! Сколько народу! И все похожи... Ух ты, какой коридор...

— Это не коридор, а штрек,— пояснил я.— Он ведет в глубину горы. Сейчас мы по нему поедем.

— И длинный он?

— Пять километров.

— А на чем мы поедем?

— Вот в этих вагонетках.

— Они же маленькие!

— Влезем — не беспокойся... Давай наберем кофе. Термос тебе дали?

— Дали.

— А где он у тебя?

— Я его домой отнес.

— Ну и зря. Во что кофе набирать будешь?

— У меня денег нет на кофе.

— Здесь бесплатно.

— Как? Кофе бесплатно? И сколько можно брать?

— Хоть ведро...

— А домой можно его брать?

— На здоровье. Я тебе флягу одолжу, только ты мне ее завтра принеси.

— А мы поместимся в этом вагончике?

— Пробуй. Влезай...

Мы забрались в вагонетку и сели на лавочку. Петя снова удивился, что так свободно в этой маленькой жестянке.

Свистнул электровоз, и мы поехали. Поезд шел минут двадцать. Лампы всех рудокопов были выключены, и лишь дверные проемы изредка озарялись слабым светом дежурных фонарей. Мимо летел желтый ряд смолистых стоек.

От пассажирского вокзала, под землей, мы пошагали к своему участку. Петя озирался по сторонам и

все время спрашивал: а не обрушится ли штрек — ведь над головой километр земли. Удивлялся, как это бревно может удержать такую толщу... Шли мы долго, минут двадцать, по штрекам, выработкам, квершлагам, и Петя приуныл.

— Тут дьявол заплутается! Вот брось меня — обратной дороги не найду... В темноте-то, да все коридоры одинаковые...

— Это тебе просто кажется. Со временем привыкнешь... А чтобы не потеряться, иди всегда навстречу ветру и выйдешь на поверхность... Я теперь любую выработку узнаю, хоть с закрытыми глазами.

— Здесь и закрывать не надо. Выключил лампочку, и — кромешная темнота.

— Не бойся. Погоди, еще так понравится, что палкой тебя отсюда не выгонишь. Тебе будут кричать, что конец смены, а уходить не хочется. Хочется еще сыпануть руды в колодец...

Пахло прелью. На электровозные пути выбежала маленькая мышь.

— Ой! — изумился Петя.— А она тут откуда?

— Живут здесь...— пожал я плечами.

— А что они едят?

— Все, что остается от тормозков... Кору едят со стоек.

— От каких тормозков?

— Ну, завтрак ты с собой берешь? Вот он и называется здесь «тормозок»... или «припарок».

— Я в столовой обедаю,— сказал Петя.

— Здесь столовых нет, потому что под землей мы всего шесть часов, без обеда.

— А что мне делать?

— Завтра возьмешь, а сегодня поделимся.

Прогрохотал бетон в трубах над головами. Петя шарахнулся в сторону. Опять мне пришлось объяснять, что это бетонная пушка, которая стреляет бетоном в опалубку, для укрепления штрека.

Когда мы пришли на свою линию, там еще никого не было. Пользуясь тишиной, я стал рассказывать, что надо делать и что делается здесь, в забое... Как добывается руда. Повел его по маленькому штреку, куда из воронок самотеком приходила руда, и стал показывать, как оттолкнуть ковшом большой кусок, если он мешает грести руду к колодцу...

Всю смену Петя действительно старался. Он бегал вместе со мной даже тогда, когда это было не нужно. И вскоре взмок. Он попытался снять с себя ватник, но я ему не велел. Недолго и простудиться.

— Ты посиди спокойно минутку и остынешь,— посоветовал я.

— А всегда так громко взрываете? — спросил он.

— Это разве громко?

— Конечно. Даже в ушах звенит... Надо хоть отбегать дальше.

— Не бойся, привыкнешь.

В конце смены у меня кончилась взрывчатка, а мелкую руду мы уже выгребли. Я хотел занять пачку аммонита у Еремина,— он, как Плюшкин, всегда приберегал на конец смены.

— Завтра отдашь две,— сказал он.

— Тогда не возьму,— разозлился я.— Что мне, завтра работать не надо будет?!

Времени свободного оставалось почти около часа, и я предложил Пете сбегать на нижний горизонт, чтобы показать ему, куда же девалась руда, которую мы гребли всю смену в колодец. Он согласился, и мы полезли по вертикальным лестницам вниз. Петя опять удивлялся — сколько же можно спускаться!

— Ад начинается где-то возле восточного квершлага,— хихикал я.— Нас встретят черти — такой у них обычай...

Но внизу Петя сказал:

— Сколько спускались — вернулись туда, откуда пришли.

— Это тебе только кажется,— возразил я.

Я показал Пете люки, из которых выходила руда. Как люковой грузчик, орудуя пневматическими кранами, грузил руду в вагонетки. Потом мы пошли на выезд.

Стояла тишина. Та странная тишина, характерная для подземелий. Дул ветерок, кукарекал сжатый воздух, выбиваясь на стыках труб. Где-то далеко грыз скалу бурильный станок. Он, словно бормашина, сверлил зуб для динамитной пломбы.

Когда мы выбрались на-гора, мне опять пришлось все рассказывать своему подопечному, какой жетон сдавать, какой брать с собой. Как сворачивать робу,

где брать мыло. В конце концов мы вышли из раздевалки в вестибюль. Петя покачал головой и сказал:

— Ну и ну!

— Что? — не понял я.— Не понравилось?

— Я такого ни разу не видел.

— А ты не устал?

— Да вроде бы нет.

— Ну, тогда великолепно... Обычно в первый день устают так, что еле ноги домой тащат.

— А от чего здесь уставать? К работе мы привыкшие... Вот только неудобно бегать — весь пол в камнях и валунах.

— Не пол, а почва.

— Какая же почва, когда одни камни.

— Так здесь называют: кровля и почва, то есть верх и низ... И не камни, а порода и руда.

— Скажи-ка пожалуйста!

— Ладно. Пойдем пива попьем.

— У меня...

— Пойдем. Смотри, здесь все пьют пиво после шахты. Полезно. Хочешь, пей молоко.

— Я домой талоны отвез.

— На, я тебе еще дам, сколько хочешь... Сашка! — окликнул я сидящего рядом товарища.— У тебя талоны есть на молоко? Дай-ка сюда... Вот еще, держи — тут тебе надолго должно хватить.

— Зачем, ребята, не надо! — возразил Петя.

Но тут сунулся еще и Еремин. Он ткнул новоиспеченному забойщику горсть талонов и сказал:

— Бери. Молочных продуктов возьмешь пацанам.

Немного погодя Петя спросил меня:

— А сколько я примерно заработал сегодня?

— Сколько и все.

— Ну, а сколько все-таки?

— Около тридцатки.

— Это за что?! Я же почти ничего не делал! Я же не умею ничего... Я же ученик!

— Не расстраивайся,— ответил я.

Мы немного помолчали, потом я сказал:

— На руднике не пропадешь... С заработком все устроится. Ребят тебе рудком в пионерский лагерь отправит на все лето. Поработаешь года два-три — квартиру заменят. Все будет нормально.

В первые же дни Петя пошел в бухгалтерию и попросил, чтобы аванс ему выписали не сто рублей, как всем, а только пятьдесят. В марте, получив кучу денег, долго стоял у кассы, пересчитывал и не верил. Сомневался, не обсчиталась ли кассирша.

Он быстро усвоил все приемы горняцкого труда, и вскоре его от меня отделили, как самостоятельного забойщика.

В ту первую получку он попросил проводить его домой. Мы долго бродили по магазинам, высматривая для детей подарки. Заработали в этот месяц неплохо, и он смог единым разом приодеть всех ребятишек.

Радости не описать, когда оба мы, навьюченные, ввалились в его бедную квартиру. Дети окружили его, а он, словно волшебник, их одарял: кому пальто, кому костюмчик, кому ботинки... Жена смотрела на это и плакала.

Сашка — молодец! Побывав у Петра в доме, выступил в рудкоме, и было решено выделить Пете, в порядке исключения, трехкомнатную квартиру вне очереди. Рудокопы сбросились на новоселье и купили ему кое-что из мебели.

В апреле стало теплее. А в середине месяца даже кое-где таяло и веселая капель звенела с крыш. По дворам раскатывали огромные желтые бульдозеры. Лязгая гусеницами, они сгребали могучие сугробы в кучи... Снеговые горы во дворах доходили до третьего этажа.

Днем солнышко сияло ярко, но щеки едва чувствовали еще слабенькое тепло. Хотя стояли морозы, жители города уже перешли на весеннюю форму одежды. До поздней ночи во дворах не смолкал гомон детишек — они спешили накататься на санках, так как зимой кататься было нельзя из-за сильных морозов. Открылся городской каток. В воскресенье здесь проводились мотогонки на льду.

В такую погоду никто не хотел сидеть дома — каждый норовил выбраться на улицу. Мы с Галей в один из выходных дней поехали в аэропорт Валёк. Добрались до него на автобусе, вышли и пошагали по снежной дороге туда, откуда взвивались в небо маленькие оранжевые самолеты, с надписями на борту «Полярная авиация». Они развозили по всему Таймыру почту, врачей, порох, газеты, соль, пассажиров... Зимой

АН-2 были обуты в лыжи, а летом они поднимались с поверхности реки Норилки на понтонах. Они так и стояли в летнее время у причалов, словно лодки с крыльями.

Но была еще зима, и самолеты катались по снегу.

Вдали расстилалась огромная белая тундра. Такого белого снега не бывает нигде, только на Севере. Здесь приходилось в весенние дни носить очки. Без очков можно было ожечь глаза, нахватать «зайчиков» и потом два дня лезть от боли на стенку, прикладывать к глазам тертую картошку или мыть их крепким чаем.

Что и мне однажды пришлось делать.

Весна приносила много хлопот жителям северного города. Не было такого года, чтобы в это время не потерялись в тундре какие-нибудь мальчишки. С приходом теплой погоды неугомонное мальчишеское племя пускалось в полярные исследования. Они брали с собой еду и шли в тундру. И как только ни пугали их родители волками и медведями — они ничего не боялись.

Каждую весну обязательно по радио объявляли, что «в тундре потеряны три мальчика в возрасте двенадцати лет». Всем геологам, охотникам и туристам надлежало смотреть внимательно. Над белым безмолвием порхали вертолеты и «Аннушки», они обшаривали полуостров и, как правило, находили детишек в каком-нибудь охотничьем балке́... Привозили их в город, именно сюда, в аэропорт Валёк.

Здесь было красиво. Маленькие озера украшены ледяными хижинами, которые переливались на солнце всеми цветами радуги, и трудно было поверить, что все это сотворила природа. Мне говорили, что эти ледяные беседки образовались в сильные морозы, когда озера, не выдержав ледяного давления, взрывались, а вода, вырвавшись на поверхность, моментально замерзала.

Мы с Галей гуляли долго. Добрались до совхоза, где рыбацкие баркасы стояли на берегу, ожидая навигации. Возле самолетов лежали понтоны — их шпаклевали и красили.

Около профилактория стояла металлическая клетка с огромным бурым медведем. Мохнатый пленник лениво ел конфеты, которые ему бросали гуляющие.

Вестибюль профилактория был похож на сказочный тропический сад. Здесь в больших кадках произрастали пальмы, кактусы, фикусы, лимоны... В этих кущах под потолком порхали птицы. Они весело чирикали, и Галя сказала:

— Красота-то какая! Как на материке...

— Какая же красота! Что здесь хорошего? — по своей привычке к пикировке проворчал я.— Птицы как птицы. Им тут больше и заняться нечем, как порхать да чирикать...— Но на душе у меня было хорошо. Мне даже самому показалось, будто я смогу подняться к птичкам и вместе с ними почирикать о нашей северной жизни.

— Мне кажется,— сказала Галя, когда мы вышли на улицу,— что я не смогу жить нигде, кроме как здесь. Пусть тут такая зима, но зато мы умеем ценить весну и лето по-настоящему. Понимаем птиц и запах ландыша...

— ...который ездим нюхать за пять тысяч верст,— вставил я.— Глупости все это. Сентиментальности.— Но сам ощущал примерно то же самое.

На Первое мая температура в городе была двадцать семь градусов ниже нуля, но солнце сияло, как начищенное.

В эти дни женился Сашка. Мы были приглашены на свадьбу. Расписывались они двадцать девятого, а саму свадьбу перенесли на второе мая, в рудничную столовую.

На эстраде толпился оркестрик и что-то наигрывал. Саша и его красавица Лида были в свадебных нарядах, на столах стояли цветы. Рудничная столовая не уступала по размерам ресторану, да и внутренняя отделка была вполне прилична.

Собрались все молодые рудокопы. Произносили стандартные тосты, прогнозировали кучу детишек, приводя в пример нашего Петра, кричали «горько!»... — и мы с Галей выбрались с рудника только в два часа ночи. Пришлось вызвать такси.

Остальная молодежь осталась гулять до утра... Видно, плясали они и весь следующий день...

Третьего мая мы на рудник не поехали, а просидели дома за телевизором. Я как-то уже успел привык-

нуть к своей новой квартире, а без Гали и жизни себе не представлял. И хотя мы с ней постоянно цапались, но уже не могли и дня прожить друг без друга.

Четвертого у меня вновь был выходной день, и мы поднялись бы часов в двенадцать, если бы не резкий звонок за дверью.

Я набросил на себя какие-то тряпки и пошел открывать.

На пороге стоял новобрачный Сашка. Он был встревожен и без шапки.

— Что случилось? — спросил я.

— Подожди... Дай отдышусь! — сказал он.

— Ну проходи, раздевайся.

— Кого там черт принес с утра пораньше? — крикнула из комнаты Галя.

— Сашка притащился,— ответил я.

— С женой?

— Без...

— Дай попить,— потребовал Сашка.

Я проводил его на кухню, напоил, усадил на табурет и спросил:

— Ну, что там у тебя стряслось?

— Она меня обманула! — вскрикнул он.

— Как так? — я вытаращил глаза.

— Она, понимаешь, с кем-то еще до меня... А корчила из себя недотрогу...

— Понимаю,— кивнул я.— И что же ты?

— Кажется, я ее ударил.

— Хорошенькое кино! Ну, а она?

— Убежала в общежитие.

— Эх ты! Эскимо на палочке. Ведь ей же бежать отсюда придется... Галя, выйди на минутку...

— Да не кричи ты!.. Что мне-то делать?

— Застрелись,— посоветовал я.

— Мне не до шуток.

— А что? Берешь ружье и — бах.

Вышла Галя.

— Привет,— сказала она Сашке.— В чем дело?

Сашка молчал. Я стал рассказывать сам.

— Идиотизм! — перебила меня Галя.— Да я бы...

— Постой, не бранись,— сказал я.— Надо их помирить.

— Нет! — вскинулся Сашка.— Не могу. Если даже я и прощу, что это будет за жизнь...

— Если он простит! — завелась Галя.— Осёл! А ты подумал о том, что она может тебя не простить? Я бы лично не простила. Не буду я их мирить.— Она повернулась ко мне.— Да он ее всю жизнь будет попрекать, изверг!..

— Я... я... как к самым близким пришел, а вы...— Сашка уронил голову на стол и захлюпал.

— Все,— махнул я рукой,— готов.— И увел Галю в спальню, а там с трудом уговорил ее сходить к Лиде в общежитие, на разведку.

Когда она ушла, я сказал Сашке:

— Вот что, старик. Поезжай-ка ты в отпуск. Проветри мозги. Может, поумнеешь. По себе знаю. А пока давай выпьем. За что бы только? А, давай за будущее...

С приходом полярного дня Север ожил.

В тундре появились бурые пятна земли. Бежали зеркальные ручьи по городу — огромные сугробы таяли на глазах. Солнце светило круглосуточно. Днем оно стояло высоко над городом, а ночью багровым шаром катилось по зеленым крышам спящих кварталов, окрашивая окна в красный цвет.

Еще в ложбинах и на покатых горах можно было бегать на лыжах, а внизу зеленела трава.

В конце июня, как только тронулся лед на Енисее, я собрался ехать на материк. Гале предстояло сдать кое-какие хвосты в институте, и мы с ней договорились встретиться в Москве десятого июля. Она собиралась лететь самолетом.

Сам я, не достав авиабилета, решил добираться до Красноярска пароходом, а оттуда — на поезде.

По расписанию на линии «Красноярск — Диксон» курсировало несколько пароходов, но я взял билет на дизель-электроход «Антон Рубинштейн». Он отходил из Дудинки двадцать шестого июня.

Мы подъехали к перрону в тот момент, когда длинный поезд плавно трогался с места, не оставив нам и минутки для прощания.

Я вскочил на подножку, Галя сначала шла рядом с вагоном, потом стала отставать. Пальто ее слегка топорщилось — рос наш.

— Жди все рейсы! — крикнула она.— Во Внукове, у десятой кассы...

— Знаю,— махнул я рукой.

На рейде было много океанских судов. Енисей-батюшка скрывал противоположный берег за туманом горизонта. Едва сошел лед. Кое-где у берега еще виднелись глубокие лощины, заполненные белым снегом. Плавно парили тощие бакланы, высматривая косяки рыбы, бурно идущей на нерест.

Свинцовое небо растянулось низко над Дудинкой.

Пароход отошел от причала, оставляя за собой длинный белый хвост бурунов, и взял курс на Красноярск. Вдали скрылась маленькая деревянная столица Долгано-Ненецкого национального округа.

Против течения пароход должен был идти семь дней. Но эти дни для меня были далеко не теми, что в прошлом году. Тогда с каждой ночью становилось холоднее. Теперь же все было иначе — с каждым часом ближе к весне, к лету. За бортом проплывали мрачные северные берега. В каюте я задвинул штору и лег с книгой на кровать. За последние дни измотался; как всегда, перед отпуском нагромоздилось множество всякой всячины. А тут еще Сашкины сопли-вопли...

На палубе было холодно, дул чахоточный ветер, и я решил не выходить из каюты до самой Игарки. Есть не хотелось. Книга попалась слишком умная, и я задремал.

Утром переоделся, прицепил галстук и явился в ресторан. Хорошо позавтракал. За стойкой была уже другая буфетчица, не прошлогодняя. Пассажиры были тоже не те. Но музыка была прежняя.

Я спустился в салон, и у курительного столика увидел скандалистку Машу! Она так же, как и осенью, сидела на диванчике и молча смотрела в окно. Рядом с ней на большом чемодане нахохлился Сережка. Встреча была не из приятных. Маша поздоровалась как ни в чем не бывало. Даже разулыбалась.

Она долго говорила, а я молча курил.

Мария-Маша уезжала в Иркутск, потому что ее «подлец» устроил Кирку на работу, чтобы алиментов меньше платить, и настроил дочь против матери. Я подумал: «Это хорошо, что Кира осталась в Норильске. Возвращусь — надо за ней последить. Помочь. На Федю-бредю полагаться нельзя». Я так и не понял, к

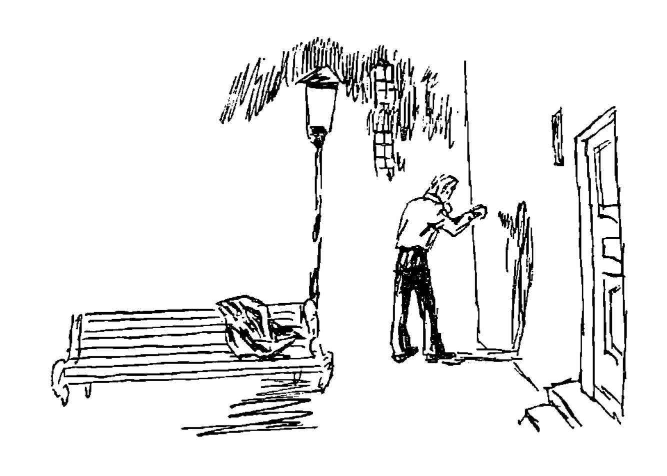
кому едет Маша, что за «знакомый знакомого первого мужа» ждет ее в Иркутске. Ясно было одно: и там она наломает дров.

Сережка был худенький и грустный, как маленький старичок. Видно, северный климат пришелся мальчишке не впрок. У меня защемило сердце: «Кого-то из тебя вырастит твоя неприкаянная маменька?»

Как и в прошлый раз, я купил Сережке плитку шоколада. Вручая, пошутил:

— Только ты, братец, больше не кусайся. Нехорошо. Ты ж мужчина. Не будешь? Дай лапу. Вот так.

Пароход плюхал в Красноярск однообразно, семь дней: утром душ, завтрак, гуляние по палубе, обед, сон... Ближе к югу тайга становилась зеленей и жизнерадостней, но пасмурное небо волочилось за нами на материк из самой Дудинки, с самого Его Величества Таймыра... Так же летели белые бакланы, и так же тоскливо кормили их ленивые пассажиры, бросая за борт кусочки ресторанного хлеба...



Александр Толстиков

БЛИЖНИЙ БОЙ

В раздевалке было душно и неуютно. В углу бесформенной грудой валялись тренировочные перчатки, мешки, скакалки, и все это дышало особым резким запахом, тяжелой смесью мужского пота и резины.

Кирилыч старался говорить потише, чтобы не услышали за тонкой фанерной перегородкой, откуда доносился упругий топот сильных ног и частые, прерывистые выдохи — боксеры разминались. Он вертел в руках кожаные «лапы», надевал их, потом снова снимал, и оттого, что он как бы извиняется, Алексею было особенно неловко.

— Думал, ты уже не придешь. Мог бы хоть раз заглянуть. Три месяца ни слуху ни духу. А я Славку вместо тебя поставил. Поторопился.

Он засмеялся и хлопнул Алексея по плечу.

— Из области пришел запрос — на сборы поедем. Скоро первенство. Пока не знаю куда. Может, в Феодосию или Ялту. Ты как чувствуешь, потянешь?

— Потяну.

Кирилыч подвинул настольную лампу и тонкими, сильными пальцами прощупывал кисть Алексея.

— Где это тебя угораздило?

— В институте. Колбу разорвало.

— Позвони через два дня, скажу, когда едем.

— Слушай, Кирилыч,— Алексей незаметно облизал пересохшие губы,— я все хотел поговорить с тобой серьезно. Ты знаешь мою невезуху, шесть лет первое место отдавал. Даром. Уговори, кого надо, пусть Славка еще годик подождет. Он еще успеет, а я в последний раз попробую.

— Не надо меня уговаривать. Конечно, все сделаю.

— Подожди,— заторопился Алексей, словно боялся, что ему не дадут сказать нечто очень важное.— Может, Славка и сильнее, но он же не знает, с кем ему придется драться. А я по пальцам сосчитаю, кто его в первом же раунде положит и как.

— Ты лучше скажи, как у тебя с защитой.— Кирилыч упорно старался увести разговор в сторону.

— Хорошо.— Алексей бросил в угол портфель и снял пальто. Он уже проклинал себя за этот разговор, ему было стыдно и горько за свое попрошайничество, словно не он, Алексей Бородин, мастер спорта по боксу, а какой-нибудь зеленый юноша просит защиты и покровительства.

— Потренируешься?

— Нет, посмотрю...

Они вышли из раздевалки в зал.

«Боится Кирилыч,— подумал Алексей, глядя на узкую, сухую спину тренера.— Старый хрыч. Если этот молокосос и проиграет, спишут за счет молодости. А за меня не простят. Знает же — в последний раз. Не надеется. Не верит...»

И тут же, словно это было вчера, вспомнилась первая крупная победа. Ярко освещенный ринг, его рука медленно плывет вверх, и зал взрывается — а-а-а... а-а... а... Вспышки фотокамеры бьют по глазам, подбегает Кирилыч, что-то кричит в ухо, целует. Друзья поднимают на руки и несут в раздевалку, а у него даже нет сил вырваться, только усталость, страшная усталость и больше ничего. Радость пришла потом...

Алексей напряг мышцы и почувствовал, как под кожей заходили тугие шары бицепсов. «Буду драться»,— решил он, и от этого стало легче. Он услышал

прилив злой, настороженной силы, знакомой по многим боям. Нужна победа! Головин ушел с ринга в тридцать шесть, Сущевский в сорок, знаменитый Стенли Метьюз покинул ринг почти в пятьдесят. А ему всего-навсего тридцать четыре.

Если бы не этот идиотский проигрыш в финале, можно было уходить еще в прошлом году. Шестнадцать лет мечтать о верхней ступеньке, изматывать себя бесконечными тренировками и, когда победа была уже рядом, так глупо и никчемно вляпаться. Шестнадцать лет долбил Кирилыч: главное — третий раунд, главное — сберечь силы и взорваться. Видно, уже поздно было взрываться. Год назад он впервые с пугающей определенностью понял — дыхание уже не то, и каждый раз сильно болят ноги.

Этот последний бой вспоминался как страшный сон. Противник был лет на десять моложе, низенький крепыш. Все три раунда он пер как таран, атаковал и лез в ближний бой. Девять минут Алексей старался удерживать его на дальней дистанции, прекрасно понимая — в ближнем бою он «сдохнет» во втором раунде, а в худшем случае — напорется на сильный удар и ляжет. Быстрыми обстрелами с дальней дистанции Алексей набрал столько очков, что в его победе уже никто не сомневался. Как он мог проморгать? Этот сопляк опасно полез головой, и никто не захотел увидеть явного нарушения.

Уже теперь, вспоминая все по порядку, Алексей понимал, что вел себя глупо и бестактно, горячился, что-то доказывал судьям, а ушел с ринга, даже не пожав руки противника. Олух. Кирилыч говорил: если бы не так сильно шла кровь, бой можно было продолжать. В результате — опять второе место, который год подряд.

Иногда эти воспоминания были настолько ярки, что явственно слышался запах — канифоли, кожаных перчаток и еще черт знает чего. Часто запахи настигали во сне, и это было особенно невыносимо. Он метался, стонал. Тогда Нина тихонько будила его, он включал настольную лампу и с тоской смотрел на письменный стол, где в беспорядке валялись рукописи — заготовки будущей диссертации, а про себя думал, что эта в сущности никому не нужная диссертация отняла все свободное время и некогда стало тренироваться.

Иногда ударяла кощунственная мысль, и от этого кружилась голова, как во хмелю: что, если бросить все к черту, взять и разом обрубить все концы? И тут же пугался своей неожиданной смелости, понимал: бросить невозможно. Слишком долго тянется эта волынка, весь он опутан ненужными причинно-следственными связями, житейскими обязанностями, зависит от мнения окружающих и, как всякий, от чего-то зависящий человек, может только мечтать о независимости, травить себе душу воображаемой смелостью.

И с диссертацией этой связался, можно сказать, случайно. Лаборатория тихо, мирно работала, и даже не над проблемой, а над небольшой проблемкой, каких сотни. Результаты работы предложили обобщить Алексею, зная его старательность. Только и всего. Работа над диссертацией была главным образом теоретической обработкой полученных результатов. Он делал эту работу вполне добросовестно, даже пытался вникнуть в мелочи, требовал повторения опытов. Казалось, он для того и работает, чтобы задавать самому себе мучительные, в последнее время вконец одолевшие вопросы: «Для чего все это?»

Еще недавно этих вопросов не существовало. Была твердая, спокойная уверенность в своих силах и в правильности и непогрешимости той жизни, которую он ведет.

Был спортзал, Кирилыч, друзья, куча тонконогих пацанов; он приводил их к себе домой, показывал бесконечные альбомы с фотографиями боксеров, точных, мгновенно зафиксированных ударов, защит, уклонов, доставал медали и значки, грамоты, вымпелы, вываливал из шкафа книги о боксе, охотно давал читать, а когда книгу не возвращали, не вспоминал о ней. К нему ходили из соседних домов, спрашивали — как записаться в секцию бокса, где купить перчатки, чем набивать грушу. Он выискивал самых крепких и смелых и за руку приводил к Кирилычу. Когда в очередной раз после таких гостей в квартире оставался кавардак, он неловко оправдывался перед Ниной:

— Понимаешь, старуха, я не хотел, они сами повисли...

Он врал, потому что сам подбирал во дворе всю эту компанию. Он любил этих ребят, потому что им предстояло пройти тот путь, который прошел он — путь

славы, боли, разочарования, риска. У них все было впереди — первый бой, первое поражение, они увидят свои имена в спортивных колонках газет, услышат по радио, у них будут трястись поджилки перед финальными боями. И кое-кто из этих пацанов будет наверняка смелее его и удачливее...

В последнее время уже не стало этой уверенности в себе, ускользал какой-то главный смысл, появилось чувство пустоты, скуки. Он чувствовал, как уходит большой и важный кусок жизни, и нет ему равноценной замены. Его последнее прибежище, спортзал и люди, с которыми он мог быть по-настоящему равным во всем: искренне смеяться, шутить, работать, стали как бы чужими, они удалялись, и это было неожиданно и впервые...

Резкий голос Кирилыча заставил его вздрогнуть.

— Бокс!

Человек десять мальчишек, стоя возле стены, запрыгали, засуетились и беспорядочно замахали руками. Бой с тенью. Противника нет, есть только тень на стене, хотя ее тоже не видно, она где-то внизу, на уровне пояса. Стоит приблизиться к стене вплотную, как она подойдет и о нее можно потереться носом. Но если немного отодвинуться, она уменьшается, уходит вниз. Нужно только постоянно чувствовать — она где-то совсем близко.

Рядом с Алексеем трудился высокий, с коротенькой рыжей челкой мальчуган. Он напоминал своей худобой и длинными ногами страуса. Руки тонкие. Непонятно, как они удерживают тяжелые тренировочные перчатки. От усердия он даже высунул язык. Он еще не умел как следует держать голову, передвигаться, казался смешным и беспомощным. Его плечи и шея с двумя вздувшимися голубыми жилками блестели от пота, а руки опускались все ниже и ниже, так что удары он наносил почти от живота.

— Выше руки! — крикнул Кирилыч, и мальчишка послушно поднял их, хотя казалось: еще одна минута — и он не выдержит этого темпа, длинные ноги подломятся, и он рухнет на пол.

— Стоп!

Рыжий еще немного попрыгал, похлопал перчатками, делая вид, что все это ерунда, сил у него еще по

крайней мере на двадцать раундов, шлепнул по уху стоявшего рядом крепыша и отошел от стены.

— Бокс!

Теперь уже сам Кирилыч надел перчатки. Мальчишка сразу сник. Поначалу он резко пошел вперед, но промахнулся, потерял равновесие и чуть не упал. Получив два крепких тычка в лоб, он при каждом движении тренера стал вздрагивать и судорожно закрывать руками лицо, а потом и вовсе отвернулся, подставляя под удары спину.

— Не отворачивайся! — кричал Кирилыч.

Он легко, играя, маневрировал, неожиданно менял положение ног, уходил в сторону, так что мальчишка все время спотыкался и мазал. Казалось, он сейчас заплачет от злости и обиды.

— Не отворачивайся!

Алексей улыбнулся. Он увидел себя в этом тощем, нескладном подростке, и мелкие, вроде бы совсем незначительные детали давно прошедших лет внезапно стали видны отчетливо и ярко, как на хорошей фотографии. У Кирилыча тогда еще были на голове кое-какие волосы, не было вставных зубов. И Алексей — как этот рыжий, худой, трусливый, в «семейных» трусах и слишком тяжелых для его ног кедах. Как трудно было ему самому научиться смотреть в глаза противнику, не отворачиваться под градом ударов, скрывать боль и усталость. И до сих пор осталось смутное воспоминание о том липком, животном страхе, когда тяжелые перчатки целили ему в голову и только единственное желание руководило им — согнуться и уйти в глухую защиту.

— Стоп!

— Иди сюда! — крикнул Алексей рыжему. Тот независимо дернул плечом и подошел, поглядывая на значок мастера спорта.

— В каком классе учишься?

Мальчишка снова посмотрел на значок, теперь уже не отрываясь.

— В седьмом.

— Приходи как-нибудь ко мне домой. Поговорим, покажу кое-что. У меня есть что посмотреть. Фотографии, значки. Знаешь что, давай в среду, вечером. Пойдет?

— Я не могу в среду,— серьезно сказал рыжий.— С родителями неприятности. Кричат — учебу запустил из-за тренировок. Может, в воскресенье?..

— Приготовились! — рявкнул Кирилыч, и мальчишка побежал в другую сторону зала, на ходу кивнув Алексею.

«Напросился»,— невесело улыбнулся Алексей, и сразу стало еще неуютнее здесь, где люди заняты, в общем, серьезным делом, а тут пришел какой-то и мешает...

— Бокс!

Справа послышались тяжелые частые удары — по звуку было слышно: работает Славка Маслов. Ноги сами понесли его туда, хотя встречаться со Славкой совсем не хотелось. Он давно уже чувствовал с его стороны неприязнь, да Славка и не старался ее скрывать.

Алексей помнил его почти ребенком, когда он только делал первые неуверенные шаги в боксе. Славка добился успеха поразительно быстро. Через шесть лет он из неразвитого подростка превратился в высокого белобрысого парнягу, с крепкими мышцами и быстрым, тяжелым ударом. Сейчас Славка — один из лучших в своей весовой категории, кандидат в мастера и надежда Кирилыча.

Славка работал как вол. Светлый пот обильно орошал его спину, руки и короткую, мощную шею. Он ничего не замечал вокруг, кроме единственного своего противника — тяжелого кожаного мешка. Казалось, по мешку бьют не человеческие руки, а пудовые гири, одетые в боксерские перчатки.

После каждого удара у Алексея по спине бегали мурашки. Он знал, что значит такой удар, попади он в цель. Невольно он залюбовался Славкой, его атлетической фигурой и беспечной молодостью, которая сквозила в каждом движении. Тренированный, опытный глаз почти автоматически отмечал неуловимые недостатки, где-то глубоко внутри Алексей чувствовал маленькую радость от сознания своей опытности и превосходства.

Правой нужно бить короче и резче, от подбородка. Плохо поставлены ноги, правую чуть вперед, корпус тоже, но не слишком, иначе в случае промаха завалишься на канаты. Вот так, правильно.

Славка скосил глаза, и Алексей понял — тот заметил его, но не подал вида, только руки замелькали с удвоенной быстротой и яростью.

Алексей не дождался, когда Славка закончит раунд, и побрел в раздевалку. Здесь все было по-старому, как и месяц, и год, и десять лет назад,— аккуратно развешанная одежда, спортивные сумки, беспорядочно брошенные эластичные бинты. Сейчас все это показалось чужим и необычным. И даже бинты, которыми он шестнадцать лет бинтует руки, выглядели таинственно, как вещь, которой еще не знаешь названия.

Вспыхнула тонкая перегородка, и за стеной послышался приглушенный голос Кирилыча. Говорили о нем. Нужно было уйти, но Алексей остался, мучительно вслушиваясь в слова и моля бога, чтобы никто не заскочил в раздевалку и не застал его за постыдным подслушиванием.

— В прошлый раз было то же самое. Два раза выиграл в спарринге, а взяли его! Конечно, у него знакомства, связи и все такое...

— Спортсоюзу виднее. Не обижайся, но я за то, чтобы взяли Алексея. Потом поймешь. Он со мной уже шестнадцать лет...

Алексей открыл дверь и, ни на кого не глядя, вышел на улицу. Ночь была темная, только окна домов бросали на асфальт тусклый желтый свет.

— Жалеет,— прошептал он.— Жалеет Кирилыч...

Теперь уже не обида, а злое, нетерпеливое раздражение наполнило его. Он побежал вдоль пустой улицы, и звук его шагов гулко отозвался в темных подворотнях. До дому было недалеко, всего два квартала. Дышалось легко, недавно прошел дождь.

Вот и знакомый подъезд. Алексей побрел в глубь двора, освещенного жидким светом одинокого фонаря. Он подошел к старому, почти развалившемуся дровяному сараю, снял пиджак, часы и почти вплотную приблизился к стене. Четкая, неестественно вытянутая тень прочно легла на подгнившие сосновые доски.

Стоило качнуть головой, и тень делала то же самое. И это было немного жутко здесь, в этом пустынном, холодном дворе, где нет никого, и даже топот запоздалых прохожих не доносится сюда.

— Бокс! — скомандовал сам себе Алексей, поднял руки и отскочил от стены. Тень стала короткой и урод-

ливой, согнулась и приготовилась сопротивляться. Она сделалась необыкновенно быстрой и резкой, меняла очертания, была то яркой и близкой, то далекой и расплывчатой, и достать ее не было ни сил, ни возможностей. Алексей смотрел немного выше, противник должен быть обязательно выше и сильнее, и бил — сильно, жестоко, почти в исступлении, и яркие, как пламя, картины вспыхивали в памяти — неистовавший зал и он сам, на последнем дыхании и с одной только мыслью — продержаться и не упасть, не упасть, не упасть...

Прошло минуты две, а пот уже заливал Алексею глаза, руки стали ватными, ноги гудели. Он прислонился разгоряченным лбом к доскам, чувствуя приятную прохладу. Не так давно он выдерживал раз в пять больше...

Набросил на плечи пиджак и пошел. Обернулся. Стена была чистой, только чернели между досками широкие, в палец, щели. Никакой тени нет, стоит просто отойти от стены.

И вдруг так ясно, так отчетливо он понял — Славка побьет его!..

Поднимаясь по лестнице, он увидел соседа Голованова, смирного, но запойного мужичонку. «Сейчас рубль попросит»,— подумал Алексей, глядя на Голованова.

— Слышь, Леха, дай рублевку до десятого. С получки отдам. Башка трещит, сил нет.

Алексей порылся в карманах и протянул рубль.

— Мы тут с Осиповым заспорили... знаешь, сапожник Осипов, без ноги который? Говорит, Леха уже все, с боксом попрощался, вроде возраст уже не тот. А я ему — дурак ты, Осипов, Леха еще покажет им козью морду...— Голованов взял Алексея за рукав и доверительно сказал: — А здорово ты этого поляка шлепнул! Я тогда с радости телевизор чуть не расколошматил. Выступать-то будешь нынче?

— Нет,— усмехнулся Алексей.— Отвыступался.

В прихожей царил полнейший развал. На полу валялись обрывки бумаги, какие-то доски, стояли две громоздкие полированные кровати. Нина скрестила на груди руки и с видом победителя уставилась на них, словно приглашая Алексея сделать то же самое.

— Остальное в комнате,— сообщила она гордо.— Стол, стулья, шкаф и журнальный столик.

— Откуда? — Это единственное, что мог спросить Алексей.

— Взяла в кредит. Но это ерунда, ты самого главного не видел.

В комнате было негде повернуться. На столе стояла бутылка шампанского.

— Что ты стоишь? Мой руки. Пьянствовать пора.

Они сели за стол.

— Ну, и что нам с этим делать? — Алексей беспомощно оглядел полированные поверхности.— Жить где будем? На кухне?

— А сейчас я тебе выложу самое главное. Ты все шляешься, а мы, между прочим, на той неделе получаем ордер! Сегодня ходила смотреть. Две комнаты. Кухня, туалет, ванная и все остальное. Обалдеть можно! Ну, как?

— Здорово,— подтвердил равнодушно Алексей и открыл шампанское.

— Почему не слышу криков радости? И физиономия у тебя мрачная. Что-то случилось? — встревожилась Нина.

— Ерунда.— Он залпом выпил шампанское.— У тебя есть сигарета?

— Что с тобой? — Нина засмеялась.— Ты ж не куришь!

— Пора учиться.— Алексей неловко размял сигарету. В его сильных, коротких пальцах она выглядела смешно.

— Подожди, я, кажется, поняла. Был на тренировке? Так?

— Был.

— Ну и что?

— Порядок.— Алексей опять почувствовал, как нарастает раздражение. Ему не хотелось сейчас говорить об этом.

— Решил еще год провалять дурака?

— Нет, уже хватит. Ты довольна?

— Очень.

— Впрочем, тебе не понять этого.

Нина уже давно перестала интересоваться его спортивными делами. Перестала ходить на соревнования, даже когда боксировал Алексей. Когда в позапрошлом году в полуфинале Алексею повредили переносицу, она разревелась и заявила, что на трениров-

ку он пойдет только через ее труп. Трупа Алексей не желал, но на тренировку пошел. С тех пор слезы и упреки участились. Перед прошлогодним первенством пришлось пообещать, что это в последний раз. И опять неудача...

— Корецкий меня уже одолел. Спрашивает, когда твой больничный кончится. Через неделю защита,— напомнила Нина.

— Защитят,— многозначительно усмехнулся он.— Никуда не денутся. А больничный завтра закрою.

Можно было выписываться еще неделю назад, но Алексею сама мысль о том, что нужно снова идти на работу, выслушивать разглагольствования Корецкого, видеть осточертевшие коридоры института и всю лабораторию, была настолько отвратительной, что он решил симулировать. Хирург вертел его кисть, ощупывал, смотрел на швы и под конец спросил:

«Не болит?»

«Болит,— ответил Алексей,— очень. Особенно когда в кулак сжимаю».

Врач бегло глянул на него из-под тяжелых, массивных очков.

«Ну, погуляй еще. Неделю хватит?»

«Хватит»,— сказал Алексей и почувствовал, как от стыда накалились уши...

— Между прочим, Корецкий неплохо отзывается о твоей работе.

— Плевать мне на Корецкого! — взвился Алексей.— Хочешь, скажу, что он обо мне думает?

— Давай, давай. Это все твое больное самолюбие.

— Он думает так: старательная бездарь, но без таких в науке не обойтись. И он прав, если хочешь знать.

Корецкий — заведующий лабораторией. Он защитил докторскую, когда ему не было и тридцати. Курил «Памир», отчего морщилась и кашляла вся лаборатория, и почти не вылезал из института. В любое время суток можно было застать его в лаборатории. Говорили, что он даже ночует в институте и на этой почве крупно конфликтует с женой. Предлагали устроить жену лаборанткой и раз навсегда решить эту проблему. Но Корецкий в ответ только глубже затягивался и свирепее кашлял. От его длинного и острого языка страдали все сотрудники. Алексею он говорил:

— Ты гениальный бухгалтер и можешь этим гордиться. На таких, как ты, будет держаться наука будущего. На смену гениальным шизофреникам пришел коллективный разум. Одиночки уже не могут постичь мир.

Когда Корецкий был в ударе, он мог говорить часами, не останавливаясь ни на минуту и не отрываясь от работы, время от времени закуривая прилипшую к углу рта сигарету.

— Вместе с гениями ушла мечта. Наука в своей сущности — чистейшая поэзия. Вселенная — конечна или бесконечна — тема для эпопеи в стихах. Марселен Бертело, французский химик прошлого столетия, раздавал гениальные мысли за обедом у приятелей. Просто так, походя. Например, говорил: все предметы, находящиеся в одном времени и пространстве, химически взаимодействуют, то есть оставляют друг на друге неуловимый отпечаток. И может быть, наука дойдет до таких вершин, когда сможет реализовать эти отпечатки, скажем, проявить их на фотопластинке. И перед нами вдруг предстанет Александр Македонский, тень которого многие столетия назад случайно упала на какую-нибудь скалу...

Корецкий относился к нему всегда ровно, иногда беззлобно задевал, но Алексей непостижимым внутренним чутьем ловил глубоко скрытую издевку.

— Нина,— он осторожно коснулся ее руки,— мне давно уже хотелось поговорить с тобой. Пойми, хожу как мертвец. Ты только попробуй понять, ладно?

Лицо у Нины было растерянное и тревожное. И Алексей видел: она знает, о чем пойдет разговор, и боится этого.

— Я в последнее время все чаще вспоминаю одного мальчишку. Он только школу закончил. Худой, в очках. Мы с ним вместе в институт поступали, ты его должна помнить.

— Забыла. А что?

— Очень поучительная история. Мы к нему бегали консультироваться по химии. У него одна рука была сухая, он ее из кармана не вынимал. Так вот, его гением звали. Прирожденный химик...

— При чем здесь этот мальчишка?

— Он не поступил. Кажется, одного балла не хватило. Я его глаза помню, когда списки вывесили. Он

полчаса эти бумажки читал. А я и не посмотрел в список, мне уже раньше сказали. Институту тогда мои руки были нужнее, чем голова. Да что объяснять, ты знаешь. Сама за меня контрольные и курсовые делала...

— Запоздалые угрызения совести?

— Помнишь, как я философию шесть раз сдавал? В шестой раз философ сказал, что это не кулаками махать, тут думать нужно. Это справедливо. Мне кулаками махать, а ему философией заниматься. Я тогда не понимал этого.

— Лешка,— Нина умоляюще посмотрела на него,— я понимаю. Ты уходишь из спорта, и тебе обидно. Но это же со всеми происходит. Никакой здесь трагедии нет. Время пройдет, отвыкнешь. Зачем ты мучаешь себя?

— Я знал, ты не поймешь. Не потому мучаюсь, что из спорта ухожу. Надоело в институте на чужом месте сидеть.

— Чего тут не понять? Понятно. Так что же делать?

— Я трус, Нина. Поэтому говорю тебе все это.

— Я тебя научу, что нужно делать. Напиши заявление — так, мол, и так, прошу уволить по собственному желанию. Плюю всем в лицо за то, что после института меня в НИИ взяли, когда были ребята не глупее меня, за то, что квартиру дали. Кстати, заявление свое подавай через неделю, когда новоселье справим. Подашь раньше — еще десять лет в этой клетушке будем сидеть.

— В том-то и дело, что взяли меня, как кота в мешке,— Алексей начинал медленно закипать.— Ради бога, не притворяйся, что ничего не видишь и не понимаешь! За меня же многие просили. Уже несколько лет питаюсь подачками. Когда люди в институте учились, я по сборам шлялся. Мне ведь этот институт нужен был, как мертвому припарка. Понимаешь, стыдно, потому что все знают мне цену, все, кроме таких же дураков, как и я...

Он встал из-за стола, пытался читать, но сейчас ничего не лезло в голову. Нина весь вечер дулась, гремела посудой и старалась не смотреть в его сторону. Алексей долго не мог заснуть, что-то мешало. Перед глазами крутился рыжий мальчишка, Кирилыч, Славка, Корецкий...

Проснулся рано. Рядом тихонько дышала Нина. Она крепко спала, подложив под голову сложенные ладони. Алексей оделся, закурил. От сигареты появилось легкое, невесомое опьянение. Подошел к телефону. Снял трубку и снова водворил на место, сидел и мучительно раздумывал: куда позвонить сначала?

Алексей знал, почему он так и не смог подняться на верхнюю ступеньку спорта. Все шестнадцать лет, проведенные на ринге, он боялся ближнего боя. Этот страх появился у него, когда он впервые надел боксерские перчатки. Он научился смотреть в глаза сопернику, сильно и резко бить, виртуозно уходить от ударов. Он добился великолепной техники: умел по глазам узнать, с какой руки будет бить противник, по движению ног понимать, сколько у того осталось сил. Он до последних тонкостей чувствовал ремесло, но тот страх, запавший в душу, остался. Он боялся ближнего боя, когда нужно терпеть тяжелые, потрясающие удары, когда мутится перед глазами и звенит в голове. Он умел прекрасно уходить от него.

Сидеть надоело, и Алексей набрал номер. Долго не отвечали, наконец послышался надтреснутый, заспанный голос.

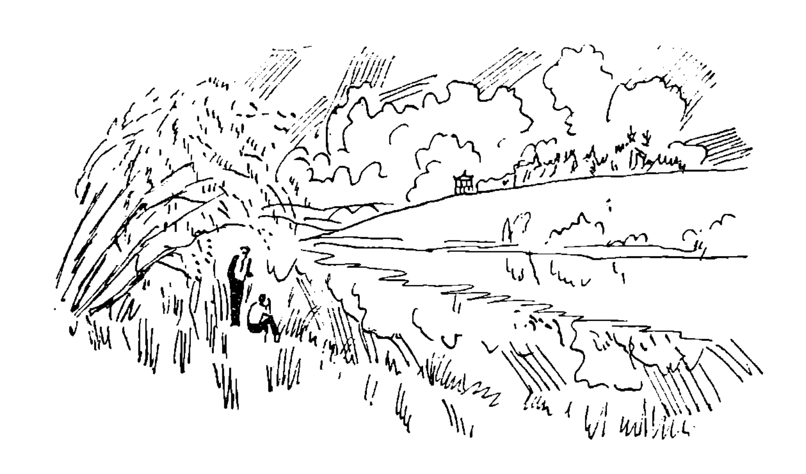
— Слушай, Кирилыч,— Алексей незаметно выдохнул, стараясь скрыть волнение.— Я слышал, в «Динамо» есть место тренера. Как думаешь, возьмут меня? Можешь мне помочь?

— А как же, детка,— по голосу было слышно, что Кирилыч явно обрадовался.— Прямо сегодня и позвоню.— Он немного помолчал, соображая.— Подожди, что ты мелешь? Ты же в институте...

— Потом объясню. Да, и вот еще что, на сборы я не поеду. Хватит.

Он положил трубку, написал на клочке бумаги: «Я на работе» — и вышел на улицу.

Было прохладно и влажно, над крышами домов висела яркая, постепенно переходившая в синеву полоса. Начинался день. На тополях сидели нахохлившиеся, озябшие воробьи. Алексей огляделся по сторонам, сунул в рот три пальца и оглушительно свистнул. Воробьи посыпались с веток, затрещали крыльями, разлетелись по сторонам, покружились и снова уселись на прежнее место, разбуженные и недовольные.



Евгений Туинов

ОБЪЯСНЕНИЕ В ДРУЖБЕ

Мама прислала посылку. Передала с проводницей.

Зеленый и пыльный поезд медленно втягивался в узкое пространство между платформами, заполненными людьми. Я нашел прицепной вагон, нашел проводницу с желтым, усталым с дороги лицом, взял у нее обшитый белой холстиной ящичек.

— Не надо!.. — вяло отмахнулась проводница от протянутого мною рубля.— Уже рассчитались...

Посылка была не тяжелой. Что в ней? Мама звонила, разговаривала с женой. Забыл спросить. Впрочем, что́ матери шлют из провинции своим детям, поселившимся с недавних пор далеко от них, в большом городе?

Дома порвал бечеву, разрезал холстину. Две поллитровые банки смородинного варенья, баночка меда, шерстяные носки, связанные бабушкой,— мама носки не умеет вязать; кулек конфет, конфеты разные, купленные постепенно, в разное время, и сохраненные бережно до отправки,— лежали, наверное, в белом

кухонном буфете, в стеклянной вазе; три целлофановых пакетика целебных трав и корешков. Внизу, на дне картонной коробки, нашел письмо — сложенный вчетверо тетрадочный листок. Бумага измазана была медом, засахарена, слиплась. Я разодрал.

Мама писала о том, что все у них с бабушкой хорошо, только б не болели у них еще ноги, что соседская Нинка вышла замуж и родила девочку через три месяца после свадьбы, что умерла баба Шураня из второго подъезда, та самая, которая подметала двор и мыла лестницы раз в неделю и у которой мы пацанами таскали лопаты, сделанные из плоской нержавеющей стали, таскали, чтобы расчищать от снега каток во дворе, что посылает мама сухой ромашки для смягчения, если простынем и будем кашлять, медвежьих ушек от почек, если заболят, и корень валерьяны для общего покоя и от бессонницы. Мама подробно расписывала, как что надо заваривать, когда принимать, и обещала, если поможет, прислать еще.

Я вспомнил лицо проводницы. Мама вчера разговаривала с ней, улыбалась и упрашивала, неумело протягивая деньги в благодарность. Надо было б спросить, как выглядит мама. Хотя, наверное, проводнице все на одно лицо,— работа такая.

Я дочитал письмо, варенье и мед отнес на кухню, носки спрятал до зимы, положил травки в аптечку, а конфеты высыпал в вазу на комнатном столе, чтобы были они на виду и чтобы жена, придя с работы, сразу заметила. В руках у меня осталась газета, из которой свернут был кулек под конфеты. Наша местная газета «Городская правда». Я развернул ее и сразу увидел стихи Друга.

Городок удивительно ранний,
Ты приходишь в мое забытье.
Я нечаянно сердце поранил
О старинное имя твое...

Всего было три стихотворения В. Дронникова, одно над другим, узким газетным столбиком.

Все это: и посылка, и мамино письмо, и проводница с усталым лицом, и эти стихи,— все приехало оттуда, из города моего детства, и было связано воедино с его именем и моим отношением к нему. И хотя Друг писал о другом городке, недалеком от нашего,

хотя и имя того городка было мне едва знакомо, я почему-то, читая стихи, представил все по-своему, словно это и был город моего детства, словно это он в который раз пришел в мое теперешнее забытье, пришел с этой посылкой, с этим пыльным зеленым вагоном, с запахом меда с наших полей, со стихами Друга...

Я еще раз перечитал этот газетный столбик, узенький и длинный, как скальпель памяти, и что-то надломилось, обнажилось во мне, и сделалось грустно. И стихи оказались грустными, потому что уже больше года мы с Другом не виделись, а теперь он так неожиданно и пронзительно напомнил о себе, о нашем городе, о моем детстве. Ведь и мое сердце давно и навсегда было ранено городом моего детства, и снова рана моя была потревожена.

Я сел на тахту с газетой в руках. Время зависло, как капля перед падением. И оказалось, что капля эта вмещает всего меня с прошлым моим, с настоящим и будущим, все, все, все вмещает, весь мир мой. И я слышал из этой зависшей капли, изнутри, что пришли соседи по квартире, что звонит телефон и что соседская дочь громко и долго смеется в трубку. И я испугался, что от смеха ее оборвется капля, и все пропадет, разобьется вдребезги, и поэтому надо думать, тревожить память, чтобы капля не падала, держалась за спасительную опору. И я вспомнил, что прошло почти восемь лет, как я уехал из нашего города, уехал на чужбину, где никто не знает меня, а до сих пор гнетет душу тоска по родному месту, до сих пор я остаюсь провинциалом и домоседом, до сих пор, когда в теперешней жизни моей что-то не получается, когда опускаются руки, точно мое счастье отворачивается от меня, я думаю о городе моего детства, думаю как о последнем и самом надежном убежище души, и говорю жене, что надо бросать все — эти все столицы, метро и памятники архитектуры, выгодные места на работе и хорошую зарплату; надо бросать и ехать назад, туда, откуда произошли мы, где помнят нас и примут с добром, надо возвращаться, пока не поздно.

— Погостили, и хватит... — говорю я всегда жене, когда тоска совсем одолевает меня.

Но время проходит, и начинаются сомнения, и происходит разлад души и ума, и мысли мои уже довлеют над чувствами. И хотя жена по-прежнему продол-

жает говорить, что она не против переезда, что и ей тоскливо и одиноко в большом городе, что и она часто чувствует себя чужой в нем, никому, кроме меня, не нужной, и хотя я еще ною, потому что ноет душа в разладе с моими мыслями, все равно в жене моей, как и во мне самом, нет уже уверенности, что мы с ней правы, и именно так, как задумали давеча, надо ехать, возвращаться. А тут потихоньку и дела мои приходят в норму, и как-то незаметно рождаются маленькие удачи. Так мы и живем в большом городе...

Во мне оборвалось что-то. Наверное, это сорвалась зависшая капля времени. И я в ней упал, но остался целым и невредимым, по-прежнему сидящим на тахте с газетой в руках. Но я уже по-другому, яснее, резче, слышу смех соседской дочери за дверью, понимаю, что смеется она уже не в трубку, а смеется над пьяным своим отцом, который, наверное, снова упал в коридоре, запутавшись в пальто. Сосед матерится глухо:

— Бу-бу-бу...

А я стараюсь сохранить в себе, вернуть ускользающее ощущение зависшего, остановившегося времени, цепляюсь взглядом за строчки стихов Друга, еще и еще раз перечитываю их. Но ничего не помогает. И уж я ловлю себя на мысли, что стихи Друга не так грустны, если читать их, будто никуда ты не уезжал, будто не было восьми лет в большом городе, что это просто показались они мне грустными, что Друг мой — настоящий поэт, поэтому и сумел так написать, что я почуял душой свою маленькую родину и душа защемила от ощущения своей удаленности от нее, от безвозвратности. А теперь прошли эти чары Друговых стихов, развеялись, растворились во мне, оставив легкий след в памяти, и только.

Однако душа противилась этому, и я, пытаясь сохранить хоть что-то из происшедшего со мной только что, сел за стол и написал Другу письмо.

Я написал о том, что думал и чувствовал, читая и перечитывая его стихи, о том, что он — тоже часть маленькой моей родины и что и по нему я грущу, и его мне не хватает. Я написал о проводнице с усталым лицом, о прицепном вагоне, который цепляют к проходящему поезду в нашем городе, и о том что так

хотелось бы и мне вернуться, как эта проводница в своем вагоне, в город моего детства, и что ничего из этого, наверное, не получится.

Так уж получилось, что друзья мои старше меня. И началось это еще в школе, когда я стал ходить на литобъединение при молодежной нашей газете. В городе, где я родился, начинающих поэтов было гораздо больше, чем начинающих прозаиков, поэтому и литобъединение наше состояло сплошь из поэтов. Всем им, кроме меня и Сверстника, было тогда за тридцать, и все они успели к тому времени кем-то побывать в жизни, получить какую-то профессию, поработать где-то — кто на заводе, кто в колхозе, кто на стройке. Одно нас связывало крепче всяких других уз, одно равняло нас и в возрасте, и в том, что мы успели и чего не успели сделать,— это любовь к своему городу, гордость за то, что на нашей земле родились Тургенев и Писарев, Бунин и Андреев, Фет и Лесков. И всем нам казалось тогда, что нам на роду написано достигнуть литературных вершин, как достигли их когда-то наши великие предки.

Сейчас, когда прошло с тех пор восемь лет, когда и я кое-что успел в жизни, когда только один из всех тогдашних начинающих тридцатилетних стал настоящим большим поэтом, а другие не стали, сейчас я понял, почему же у нас с друзьями такая разница в возрасте. А могло ли иначе быть? Ведь их детство прошло в войну, а после войны им было не до стихов,— у многих погибли отцы, старшие братья, и все надо было осиливать самим.

— Поехал я после армии в город,— рассказывал мне Друг.— Корову мать забила. Послала на базар продать. В городе выгоднее было продавать-то. Заодно решил в институт попробовать. В педагогический. У нас ведь других не было тогда — все техникумы. Мясо продал, в институт не прошел. Сочинение, елки-палки, на двойку накатал... Домой вернулся. А учиться хотелось, хоть плачь. Мать говорит: «Ладно. Боровка заколем, продадим, езжай тогда в Москву. В Москве, может, счастье улыбнется... Больше ничего сделать не могу». Поехал. До города нашего добрался благополучно. А на вокзале и выяснилось, что

денег на билет до Москвы не хватает. Трех рублей по-теперешнему, а тогда — тридцатки... Сижу в зале ожидания, думаю: куда же мне? Чего ожидать-то? Что, с неба тридцатка свалится? Решил в нашем городе остаться, поработать годик, потом уж ехать поступать. В деревню-то было стыдно оглобли поворачивать. «Ехал, скажут, да не доехал». Остался. До сих пор вот... А в Москву только через двенадцать лет удалось выбраться...

Конечно, мне теперь легче, и то, что когда-то давалось Другу с таким трудом, задерживая его продвижение к учению, к желанной цели, для меня было легкодостижимо.

Школа, кружки всякие, футбол во дворе, река — наш Орлик, или мамин участок на Карачевском шоссе. Баловство... Вскопать четыре сотки земли, полить деревья, грядки, прополоть, если зарастут, от сорняков. Четыре сотки с домиком, с водопроводом, с чаем на веранде и с беседами о чем-нибудь будничном и близком с профессором русского языка, чья дача была по соседству. Сейчас, когда мама продала дачу, а сосед-профессор уехал в другой город, все это вспоминается со светлой грустью. Даже скрипучая бочка на колесах, в которой мы с мамой возили воду из пруда, пока к участку не подвели водопровод, даже те двадцать — тридцать ведер воды, что вмещала бочка, которую надо было набирать с поросшего травой берега, осторожно, чтобы не зачерпнуть студенистую лягушачью икру, даже усталость после трех-четырех привезенных бочек — тоже баловство, тоже мелочи.

Друг рассказывал, как в сорок шестом они с матерью ездили в дальний лес за дровами, как единственная в колхозе лошадь упала на обратном пути и как они с матерью поднимали ее, боясь наступающих сумерек, а с ними — волков. Потом они спали в холодной хате, потому что лошадь-то привели, а дрова... Дрова таскали два следующих дня на себе.

Я тоже, как и Друг, учился в Москве. Друг закончил свой институт двумя годами раньше. Но велика разница между тем, как получил образование мой Друг и как я.

В институт я поступил сразу после школы, и экзамены сдал хорошо, потому что, кроме учебы, не надо

мне было в детстве ни корову пасти, ни возить из лесу дрова, ни полоть картошку в огороде, не надо было даже деньги зарабатывать на билет до Москвы. Уже учеба в школе считалась моим трудом. А бочка с водой? Мог возить, а мог и отказаться. И родители мои, обрадованные аттестатом зрелости, в котором не было троек, родители своим долгом считали купить мне этот билет в Москву, а потом высылать ежемесячно денег на прожитье в течение пяти институтских лет. Да, надо помнить, как было...

Тогда я еще не называл его Другом, и мы не перешли еще на «ты». Тогда ему было за тридцать, а мне всего шестнадцать. И был он для меня Юрием Ивановичем.

Мы, «ли́товцы», встречались два раза в месяц в пустой по случаю выходного дня редакции, садились за зеленый теннисный стол в комнате отдыха, по очереди читали новые стихи, говорили, спорили, горячились. Кругом нас высились стеллажи с годовыми подшивками газет, по стенам висели портреты Маяковского, Эйнштейна и почему-то Менделеева, а с выходивших в комнату отдыха дверей редакционных отделов кричали таблички: «Отдел писем! Секретариат! Отдел учащейся молодежи!..»

Все это вселяло в меня стеснение и трепет, которые посещают мою душу до сих пор, когда я попадаю в редакцию какого-нибудь журнала или газеты. А тогда сама редакция вообще представлялась мне святым местом, чем-то вроде церкви, а ее сотрудники — ангелами с незримыми крыльями под одеждой.

Когда наши споры прекращались сторожихой редакции тетей Феней до следующего раза, взрослые участники литобъединения сбрасывались по трешке и шли куда-то выпивать, и, вероятно, снова читать стихи и снова спорить. Нас со Сверстником они тоже приглашали, и только Юрий Иванович — Друг — был всегда против этого. Он супил рыжие свои брови, начинал суетиться, подходил то к одному, то к другому из своих товарищей, заглядывал им в глаза, говорил страдальческим голосом:

— Мужики, елки-палки!.. Не дело! Пускай ребята домой идут. Рано им...

Над ним шутили, что, мол, сам он в такие годы ой как горькую-то любил, что вот, мол, совестливый какой нашелся, будто другим и невдомек, что это такое — совесть-то, что не дает, мол, он нормально развиваться начинающим поэтам...

— Да нет же, нет! — прикладывал Юрий Иванович руки к сердцу. Он вообще переставал обращать внимание на шутки, когда речь заходила о чем-нибудь серьезном.— Это мы, понимаете, мы! А они — другое дело... Они, елки-палки, лучше нас должны быть!..

Помню, в душе я обижался тогда на него,— уж больно хотелось поскорей повзрослеть, сделаться совсем своим среди наших прожженных мужиков. Но Юрию Ивановичу всегда удавалось настоять на своем, и до поры взрослые их сборища так и оставались для нас тайной. Вернее, для меня. Сверстник пробился сквозь уговоры Юрия Ивановича гораздо раньше. И я поэтому здорово завидовал ему некоторое время.

Сблизились мы с Юрием Ивановичем после одной встречи. Я приехал в наш город на каникулы из института и в первый же день побежал к Сверстнику. Он встретил меня радостно. Стихи его давно печатались в городских газетах, и он только об этом и говорил. Он даже и стихов-то своих мне не читал, а все рассказывал, рассказывал, как носил он их в редакции, как отзывались о них сведущие люди, куда он думает еще их предлагать...

Мы сидели на кухне, потому что жена Сверстника не разрешала курить в комнатах. Мне было неуютно и неловко слушать о триумфальных походах Сверстника в редакции, о стихах, которые он почему-то не хотел мне читать. Несколько раз я собирался было просить его прочесть что-нибудь, но что-то сдерживало меня. Что? Не знаю... Вроде все было по-старому, но в тоже время и по-другому все было.

Я сидел на белой кухонной табуретке, слушал увлеченного собою Сверстника и думал о том, что мне столько же лет, как и ему, а нет у меня публикаций; что зря я, наверное, уехал в Москву,— оставался бы в нашем городе; что в Москве никто меня не знает, никому не нужен я со своими стихами, а здесь, дома,

глядишь, и помогли бы — все не чужой, и были бы стихи мои тоже в газете; что вообще, наверное, зря я выбрал свой нелитературный институт и такую непоэтическую специальность — кинооператор; что прав мой Сверстник — предпочел всему стихи и даже заочно поступил в филфак. Так я сидел и думал и машинально кивал, рассеянно слушая Сверстника.

Кто-то позвонил в дверь, и я подумал, что это пришла с работы жена Сверстника и что теперь они в два голоса станут расписывать мне свои успехи. Сверстник пошел открывать.

Но в кухню ввалился Юрий Иванович, а за ним протиснулся Володечка. И тут, улыбаясь и вставая им навстречу, я подумал, что даже Юрий Иванович уже запросто ходит в гости к Сверстнику.

И оказалось, что уже можно курить в комнатах, что кроме чая, который мы дули битые два часа, есть в холодильнике бутылка водки и кое-какая закуска, есть белая скатерть в доме, и раздвигается стол в большой комнате. Я пересел с кухонной табуретки на мягкий диван, и Сверстник поставил нам пластинку для фона.

Юрий Иванович был возбужден и радостен, Володечка же — чем-то озабочен.

— Мужики! — сказал Юрий Иванович, выставляя на белую скатерть бутылку водки.— Давайте отпразднуем! Гонорар получил за новую книжку.

Выпили. И Сверстник разошелся. Вот уж тут стихи полились.

Я слушал, а думал тогда о Юрии Ивановиче, и мне было так хорошо, что по-прежнему живет он среди нас, что и я причастен к его жизни, а он к моей, и мы связаны этими узами одного времени, когда не надо домысливать, дочувствовать себе его жизнь или движения души его, когда можно спросить, просто встретиться,— пусть редко, но встретиться, пожать руку, улыбнуться в ответ, спросить его обо всем, что пожелается, и сказать о себе, если спросит. Как хорошо, как справедливо это, думал я, что Юрия Ивановича знает наша маленькая родина, стихи его любит.

Хотя вряд ли чувства мои тогда складывались в стройные мысли. И вряд ли смог бы я тогда вообще

сказать связно о том, что чувствовал. Это теперь, вспоминая тот вечер у Сверстника, я иногда рассказываю о нем своей жене и снова радуюсь за Друга и грущу по нем.

Пришла с работы жена Сверстника и села возле него и принялась пялиться на Юрия Ивановича, как на икону.

А мы пили за успехи Юрия Ивановича, за его дочку Аньку, за его книжку, за то, чтобы никогда больше не пить без повода, а только по делу.

Жена Сверстника, заглядывая Юрию Ивановичу в глаза, просила послушать стихи мужа. Но тот отказывался, говорил, что уже сыт. Он был в каком-то особом настроении.

— Жить-то как хорошо, оказывается! Еще бы столько и полстолько пожить. А-а-а... Все равно — мало! Счастливый ты, елки-палки,— обратился Юрий Иванович ко мне.— Молодой, ранний... Взял да в Москву махнул. Живешь там без боязни. Я в твои годы думал, что Москва — это край света. Честно говоря, струсил я тогда. Хватило бы мне денег на билет, а струсил... Думал: как же я так далеко от матери, от дома?..

Сверстник все же нашел себе слушателя — Володечку — и монотонно опять ронял слова, а жена его жадно их ловила.

А мы с Юрием Ивановичем говорили о быстротечности человеческой жизни, о нашем неумении чувствовать хорошее в ней, говорили о женщинах, о том, какие они бывают разные, и о том, как плохо, когда ни одна из них не любит тебя.

Володечка косился на нас, слушал Сверстника, изредка кивая остриженной под полубокс головой.

Володечке было тогда за пятьдесят, но он молодился, красил волосы, пряча седину, бакенбарды красил и поэтому походил на престарелого актера, которому всю жизнь давали роли пылких любовников и который состарился на этих ролях, а сменить репертуар был уже не в силах. Таким он был для меня все время — человеком со вчерашней улыбкой, с лицом, захваченным из прошлого и бережно подновляемым перед выходом на люди.

Тогда, у Сверстника, я еще не знал, что Володечка — поэт-неудачник, вечный спутник городских поэтических знаменитостей.

Так и жил Володечка, так и вопил всем: «Мы с Димой!» или «Мы с Юрой!..».

Да, Володечка... Нет друзей — и это не друзья.

От Сверстника мы ушли с Юрием Ивановичем к нему домой чай пить и знакомиться с его женой Еленой Сергеевной.

— Я с вами, Юра! — привстал Володечка из-за стола.

— Ну уж к черту! — отмахнулся Юрий Иванович.— Ты, Володечка, и здесь хорош.

Мы с Другом сидели на траве на берегу Орлика под старыми ракитами, уронившими ветви свои в воду. В нашем городе называют это место Дворянским гнездом, считая, что именно о нем писал когда-то Тургенев. На высоком берегу реки белела недавно выстроенная беседка в стиле девятнадцатого века, на низком — распласталось огуречное поле, с которого мы с пацанами таскали в детстве огурцы и ели их без соли. И все мне там было знакомо и памятно. Даже старые корявые ракиты с потрескавшейся толстой корой, со всевозможными дуплами и удобными для лазания сучками напоминали мне детство. На высокий сук какой-либо из этих ракит мы прилаживали железный трос с палкой-перекладиной на нижнем конце,— это сооружение называлось «Тарзаном»,— хватались за перекладину, с визгом и хохотом раскачивались над водой и, замирая в самой верхней точке своего стремительного полета, разжимали пальцы и летели кубарем в Орлик, поднимая брызги.

Я рассказал об этом Другу. И некоторое время мы с ним смотрели, как желтые известняковые скалы на противоположном берегу отражались в спокойной речной воде, плыли, плыли своим отражением, влекомые медленным равнинным течением, и никак не могли уплыть. И неожиданно Друг стал читать стихотворение.

Мы всегда уединялись с ним где-нибудь, когда я приезжал в наш город, уединялись, чтобы рассказать и выслушать скопившееся за время моей отлучки

новое, чтобы насмотреться друг другу в глаза и содрогнуться сердцем от чувства нашей душевной близости. И всегда Друг читал свои новые стихи.

Но тогда, на берегу Орлика, он словно ждал моих детских воспоминаний, и стихи его были об этой реке, о берегах ее,— один крутой, скалистый, другой — плоский и пологий; о старых ракитах по этим берегам, о том, что нельзя без этого всего жить русскому человеку, что у каждого должна быть такая река, своя, единственная, в которой бы, как для него, для Друга, отражалась бы Родина и он сам.

Мне в тихом родина слышна,
Мне в малом родина велика!
Она, как мать, всегда одна
С того младенческого крика.

Я слушал и думал о том, что же связывает нас с ним, двух разновозрастных мужиков, двух таких непохожих в судьбах и в профессиях? А связывала нас речка наша — Орлик, и тихий город наш и наша Россия. Россия пролегла, протекла нашей медленной речкой через наши сердца, скрепила, слила их воедино.

Я вспомнил тогда, как Друг говорил мне однажды:

— Пока я жив — жива Россия!

Там, на зеленой траве, под трепетными кронами ракит, я ясно услышал и в себе эти слова, будто уж и мне тоже они принадлежали.

— Э-э-эй Э-э-эй!.. — услыхали мы с другого берега.

На узкой тропинке, проторенной в известняковой скале над самой водой, стоял Володечка и размахивал двумя бутылками вина. Поза его была жалка и неустойчива, и видно было, что он очень боялся свалиться в реку, поэтому и ноги чуть согнуты были в коленях, и спина его опиралась о камни.

— Я сей-ча-а-ас... — донеслось до нас.— Че-рез мо-о-ос-ти-и-ик...

И Володечка засеменил под горку в сторону недалекого деревянного мостика, с которого я когда-то в детстве нырял солдатиком и ласточкой в тихую воду Орлика.

— Выследил...— сказал Друг.

— Может, убежим? — предложил я.— Пока это он до моста доковыляет...

Друг нахмурился, огляделся по сторонам, прикидывая что-то.

— Ну, Юра?! — поторопил я.

— Да-а!.. — раздраженно сказал он.— Все равно найдет. Ему трудно покровителей терять.

— А-а!.. — махнул я рукой.— Была не была!..

И стал раздеваться. Друг понял меня. И вот мы в одних трусах, с пуками одежды на головах вошли в воду. Я оглянулся на мост. Володечка бежал, прихрамывая, уже по нашему берегу, не замечая пока подвоха.

Мы, загребая одной рукой, переплыли на противоположную сторону, вылезли на теплые глыбы известняка и сели передохнуть.

Володечка шарил глазами по траве, забегал за толстые стволы ракит, но ничего не мог понять.

Друг свистнул ему.

Наконец Володечка заметил нас, голых, мокрых и смеющихся. Руки его опустились, и выпала на землю бутылка вина. Так он постоял несколько секунд в оцепенении, потом встрепенулся, поднял бутылку и нервно хохотнул, давая нам понять, что шутку принял и оценил.

Он сел на траву и стал разуваться. Потом вскинул голову, видимо, чтобы проверить, ждем ли мы его.

И вот настало время, выдались четыре подряд свободных дня, и мы с женой поехали в мой город, поехали встречать там Новый год. И уж понимал я, что и так с самого нашего знакомства прожужжал жене все уши о своем городе, о Друге и о том, как хорошо мне жилось раньше в родном месте, а никак не мог остановиться, все рассказывал и рассказывал ей обо всем этом, и волновался, и замирало сердце от близости долгожданной встречи, и душа моя давно убежала вперед, унеслась из моей груди, чтобы там, на вокзале моего города, снова войти в меня, наполнить всего и сжаться в предчувствии короткого счастья.

С вокзала мы сразу поехали домой к моей маме, поехали на троллейбусе. Ногтями я проскреб щелку в белой узорчатой изморози на окне и стал смотреть одним глазом на улицу. В этом была необычность какая-то, даже таинственность, словно происходило

все во сне: белое поле окна, глазок в другое, знакомое и успевшее чем-то уже забыться пространство, волнение в груди,— будто процарапанная мною щелка могла исчезнуть, вновь зарасти инеем, а вместе с ней мог исчезнуть и мой город. Ведь так часто снился он мне последнее время, и грустно, больно было просыпаться обманутым в надоевшей мне коммунальной квартире.

— Гляди, гляди... — то и дело шептал я жене, тыча пальцем в щелку и обдавая ее белым паром своего дыхания. — Это памятник Поликарпову! Вон, с самолетиком в руке сидит. Он в нашем городе родился, Поликарпов-то!.. А с покатого постамента мы каждую зиму катались верхом на портфелях... Как с горки...

Я уступал жене место у щелки, и она приникала к ней, но троллейбус успевал проехать нужное место, и жена видела совсем другое. И снова смотрел я на улицу, облизывая сохнущие от волнения губы.

Мы поцеловались с мамой и с бабушкой и сразу сели завтракать. Но во мне будто пружина какая сорвалась, и я то и дело вскакивал из-за стола, выбегал из кухни в комнату и приносил жене то фотографию какую-нибудь показать, то какую-нибудь памятную вещицу. Мама улыбалась и тут же принималась рассказывать жене все связанное с той или иной принесенной вещью. Она не успевала объяснить, откуда попал к нам в дом кусок обесцвеченного хлоркой морского коралла, а я тащил уже свой портрет, выполненный пастелью одной знакомой художницей из нашего города, и мама переводила разговор на этот мой портрет.

— И жгаить, и жгаить!.. — осадила меня бабушка. — Сел бы ды месту рад... С дороги небось... Блинцы, вон, простынут. Слышь, унучик, далече, знать, живешь ты теперя?

— Далеко,— сказал я, садясь за стол.

— А бабу-то оттудова взял? — вкрадчиво понизила голос и хитро зыркнула на жену бабушка.

— Нет, бабуля. Она здешняя. Наша, считай. Из соседнего города.

Я, зная, что бабушка бывала раньше в том городе, откуда родом моя жена, назвал его. Было интересно, как отнесется она к упоминанию знакомого места.

— Тутошняя... — Бабушка словно разочаровалась в чем-то. — Этоть надо же у такую даль тащиться, штоб тутошнюю взять!..

Жена засмеялась, щеки ее покраснели. Мама начала шутливо бранить бабушку, что нельзя, мол, так человека конфузить.

— А баба-та твоя ладная,— примирительно заключила бабушка. — Чуносенькая, румяная... Знать, нету там, в твоем-та далеке, таких...

Я вспомнил, как бабушка разговаривала с Другом, когда он приходил. Первую встречу их вспомнил.

Тогда мама только привезла бабушку из деревни, и та все причитала, все плакала по недавно умершему мужу своему, моему деду, по родному Борину, по оставленной, брошенной даром избе своей, по соседям своим и даже по «темной» — карточной игре, в которую они с соседями играли вечерами.

— Лысай, мой лысай!.. — негромко плакала бабушка, утирая глаза кончиком платка. — На кого ж ты мене оставил? Когда ж мене господь приберет-успокоит?..

Так она и коротала время, сидя целыми днями у окошка в непривычной ей городской квартире.

Когда пришел к нам Друг, бабушка не оправилась еще от своего горя и разлуки. Она тут же и рассказала ему все, что на душе было, поплакалась.

Друг сел возле нее, и они как-то быстро нашли общий язык, и оказалось, что и Друг помнит родную деревню, и потому сочувствовал бабушке. Долго они сидели и разговаривали.

После этого их знакомства бабушка часто спрашивала меня, не собирается ли Юра к нам в гости, а если собирается, то когда? Друг приходил, и бабушка всегда радовалась ему, как родному.

Вот и теперь, вспомнив первой, бабушка встрепенулась вдруг.

— Ты, чай, забыла? — обратилась она к маме.— Скажи ему, што Юрий Ваныч приходил!..

— Сколько ж говорить тебе? — рассмеялась мама. — Не приходил, а звонил. По телефону...

Бабушка хоть и жила в городе четвертый год, а все не могла приноровиться к звонкам: дверному и телефонному — и путала всякий раз.

— А-а... Я почем знаю? — отмахнулась она. — Звонил, приходил... Сама ж давеча сказывала, што Юрий Ваныч с тобой разговаривал... У вас теперя не разберешь!

Мама рассказала, что Друг дня два назад звонил ей домой и спрашивал, приеду ли я на праздники, говорил, что очень ему хотелось бы увидеться со мной, что соскучился.

— Сказал, что квартиру новую получил,— прибавила мама, принимаясь убирать со стола. — Переехал уже... Забыла адрес его теперешний спросить. А приедете вы или нет — сказала, что не знаю. Вы ведь вон как — в последний момент решили-то...

И правда, с поездкой все вышло неожиданно. Думали, что придется снимать под самый Новый год, но, на наше счастье, постановщики не успели доделать декорацию. Так что улыбнулась судьба...

Я вспомнил о Сверстнике.

К телефону подошла его жена, осведомилась, кто говорит. А когда узнала, что я, сказала:

— Он в ванной моется...

Я знал, что у них длинный телефонный шнур, и попросил ее отнести телефон прямо в ванную.

— А если он намылился? — растерянно спросила жена Сверстника.

Я сказал, что ничего, ополоснется.

В трубке забухтело что-то, потом с минуту я слушал препирательства Сверстника с женой,— они разговаривали через дверь, и он действительно кричал ей, что намылился; потом что-то щелкнуло, и я услыхал журчание воды.

— Валь, придешь потом спинку потереть! — сказал Сверстник в трубку.

На мгновение я представил, как жена трет ему спину, и мне сделалось как-то неловко, не по себе, будто случайно увидел то, что люди хотели бы скрыть от чужих глаз.

— Алло! — крикнул мне Сверстник, стараясь перекричать шум воды.

Я спросил о Друге.

Он помолчал, и молчание его было тягостно мне. Журчала глухо вода в трубке. Я повторил вопрос.

— Знаешь, старик,— ответил наконец Сверстник,— ты несколько не по адресу... — Он снова помолчал. — Мы разошлись с ним во взглядах... на поэзию... В общем, он зарубил книжку. Он сказал, что я не поэт. Представляешь?

Я бросил трубку.

Зазвонил телефон, и я снял трубку. Говорил отец, приглашал на Новый год. Они с мамой жили врозь, поэтому все праздники, которые заставали меня в нашем городе, я встречал дважды: сначала с отцом, потом с мамой.

Я сказал, что обязательно приеду, тем более что надо же им с моей женой познакомиться.

— Чуть не забыл... — сказал отец напоследок. — Недавно друга твоего встретил, Юрия Иваныча... Он очень хотел с тобой увидеться. Ты извини, его на Новый год не позвал. Хочется в тесном кругу посидеть, без посторонних...

Потом я выбежал на улицу и пошел по известным мне адресам наших с Другом общих знакомых. И многих, конечно, не было дома, а те, кого заставал, пожимали плечами и вежливо ожидали, когда я уйду и перестану мешать им готовиться к празднику; кто-то предлагал мне выпить, но я отказывался, потому что и так голова шла кругом; кто-то приглашал на завтра в гости. Везде, по городу и в квартирах, горели огнями елки, везде улыбались дети, и везде светились голубым светом экраны телевизоров. «Вот тебе и елки-палки... елки-палки...» — твердил я как в бреду, носился по улицам, не чувствуя мороза, натыкаясь на прохожих, мотался в трамваях, взбирался по лестницам и сбегал вниз, но нигде, нигде не знали адреса Друга.

Домой я вернулся поздно. Мама и жена наряжали елку.

А я вдруг вспомнил о Володечке.

Трубку взяла Володечкина жена. Сам он спал. Я долго упрашивал ее разбудить мужа, и, когда она почти согласилась, предупредив, правда, что он сильно перебрал днем, я услышал рев самого Володечки. Сначала ничего нельзя было разобрать, потом я все-таки понял две фразы:

— Кто т-тебе з-звонит?.. Кх-х-р-р... Кх-х-р-р... Щас я ему в-все скажу! Кр-р-р!..

Потом у них произошла, очевидно, короткая борьба за телефонную трубку, и Володечка вышел победителем. Он рявкнул:

— Н-н-ну-с?.. Что т-тебе надобно от моей с-супруги?!

Мне с трудом удалось объяснить ему, что нужен мне он сам. Володечка перестал рычать. Я спросил его о Друге.

— Адр-рес? — снова рыкнул он. — З-знаю адр-рес! Но не дам! Н-назло не дам! Как с-собака на сене, не дам! Да-с! Будете помнить м-меня!..

Новый год мы встретили как-то хмуро и спать в праздничную ночь легли рано. На всех давило мое настроение, и я понимал это и злился на себя, но ничего не мог поделать.

Отъезд наш был для меня мучителен и печален. Хотелось остаться, хоть на денек еще, хоть на чуть-чуть, но я с противной трезвостью помнил, что там, в большом нелюбимом городе, ждут дела, кажущиеся важными и неотложными,— заказана съемочная смена в павильоне и вызваны исполнители, поэтому моя задержка многих бы подвела.

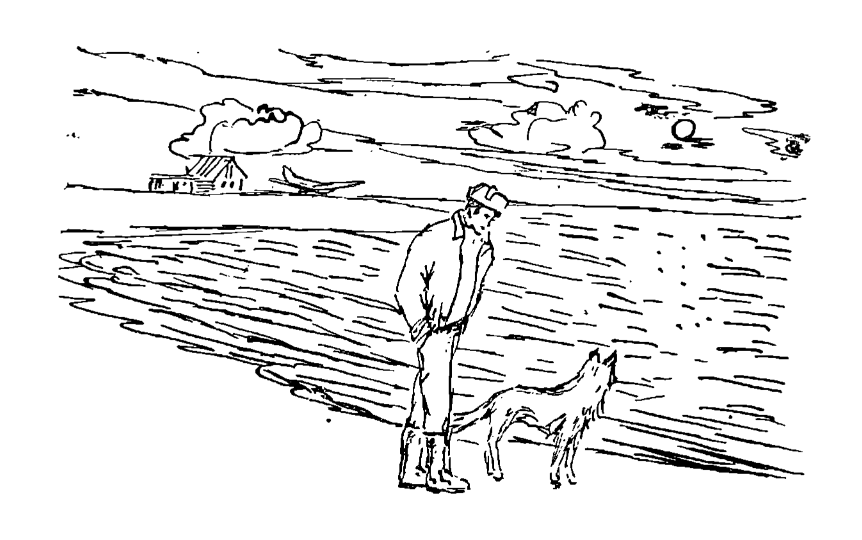
А тут еще, когда мы присели перед дорогой, бабушка, серьезно посмотрев на меня, как-то холодно и обреченно сказала:

— Меня хоронить приедешь, унучик?..

И, не дождавшись ответа, сунула мне десять рублей в руку и замахала руками, боясь, что я откажусь.

Жена моя заплакала.

Из тамбура вагона я смотрел на маму, сиротливо стоящую на перроне, смотрел на бурое здание нашего железнодорожного вокзала и думал о том, что жизнь несправедлива и жестока ко мне, что ни черта не получилось в этот приезд наш,— только праздник испортил родным, что вообще когда еще выпадет время снова свидеться с мамой и с бабушкой, с Другом, с городом моего детства,— разве что в отпуск приедем... Так до отпуска еще жить да жить...



Александр Шелковников

БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ

По неписаным законам, техник должен спать с краю, потому что по утрам он поднимается раньше других, а приходит от самолета последним. Наш техник Алексеич никогда не отступал от авиационных традиций и спал на койке, стоявшей рядом с косяком двери.

Командир самолета Борис Михайлович, как и положено, занимал передний угол, рядом с небольшим окном. Окно выходило на юг, и через него виднелся прямоугольник тундры, плоской и однообразной, как и вся тундра, которая лежит возле южного побережья моря Лаптевых.

Второй пилот может занимать койку рядом с командиром, но это в том случае, если он старше или, в крайнем случае, ровесник штурмана. В нашем экипаже штурмана не было, и я занимал койку возле второго окна, хотя при штурмане мне наверняка пришлось бы уступить это неплохое место, потому что возраст у меня не ахти: двадцать с гаком.

Через окно с моей койки просматривалось море, а через стену слышался шум прибоя. В дни с туманами, когда морской горизонт исчезал, растворяясь в белесой мгле, мне начинало казаться, что зеленая вода обрушивается на землю откуда-то с неба и только чудо спасает от затопления низкий берег и нашу бревенчатую избушку. В такие дни летать, конечно, не приходилось, однако мы вставали по распорядку, завтракали и пили чай из большого медного чайника, вскипяченного на железной печке...

В избе кроме трех раскладушек стояли стол, несколько табуреток и длинная скамейка вдоль печки. В углу на железных гвоздях висели меховые куртки и прочее.

Позавтракав, техник в любую погоду отправлялся к самолету и подолгу занимался мотором, что-то регулировал и подчищал. Двигатель нашего биплана был не новый, после третьего капитального ремонта, но ни я, ни мой командир в нем никогда не сомневались, знали, что наш технарь Алексеич во всем любит порядок и даже собственную работу не примет, пока не запустит двигатель и не проверит его на контрольных оборотах.

После прохладных ночей запуски получались тяжелыми, и Алексеич, жалея старый двигатель, грел его по утрам от огромного, на полтора ведра, авиационного примуса. Нужно сказать, что этот примус был очень капризным агрегатом и временами сам упорно не запускался. В таких случаях техник с привычным ожесточением его накачивал, изредка делая передышки, при которых сердито курил.

С некоторых пор Алексеич заметил, что подогреватель лучше запускается и жарче горит, если его держать не вертикально, а немного с наклоном. Однако в таком положении железная труба, наставляемая сверху примуса, не доставала до мотора, и жар горелки уходил без пользы. Где-то среди своих технических припасов техник нашел кусок листового железа и наклепал верх трубы, отчего она удлинилась без малого до двух метров, а от трех рядов авиационных заклепок приобрела солидный, как мне казалось, промышленный вид.

Примус и трубу на всякий непредвиденный случай мы возили с собой на борту, однако Алексеич, вы-

пуская нас, всякий раз сомневался, сумеем ли мы одни, не дай бог, где-нибудь в тундре справиться с капризным и своевольным агрегатом, который даже в его опытных руках временами капризничал.

Подогреватель и труба в походном положении располагались по правому борту, напротив входной двери в самолет. Мой командир по пути в пилотскую кабину не упускал случая щелкнуть пальцем по трубе. Было удивительно, что грубое железо отвечало на щелчок тонким и певучим звоном, который в старину назвали бы «малиновым». Борис Михайлович, приподняв ухо шлемофона, прослушивал переливчатый звон, коротко чему-то улыбался и проходил к носу биплана, в пилотский отсек.

Алексеич к этому чудачеству относился снисходительно, примерно так же, как и к рисункам нашего командира. Он только неопределенно хмыкал и крутил головой, когда рассматривал акварели, на которых среди синих морских волн плавали ослепительно белые льдины, а над ними парили чайки, розовые от лучей низкого северного солнца. Розовых чаек техник рассматривал особенно пристально и недоверчиво и, конечно, не верил, что так бывает.

В свободное время Борис Михайлович пополнял свой альбом. В минуты творчества он раскуривал трубку и, щурясь от табачного дыма, принимался пристально рассматривать чистый лист, определяя, наверное, будущий сюжет. Чтобы не мешать сосредоточенному занятию моего командира, я одевался и уходил гулять. Прикрыв за собой дверь, обитую для тепла оленьей шкурой, я спускался с низкого крыльца и направлялся вдоль моря. В прогулках меня обычно сопровождал Шустрый, молодой пес с полярной станции.

Шустрый был приезжим. Вместе со своими хозяевами, тремя радистами-полярниками, он высадился со служебного судна в начале лета. Радисты расконсервировали полярную станцию, стоявшую в ста шагах от нашей избы, и мы начали работать на проводку морских караванов. Время от времени капитаны караванных ледоколов по радио просили сделать ледовую разведку, и мы летали над морем, не удаляясь слишком от берега, потому что наш биплан был сухопутным и одномоторным. В середине лета льды отступали

на север, караваны пошли по чистой воде, а мы начали новую работу.

На берегу большого пресного озера, километрах в двух от нас, жили четыре рыбака и уловы отправляли с нами в поселок Хатыркан, за двести километров на юг. Рыбу они привозили на просмоленной черной лодке и приставали к берегу недалеко от стоянки самолета. Мешки со свежей рыбой, загруженные в самолет, заполняли кабину тонким запахом утренней росы и свежих огурцов.

Возле причала рыбаков держались чайки. Я никогда не слыхал, чтобы они кричали: это были на редкость серьезные и молчаливые птицы. Они летали над землей не спеша и очень низко. Шустрый не выдерживал и прыгал, стараясь ухватить за перья какую-нибудь из них, но те не обращали на него особого внимания и никогда не меняли траектории намеченных маршрутов. Птицы, казалось, понимали, что хотя это пестрое животное и прыгает в воздух, но никогда не сможет взлететь по той простой причине, что не имеет крыльев.

Наш техник недолюбливал легкомысленного пса. Недолго ждать, сказал мне как-то Алексеич, как начнут дуть северные ветры и пригонят к берегу лед. В этом, конечно, нет ничего страшного, но на льдинах приплывут белые медведи и сойдут на сушу, чтобы пошататься на берегу в поисках съедобного. Не минуют они и станцию, тем более что в двух километрах к западу валяется дохлый морж, выброшенный прибоем. Будет, конечно, хорошо, если при первой же встрече с Белым Хозяином глупый пес отделается полновесной затрещиной.

Продвигаясь вдоль прибойной полосы, я встречал бесчисленное множество самых различных предметов: доски, бревна, куски спасательных кругов с нерусскими надписями, поплавки сетей, листья каких-то темных водорослей, обрывки толстых манильских канатов и даже электрические лампочки с исправными нитями. «Вполне вероятно,— приходило на ум,— вот эта яркая жестянка из-под сока манго была брошена в воду где-нибудь в раскаленных зноем тропиках, и нет ничего удивительного, что она очутилась на берегу Ледовитого океана: ведь все океаны соединяются между собой, а в проливах постоянно живут течения...»

К концу наших прогулок Шустрый уставал и возвращался домой молчаливой рысцой, опустив морду. Он еще совсем молодой пес и не успел приобрести той выносливости, которая отличает бывалых северных собак.

Наш экипаж и радисты обедали вместе в большой угловой комнате полярной станции, которая называлась по-морскому — кают-компанией. Шустрого туда не пускали, и он ел на воздухе, возле своей конуры. Однажды я попробовал появиться с ним на станции, однако один из радистов заметил, что собак на Севере не принято пускать в тепло, потому что они быстро к этому привыкают и потом на морозе жестоко простывают.

В кают-компании помещалась библиотека станции, в которой было много хороших книг. Некоторые книги я брал с собой и читал вечерами при свете электрической лампочки, подсоединенной к самолетному аккумулятору, который мы на ночь снимали с борта и держали в тепле избы.

Командир и техник любили по вечерам сидеть возле печки. Они садились рядом и молча курили, выпуская дым в отверстия железной дверцы, за которой с треском сгорал сухой плавник. Отсветы пламени прыгали на стенах избы и на оленьей шкуре, прибитой к двери. В бликах красноватого огня лица бывалых авиаторов неузнаваемо преображались. Я читал книги про индейцев, и оттого мне казалось, что у печи сидят два краснокожих вождя и каждый из них наверняка размышляет об одном и том же: не настало ли время начать войну с бледнолицыми.

В октябре пришли настоящие морозы, но море все не замерзало, шумно плескало в белые берега, гремело обледенелой галькой. По ночам над океаном, с севера, поднимались столбы полярного сияния, похожие на синие прожекторные лучи. От небесных лучей снег зажигался зеленым фосфоресцирующим светом, а на море, по верхушкам волн, прыгали фиолетовые искры. Радисты полярной станции говорили, что сияния заряжают воздух электричеством, которое мешает связи, и поэтому их радио молчит иногда сутками.

К счастью, связь с морем почти не требовалась, потому что навигация подходила к концу и последние запоздалые караваны торопились покинуть Арктику

до прихода тяжелых северных льдов. Наши соседи консервировали станцию и работали только на одном канале, по которому получали для нас сводки районной службы погоды.

В Хатыркане метеостанции не было, но мы знали, что там никогда не бывает погоды хуже, чем на побережье: от свирепых местных ветров и частых туманов поселок защищали горы. Южнее поселка высился синий хребет, а с его склонов далеко в сторону побережья уходили отроги, вытянутые в северном направлении. По одной из приморских долин, с запада и востока закрытой грядами каменистых сопок и от этого напоминавшей гигантский коридор, проходил наш маршрут на Хатыркан.

Долина была широкой, километров на полсотни, и очень ровной. Летом здесь среди бесчисленных озер гнездились дикие гуси, и, хотя равнина была плоской, мы избегали над ней летать низко, чтобы не попасть в какую-нибудь стаю этих тяжелых и очень неповоротливых в воздухе птиц. Зимой, когда долину засыпал снег, она становилась однообразной, как лист бумаги, и по ней бродили стада оленей.

После морозов наши рыбаки перешли на подледный лов, а рыбу возили через озеро на собачьей нарте. Чтобы собрать груз для одного нашего рейса, упряжка делала несколько ездок от рыбалки к самолету. Для утреннего рейса мешки с рыбой привозили с вечера, но в самолет не вносили, а складывали рядом: Алексеич не позволял загружать машину, потому что под грузом за ночь сильно сжатые амортизаторы колес могли примерзнуть и дать течь.

Как-то вечером один из приехавших рыбаков отправился на упряжных домой, а второй остался и зашел к нам в избу. Гость пришел не один. Следом за ним, маскируясь в облаке морозного пара, через порог проскочил небольшой пес. При свете мы рассмотрели, что у него рыжая шуба и остроносая хитрющая морда. Алексеич покосился на Рыжего, но из уважения к гостю промолчал.

Пришедший не спеша снял рукавицы, откинул капюшон кухлянки и поздоровался. У нашего гостя был густой голос и большая, сильно обмерзшая борода, которую он принялся отогревать возле печки. Обсушив бороду, рыбак скинул кухлянку и налил себе в круж-

ку из чайника, стоявшего на краю печки, рядом с закопченным котелком, в котором Алексеич варил уху из муксуна.

— А я к вам, ребята, за делом пришел,— сказал рыбак, устраиваясь с чаем возле печки.— Слышал, днями домой собираетесь?

— В пятницу. Возьмем попутно радистов с полярки и пойдем, машине ремонт подходит,— ответил Алексеич, занимаясь ухой.

— Вот-вот! — покивал рыбак, отхлебнув чаю.— Ребята-артельщики про то узнали и вчера говорят: «Давай, Митрофаныч, иди к летчикам, договаривайся, чтобы они Лешего в Хатыркан увезли, покудова его здесь кто-нибудь из ружья не порешил...»

— Какого Лешего? — строго спросил рыбака Алексеич, не любивший загадочных разговоров.

— Да вот он — Леший! — ткнул рыбак куда-то вниз огромным задубелым пальцем.

Рыжий пес, услыхав кличку, завозился под лавкой, чтобы, наверное, появиться перед нами.

— Цыть, язва! — сердито рявкнул на него рыбак и грузно топнул унтом.

От окрика Леший отпрянул в тень, под лавку, где осторожно поскребся, протяжно, как умеют собаки, вздохнул и притих.

— Пакостливый, оборони бог! — сердито загудел рыбак.— На улице по утрам моемся, чуть кто мыло забудет — утащит и сожрет! Грех один! Ну, если бы корму не было, а то ведь рыбы невпроворот, да куды там — надо ему мыло жрать!.. Третьево дни на избушку по углу залез, мешок с мерзлыми пельменями на снег стащил, тут остальные собаки подоспели! Ну пока мы бухты-барахты — они полпуда добра порешили... У ребят терпения никакого не стало: «Давай,— говорят,— этого идола куда дальше убирай, а то придется грех кому-нибудь на душу брать...»

Здесь рыбак сделал паузу, чтобы не переходить к прямой просьбе, чего, как уж я понял, на Севере делать не принято.

— Какой разговор, Яков Митрофанович! — откликнулся наш командир, чинивший возле стола молнию на куртке.— Да только кому его в Хатыркане на руки сдать?

— Што ты, Борис Михалыч! — громко изумился Яков Митрофаныч.— Ты его только там из аэроплана выкинь, он не токо свой дом, он ведь, прости меня на слове, черта с рогами под землей найдет.

После этого гость еще поговорил об уловах, похлебал с нами ухи, выпил кружек семь чаю и начал собираться домой. Мы вышли его проводить.

— Ишь, как звезды скачут! Должно быть, к снегу...— показал рыбак на небо рукавицей.

Потом он попрощался с нами, посвистел Лешему и пошел по снежной тропинке. Над ним стояла полная луна и мерцали яркие звезды, а сбоку двигалась приземистая тень. Рыжий повалялся на снегу, дружелюбно обнюхался с Шустрым и рядом со своей тенью, похожей на силуэт лисы, затрусил по следам хозяина.

Следующее утро было пасмурным, видно, на побережье выходил циклон, давно обещанный районной службой погоды. Вскоре после завтрака на собаках, обсыпанных снегом, приехали два вчерашних рыбака и начали загружать самолет. Упряжные, опустив морды к лапам, задремали, но их вожак, рослый черный пес, отчего-то не мог успокоиться и все косился в сторону самолета. Осторожного вожака, наверное, тревожил крупный силуэт белого медведя на фюзеляже биплана. Белый зверь в овальном круге изображал эмблему полярной авиации, он стоял на задних лапах, поднявшись над обломком плавучей льдины, и поверх собачьих голов пристально смотрел куда-то на юг, в сторону нашего маршрута на Хатыркан.

Рыбаки закончили грузить. Борис Михайлович оглядел тусклый горизонт и подошел к биплану. Видно, нашего командира сильно беспокоила погода, и поэтому он даже не задержался возле трубы подогревателя, а сразу же прошел в пилотскую кабину. Слышно было, как хлопнула дверь и щелкнул замок.

— Сколько рыбы? — спросил я бородатого Митрофаныча, который, нагнувшись, прилаживал собачью упряжку.

— Да как тебе, Николай, сказать...— трудно разогнул рыбак поясницу.— В Хатыркане кладовщик взвесит, а так, я думаю, пудов семьдесят будет...

— Тонна с центнером! — подсказал молодой рыбак, отвязывая от тягового ремня рыжего Лешего.

— Ясно, так в полетный лист и запишем! Ну, а рыжего пассажира давай сюда! — показал я на свободное место в грузовой кабине, возле стенки хвостового отсека.

Тот покрепче ухватил Лешего за ошейник, поднял на уровень груди и протолкнул через порог дверного выреза. Оказавшись в кабине, пес заскреб когтями, стараясь зацепиться за скользкий дюраль, но не удержался, поехал к хвосту самолета и неловко, боком, ткнулся в трубу подогревателя.

Труба гукнула, качнулась и, стукаясь по шпангоутам, со звонами начала валиться. Рыжий присел, взвизгнул и волчком крутнулся на полу, стараясь увернуться от гудящего чудища. Труба с грохотом упала, Леший в панике завыл, по самолету прошел стон. «Вау-уу! Уу-уу! Наа-а...» — грянули снаружи жуткие голоса упряжных.

Среди невообразимого шума и беспорядка появился Алексеич. Он открыл дверь в хвостовой отсек, всегда пустующий и темный угол фюзеляжа, спрятал там трубу и так же молча, закрыв дверь, вылез из самолета. По дороге к мотору он свирепо цыкнул на собак и разом оборвал нестерпимый шум. «Умеет Алексеич...» — позавидовал я нашему технику.

Из угла грузовой кабины подошел Леший и вежливо обнюхал мои унты, а после знакомства придвинулся к двери и через ее стекло принялся рассматривать оставшихся собратьев. Вскоре хвост его горделиво поднялся, а на морде появилось выражение, отдаленно похожее на то, которое бывает у законного пассажира, если на его глазах контролер уводит по трапу жалкого безбилетника.

Я пришвартовал груз, закрыл дверь на предохранительный замок и укрепил в гнездах подъемную стремянку. Приготовления к полету меня всегда волновали и казались элементами необыкновенной, захватывающей игры.

Биплан, сияющий синей краской и алыми полосами на крыльях и рулях, являлся, конечно, стержнем таинственной игры, поворотом неприметного рычажка «Зажигание» мотор вздрагивал, оглушительно стреляла выхлопная труба и вслед за этим начинался ряд чудесных моментов, которые превращали грузную машину — в самолет, сплав холодного инженер-

ного расчета и мечты фантазеров, а каждое звено цепи превращений поражало своей прочностью и совершенством...

— Погода-то сегодня: ни земли, ни неба,— озабоченно роняет после взлета командир в радиопереговорное устройство.

Вокруг биплана — тусклое белое пространство, среди которого теряешь ощущение полета, и только полностью разжатые стойки шасси с упругими, как мячики, колесами, напоминают, что самолет все-таки летит. Я достаю карту и пытаюсь ориентироваться, но под колеса биплана бумажной лентой транспортера идет заснеженная поверхность, совсем не похожая на мою карту, где среди веселых зеленых равнин безмятежно голубеют озера и тянутся ниточки тундровых речушек.

Машину вдруг подбрасывает, вздрагивают стрелки приборов, и по кругу компаса беспорядочно рыскает силуэтик самолета.

— Ч-черт! Облака...— ворчит Борис Михайлович и отжимает штурвал для снижения.— Пойдем на четыреста метров... Как безопасная?

— Минимальная — двести,— показываю я ему планшет с картой.

— Э-э! Оставь карту,— машет рукой командир,— займись лучше визиром, по расчету пойдем!

Я протираю концом шарфа окуляр и наклоняюсь к прибору. В его объективе мелькает тундра, расчерченная визирной сеткой на вытянутые прямоугольники. Окуляр визира застыл, и мою правую щеку сводит холодом, пока я выжидал момент для отсчета бокового дрейфа самолета. Через оптику хорошо заметно, что биплан идет в безупречно сбалансированном полете, который у меня никак не получается, хотя я очень стараюсь. У Бориса Михайловича, как он рассказывал, тоже долго не получался ровный полет, но ему повезло. В одной книжке он прочитал, что первых авиаторов набирали из кавалеристов и те без особого труда привыкали к управлению капризными аэропланами. Эти строчки стали секретом ровного полета, потому что с конями мой будущий командир умел обращаться с детства.

— Снос ноль, можно держать штилевой курс! — подсказываю я Борису Михайловичу, наблюдая в объ-

ективе «бег» визирных точек, невысоких кустов полярных березок, которые здесь зовутся «ерниками».

— Понял,— отвечает командир.— Бери штурвал!

Я придвигаюсь к управлению. Ручки штурвала холодят пальцы, и я надеваю перчатки. В кабине тоже холодно, хотя мы летим уже полчаса и самолет, будь чуть потеплее за бортом, успел бы прогреться. Откуда-то сверху, наверное через щель аварийного люка, пробиваются снежинки. Несколько колких звездочек упало на шлем командира и поблескивают там алмазиками. За стеклами, осыпанными хрупкими иголочками инея, бочкообразный, в заклепках, нос самолета и вибрирующий диск пропеллера.

— Подбери обороты, а то трясет,— показывает командир на небольшой рычаг, которым мы из кабины управляем оборотами винта, изменяя поворот его лопастей.

Наш техник мечтает со временем заполучить в ремонте пропеллер с металлическими лопастями, а пока приходится летать на деревянном. Винт тянет хорошо, но временами, непонятно отчего, вот как сегодня, начинает сильно трясти. Наш техник зовет винт «палкой» и говорит, что он трясется на плохую погоду, потому что древесину лопастей от перемены атмосферной влажности должно неминуемо коробить, хотя простым глазом этого, конечно, не разглядишь.

«Уу-ау-уу!..» — вдруг раздается из-за наших спин, из грузового отсека. Дюраль стенок дробит звуки, резонирует, и кажется, что в фюзеляже заголосило не меньше упряжной своры. «Ау-ау-уу!..» Звук поднимается до звенящей верхней ноты и разом обрывается зловещей паузой.

— Чего он там взвыл? Посмотри...— морщится Борис Михайлович, показывая на внутреннюю дверь, вырез которой у меня за спиной.

Я поворачиваю ручку замка и открываю дверь.

— Ну что там?— нетерпеливо спрашивает Борис Михайлович.

— Не пойму,— пожимаю я плечами.— Уставился в стекло за борт.

— И что он, интересно, может там увидеть? — сердито удивляется командир, протирая перчаткой смотровое стекло, за которым тусклая белизна, пространство без предметов и теней, та слепая погода,

которую летчики зовут «молоком» и знают ее коварство.

Белая тундра, белые облака, белый свет, рассеянный под облаками, и нет намека на горизонт, той спасательной опоры, по которой летчик пилотирует свою машину. Но виден нос самолета, темный диск пропеллера, полет спокоен, различимы на земле черные пятна: кусты, камни, обрывистые берега речушек,— и глаз привычно ищет опору, воображением намечая ее чуть повыше верхнего обреза капота. «Не верь ощущениям, когда не видишь горизонта!» — как заклинание, повторяешь старую заповедь летчиков, с усилием отрываешься от линии горизонта. «Набор уже давно есть, штурвал ты продолжаешь куда-то тянуть, курс ушел влево,— сухо подсказывают приборы.— Еще немного, и ты перестанешь нам верить, даже если будешь лететь вверх колесами. Не верь ощущениям, когда не видишь горизонта!»

«Ау-уу!..» — заползает под наушники шлемофона тоскливый вой, и скребет сердце чувство неясной тревоги.

— Не самолет, а псарня! Иди в хвост, уведи его от иллюминатора, чтобы не заливался! — не выдерживает Борис Михайлович.

— Понял! — откликаюсь я и наклоняюсь к замку привязного ремня.

Удар штурвалом приходится по правой руке, расстегивающей ремень. «О-ох!» В лоб нам несется склон горы, весь в зазубринах камней.

— Мото-о-р! — кричит командир, заваливая машину в предельный крен.

Чугунная сила разворота жмет меня, отбрасывает к правому борту, пальцы прыгают, ловят рукоятку газа. «Только не сразу, сразу вперед нельзя, чтобы не заглох,— удерживаю я себя.— Сначала винт...»

— Спокой!..— И окрик командира теряется в обвальном грохоте мотора.

Перед стеклами, наискось, сливаясь в полосы, летит, кружится земля. «О-о! До беды рукой!..» Резкий бросок, тугие толчки, темнота, а потом разом в темноте — яркая россыпь цифр, стрелок, кружков фосфоресцирующих приборов, зеленой мухой бьется на кружке компаса силуэтик самолета. «Облака! Только бы...» — вжимаюсь я в сиденье, а к горлу — сухой,

удушливый комок, и обжигает спину струя холодного пота...

Винт на клочья рубит сырые, тяжелые облака и разбрасывает ошметки слякоти, которая мгновенно замерзает на стеклах блинчиками льда.

—Не видишь? — вздрагиваю я от окрика.— Обмерзаем! Спирт!

«Ах, да! Что же это я...» Головка переключателя несколько раз, как живая, выскальзывает из-под рук.

— Включено!

Где-то под полом с визгами начинает качать спиртовой насос, со стекол в кабину тянет парами ректификата, медленно, по дуге, сдвигаются примерзшие щетки «дворников».

Тук-тук-тук!..— раздается вкрадчивый стук снаружи кабины, от которого у меня по спине тянет морозом. «А! Льдинки с винта, спиртом смыло...— догадываюсь.— Это ничего...» Т-трах! — ударяет что-то грубо с хвоста, машина вздрагивает и начинает биться, как в ознобе. Я ловлю прыгающий перед грудью штурвал и мельком, сбоку, вижу бледное, изменившееся лицо командира, губы его беззвучно шевелятся, в руках бьется колонка штурвала.

— Бафтинг! Р-рули обледенели! — вибрирует в наушниках его голос.— Д-держи п-педали! Т-троса поррвет!..

В подошвы унтов — упругие удары подножек, дрожь штурвала в руках, и, как собственное тело, болезненно ощущаю тяжелую неповоротливость обледенелой машины: «Еще несколько минут выдержит, а потом сорвется, штопорнет!..»

— Убрать подогрев карбюратора! — без радио, перекрывая моторный грохот, кричит командир.

«Невозможно!..— вспыхивает у меня в сознании, удерживаю руку на зеленом рычаге.— Карбюратор обледенеет, двигатель заглохнет...»

— Живо, твою!..

От порции холодного воздуха мотор взвывает, напрягая остаток мощности, и дергает отяжелевшую машину вверх, к неяркому туманному свету, который пробивается сквозь облака.

«Батюшки мои! Выскочили!» — проходит у меня по груди теплая ласковая волна. Биплан еще несколько раз зарывается в облака и начинает медленно уходить

вверх. Вместе с нами из-за облачного горизонта появляется солнечный диск, поднимается, а потом останавливается, повисает над консолью верхнего крыла, белого от инея. Из-под брюха биплана отделяется крестообразная тень, падает вниз, на белые поля облаков, и начинает торопливо скользить, чуть обгоняя самолет. «Облака! — раздается в наушниках голос командира.— Север закрыло, туда, видать, верхом не пробиться...»

За легкой грядой облаков, которую мы с маху, не качнувшись, проскочили,— воздух мутный, а горизонта нет, потерялся под нагромождениями тяжелых облаков. Края туч меняют формы, клубятся, а верхушки их теряются в тусклой, с просинью, мгле. Борис Михайлович с выражением хмурой сосредоточенности вращает штурвал и вглядывается вперед, стараясь отыскать просвет в облаках. Фиолетовая стена приближается, от нее тянет запахом морозной сырости, солнечный свет тускнеет, глуше становится звук мотора.

— Крыло циклона...— Рука командира в черной кожаной перчатке прочерчивает линию поперек курса и опускается на штурвал.— Не пройти...

Машина еще немного идет по прямой, а потом, качнувшись, будто нехотя, сворачивает с курса и переходит в пологий, с большим радиусом вираж. Лицо командира, обрамленное черным мехом шлемофона, спокойное, но бледное, с выражением мучительной сосредоточенности, как будто он в уме собирает цифры, решает и все не может решить непомерной сложности задачу.

«В ловушке! — сохнет у меня во рту.— Где летаем — неизвестно, горючего в обрез!..» Голодным, ненасытным воем мотор пожирает из баков топливо. «Три литра в минуту, а консольные баки уже сухие,— услужливо подсчитывает и подсказывает какой-то маленький, совершенно потерявшийся от сегодняшних несчастий человечек, что суетится где-то внутри меня.— Неужели все может вот так, в один момент, непоправимо измениться, ведь четверть часа назад...»

— Подержи на южном курсе — компаса проверим! — глухо говорит Борис Михайлович. Командир отпускает управление и поднимает голову к потолку

кабины, где за выпуклым стеклом раскачивается картушка резервного компаса. Глядя на нее, Борис Михайлович морщится: все летчики не доверяют резервному прибору и зовут его не иначе как «бычьим глазом»,— видно, за выпуклую форму и вечное мельтешение коричневой шкалы в темном зрачке смотрового отверстия. «Бесполезно,— заползает в голову тоскливая мысль.— Эта штука для здешних широт — игрушка, разве что север от юга отличить, так это и по солнцу можно...»

Борис Михайлович, осмотрев резервный прибор, хмуро отворачивается и принимается сосредоточенно вращать на приборной доске шкалу основного компаса. Вернее, это не сам компас, а только его дистанционный повторитель курса, потому что на самолетах сами компаса́ ставят подальше от пилотских кабин, где много стальных деталей и электричества.

«Да как же это я? — разом пробивает меня испарина.— Ведь все на моих глазах было, а командиру из пилотской кабины не видно... Недосмотрел, а приборы — обязанность моя... Докладывать надо!» Однако я не могу заставить себя нажать кнопку переговорного устройства и только в тягостном беспокойстве перебираю пальцами по ручке штурвала. Бежит, пульсирует по циферблату часов красная секундная стрелка, будто торопит меня: «Надо-надо-надо-надо!»

— Товарищ командир... кхм... у нас в хвосте,— начинаю я, с трудом ворочая пересохшим языком,— у нас в хвосте... кхм... труба...

Пилот поднимает на меня светлые, с узкими зрачками глаза, в которых блеск мучительного напряжения мысли, мешающей понять мои слова.

— Да? — спрашивает он рассеянно.— Какая труба?..

— Труба подогревателя! — с отчаянием договариваю я. Командир, как от тычка в поясницу, разом выпрямляется и так застывает, гневно меняясь в лице. Пауза затягивается, лицо летчика покрывается неровными пятнами, тяжелым румянцем, и я опасливо сдвигаюсь от него к правому борту.

— Та-ак!..— тянет он с тяжелой хрипотцой, сдерживая ярость.— И кто же ее туда пристроил, ведь там же компас?!

— Алексеич... Потому что труба на собаку...

— Алексеич?! — вскидывается на сиденье командир.— Старый он маслобак! Одурел, хрыч, со своей трубой, скоро на голову мне поставит! А ты-то куда смотрел?! Молчать! Не разговаривать! Развинтились! Что сидишь? В хвост! Железку эту — к чертовой матери! Хоть за борт, чтоб я ее не видел...

Боком, стараясь не задеть локоть командира, проскальзываю в дверь и кидаюсь вдоль борта. Возле двери хвостового отсека чуть задерживаюсь, чтобы пихнуть от порога задремавшего Лешего и включить плафон. Нажимаю замок двери, толкаю ее и вскакиваю в осветившийся отсек. Так и есть! Возле котелка компаса, рядом с его выпуклой, как солдатская каска, крышкой,— торец трубы, поблескивают три ряда новых заклепок, другой конец уперся в перегородку отсека. «От болтанки скатилась, у передней стенки стояла...— приходит догадка.— Если бы там осталась, ничего бы не случилось, а так...»

С погромыхивающей трубой выхожу в грузовую кабину, закрываю за собой дверь хвостового отсека, выключаю плафон, начинаю устраивать трубу на обычное место возле примуса, по правому борту. Все делаю не спеша, чтобы хоть немного оттянуть момент неприятного объяснения в пилотской кабине, а на душе уж как смутно и нехорошо, я даже чувствую во рту привкус какого-то скверного мыла. Помню, что со мной что-то похожее было лет десять назад, когда я разобрал у отца карманные часы, дорогой для него подарок, а потом, после сборки, оказалось много лишних деталей и пришлось их прятать под пол, пропихивая через щели вилкой...

От левого борта, приподняв ухо, на меня смотрит Леший. В желтых глазах нашего пассажира нескрываемое любопытство и что-то напоминающее иронию, а в глубине зрачков проскакивают фосфорические искорки. «Оборотень, наверное...» — вяло размышляю я, занятый перспективой предстоящего внушения, и по мешкам с рыбой, пригибаясь под потолком грузовой кабины, ухожу в пилотский отсек.

— Полюбуйся, на десять градусов левее был! — сердито показывает командир перчаткой на указатель курса, когда я появляюсь на пороге пилотской кабины.— Сколько по прямой прошли?

— По расчету — сто пятьдесят!

— Что же это выходит? — прищуривается, подсчитывая в уме, Борис Михайлович.— Просто не верится: почти тридцать километров в правую сторону! Проверь по карте!

Я сажусь на свое место, защелкиваю на поясе замок привязного ремня и достаю планшет с картой. В нише правого борта нахожу транспортир, прикладываю его к карте и начинаю карандашом отмечать пройденный путь. Карандашная линия отклоняется от черной линии заданного маршрута, наискось прочерчивает зеленую равнину и за шестьдесят километров от Хатыркана утыкается в коричневое пятно на карте — гористый отрог Синего хребта. Дела!

— Двадцать семь километров правее, новый курс — сто пятьдесят!

— Понятно,— откликается командир.— Столько и держу!

В глазах летчика твердость и хитринка, которые бывают, наверное, у любого пилота, если в уме у него созрел замысел сложного и красивого маневра, а в исходе задуманного он уверен. Я даже чувствую, как приятно моему командиру держать штурвал машины, чутко реагирующей на любое малейшее движение уверенного в себе пилота.

«Но почему он так уверен? — незаметно, искоса наблюдаю я за командиром, стараясь понять его, хотя уверенность летчика передается мне и приятно успокаивает.— Машина сверху сплошной облачности, земля закрыта, впереди того хуже — Синий хребет, а вершины у него, дай бог, за две тысячи. Горючего столько — лучше на бензиномер не смотреть, а выключить его, чтобы не расстраиваться, так, говорят, другие летчики делают...»

— Ну, старпом, что-нибудь из сегодняшнего понял? — спрашивает командир, молчит, дожидаясь ответа, и, не дождавшись, продолжает: — Летчик, как бухгалтер, должен учитывать все мелочи, чтобы получить правильный результат.

После этих слов командир через боковые стекла внимательно рассматривает необозримые облачные поля, раскинувшиеся под самолетом.

— Впрочем, на летчика тебе еще учиться много, а пока ты — авиационный подмастерье! — с короткой

усмешкой заканчивается нотация. Командир тянет на себя ручку газа, переводя машину на снижение.

По носу самолета — разрыв облаков, круглый, как верх фарфоровой чаши. В чашу падают солнечные лучи, освещая на дне ее коробочки домов, синие дымки, черные фигурки людей, красную полоску флага, поникшую в безветрии, тропинки, протоптанные в снегу, одинокую упряжку собак, бегущую в тундру. Навстречу упряжке, с реки в поселок, едет трактор и тянет за собой короб колотого льда. Солнечные лучи дробятся в коробе, рассыпаются в стороны, вспыхивают разноцветными искрами, отчего кажется, что трактор везет не речной лед, а несметное сокровище этого сказочного края, который нам так неожиданно открылся.

Евгений Кутузов

ПОБЕГИ

Заметки о прозе молодых

1

Писать о прозе молодых, начинающих литераторов очень даже не просто, ибо сильно рискуешь ошибиться, рискуешь принять желаемое за действительное. Ведь так хочется разглядеть признаки дарования в каждом рассказе, в каждой повести! И совсем не хочется верить (вопреки опыту), что кто-то мог написать рассказ «просто так, от нечего делать», не имея к тому необоримой душевной потребности, которая и есть призвание.

Отбирая рукописи для этого сборника, редколлегия и редактор старались быть объективными, но утверждать, что мимо нашего внимания не прошли талантливые, достойные произведения, я бы не решился. Как не решился бы и утверждать, что все без исключения рассказы и повести сборника являют собою лучшее — безусловно лучшее — в молодой ленинградской прозе. Наверняка что-то осталось недопонятым, незамеченным, а в иных произведениях мы разглядели крепкие, жизнеспособные побеги, которых, возможно, и нет там. Или вернее: побеги эти еще недостаточно окрепли, чтобы с уверенностью можно было сказать, что из них произрастут здоровые, щедро плодоносящие дерева.

О некоторых авторах сборника, на мой взгляд, уже сегодня позволительно говорить как о состоявшихся писателях (прежде

всего, это В. Насущенко, Н. Коняев, В. Ларин, М. Кононов, П. Кириченко, В. Суров, А. Скоков), и приходится сожалеть, что их творчество представлено очень малым из того, что ими сделано. Талант, профессиональное умение этих авторов не вызывают в общем-то сомнений. Однако чтобы работать в литературе, чтобы жить ею — мало одного таланта, если понимать талант всего только как способность к литературному творчеству. Способных людей гораздо больше, чем пробующих перо,— не всякий подозревает об этом, а среди знающих это есть немало людей, обладающих многими способностями, но не обладающих набором — редким набором — необходимых для реализации таланта качеств. А ведь нужны еще и условия для вызревания таланта, для его становления и мужания, нужна определенная среда. И стойкий характер тоже, и способность и готовность к самоотречению. Ибо для тех, кто с пониманием меры ответственности и серьезности этого шага ступил на литературную стезю, литература станет именно жизнью, ее смыслом и оправданием. Иначе не бывает. А если такое и случается, значит, это и есть... случайность, не более того. Случайность не из тех, которые доставляют нам мимолетные радости и вспоминаются потом с нежностью, а из тех, которые рано или поздно оборачиваются жизненной катастрофой. Увы, есть немало примеров, когда безусловно одаренные люди сходили, как говорится, с круга, исчезали с литературного горизонта, приговорив себя на пожизненное разочарование, неудовлетворенность, а иногда и озлобление.

Коль скоро речь идет о молодых, уместно, мне кажется, поговорить о природе таланта, об его истоках и направленности, поговорить о вещах хоть и малоприятных, но абсолютно необходимых для становления и выживания таланта. Именно для выживания, потому что зрелости всегда предшествует период младенчества, когда вопрос «быть или не быть?» стоит в особенности остро. Имею в виду, говоря о «выживаемости», вовсе не умение орудовать локтями (это умение, если уж невмоготу кому-то, полезнее применить в очереди за дефицитной книжкой), но умение и желание довольствоваться малым, минимальным, самым-самым необходимым в достижении поставленной перед собой цели. Конечно, никому не возбраняется мечтать о маршальских знаках отличия, лелеять, нежить светлую мечту, но... Нужны здравый смысл, самообладание, самоирония и самокритичность, нужна готовность и к тому, что, может статься, цель никогда не будет достигнута...

Общеизвестно, что все начинающие — гении. Но не каждый способен с чувством юмора отнестись к собственной гениальнос-

ти и примириться с тем, что его гениальность не признают другие. А без этого, без честного признания самому себе, что ты, скорее всего, всегда будешь рядовым, и не по злому умыслу, не по причине зависти со стороны собратьев по перу, а в силу ограниченности дарования, — без этого стать и быть профессиональным писателем очень, очень трудно. Пожалуй, и невозможно.

Увы, маршалами, как правило, становятся другие...

2

Я далек от мысли, что кто-то из молодых со страху от такой перспективы забудет о собственном призвании и бросит литературу. Это означало бы, что мы ошиблись, включив в «Точку опоры» рассказ или повесть этого автора. Просто я считаю своим долгом напомнить, что в литературе нет легких дорог и что каждая ведет в неизвестность.

Не будет денег. Не придет или придет далеко не сразу признание. В связи с «недостаточным ростом» не пустят в первые ряды. Сотрудники отделов литературы и искусства не поспешат взять интервью. Читатели, возможно, не заметят, что на литературной ниве вызрел новый талант. Редакторы с издателями не станут беспокоить телефонными звонками. И не будут соседи уступать очередь к лифту, потому что ты для них — всего лишь еще один бездельник, который не желает трудиться, «как все нормальные люди». Писатель?! Помилуй бог, писатели — это Александр Сергеевич Пушкин, Лев Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Тургенев, Антон Павлович Чехов... Может быть, Аркадий Адамов и Иван Ефремов. Во всяком случае, писатели не живут рядом с твоими соседями.

А может, и хорошо, что литература хотя бы на первых порах не приносит ожидаемых благ?.. Не оттого хорошо, что всякое лишение полезно и необходимо само по себе, а оттого хорошо, что придает нужную прочность таланту, снимает излишний налет тщеславия, своелюбия. Ведь выжить в литературе, остаться самим собой (что не исключает учебы!) — это значит выжить и для литературы.

Разумеется, в теплицах овощи созревают раньше, чем в открытом грунте. Однако тепличный овощ не имеет настоящего вкуса. В нем вроде бы и присутствуют все признаки данного овоща — форма, цвет, даже будто бы перечень витаминов, но нет главного — вкуса земли, вскормившей его, запаха дождя, вспоившего его, нет той наполненности, сочности, которую дает солнце.

Говорю об этом вот к чему: уж слишком часто рукописи молодых отмечены какой-то настораживающей безошибочностью, гладкописью, и это обстоятельство особенно бросается в глаза, когда читаешь кряду много произведений разных авторов. А мне, как составителю этого сборника, пришлось перечитать очень много.

Все есть, что и должно быть в литературном произведении,— лихо закручен сюжет (либо, наоборот, сюжет намеренно упрятан в «подтекст»), безукоризненно выстроена композиция, примерный (можно прямо в учебник!) стиль, вполне добротный, вполне русский литературный язык, острый конфликт тоже имеется и атрибуты современности, а все же чего-то недостает, что-то мешает порадоваться за автора, мешает насладиться хорошей прозой... И вдруг ловишь себя на мысли, что тебе безразличны, совершенно безразличны судьбы героев, их радости и горечи, их переживания и мучения, и тогда невольно на память приходят строчки Глеба Горбовского: «Чужие в доску страсти на бумаге...»

Так в чем же дело?

Парадоксально, но факт: непосредственному, живому восприятию такой прозы мешает именно литературная тщательность, сделанность, а недостает какой-то «корявинки», отклонения от методических нормативов. В конечном счете недостает собственно жизни, ее несделанности, непридуманности. И еще авторской трепетности, авторского неравнодушия и личностного взгляда на действительность. Не просто личностного, но взгляда личности. Это очень важно, ибо личный, жизненный опыт писателя, его характер, темперамент, его мировоззрение и мироощущение, насыщенность биографии имеют, на мой взгляд, первостепенное значение. Плюс, конечно же, талант.

На старте можно получить некоторое преимущество и за счет умелого эпигонства, начитанности. Однако старт и финиш разделяет длинная и трудная дистанция. На этой дистанции непременно дадут о себе знать тренированность, умение преодолевать препятствия, готовность, падая, подниматься, а поднимаясь, с улыбкой отряхивать коленки.

3

Лениздат всегда уделял много внимания работе с молодыми писателями, и сборник «Точка опоры» давно уже стал традиционным. Этот выпуск — первый после постановления ЦК КПСС о работе с молодой творческой интеллигенцией. Его можно рас-

сматривать и как первый итог в новых, качественно новых условиях работы с начинающими литераторами. А работа эта в последнее время оживилась, сделалась более конкретной, целенаправленной. Конечно, писательство — процесс сугубо индивидуальный, я бы даже сказал — интимный, однако немалую роль в идейном и эстетическом воспитании молодых играют издательства, редакции журналов и, разумеется, Союз писателей.

Одна из форм организаторской и воспитательной работы — регулярно проводимые в Ленинграде конференции молодых литераторов Северо-Запада. Последняя такая конференция проходила в декабре 1978 года, и было решено составить очередной сборник «Точка опоры» только из произведений, авторы которых принимали участие в работе этой конференции, пятнадцатой по счету. Условие это мы применили для того, чтобы молодые ощутили и теоретические, и практические результаты своего участия в работе конференции. Думается, что такой подход к составлению «Точки опоры» подвигнет и руководителей семинаров на следующих конференциях более строго и осмотрительно выдавать «авансы». К сожалению некоторые рукописи, рекомендованные для публикации, не выдерживают и самой снисходительной критики.

Редколлегия исходила из того, что «Точка опоры» должна быть достаточно представительной как по количеству авторов, так и по их принадлежности к той или иной литературной школе, направлению. Целое, как известно, складывается из разного и частного, а цель подобного издания, вероятно, не только в том, чтобы познакомить читателей с произведениями наиболее одаренных молодых прозаиков, предоставив им стартовую площадку, но и в том, чтобы приоткрыть литературный горизонт. Ибо те, кто сегодня публикуют свои первые литературные опыты, завтра, возможно, станут профессиональными писателями, а кое-кто из них отвоюет себе право называться «властителем дум».

Литература — живой, нескончаемый процесс духовного преображения и возвышения человека, процесс, в котором принимают участие и великие, и обыкновенно талантливые, и средние (лучше бы только великие, но такого не бывает), каждый несет что-то свое в общую копилку, у каждого своя манера, свой способ общения с читателями. Поэтому мы старались включить в сборник произведения, авторы которых владеют различными изобразительными средствами и приемами. Иные рассказы и повести далеки от совершенства, но интересны по форме, а порой и открыто экспериментальны. Это тоже немаловажно, ибо

эксперимент в литературе столь же необходим и полезен, сколь необходим и полезен в науке. Без него нет движения вперед.

Разумеется, всякий эксперимент должен преследовать какую-то цель, а форма должна быть наполнена содержанием, мыслями. Нужно сказать, что молодые прозаики именно так понимают задачи литературы.

Сложное по своей структуре, многоплановое произведение Леонида Липьяйнена «В третьем лице» отличается еще и точным психологическим анализом, гармоническим сочетанием формы и содержания. Создается впечатление, что *этот* рассказ только *так* и возможно было написать. В рассказе все держится как бы на полутонах, на недоговоренности, и в этом его достоинство, потому что речь-то идет о первой, едва нарождающейся любви, еще не ясной, еще до конца не осознанной, о созревании и становлении человека, мужчины, ответственного за себя, и за других, об извечном столкновении прекрасного и пошлого.

О рождении и воспитании чувств.

Именно: читая рассказ, погружаешься в атмосферу великого таинства — рождения чувства, а вместе с ним и рождения личности, ибо личность вырастает из умения чувствовать. Об этом очень хорошо сказано у самого Л. Липьяйнена: «Ведь для того, чтобы понимать, надо почувствовать. А вот для того, чтобы почувствовать, надо еще не понимать...»

Шмырев, герой повести Сергея Казимировского «Четыре дня лета» (из-за недостатка места в сборнике публикуются фрагменты), *уже* все понимает, но как раз и не умеет чувствовать. То есть все его чувства направлены в себя, он не сознает себя частицей мироздания, но — его центром. В общем-то случайно в конце отпуска оказавшись в деревне, Шмырев заново начинает открывать окружающий его мир и людей, этот мир населяющих. И оказывается, что иногда вовсе не вредно изобрести колесо, важно только — изобрести самому.

Наверно, можно говорить об известной традиционности сюжетного построения, о «престарелой новизне» коллизий и характера главного героя повести, однако С. Казимировский своими глазами увидел и своим сердцем прочувствовал эту проблему — «человек среди людей». В повести явственно ощущается дыхание реальной, сегодняшней жизни, в ней есть глубоко личное, выстраданное и понятое именно Сергеем Казимировским. Это подкупает и дает право надеяться, что поиски молодого прозаика увенчаются успехом.

Поиск, эксперимент отличает не только прозу Л. Липьяйнена и С. Казимировского. Ищут все, и каждый свое. Вообще же, несмотря на индивидуальные различия авторов, в рассказах и повестях сборника без труда просматривается нечто, что объединяет даже таких непохожих друг на друга прозаиков, как Эмилия Кундышева и Захар Оскотский, Николай Коняев и, скажем, Александр Скоков. Это общее для всех, главное — поиск нравственных, моральных критериев бытия, поиск человеческого, духовного в... человеке.

4

Широко распространенный и отработанный конфликт индивидуума, личности с коллективом, со средой, в которой он живет, в молодой нынешней прозе (впрочем, не только в молодой) уступает место конфликту внутреннему, что ли, конфликту духовности с бездуховностью, совести с прагматизмом и потребительством. Оказывается, вовсе не обязательно потребительство выражается в погоне за материальными благами. Есть потребительство иного рода, более страшное, когда человек, утоляя свои вожделения, черпает из душ других, а подчас приносит эти души и в жертву. Кому?.. Некоему «божеству», порождению второй половины XX века, имя которому все тот же прагматизм. Явление это отнюдь не безобидное, скорее общественно опасное, ибо способно — была бы охота! — оправдать такие аномалии, как стяжательство, своекорыстие, равнодушие, жестокость, дезавуировать, скомпрометировать такие понятия, как нравственность, совестливость, отзывчивость, как доброта и бескорыстие. Чего не сделаешь ради... дела, которому служишь! И вот снова потихоньку обретает права гражданства старый, как мир, «лозунг»: «Цель оправдывает средства». Оправдывает ли, должна ли оправдывать?..

Вопрос этот в той или иной степени волнует всех без исключения авторов сборника.

Вот рассказ Петра Кириченко «Последний перелет». Внешне это бесхитростный, лишенный даже интриги пересказ биографии старого пилота Никитича, для которого нет жизни без неба и вне неба. Кириченко спокойно, я бы сказал деловито-спокойно, знакомит нас с героем, не изменяя своей манере и тогда, когда описывает последний полет (впрочем, именно перелет!) Никитича. А мы тем не менее пребываем в постоянном напряжении, не столько потому, что наш читательский опыт подсказывает: «что-то должно произойти», сколько потому, что автор на малой площади, скупыми средствами сумел воссоздать ту среду и обстановку, в которой живут и работают его герои, люди, которые

ежедневно испытывают себя риском, которые на деле исповедуют культ таких высоких добродетелей, как мужество, чувство ответственности за других, товарищество. Этого в рассказе как бы и нет вовсе, все это остается «за кадром», в подтексте, зато есть страницы и строчки, читая которые сглатываешь слюну.

Хотя бы вот:

«Они летели второй час... Чистые и по осени беспокойные звезды холодно перемигивались и, зеленея, точили жидкий свет на приземную облачность. Ровная пелена ее, натекавшая с Белого моря, с десяти километров высоты напоминала степь, бесконечную и густо притрушенную снегом. Сходство усиливалось еще и тем, что пучившиеся кое-где облачные холмы, серебристые и медленно плывущие под самолетом, были похожи на степные курганы. Заснеженные и опавшие с годами. Синее до черноты пространство над самолетом, откуда и проглядывал рисунок звезд, казалось бездонным и чужим...»

Последний перелет. Наверно, все именно так и должно быть, когда летишь последний раз: и обостренное внимание к давно привычному, хорошо знакомому — к любой мелочи,— и раздражительность, и недовольство другими, а в действительности — собой, ибо кто же, отдавший жизнь любимому и единственному делу, легко признается, хотя бы и только себе, что не просто достиг финиша, естественного конца, но шагнул, влекомый тщеславием, самолюбием, присвоенным правом на вседозволенность, в запретную зону. Не хотел признаваться и Никитич, натура в общем-то сложная, не однозначная. Или не понимал, что творит?.. Обязан был, в авиации вряд ли бывают простительные ошибки.

Однако достоинство рассказа, как мне кажется, не в самой психологической коллизии, а в открытой возможности построения многих коллизий и различных толкований образа Никитича. Отсюда и незавершенность, и напряжение, и те внутренние противоречия, в столкновении которых высекается Истина.

А Истина бывает и жестокой. Это предстоит осознать Никитичу. Если, разумеется, его последний перелет окончится относительно благополучно. И тогда он непременно спросит себя: «Все ли средства хороши?» Или иначе: «Так ли жил?..»

Этот вопрос, только в несколько иной интерпретации («Так ли живу?»), мучит и Павловского, героя рассказа Захара Оскотского «Протуберанчик». Не будет мучить, а мучит, уже мучит потому, что Павловский, кажется, осознал себя обвиняемым перед судом собственной совести, как, например, и Вадим из повести Эмилии Кундышевой «Экскурсовод». Они вообще очень по-

хожи, эти два «типичных представителя» интеллектуальной элиты нашего времени, прихожане той самой «церкви», где истово бьют поклоны личному Благополучию, личному Покою, личной Устроенности, личному Самолюбованию и Равнодушию. Они очень любят себя, эти вполне благополучные, удачливые люди. Любят житейские радости, какие дарует им их прочное положение, а главным образом — покой, покой, равновесие.

Павловский хотел иметь ребенка. Когда-то хотел. А ребенка у них с женой не было, и Павловский смирился с этим. Лишь бы не нарушать привычное, удобное течение жизни. Его ничто, в сущности, не связывает с женой, они чужие друг другу, их совместная жизнь — не более как сосуществование, «статус-кво»... «Конечно, он мог бы развестись с Леной, жениться на другой. Возможно, тогда у него и появился бы ребенок. Но что-то его удерживало. Все-таки за семь лет он привык к ней. Привыкать заново к жизни с другой женщиной было бы т р у д н о, у т о м и т е л ь н о...» (Разрядка моя. — *Е. К.*). Не любовь, не привязанность, не чувство долга удерживают Павловского возле нелюбимой, вызывающей даже раздражение женщины — боязнь потерять покой, налаженный быт. В конце концов, страх, что пришлось бы с кем-то чем-то поделиться. Взять — да, пожалуйста. А дать... Однако встреча с Милой что-то все же изменила в Павловском, что-то сломала в его психологии (в повести Э. Кундышевой — это смерть Женьки), и есть надежда, что и Павловский, и Вадим придут, если еще не пришли, к осознанию простой и вместе с тем очень, очень непростой истины: ничто не дается нам даром, за все надо платить, и чем дольше мы не хотим согласиться с этим, тем больше будет счет, ибо потеря близких людей, их душевное равновесие, их покой, их отчаяние — высокая плата за равнодушие и собственный эфемерный покой.

Рассказ Владимира Насущенко «Таня» сюжетно во многом повторяет рассказ Оскотского: тоже командировка, тоже случайная встреча и тоже поездка в гости к этой случайной знакомой. И даже тоже за город! Но насколько же «неблагополучный» Корольков чище, глубже и выше Павловского. Да, и Корольков ищет покоя, душевного равновесия, жаждет гармонии бытия, однако он готов и поступиться всем этим — и в общем-то поступается,— понимая себя обязанным людям, а не людей обязанными ему. Возможно, он уходит от своего счастья. Но уходит не потому, что это было бы т р у д н о и у т о м и т е л ь н о ему, а потому, что у него нет уверенности, сможет ли он дать счастье другому человеку.

Это не случайное, не сюжетное несовпадение. Это различные нравственные установки, различная жизненная «философия».

Отрадно, что молодые не скользят по поверхности явлений, не «снимают сливки», но настойчиво (с переменным успехом) «копают вглубь», исследуя скрытые, а подчас и скрываемые истоки общественного, социального сознания. Отрадно хотя бы уже потому, что в этом прослеживается традиция русской литературы, для которой человек с его личными, интимными заботами никогда не был «вещью в себе», всего лишь одним из объектов изображения, лишенным тесной связи с окружающим миром, с конкретной действительностью. Человек, личность в равной мере является продуктом эпохи и ее созидателем. Что бы там ни говорилось о преемственности поколений, у каждого поколения, кроме общих, исконных и непреходящих проблем, есть свои проблемы и противоречия, а их успешное решение и распутывание возможны только на том уровне, на каком они возникают.

Никто не решит сложной психологической коллизии, возникшей в отношениях трех друзей из повести Михаила Кононова «Теплая, теплая весна». Никто посторонний. Только они сами.

«Да, разумеется, мы уже не вместе, давно не вместе. С того ли дня, когда я впервые пошел в театр с Зоей, или, может быть, с той ночи, когда Малина не спал, впервые узнав от жены все, о чем и самым близким друзьям не говорят,— мы не вместе, хотя и я, и Борька хотим сейчас одного — пусть у обоих нас будет отнято столько, чтобы можно было нашему другу потерянное вернуть. Но никто не может облегчить груз на твоих плечах, потому что никто за тебя не взглянет тебе в глаза и не скажет всей правды...» В этом, на мой взгляд, главное. Это квинтэссенция повести. Уходит, как это ни грустно, детское, юношеское, начинается подлинная, собственная жизнь, полная сложностей и противоречий, редких счастливых обретений и горьких разочарований, и тут обнаруживается, что не все из прошлого нужно нести на себе и с собой. Нужно — в себе...

Герои повести пытаются вернуть невозобновимое, они все еще как бы играют в жизнь, не желая поверить, что время игр ушло и наступила пора поступков.

Михаил Кононов пишет емко, добротно, проза его лишена внешних красивостей, по-настоящему реалистична и в меру живописна. И все-таки повесть «Теплая, теплая весна» производит впечатление слишком уж рассудочное, впечатление некоторой искусственности, заданности. Какая-то малость мешает непосредственному восприятию, которое делает читателя не просто свидетелем, сторонним наблюдателем событий, но их соучастни-

ком. Не знаю, в чем тут дело. Может быть, в том, что Кононов не только прозаик (по-моему, сложившийся прозаик), но и критик?.. Он слишком знает, КАК надо делать вещь, и это знание сковывает его творческий темперамент, ибо вольно или невольно он, работая, скажем, над повестью, прочитывает ее глазами критика. А иногда, наверно, полезно забыть все, что знаешь, и довериться чувству. Впрочем, это не самый большой «грех» и дай, как говорится, бог, чтобы молодые «грешили» только на таком уровне.

Еще совсем недавно критика имела все основания укорять молодых за невнимание к общественным, социально значимым темам. Думаю, что это был период накапливания молодыми знаний, период приобретения и осмысления собственного опыта, когда повышенное, обостренное внимание к своему Я на какое-то время делается самодовлеющим. Это вполне естественно, ибо писатель не просто нечто отображает, но, главным образом, выражает. Отсюда неизбежное: чтобы понять и объяснить происходящее вокруг, надо понять себя. Иначе мир, создаваемый (или воссоздаваемый) писателем, будет условен и схематичен. На сцене можно обойтись условными декорациями, условными костюмами, вообще условным фоном — там звучит живое слово, актер вступает в непосредственный контакт со зрителем. В литературе такой контакт исключен, и потому лишь правдивое изображение действительности, ее реалий рождает доверие читателя. В силу множества причин, в том числе и объективных, литература какое-то время занималась поисками «человека среди людей» и даже решением — на доступном ей уровне — насущных проблем общественного бытия в целом. Сегодня литература занялась поисками человеческого в человеке, то есть обратилась к личности современника, к его духовному, нравственному состоянию.

Пристальный, внимательный взгляд в глубину явлений, взгляд в человеческую душу является, по-моему, отличительным свойством молодой прозы. Разумеется, и здесь молодые не первые — недаром же литературу называют человековедением,— но для молодых это особенно характерно. Их уже не удовлетворяет увеличительное стекло, они работают с микроскопом, ибо в литературе, как и в науке, познание фундаментальных, общих законов бытия возможно лишь через познание частного. А в человеке нет ничего второстепенного. В человеке все главное. Но не все, далеко не все лежит на поверхности...

Вот повесть Николая Коняева «Два дня, ночь и утро». По первому впечатлению — это сугубо «производственная» повесть с традиционным конфликтом, с традиционной же расстановкой

«положительных» и «отрицательных» героев. Эти функции, если принять повесть именно и только как «производственную», выполняют Саша Карнаухов, молодой сварщик, и Юрий Иванович Очкарев, тоже сварщик, но более опытный. Однако все, что происходит на работе, и даже нежелание Очкарева выдать за Карнаухова дочку — еще не конфликт, лишь видимость конфликта. И не в том дело, что Очкарев будто бы не любит жену. Произошел разлад в душе его, в нем пробудилось предчувствие, что он чего-то не сделал в жизни, просидев спокойно в своей будочке. Потому его и заинтересовала журнальная фотография с подписью: «Здесь будет город». Совсем не случайно сначала он увидел эту фотографию, а уже потом прочитал в газете статейку о вреде ранних браков.

«Он вырезал картинку и повесил ее на стенку в своей будочке. И когда беседовал с заказчиками, он постоянно оборачивался, чтобы взглянуть на картинку, и все разговоры сводил к тому, что как это все-таки хорошо приехать на пустое место и построить самому для себя город, а потом жить в нем...»

Нет, Очкарев не рвач, не горлохват, как это может показаться на первый взгляд. Эти его качества, которые прямо бросаются в глаза, всего-навсего прикрытие, хотя сам Очкарев, возможно, и не понимает этого. Подчинившись обстоятельствам, он не сумел или не смог реализовать потребности своего духа, а осознав это, спохватившись, ищет оправдания, которое, как известно, подразумевает чью-то вину, чью-то злую волю. Положа руку на сердце: кто из нас хоть раз в жизни не пытался свалить вину за собственные ошибки и промахи на других?.. Но Очкарев чувствует, угадывает ложность, если хотите — безнравственность такой позиции. Правда, у него не хватает мужества (до поры до времени не хватает) признаться в этом, оттого он и неуживчив, оттого бывает несправедлив к людям...

И вот что странно: несмотря ни на что, случись мне выбирать, с кем «идти в разведку» — с Очкаревым или с Карнауховым,— я бы выбрал именно Очкарева. Все-таки в нем гораздо больше человечности, понимания, чем в Саше, прямолинейная бескомпромиссность которого не всегда вызывает симпатию к нему.

6

Бескомпромиссен по-своему и Толик Рябов из повести Валерия Ларина «Вдоль Млечного Пути». Однако его бескомпромиссность совсем иного свойства — это бескомпромиссность бойца, не созерцателя. Да, он может и поворчать, выразить недовольство,

когда ущемляются его личные интересы: не сразу Рябов соглашается ехать за очень нужной шлаковатой (думаю, не случайно В. Ларин придумал столь «несерьезный» груз), прежде ему необходимо повыкаблучиваться, покрасоваться, услышать от начальства, что «на Северном участке трассы ты, Толя, лучший водитель», но при всем том Рябов остается человеком слова и дела, на него можно положиться в любой ситуации. Он неравнодушен к происходящему вокруг, всегда готов прийти на помощь людям, готов подставить свое плечо товарищу, а если случится нужда — готов рисковать и жизнью.

Возможно, Рябову недостает интеллигентности (хотя кто знает, что есть подлинная интеллигентность?), недостает образованности, культуры, он не умеет соблюсти «протокольный политес», зато есть в нем целеустремленность, искренность, есть широта и отвага, сила духа, бесстрашие, что и делает его настоящим мужчиной. А без этих качеств жить и работать там, где живет и работает Толя Рябов, просто невозможно.

В. Ларин пишет ярко, сочно, без излишней, однако, аффектации, со знанием дела. К тому же он обладает не частым даром — иронией, умением писать о серьезном с юмором. Известно, как трудно бывает, начиная новую вещь, «взять верный тон». В. Ларин делает это легко. Впрочем, не только он — это присуще почти всем авторам сборника.

Например: «Утром я поднимался очень поздно. Позавтракав в верхнем ресторане, выходил в салон, где бородатый радист уже принимал заявки на радиограммы. Дни стояли мрачные. Промозглый ветерок листал бланки с однообразным содержанием: «Встречай, выехали»...» Это начало повести Валерия Сурова «Пасмурная погода», на мой взгляд, одной из лучших в сборнике.

Повесть не назовешь остросюжетной, скорее наоборот. Однако она прочитывается буквально на одном дыхании. В. Суров описывает просто жизнь, обыкновенную и даже в чем-то обыденную жизнь, но делает это столь правдиво, столь неравнодушно и с таким завидным знанием дела, что невольно забываешь о том, что это все-таки литература, своеобразная игра, поддавшись обаянию добротной, строгой прозы. Да, проза В. Сурова именно обаятельна, безыскусственна и оттого не поддается пересказу.

И все же не могу не упрекнуть В. Сурова: порой ему не хватает собранности, жесткой самодисциплины в работе, и его буквально захлестывает стихия. Тогда истинно русская широта, этакая разухабистость, раскованность (что само по себе прекрасно) проявляются в ущерб глубине и чистоте языка. Создается впечатление, что рука В. Сурова соревнуется в скорости с мыслью

и — увы! — одерживает победы. Это тот случай, когда из начинающего писателя прямо-таки фонтанируют все новые и новые повести и рассказы, новые идеи и замыслы. В общем-то это понятно: накоплен богатый материал, который требует выхода, и выхода немедленного, однако иногда бывает полезно остановиться хотя бы ненадолго, оглядеться и... привести себя, свои мысли в порядок. Примерно так же, как мы делаем, подходя к дому, куда приглашены в гости.

Справедливости ради надо сказать, что отчасти это происходит и потому, что молодые порой засиживаются в молодых и не по своей вине. Слишком долго им приходится ждать появления первой книжки. Отсюда неуверенность, шарахания из стороны в сторону, что не имеет ничего общего с подлинными поисками. А им есть что сказать. По крайней мере, большинство авторов «Точки опоры» вполне созрели для того, чтобы *уже быть* авторами собственных отдельных книг. Как мне кажется, этот сборник свидетельствует о довольно высоком профессиональном умении молодых писателей, об их гражданской и социальной активности. У каждого из молодых есть свой круг наиболее близких интересов, проблем, конфликтов, свои излюбленные приемы и изобразительные средства, но есть и нечто общее — в произведениях начинающих высвечены самые главные, самые характерные приметы нашего времени — процесс становления и обновления человека, личности, строителя подлинно нового мира.

Проза молодых — это мощный, буйный поток, обладающий большой потенциальной энергией. Молодые способны решать любые задачи, стоящие перед советской литературой. У них есть для этого все необходимое: знания, передовое мировоззрение, здоровое восприятие действительности, точные нравственные критерии и, конечно, талант.

СОДЕРЖАНИЕ

Т 64 **Точка** опоры: Повести и рассказы/[Сост. Е. В. Кутузов]. — Л.: Лениздат, 1980. — 432 с., ил.

Молодые в нашем сегодняшнем мире, их участие в свершениях народа, становление личности в условиях общества развитого социализма, выбор жизненной позиции и выработка личного нравственного кодекса — таким темам и проблемам посвящены произведения авторов сборника — молодых ленинградцев, избирающих делом своей жизни литературу.

Т $\frac{70302 \quad 4702010200-128}{М171(03)-80}$ 162—80 83.3(2)7

ТОЧКА ОПОРЫ

Составитель
Евгений Васильевич Кутузов

Редактор В. В. Чудакова
Художник Ю. К. Куликов
Художественный редактор О. И. Маслаков
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор Н. Б. Абалакова

ИБ № 1552

Сдано в набор 24.11.79. Подписано к печати 19.03.80. М-24161. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарн. школьн. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 22,79. Тираж 15 000 экз. Заказ № 354. Цена 1 р. 60 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.